

Николай
ЗДОНСКИЙ

ЖИЗНЬ
МУРАВЬЕВА



Николай Алексеевич Задонский

Жизнь Муравьева

(документальная историческая хроника)

КРАТКО О КНИГЕ

Писатель Николай Алексеевич Задонский создал прекрасную и нужную книгу о замечательном русском историческом деятеле, друге декабристов – Николае Николаевиче Муравьеве.

Книга написана как документальная историческая хроника. Форма эта вполне оправдана и обоснована архивными находками автора. Богатое документальное наследство Н.Н.Муравьева – его дневники, мемуары, переписка – хорошо уложились в емкую повествовательную структуру. Включения больших документальных текстов, часто впервые публикуемых, вполне оправданы и придают особое обаяние подлинности рассказу о жизни героя – реального исторического человека. Общий замысел художественного произведения не только не противоречит этой подлинности, а сливается с нею, соответствует ей. Книга притягивает к себе внимание читателя, возрастающее по мере чтения; раз начав читать, уже нельзя расстаться с ней, надо узнать жизнь человека до конца.

И какого замечательного человека! До сих пор у нас еще не было не только такой книги о Н.Н.Муравьеве, но и вообще какой-либо книги о нем. Как и декабристы, Н.Н.Муравьев входит в число тех, кто мог сказать себе: «Мы были дети 1812 года». Вольнолюбец и вольнодумец, основатель преддекабристской Священной артели, он стоит у самых истоков декабристского движения. Близкий друг людей 14 декабря, не оказавшийся непосредственно в их рядах лишь по особому стечению жизненных обстоятельств, Н.Н.Муравьев сохраняет на всю жизнь верность мировоззрению, независимость и последовательность своих позиций в самых сложных обстоятельствах. Удивительна цельность, монолитность его натуры.

Он внес большой вклад в военную и дипломатическую историю России как участник и – практически – создатель Унклар-Искелесского договора 1833 года, а особенно как победитель Карса, обмен которого на Севастополь сыграл такую большую роль для завершения тяжелой для России войны и для Парижского мирного договора 1856 года.

Книга Н. А. Задонского найдет множество читателей. Ее познавательное значение очень велико. Н.Н.Муравьев проходит через замечательные события истории России, о которых хочется знать каждому, близок с выдающимися русскими людьми, дорогими нашему сердцу, – с декабристами, А.С.Грибоедовым, А.С.Пушкиным. Раздумья над его жизнью повлекут обсуждение больших тем: человеческой чести, служения родине, качеств личного морального облика, ответственности человека за время, в которое он живет..

Можно спорить с автором в отдельных вопросах, но частные недостатки не умаляют несомненных достоинств ценной книги.

Академик М. В. Нечкина

Внуку моему Алеше и сверстникам его посвящаю эту книгу, в которой найдут они достойные

подражания примеры беззаветной любви к отечеству, мужества и благородства.

Автор

Пролог

Кончался март 1856 года. Лондон был окутан густым и липким туманом. В квартире доктора философии Карла Маркса на Динстрит, 28, огонь в камине поддерживался весь день, но уголь в такую погоду горел плохо, камин чадил и в полутемных тесных комнатах было холодно и неуютно...

Женни Маркс, зная, что мужу необходимо как можно скорее закончить правку переписанной ею статьи, нарочно уложила детей спать пораньше, а сама с вязаньем в руках перебралась в комнату, где за большим письменным столом работал Карл.

Женни любила, сидя в старинном глубоком кресле у камина, наблюдать за ним со стороны, и, кроме того, ей хотелось поддержать немножко его настроение: он не раз говорил, что, когда она здорова и близ него, ему работается лучше и радостней.

Сегодня, однако, Марксу поработать не удалось. В передней раздался звонок. Пришел Эрнест Джонс, один из видных вождей чартистов, адвокат и поэт, редактор «Народной газеты».

Эрнест Джонс происходил из старого дворянского рода, получил хорошее образование в Германии, где отец служил адъютантом у герцога Кумберлендского. Безудержная жажда свободы заставила Джонса отказаться от блестящей карьеры, порвать со своим классом, вступить в ряды чартистов, и ни полицейские угрозы, ни тюрьма не сломили его. Никогда не унывающий, остроумный Джонс нравился Карлу и Женни, и они принимали его у себя с неизменным радушием.

Войдя в комнату, Джонс со светской любезностью поцеловал руку Женни, дружески обнял Маркса, произнес, улыбаясь:

– Вижу, что опять помешал вам, Карл, Но вас, черт возьми, совершенно невозможно застать отдыхающим! – И тут же, бегло взглянув на письменный стол, воскликнул: – А! Синяя книга! Таки полагал, что вы сидите над дипломатическими документами, опубликованными нашим немудрым правительством!

– Немудрое – это слишком мягкая характеристика правительства Пальмерстона, Джонс, – отозвался Маркс – Документы, относящиеся к осаде Карса и к сдаче этой крепости генералу Муравьеву, раскрывают не только непроходимую тупость правительственных чиновников, бездарность английских генералов, но и вероломную предательскую деятельность их по отношению к союзникам-туркам... – И Маркс, взяв со стола рукопись, протянул ее гостю: – Вот, можете ознакомиться.

– Как, статья уже написана? – удивился Джонс. – И я могу на нее рассчитывать?

– При условии, что в сокращенном виде я отправлю статью также Чарльзу Дана для «New-York Daily Tribune»...

– Разумеется, я возражать не буду. А под каким названием думаете ее опубликовать?

– Кажется, остановлюсь на самом простом и ясном: «Падение Карса». Английская печать полна невыносимого бахвальства, превознося до небес мнимые успехи британского оружия и в то же время сваливая неудачи на турецких союзников, – просто необходимо раскрыть перед народом правдивую историю карской трагедии. И потом, – закурив папироску и расхаживая по комнате, продолжал Маркс, – падение Карса является поворотным пунктом в истории мнимой войны против России. Я так статью и начинаю. Без падения Карса не было бы пяти пунктов, не было бы ни конференций, ни Парижского мирного договора...[1]

– Энгельс считает, что падение Карса – самое позорное событие, которое только могло произойти с союзниками, – вставила Женни.

Маркс, отыскав на столе какую-то газету, задумчиво сказал;

– Кстати, раз уж ты вспомнила Энгельса... Он лучше нас разбирается в военных делах и вот как оценивает действия генерала Муравьева... – Раскрыв газету, Маркс прочитал: – «...заканчивается третья удачная кампания русских в Азии: Карс и его пашалык завоеваны; Мингрелия освобождена от неприятеля; последний остаток турецкой действующей армии – армия Омер-паша – значительно ослаблен как в численном, так и в моральном отношении. Это немаловажные результаты в таком районе, как юго-западный Кавказ, где все операции неизбежно замедляются из-за характера местности и недостатка дорог. И если сопоставить эти успехи и действительные завоевания с тем фактом, что союзники заняли Южную сторону Севастополя, Керчь, Кинбурн, Евпаторию и несколько фортов на Кавказском побережье, то станет ясно, что достижения союзников фактически не так уж велики, чтобы оправдать бахвальство английской печати».[2]

– Трудно с этим не согласиться, – заметил Джонс. – Генерал Муравьев на Кавказе и в Малой Азии с лихвою отыграл все, что царское самодержавие потеряло в Крыму. Но скажите, Карл, – продолжал он после небольшой паузы, – почему ни в какой степени не оправдались надежды союзников на помощь со стороны грозных черкесов и вольнолюбивых горцев? Ведь Шамиль, признанный их вождь, получивший от Порты звание генералиссимуса черкесских и грузинских войск, обещал Омер-паше самое широкое содействие в покорении Мингрелии?

– Не понимаю, почему вас вдруг заинтересовал такой вопрос? – спросил Маркс.

– Я встретился недавно с английским военным советником при Омер-паше мистером Олифантом, только что возвратившимся с Кавказа, и он. рассказал очень много любопытного... Мюриды Шамиля, оказывается, не сделали ни одной вылазки против ослабленных русских гарнизонов. В Мингрелии с войсками Омер-паша сражались не русские, стоявшие под Карсом, а вооруженные генералом Муравьевым грузины и мингрельцы. Местные жители, как уверяет Олифант, находятся в полной дружбе с русскими...[3]

– Ну, что касается отношения кавказских горцев к турецким войскам, – ответил Маркс, – то мы с Энгельсом еще в прошлом году писали, что, по-видимому, перспектива присоединения к Турции отнюдь не приводит горцев в восторг. – Он достал трубку, прикурил от уголька в камине, потом закончил: – А о том, каким образом генералу Муравьеву удалось привлечь на свою сторону жестоко угнетаемые варварским самодержавием народности, и вообще об этом генерале судить без достаточно точной информации никак нельзя... Подождем достоверных сведений, дружище Джонс!..

Часть 1

Счастливы тот, кто в состоянии принести жертву своей Родине, он имеет право на уважение и почет своих сограждан. Декабрист Матвей Муравьев-Апостол

Отечество не много имеет сынов, подобных тебе, и ожидает от дел твоих величайшей пользы. Декабрист Иван Бурцов

1

Самые ранние детские воспоминания Николушки Муравьева, как звали его родные, связывались с отцовской родовой деревенькой Сырец. Расположенная недалеко от города Луги, в болотистой низменной местности, захудалая неприглядная эта вотчина, насчитывавшая всего три десятка дворов, совершенно оправдывала свое название. Мокротой отдавало тут всюду. Лужи на дорогах не просыхали и летом. В господском доме чуть ли не весь год в комнатах ощущалась сырость.

Кругом тоже ничто глаз не привлекало. Поля, да болота, да овраги, да низкорослые березки на погостах. Окрестные помещики славились поразительным невежеством, проводили время празднично, процветали картежная игра и пьяный разгул, вечные распри, ссоры и сплетни. Сосед и однофамилец Муравьевых мелкопоместный дворянчик Петр Семенович, отставной армейский капитан, с толпой крепостных баб и девок ходил развлекать скучающих господ. Установив своих невольных спутниц полукругом в господских хоромах, барин грозно возглашал:

– Пойте хорошо и громко до тех пор, пока не остановлю, а не то я вас! Греметь!

И обомлевшие от страха доморощенные певички «гремели», обливаясь потом, пока хватало сил. За малейшую оплошность провинившихся ожидала дома жестокая кара. Их раздевали, привязывали к деревянному, в человеческий рост, кресту и били до потери сознания; многие, не выдержав истязаний, кончали жизнь самоубийством.

Подобные явления были тогда весьма обычными. Помещики, отягощая крепостных изнурительным трудом и непосильным оброком, не признавали за ними никаких прав, творили над людьми что хотели, не находя в этом ничего безнравственного и предосудительного. Таков был самодержавно-крепостнический строй жизни.

И Николушка Муравьев, с малых лет наблюдавший картины бесчеловечного отношения господ к своим крепостным людям, видевший, что скромная жизнь их семьи отличалась от жизни невежественных соседей-помещиков, очень рано начал задумываться над вопросом о причинах несправедливого общественного устройства.

Муравьевы, принадлежавшие к древнему, но оскудевшему роду, от других помещиков во многом резко отличались. Отец – тоже Николай Николаевич – получил превосходное образование. Он окончил Страсбургский университет, обладал широким кругозором, не чуждался передовых идей своего времени. Был он замечательным математиком, мечтал стать ученым, но недостаток в средствах заставил прекратить занятия и поступить на военную службу; Прослужив несколько лет на флоте и в армии, он выходит в отставку в чине подполковника и занимается в Сырце сельским хозяйством. Земли мало, и земля плохая, урожаи скудные, никаких иных доходов нет. Муравьевы еле-еле сводят концы с концами. Зато

живет большая их семья в душевном согласии, сохраняя гуманное отношение к своим людям, ставя на первое место в жизни не материальные, а духовные интересы. Дети – их было шестеро – с малых лет приучаются все делать самостоятельно, не бояться трудностей, помогать друг другу. Родители воспитывают в них хороший вкус, увлекают чтением и музыкой. В кабинете отца несколько шкафов с книгами. Выписываются отечественные и заграничные журналы. В зале клавикорды, на стенах картины хороших живописцев.

Мать – Александра Михайловна, урожденная Мордвинова – страстно любила музыку, и для маленького Никулушки самым большим удовольствием было, забравшись на старый турецкий дедовский диван, слушать ее игру на клавикордах. Бывало, в поздний час придет за ним няня, и он сам хорошо знает, что пора спать, а покинуть зал никак не хочется, капризничает, воюет с няней, слезы из глаз градом катятся, до того невыразимо приятно была для малыша музыка. Такими запечатлелись в памяти ранние детские годы.

Ему пошел седьмой год, когда положение семьи неожиданно изменилось. Дальний родственник, князь Урусов, предложил отцу принять управление своим богатым подмосковным поместьем Осташево. Отец согласился. Дети подрастали, надо было думать об их образовании, расходы увеличивались, на родовую деревеньку рассчитывать не приходилось. Муравьевы переехали в княжескую подмосковную, там жили с весны до поздней осени, а на зиму перебирались в Москву, в урусовский дом на Большой Дмитровке.

Образование, как тогда было принято во многих дворянских семьях, дети получали домашнее. Математические и военные науки отец взялся преподавать сам. Обладая большими познаниями, он в то же время имел и огромное педагогическое дарование. Уроки проводились им так увлекательно, что математика стала любимым предметом для сыновей, они достигли в ней поразительных успехов. Никулушка в двенадцать лет решал такие задачи, что не всякому студенту университета были под силу.

Слух, об этом заинтересовал московских родственников и близких знакомых отца. Первым явился Захар Матвеевич Муравьев:

– Ты бы, Николай Николаевич, моих молодцов Артамошку и Алексашку в обучение принял заодно со своими. Очень хвалят все твою мето?ду!

Потом приехал недавно возвратившийся из-за границы Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, бывший русский посланник в Испании.

– Сделай одолжение, любезный кузен, позволь моим старшим – Матвею и Сергею – лекции твои математические слушать...

Так постепенно в муравьевском доме собралось общество молодых людей, серьезно изучающих математику и военные науки.

В это же время Муравьевы очень сблизились с родственным им семейством адмирала Николая Семеновича Мордвинова, который приходился троюродным братом Александре Михайловне. Урусовская подмосковная, где жили летом Муравьевы, находилась в двадцати верстах от имения Мордвиновых. Известный своими оппозиционными взглядами адмирал и глубоко образованный отставной подполковник нашли много общего, стали часто навещать друг друга.

И вот однажды...

Тяжелый адмиральский дормез, запряженный четверкой лошадей, остановился у парадного подъезда. Из экипажа выпрыгнула девочка в белом платье и легкой соломенной шляпке. Никулушка Муравьев, вместе с родителями встречавший приехавших к ним погостить адмирала и его домочадцев, никак не мог впоследствии припомнить, кто еще приехал с

адмиралом. Виделся один милый образ синеглазой, покрасневшей от жары, стройной девочки с пепельными, редкого оттенка, пушистыми косами.

Она первая подошла к нему, протянула руку:

– Давайте познакомимся. Наташа.

Николушка был болезненно застенчив, он смешался, покраснел, кое-как пробормотал свое имя.

Наташа улыбнулась:

– Папа так хорошо мне вас представил, что я сразу догадалась... Вам, как и мне, тринадцатый год, правда?

Николушка молча кивнул головой.

Наташа неожиданно вздохнула:

– Только вы, говорят, математику любите, а по-моему, противней ее ничего не может быть... Мне за нее от Карла Ивановича – это учитель наш – постоянно достается... Или я такая уж беспонятная? Как по-вашему?

И, не дожидаясь ответа, она неожиданно с такой детской непосредственностью рассмеялась, что Николушкину застенчивость словно рукой сняло.

Он предложил:

– Идемте, я вам парк наш покажу и озеро... Там на острове лебеди живут...

– Ой, как интересно! А посмотреть их можно?

– Издали можно, а если на лодке к острову подъехать, они такой сердитый крик поднимут, что не рад будешь... Это они птенцов охраняют!

– Ничего, я крика не испугаюсь, везите меня на остров!

– Да нельзя же пугать лебедей в такое время...

– А мы тихо подплывем, они и не услышат!..

С того дня началась их дружба, которая спустя некоторое время сменилась более нежным чувством. Они встречались не только летом, но и зимой в Москве у Мордвиновых, где каждое воскресенье молодежь собиралась танцевать. Характеры их резко отличались, и, может быть, именно поэтому взаимное увлечение не проходило. Подвижная, веселая, любящая общества Наташа Мордвинова совершенно очаровала от природы нелюдимого, склонного к размышлению и созерцательности Николушку Муравьева, да и ей все более нравился молчаливо обожавший ее серьезный не по годам мальчик. Адмирал и жена его Генриетта Александровна, заметив эти романтические отношения, никакого значения вначале им не придали: дети еще, кто в их годы не испытывал первой влюбленности, от которой время не оставляло потом никакого следа!

Но шли недели, месяцы. Время ничего не изменило. Николушке Муравьеву исполнилось шестнадцать лет, а сердце его по-прежнему принадлежало одной Наташе. Беспокоила лишь мысль о предстоящей разлуке с нею: зимой он должен поступить в созданную недавно петербургскую школу колонновожатых, подготовлявшую офицеров квартирмейстерской части, а Наташа оставалась в Москве. Однако судьба на этот раз ему улыбнулась. Адмирал

переезжал на постоянное жительство в столицу. Как хорошо для них все складывалось!

В начале сентября, перед отъездом, Мордвиновы приехали в Осташево проститься с Муравьевыми. Погода стояла теплая, тихая, и лишь позолоченные листья деревьев в старом парке напоминали о том, что лето кончилось. Николушка с Наташей вышли к озеру, там на берегу, в густой заросли желтой акации, скрывалась любимая их скамейка, и отсюда особенно хорошо был виден лебединый остров.

Наташа сказала:

– Помните, как мы познакомились и как первый раз пришли сюда, и вы рассказывали про лебедей?..

– Тогда была пора вывода птенцов, – продолжил он, – и я не хотел переправлять вас на остров...

– А я все-таки на своем настояла, – улыбнулась она, – хотя, сознаюсь, сильно струсил, когда увидела нападающих, гневно шипящих птиц... – И, чуть помолчав, добавила: – Зато сейчас на острове, вероятно, тихо и грустно... Давайте прокатимся туда, Николенька!

Просьба была неожиданна, он покраснел, замялся:

– Ну что за охота? Там нет ничего интересного...

Она окинула его испытующим, недоверчивым взглядом и сказала:

– А если мне очень хочется?

Он молчал, опустив глаза.

Она продолжала:

– Я чувствую, что вы что-то от меня скрываете. У вас что-то связано с островом. Признавайтесь! И не думайте, пожалуйста, что отстану, если вы будете молчать!

Он поднял глаза, промолвил тихо:

– Я не желаю, чтобы моя тайна была открыта... Может быть, вы будете надо мной смеяться... Но если вы сами хотите...

Любопытство ее было возбуждено до предела. Она, припрыгивая, словно маленькая девочка, побежала к лодке.

– Едем, едем! Сейчас же!

Спустя несколько минут лодка пристала к острову. Из-за кустарника, шумно разрубая воздух мощными крыльями, взмыла стая лебедей. Наташа от удовольствия захлопала в ладоши. Потом, взяв его под руку, смеясь, заметила:

– Теперь лебеди улетели, и вашу тайну никто не охраняет...

В глубине острова среди других деревьев виднелись красавицы березы. Сколько раз, тоскуя по Наташе и не смея никому поверить тоски своей, прибегал он сюда и вырезал ее имя на белоснежных стволах. И вот теперь Наташа сама стояла здесь с ним рядом, и ей столь неожиданно он как бы признавался в не высказанном еще никогда чувстве первой робкой мальчишеской любви.

Наташа не смеялась. Как-то сразу затихнув, она склонила голову, а потом молча, не глядя в

глаза, взяла его руку и ласково пожала...

2

Дневниковые записи начал делать Николай Николаевич Муравьев не в Москве, а позднее, в Петербурге. Первые строки были точны и ясны: «Родился я 14 июля 1794 года. Воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 года отец привез меня в Петербург для определения в военную службу. Я не имел опытности в обращении с людьми, обладал порядочными сведениями в математике, не имел понятия о службе и желал вступить в нее. Уже четыре года я был влюблен».

А в день приезда в Петербург сюда возвратился из служебной командировки его любимый брат Александр, бывший всего на год старше, офицер квартирмейстерской части. Они поселились вместе, близ Смольного монастыря, в квартире родного дяди, брата матери. Спустя два месяца Николай Муравьев, блестяще сдав экзамены, был произведен в прапорщики и назначен дежурным надзирателем и преподавателем математики в школе колонновожатых. Ему шел семнадцатый год.

Биографические эти подробности отмечены в дневнике. Не забыто и описание того памятного вечера, когда, надев впервые мундир, на бал-маскараде в особняке адмирала Мордвинова на Театральной площади вновь встретился он с Наташей. С кивером в руках, не снимая сабли и звякая шпорами, краснея и потея, стоял он в дверях, глядя завистливыми глазами на облаченного в рыцарские доспехи молодого офицера, танцевавшего с переодетой в испанский костюм Наташей. Впрочем, он знал отлично, что для ревности причин у него нет, она относилась к нему по-прежнему, нет, даже лучше, он чувствовал, что не безразличен ей, и был счастлив...

Но одно событие, на первый взгляд незаметное, осталось незаписанным, хотя в его жизни оно сыграло большую роль.

Незадолго до отъезда в Петербург он обнаружил в библиотеке отца изданную в Париже на французском языке книгу, с первых же страниц совершенно завладевшую им. Это был роман знаменитого Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Впечатлительного и чувствительного юношу, каким был Муравьев, до слез взволновала сентиментальная история двух любящих молодых людей. В благонаправленной и добродетельной Юлии он выискивал черты Наташи Мордвиновой, а в красноречивых рассуждениях возлюбленного Юлии бедного учителя Сен-Пре угадывал некое сходство со своими собственными мыслями.

Но этим дело не кончилось. Книга была привезена в Петербург, и спустя некоторое время он вновь берется за нее, продолжая с неослабевающим жаром перечитывать главу за главой.

Летом почти каждый вечер на Быках – как называлась маленькая пристань, выстроенная на Неве против Таврического дворца, – появлялся молоденький, коренастый и круглолицый прапорщик с книжкой в руках и долго сидел на скамейке, углубившись в чтение, а потом, о чем-то размышляя, до поздней ночи бродил тут одинокий.

– Бог счастья, видно, не дал ему, вот и слоняется без подружки, тоскует, бедненький, – вздыхали сердобольные столичные кумушки.

Что же с ним в действительности происходило?

Адмирал Мордвинов принадлежал к сановитой и богатой аристократии, но не являлся

приверженцем самодержавного строя, отличался независимостью суждений, открыто восставал против произвола корыстолюбивых и бесчестных царских сатрапов. Прямота и резкая критика старых порядков создали адмиралу большую популярность среди передовых, либерально мыслящих людей. Вместе с тем этот всегда любезный, с приятным, гладко выбритым лицом и живыми умными глазами сановник продолжал оставаться аристократом и никогда не отказывался от сословных привилегий и предрассудков[4].

Адмиралу Мордвинову нравился умный, скромный, хорошо воспитанный юноша из родственного семейства. И адмирал не имел ничего против дружеских отношений его со своей дочерью. Когда же Николай Муравьев стал офицером и, появляясь у них в доме, счастливый и сияющий, ни на минуту не отходил от Наташи и она глядела на него радостно светившимися глазами, когда столь явно обнаружилось их чувства, адмирал начал хмуриться. Аристократическая гордость и сословные предрассудки давали себя знать. Юноша, не имевший, никакого состояния, не мог являться желательным претендентом на руку его дочери.

Николушку Муравьева по-прежнему в гостеприимном доме Мордвиновых принимали приветливо, и никаких внешних признаков изменившегося к себе отношения он не замечал.

Но однажды, будучи на даче Мордвиновых в Парголове, он случайно услышал, как адмирал, беседуя с кем-то из гостей, обронил фразу, смысл которой заключался в том, что молодые люди, прежде чем вступить в брак, обязаны непременно позаботиться о средствах для содержания семьи. Ничего особенного в неоднократно слышанной от других фразе не было, однако на этот раз слова адмирала, выразившие непреклонное его мнение, смутили влюбленного юношу, как бы спустили из рая на грешную землю.

Он любил Наташу и наслаждался безмятежными, сладкими мечтами о будущей жизни с ней, но это будущее представлялось очень туманно, во всяком случае, практическая сторона этого будущего не беспокоила, а теперь слова, произнесенные ее отцом, сразу дали иное направление его встревоженным мыслям. На что мог он надеяться? Проклятый этот вопрос не давал теперь покоя. Пора упоительного самозабвения миновала. Раскрывалась жестокая действительность.

Материальное положение Муравьевых было из рук вон плохо. Недороды последних лет резко снизили доходность родовой деревеньки. Князь Урусов обещал отцу за помощь в делах часть своего имения, но пока что отделялся мелкими оскорбительными подачками.

Николаю Муравьеву приходилось жить на жалованье, которого едва хватало на удовлетворение самых скромных потребностей молодого офицера. «Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны, – записал он в дневнике, – кушанье для меня и для слуги стоило 25 копеек в сутки, щи хлебал деревянной ложкой, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду».

Нетрудно представить, с каким настроением бедный влюбленный юноша, уединившись на маленькой, невской пристани, перечитывал теперь роман Жан-Жака Руссо. Не чувствительные сцены, недавно вызывавшие слезы на глазах, а обличительные сентенции, подвергавшие сомнению моральные устои современного общества, приковывали внимание шестнадцатилетнего прапорщика.

Вот сделанные им некоторые выписки из книги{1}.

«Для счастья никакие различия в происхождении, состоянии и общественном положении ничего не значат. Люди должны цениться по личным достоинствам, а браки заключаться по выбору сердца – вот настоящий общественный порядок». «Нравственную чистоту и скромность легче обнаружить в простом народе, чем в среде знатных и богатых». «Самый

уважаемый класс людей – это простые честные труженики». «Горько видеть, что каждый помышляет лишь о собственной выгоде и никто об общем благе».

Жан-Жак Руссо, несмотря на глубокие противоречия своего учения, был одним из самых смелых просветителей-правдоискателей и борцом против угнетения народа. Его пламенные мысли ярким факелом освещали темные стороны жизни и не только вызывали желание нравственного совершенствования, но и пробуждали дух свободы.

Николай Муравьев оставил в своих записках краткое, но очень ценное признание: «Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорил. Не менее того, чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру».

Ничего удивительного, что вскоре в его руках оказалось и наиболее революционное сочинение Руссо, знаменитый его политический трактат «Об общественном договоре».

3

После Тильзитского мирного договора с Наполеоном в 1807 году, по которому Россия принуждена была примкнуть к проводимой им континентальной блокаде Англии, положение внутри страны заметно ухудшилось. Англия была главным покупателем русского хлеба и сырья, прекращение торговли с ней подрывало экономику страны, вызывая резкое недовольство правительством среди помещиков и коммерсантов. В военных кругах, считавших Тильзитский мир позором для отечества, усиливался ропот против самонадеянного и невежественного императора Александра, окружившего себя бездарными советниками, сковывавшими силы и боевой дух русской армии. Оппозиционные настроения росли во всех слоях общества. Передовая дворянская военная молодежь, критикуя почти открыто любезные царю прусские военные доктрины, в то же время все более задумывалась и над темными сторонами самодержавного строя. Горячая любовь к отечеству, готовность пожертвовать за него жизнью сочетались со стремлением найти какие-то иные, лучшие формы общественного устройства.

Николаю Муравьеву исполнилось семнадцать лет. Колонновожатых из Михайловского дворца переселили в дом Кушелева, где были устроены классные комнаты, чертежная, библиотека, и несколько квартир для преподавателей – одну из них получили Николай и Александр Муравьевы.

Работать приходилось много. Николай преподавал геометрию, тригонометрию и фортификацию. Иным колонновожатым перевалило уже за тридцать лет, они относились сначала к молодому преподавателю с известным недоверием, но вскоре его обширные знания заставили великовозрастных учеников изменить к нему свое отношение.

В свободное от занятий время квартира братьев Муравьевых всегда была полна народа. Родственники, сослуживцы, колонновожатые. Чаще других являлся сюда жизнерадостный, плотный, с крупными чертами лица и открытым взглядом Матвей Муравьев-Апостол, зачисленный недавно юнкером Семеновского гвардейского полка. Иногда он приводил с собой нежно любимого младшего брата Сергея, темноволосого кудрявого юношу с восторженными глазами. Приходил веселый и остроумный юнкер конной гвардии Алексей Сенявин, сын известного адмирала. Бывал Никита Муравьев, часто наезжавший в Петербург из Москвы, где он слушал лекции в университете. Постоянными посетителями были определившиеся недавно в колонновожатые франтоватый и громкоголосый красавец Артамон Муравьев и братья Лев и Василий Перовские, незаконные сыновья графа Разумовского, получившие фамилию по отцовской подмосковной деревеньке Перово. Братья

были разносторонне образованы, добры, любезны и болезненно мнительны, при любом намеке на происхождение краснели совсем по-девичьи.

Что же привлекало военную молодежь в скромной плохо обставленной квартире братьев Муравьевых? Ни кутежей, ни картежной игры, ни вина, никаких иных соблазнов здесь не было, а угощение ограничивалось обычно чаем с хлебом и домашним печеньем. Зато у Муравьевых чувствовали себя все совершенно свободно, говорили обо всем с душой нараспашку, и преграды мыслям своим никто не ставил. Большинству молодых людей, собиравшихся здесь, были известны сочинения французских просветителей, некоторые успели уже познакомиться и с российской запретной литературой.

Книги Руссо, особенно трактат «Об общественном договоре», пользовались особым вниманием. И это не удивительно. Руссо не только критиковал абсолютизм. Призывая народ вернуть себе свободу, отнятую тиранами, он пытался, хотя и при огромных противоречиях, наметить план революционного преобразования общества, создать некое идеальное государство, где уничтожено рабство и благоденствуют свободные равноправные граждане.

Жан-Жак Руссо, пробуждая дух свободы, вызывал постоянные споры среди молодых людей.

– Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах – вот, братцы, высказанная Жан-Жаком истина, которую нельзя оспаривать, – возглашал Артамон Муравьев.

– Немыслимо надеяться на замену самодержавия республикой в такой огромной, привыкшей к рабству стране, как Россия, – говорил Василий Перовский.

– Само собой разумеется, – уточнял Николай Муравьев, – если все будут сложа руки сидеть и никто не будет помышлять об общем благе...

Сам он сидеть сложа руки не собирался. Истины, открытые Руссо, поразили его юношеское воображение. Он, как и большинство его товарищей, воспитывался в полном убеждении, что монархический строй и дворянские традиции незыблемы, помазанник божий – царь – представлялся в ореоле святости и непогрешимости, и если народ жил плохо, кругом царили нищета и бесправие, то это объяснялось воспитателями обычно тем, будто приближенные к царю люди скрывали от него правду. Руссо начисто отвергал подобные идеалистические взгляды. «Вместо того, чтобы управлять подданными с целью сделать их счастливыми, – писал Руссо, – деспотизм делает подданных несчастными, дабы управлять ими». В другой главе, резко критикуя монархическое правление, великий французский мыслитель отмечал: «Личный интерес монархов прежде всего заключается в том, чтоб народ был слаб, беден и чтобы он никогда не мог им сопротивляться... Неизбежным недостатком монархического правления, который всегда ставит это последнее ниже республиканского, является то, что в республике голос общества выдвигает на первые места только людей способных и образованных, которые занимают свои места с честью, тогда как те, которые выдвигаются в первые ряды в монархиях, чаще всего суть только мелкие смутьяны, мелкие плуты, мелкие интриганы; их мелкие таланты, доставляющие при дворах крупные места, служат только для того, чтобы показать обществу всю неспособность их, как только эти люди добьются высоких постов...»{2}

Николаю Муравьеву теперь в ином свете стали представляться и действия правительства, и причины многих позорных явлений общественной жизни. Неясные стремления к справедливости обретали все большую ясность. Преимущества республиканского правления перед монархическим были очевидны. Николай думал над тем, каким образом возможно претворить в жизнь хотя бы некоторые порядки и установления, о которых так убедительно писал Жан-Жак Руссо.

Но прежде чем что-либо предпринимать, необходимо было посоветоваться с самыми близкими людьми, как они смотрят на это? Самыми близкими были отец и брат Александр.

Взяв отпуск, Николай поехал в Москву. Однако с отцом откровенничать не пришлось. Николай Николаевич старший, едва только услышал резкие отзывы сына о российской монархии, сейчас же строго остановил его:

– Ты еще молод, чтобы судить о том, что не подлежит твоему суждению...

– Помилуйте, батюшка, – попытался возразить сын, – на моих плечах уже офицерские эполеты...

Возражение вызвало сильнейший гнев отца. Он побагровел, стукнул кулаком по столу:

– Молокосос! Щенок! Да знаешь ли, сколько таких критиканов, как ты, правительство отправило на каторгу? А сколько людей сгнило в крепостных казематах? Офицерство от кандалов не спасает, не надейся! С военных крамольников спрос строже! – Потом, немного остыв, отец добавил: – Не ты один, а многие, и я в том числе, желали бы видеть отечество не под властью Аракчеева и продажных чужеземцев, а под более разумным правлением, все это так, но... посягнуть на вековые устои нашей жизни... Об этом, заруби себе на носу, мыслить более никогда не смей!

Отцовское наставление, вызванное естественным чувством страха за сына, ни в чем не разубедило, но насторожило. Отец прав, предупреждая о грозящей опасности.

Правительство, несомненно, будет противодействовать любой попытке, изменить существующий порядок. Следовательно, необходима сугубая осторожность, все должно осуществляться тайно, нужна на первых порах хотя бы небольшая тайная организация. Впрочем, об этом Николай Муравьев думал еще до беседы с отцом.

С братом Александром разговор тоже не получился. Александр был очень чувствителен ко всякой несправедливости, не скрывал либеральных мыслей, но, попав в то время под сильнейшее влияние масонов, полагал, что избавить людей от всех бед может только масонство. Состоя мастером столичной масонской ложи «Елизавета и добродетели», Александр бывал дома все меньше и, возвращаясь поздно ночью, с увлечением рассказывал о таинственных обрядах и испытаниях, через которые ему пришлось проходить.

– Все это пустое ребячество, ничего больше, – отозвался как-то о масонах Николай.

Александр страшно обиделся:

– Мы, по крайней мере, что-то делаем, а ты лишь отвлеченными химерами занимаешься...

Спорить с ним о бесцельности масонства и о необходимости создания некоей иной, более действенной организации было бесполезно.

Осенью 1811 года в квартире Муравьевых состоялось первое тайное совещание военной молодежи. Присутствовали Николай Муравьев, Артамон Муравьев, Матвей Муравьев-Апостол, Лев Перовский, Василий Перовский и Алексей Сенявин.

– Мы все, любезные друзья и товарищи, согласны в том, что отечество наше нуждается в лучших законах и порядках, – говорил Николай Муравьев. – Мы все также согласны, что установление у нас желательного республиканского правления потребует самоотверженной борьбы и труда многих поколений, но означает ли это, что мы с вами ничего полезного для блага отечества не сможем, предпринять? Выслушайте меня и давайте обсудим сказанное... Я думаю, что мы примерно в пять лет могли бы подготовить создание республики на одном из северных наших островов, населенных диким народом, еще не испорченным цивилизацией, духом коммерции и законодательством. Жан-Жак Руссо, как вам известно, полагал, что такой небольшой народ легче всего образовать в республиканском духе, что мы и сделаем. Наши действия, направленные к этому, будут, само собой разумеется,

неугодными правительству, поэтому должны происходить в строжайшей тайне. Наше товарищество будет иметь устав и республиканские законы, нами самими составленные и утвержденные. Но прежде всего нам надлежит избрать остров, на котором удобней и безопасней всего учредить можно республику...

– Чоку, или Сахалин, как его называют, что близ Японии, – предложил Лев Перовский. – Туда добираться долго, значит, больше времени у нас будет для устройства обороны...

– Вполне разумно, – поддержал Алексей Сенявин. – Адмирал Крузенштерн всего шесть лет назад водрузил там русский флаг, и наши поселенцы не успели еще обжить остров. Туземцы трудолюбивы, простодушны и честны, занимаются рыбными и звериными промыслами. И там можно быстро построить несколько кораблей, создать небольшой военный флот для защиты берегов от внезапного нападения.

Предложение было всеми одобрено. После этого Николай зачитал составленные им в духе Руссо законы товарищества, которые впоследствии должны были стать основными законами новой республики. Законы были утверждены, но для усовершенствования их постановили каждому члену общества составить записку о желательных, изменениях и дополнениях. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правой рукой за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово «Чока».

В конце совещания президентом созданного тайного общества был с полным единодушием избран Николай Муравьев.

Последующие собрания молодых республиканцев проводились всю осень и зиму в разных местах, собирались обычно вечерами в квартире того или иного члена общества. На этих собраниях обсуждали записки членов общества об усовершенствовании законов, выработывали устав, принимали новые постановления. Руссо писал: «В стране действительно свободной граждане все делают своими руками, а не деньгами». Молодые республиканцы в соответствии с этим принципом обязывались научиться какому-нибудь ремеслу. Артамон Муравьев должен был стать лекарем, Матвей – столяром, Сенявин брался за кораблестроение. Освобождался лишь один президент общества, на которого возлагалась самая трудная обязанность – создать воинскую часть для защиты сахалинской республики.

Для всех республиканцев установили одинаковую простую и удобную одежду: синие шаровары, куртку и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства. Был уточнен также и срок сбора всех членов общества на Сахалине[5].

Пополнялось общество кандидатами, которых выдвигали члены, эти кандидаты принимались после проверки и обсуждения на общем собрании. Николай выдвинул своего родственника Никиту Муравьева, с которым в последний его приезд из Москвы особенно душевно сблизился.

Однажды зимой Артамон Муравьев привел с собой на собрание колонновожатого Рамбурга, серьезного, хорошо воспитанного юношу из обрусевших немцев.

Николай Муравьев мельком как-то слышал, что в Петербурге существует некое иное тайное, якобы республиканское, общество молодых офицеров и колонновожатых, куда входил и Рамбург, однако цели этого общества были неизвестны. Рамбург произвел на всех самое лучшее впечатление и после откровенной беседы признал:

– Наше братство больше вашего, мы мечтаем, как и вы, о республиканских законах, но практически сделали значительно меньше вашего...

– А что вы скажете о нашем плане создания республики на одном из островов? – задал вопрос Николай.

– Очень заманчивый план, – ответил Рамбург, – и, уверен, вполне осуществимый.

– Так, может быть, нам следует согласовать обоюдные виды наши?

– Я уже думаю об этом... Нам нужно соединиться... Собрания наши происходят раз в месяц, я сделаю своим это предложение, и, надеюсь, никто возражать не будет.

Так шли дела у молодых республиканцев. Между тем брат Александр, заметив, что молодые люди, собиравшиеся у Николая, о чем-то таинственно перешептываются, вспылал желанием разведать, что у них делается.

Николай решил подшутить над братом. Достав несколько масонских книг и заучив масонские знаки, он показал их своим товарищам, а те, используя эти знаки, составили несколько двусмысленных записок, написанных якобы кровью. Будто по неосторожности записки остались на виду и попали Александру в руки. Тот пришел в великое недоумение:

– Что это такое, Николай? Чем вы занимаетесь?

– Я тебе откроюсь, если ты дашь клятву не выдавать нас.

– Хорошо, клянусь. Говори.

Николай наклонился к его уху, произнес:

– Мы члены обширного общества, учрежденного для истребления масонов...

Александр невольно отпрянул назад:

– Что? Да ты, кажется, с ума сошел?

– Ничуть. Ты разве не читал недавно в газетах о загадочной смерти графа Лихтенштейна? Так знай: он зарезан членами нашего общества потому, что хотел открыть нашу тайну.

Александр побледнел и, ничего более не сказав, поехал в свою ложу предупредить братьев-масонов о нависшей над ними опасности.

Вскоре, впрочем, жизнь братьев Муравьевых круто изменилась. Наступила весна 1812 года. Надвигалась военная гроза. Французские войска сосредоточивались близ русских рубежей.

Патриотическое возбуждение, царившее в столице, охватило и колонновожатых. Все более охладевая к учебным занятиям, они мечтали о предстоящем военном походе, о героических подвигах и бивачной жизни. Братья Муравьевы неожиданно получили предписание явиться в распоряжение квартирмейстера первой западной армии генерал-майора Мухина.

Николай отправился к Мордвиновым, чтобы проститься с Наташей. Отношения с нею оставались неясными... Зимой они встречались только на танцевальных воскресных вечерах у Мордвиновых, и Наташа была мила с ним, но свидания помимо этих вечеров стали все более затруднительными: то она уезжала с матерью куда-то гостить, то являлись еще какие-то причины, не позволявшие остаться с нею наедине. Он догадывался, что адмиралу, видимо, не очень-то приятны его визиты, и самолюбие страшно страдало, но отказаться от Наташи... Это было выше его сил! И он шел сейчас к Мордвиновым с твердым намерением во что бы то ни стало объясниться с Наташей, высказать ей все, что не было еще высказано.

В доме Мордвиновых встретил его сам адмирал, пригласил к себе в кабинет и тут же

объявил, что Наташа второй день лежит в постели, схватила где-то простуду. Может быть, так оно и было, но Николаю в словах адмирала почудилась какая-то лукавинка, он мучительно покраснел.

– Я отправляюсь в армию... Хотел проститься...

– Ну, я надеюсь, мой друг, вы успеете еще увидеться. Наташа в ближайшие дни поднимется, – успокоительно произнес адмирал, – доктор ничего опасного, слава богу, не нашел...

– Я отправляюсь в армию завтра, Николай Семенович...

– Ах, вот что! Так поспешно? Неужели вам не дали даже достаточно времени для сборов?

– Сборы окончены, все к отъезду готово.

– Как? И вы не нашли времени, чтобы навестить нас раньше?

Николаю меньше всего хотелось продолжать разговор с адмиралом. На душе было скверно. Он сухо откланялся.

Несколько дней спустя братья Муравьевы были уже в Вильно.

4

Вот они, тетради с записями о достопамятных событиях двенадцатого года. Как хорошо, что он даже в трудной походной жизни не расставался с дневником и потом, сразу после окончания войны, по живым следам событий, нашел время несколько поправить и дополнить торопливые беглые заметки; Нет, он не ставил целью описывать военные действия, он отмечал лишь то, чему был свидетелем, что сам пережил и перечувствовал[6].

«Мы явились к генерал-квартирмейстеру Мухину. Занятий было мало, он приказал нам только дежурить при нем. Вскоре приехал государь с огромной свитой. В Вильно начались увеселения, балы, театры, но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку. Когда мы купили лошадей, то перестали даже одно время чай пить. Тяжко было таким образом перебиваться пополам с нуждой. Новых знакомых мы не заводили и более дома сидели. У нас было несколько книг, мы занимались чтением... Как изобразить тогдашнее положение наше? До тех пор мы постоянно жили в кругу братьев и близких товарищей, не зная почти никого из посторонних людей, а теперь очутились в совершенно чуждом для нас обществе, и еще каком! Все полковники, генералы... В первые дни мы были отуманены и в большом замешательстве, впоследствии же несколько обошлись. Круг, в коем мы находились, состоял вообще из людей малообразованных, мы избегали короткого с ними знакомства, ибо обычная праздная жизнь их не соответствовала нашим понятиям об обязанностях и трудолюбии, в коем мы были воспитаны.

В Вильно, за замковыми воротами, находится отдельная крутая гора с остатками древнего замка литовских князей, от которой городские ворота получили название замковых. Среди этих романтических развалин была любимая прогулка моя. Часто ходил я туда и просиживал на камне, под сводами древнего здания иногда до поздней ночи. Тут в беспредельном воображении моем предавался я мечтам о будущей своей жизни, к чему способствовала очаровательная местность. Среди ночного мрака сквозь провалившийся свод виднелось небо, усыпанное звездами, восходившая из-за гор луна освещала речку Вилейку, протекающую у подошвы горы. В городе по домам зажигались огни, часовые начинали перекликаться, городской колокол бил ночные часы. Конечно, не могли быть порядочны

мысли, в то время меня занимавшие, но я считал себя как бы одним во всей природе, и ничто не препятствовало моему созерцательному расположению духа. Я думал о Наташе, и мне приходило в голову броситься со скалы в каменистую речку, и я чертил имя ее на камне среди развалин...»

Да, так оно и было... Между тем кончалась весна. Казачьи патрули каждый день доносили, что на том берегу Немана скопление неприятельских войск увеличивается и что-то там затевается. Война приближалась. Братья Муравьевы нашли доброго и умного товарища. Это был красавец кавалергард ротмистр Михаил Федорович Орлов, состоявший адъютантом при князе П.М.Волконском, возглавлявшем штаб императорской глазной квартиры. Орлов выгодно отличался от других штабных офицеров разносторонними глубокими знаниями и свободомыслием, открытым характером, готовностью всегда оказать помощь товарищу. Хорошо осведомленный обо всех происшествиях в главной квартире и о военных приготовлениях, Орлов, не стесняясь, порицал императора и его немецких советников, парализовавших своим бестолковым вмешательством разумные действия командующего Первой армией Барклая де Толли. Впрочем, настроен был таким образом не один Орлов.

Как-то раз Александр и Николай Муравьевы, зайдя к Орлову, застали у него кавалергарда поручика Михаила Лунина, родственника своего по матери, и полковника Михаила Фонвизина, адъютанта генерала Ермолова, командовавшего гвардейской пехотой. Орлов возмутился:

– Барклай каждый день получает одобренные государем сумасбродные оборонные проекты, составленные Фулем и Вольцогеном, слывущими у нас за великих стратегов. Дрисский укрепленный лагерь, созданный этими царскими любимцами, – настоящая ловушка для русских войск. Возмутительно, господа! А кто такой этот Карл Людвиг фон Фуль? Тупой, бездарный прусский генерал, который за шесть лет пребывания в России не научился даже русскому языку, а его неграмотный денщик Федор Владыко превосходно за это время овладел немецким, помогая своему хозяину объясняться с русскими.

– Преклонение перед немчиною – застарелая наша болезнь, – вздохнул Александр Муравьев.

– Алексей Петрович Ермолов полагает, что все проекты, предлагаемые Фулем, свидетельствуют об умственном его расстройстве, – сказал Фонвизин.

– Если не о предательстве, – подхватил Лунин. – Нет, право, никакими добродетелями государя поведение его оправдать нельзя.

– Это печально, но это так, – согласился Орлов, – Над отечеством нависла грозная опасность. Не секрет, что французская армия, расположенная на границе, гораздо сильнее нашей. Старые, окуранные боевым порохом, привыкшие к победам войска. И во главе их искуснейший полководец, тогда как с нашей стороны всем распоряжается государь...

– А на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями, – вставил, не удержавшись, Николай Муравьев.

Все рассмеялись, Лунин громче всех:

– Ядовито, но весьма точно! – и, чуть помедлив, продолжил: – Все мы так-то мыслим, брат Николай, всех бы одолжил государь, кабы догадался со своими немецкими стратегами из армии уехать...

...В конце мая братьев Муравьевых разъединили. Александра оставили при главной квартире, Николая прикомандировали к гвардейскому корпусу, расквартированному в Видзах. Там Николай Муравьев впервые увидел Ермолова и сразу, как многие другие, попал под его обаяние. Ермолов выглядел геркулесом, приветливый, остроумный, веселый, так непохожий

на других генерал. Он ласково, с какой-то особой товарищеской непринужденностью принял молодого офицера, дал несколько дельных советов, пригласил заходить в любое время.

Зато ничем не расположили к себе командир гвардейского корпуса – вздорный, невежественный великий князь Константин Павлович и начальник его штаба полковник Курута, маленький, круглый, словно шарик, кривоногий хитрый грек.

В начале июня Николая Муравьева, как наиболее расторопного офицера квартирмейстерской части, послали в местечко Казачизну, верстах в тридцати от Видз. На случай отступления Первой армии необходимо было спешно подготовить дорогу, сделать ее удобной для прохождения артиллерии, расширить, выровнять, построить мосты через речки, загатить топи и болота. Земской полиции было приказано на починку дорог выгонять из ближайших селений всех жителей.

Но, добравшись до указанного места, Муравьев обнаружил на дороге лишь несколько десятков дворовых людей с лопатами.

– А где же остальной народ? – спросил он подошедшего земского чиновника.

Тот беспомощно развел руками:

– Коих в подводчики угнали, кои неведомо где...

– Кому же тогда ведомо, если вам не ведомо? – сердито спросил Муравьев и приказал: – Извольте сейчас же собирать крестьян. Я пойду с вами!

Однако в ближайшем селении, куда они пришли, было безлюдно, и только бродили по широкой улице тощие облезлые псы. Покрытые гнилой соломой избенки производили тягостное впечатление. Перед Муравьевым раскрылась картина ужасной народной нищеты. «Я обошел все дворы, – записал он в дневник, – и нашел только в двух или в трех по старику и несколько больных людей, которые лежали; когда же я к ним входил, то они просили у меня хлеба и говорили, что часть селения их вымерла от голода, а другая разошлась по миру за милостынею, наконец, что они, не имея сил подняться на ноги, ожидают себе голодной смерти в домах своих. Несчастные крайне жаловались на своих помещиков, которые в таком даже положении приходили их обирать. Проезжая по лугу, я видел нескольких крестьян с детьми, питавшихся собираемым щавелем... Итак, в этой деревне рабочих не нашлось...»

В других селениях картина была не лучше. И, конечно, собрать народ, исправить по всем правилам дороги не удалось. Да и не хватило бы на это времени. Встретившийся в Казачизне кирасир, прибывший сюда с каким-то поручением, сообщил:

– Война, ваше благородие! Французы переправились через Неман. Гвардия из Видз на Свенцияны пошла...

Война... Давно уже готов был Николай Муравьев услышать это жестокое слово и все-таки, услышав, почувствовал, как заглодело сердце. Войска величайшего завоевателя, не встречая сопротивления, двигались по родной земле. Военные преимущества и численное превосходство неприятеля были очевидны. А у нас плохо связанные между собой, растянутые на много верст армии, неразбериха в оборонных планах, всюду бестолковщина, бедственное положение народа... Невеселые мысли тревожили душу!

В Свенцияны приехал он ночью. Штаб гвардейского корпуса размещался в помещицьем доме, в двух больших комнатах, смежных с покоями великого князя. Ничего достоверного о военных событиях никто еще не знал. Большинство штабных офицеров и адъютантов цесаревича спали на походных кроватях, иные дремали, сидя у камина, двое в углу о чем-то перешептывались. На столе догорали оплывшие свечи. В камине краснели раскаленные угли.

А по комнате в черном ночном колпаке на голове важно расхаживал Курута, курил трубку и что-то жужжал себе под нос.

Муравьев доложил ему о своих действиях, потом присел на стулу камина, пригрелся и крепко заснул, а пробудившись поутру, увидел, как невероятно переменялась обстановка... Из всех углов слышались зевота и заспанные голоса, один бранил слугу, другой сердился, что шумят, третий требовал трубку, четвертый кричал «кофею»... Господа оставались господами. И слуги, сбившись с ног, носились ошалело из кухни в комнату и обратно, убажывая валявшихся на кровати своих владык.

Муравьев глядел на эту картину с невольной неприязнью и думал о том, как, в сущности, чужд ему тот круг богатых, избалованных, беспечных людей, среди которых он сейчас находился, и он понимал, что ему, живущему на одно более чем скромное жалованье и не имеющему никаких знатных покровителей, тут не место. Отпросившись у Куруты, он пошел в гвардейский лагерь искать близких себе по духу товарищей.

В соседней деревеньке находился Семеновский полк. Там первым встретился юнкер Матвей Муравьев-Апостол. Их обоих обрадовала эта встреча. И Николай, обнимая милого, доброго Матвея, улыбаясь, шепнул ему на ухо заветное слово:

– Чока!

Матвей, пожимая, как полагалось, ладонь друга, живо отозвался:

– Чока, Чока! Не забыл, не думай!

В шалаше, где жил Матвей, быстро собрались его приятели, среди них прапорщик Иван Якушкин. Всех волновали военные события, всем хотелось выведать новости у гвардейского квартирмейстера, но Николай сам толком ничего не знал, и оживленный разговор свелся к различным предположениям и откровенной критике действию начальства.

– Ясно одно, господа, – сказал Якушкин, – с этой войной в нашем существовании что-то должно сильно измениться...

Муравьеву фраза эта запомнилась. Якушкин понравился.

Из Свенциан гвардия и подошедшие сюда вскоре армейские войска отступали на Дриссу и Полоцк. Шли проливные дожди. Пехота утопала в грязи. Артиллерия застревала в размытых водой оврагах. Заготовленного продовольствия и фуража не хватало. И все же солдаты на тяжелые переходы не жаловались, сохраняли бодрость. Все нетерпеливо ожидали боя с неприятелем.

Офицерам квартирмейстерской части теперь спать почти не приходилось. На них лежала обязанность отыскивать удобные позиции, производить дислокацию войск, размещать их по лагерям и квартирам, подготавливать дороги и строить мосты, выполнять всякие иные поручения, и при этом каждый командир, не считаясь ни с чем, требовал от квартирмейстера всяких удобств, а при случае сваливал на него вину за собственные свои промахи. Служить же квартирмейстером в штабе не терпевшего никаких возражений великого князя было сущей каторгой. В дневнике Муравьев отметил, как однажды под вечер, подготовив размещение на ночлег гвардейского корпуса, услышал звук труб подходящих гвардейских полков и поспешил им навстречу. Великий князь ехал верхом со своим штабом впереди колонны. Муравьев доложил о дислокации, повернул полки к тем селениям, которые для них были назначены, указал великому князю оставленную для него, находившуюся в полутора верстах от большой дороги прекрасную мызу, и все шло как будто хорошо, но вдруг великий князь ни с того ни с сего закапризничал:.

– Я не хочу стоять на мызе, до нее далеко ехать. Хочу остановиться вот в этой деревне, как ее называют?

– Михалишки, ваше высочество, она назначена для кавалергардов.

– Выгнать их!

И он сам поскакал туда. Но не успел еще Муравьев переменить дислокацию, как за ним прискакали адъютанты великого князя, который возвратился из Михалишек совершенно бешеный и стоял под дождем на большой дороге.

– По милости вашей, сударь, видите вы меня под дождем! Прекрасный офицер! Вы не могли для меня подготовить квартиры? Михалишки заняты, и я по вашей расторопности ночую на большой дороге!

– Ваше высочество, для вас была отведена мыза, но вам неудобно было ее запясть, а из Михалишек я не мог еще успеть вывести кавалергардов.

– Как, сударь, вы еще оправдываетесь? Я вас представлю за неисправность, я вас арестую, вы солдатом будете, ведите меня сейчас на мызу!

Делать нечего, поворотили на мызу, но туда вступил уже кирасирский полк, которому мыза была назначена после изменения дислокации.

– Это что такое? – опять закричал великий князь.

– Они проходят мимо вашей мызы на свои квартиры, – попробовал схитрить Муравьев и поскакал вперед, чтобы предупредить кирасир. А сзади нагонял его великий князь и во все горло хриплым голосом орал:

– Арестовать Муравьева! Задержать! Арестовать!

Подобные цепи повторялись часто. Тяжелая служба осложнялась и почти полным безденежьем. Отец, вновь поступивший на военную службу полковником, материальной поддержки сыновьям оказывать не имел возможности. Жалованье прапорщика за третью часть года, как оно тогда выплачивалось, составляло всего 118 рублей. На эти деньги нужно было содержать себя со слугой, покупать фураж для двух лошадей. Пища братьев Муравьевых большею частью состояла из одного хлеба с водою; лакомились же картофелем и редькой, которые удавалось отрывать на огородах, иногда вареной курицей, привозимой с фуражировки.

Постоянное недоедание вызвало тяжелое цинготное заболевание. Николай несколько дней питался одним молоком и еле держался в седле. Выручили, позаботились, помогли поправиться добрые сослуживцы Михаил Орлов, Михаил Лунин, Михаил Фонвизин, Матвей Муравьев{3}.

А войска тем временем продолжали отходить на восток, сдерживая неприятеля жестокими арьергардными схватками. Император Александр, вняв советам близких людей, изволил наконец отбыть из армии со своими «великими стратегами», чем несказанно всех обрадовал. В армии произошли изменения. Ермолов стал начальником штаба, а главным квартирмейстером – полковник Толь. Вскоре разнеслась и другая добрая весть; Вторая армия под начальством Багратиона, блистательно отразив все попытки маршала Даву окружить ее, спешила к Смоленску на соединение с Первой армией. Теперь недовольство отступлением и ропот против Барклая, замечавшийся в войсках, немного утихли. Появилась надежда, что под Смоленском соединенные силы двух армий дадут неприятелю генеральное сражение. Войска приободрились, подтянулись, шли форсированными маршами и задержались на три дня

лишь в Поречье, где предполагалось напасть на один из французских корпусов, который, однако, избрал другой, обходный путь.

Николай Муравьев находился при кавалергардском полке, жил в шалаше Лунина, с которым его сближала любовь к отечеству и республиканская настроенность мыслей. Лунин был хорошо образован, умен, горяч, упрям, отличался отчаянной храбростью. Проснувшись как-то ночью, Муравьев увидел, что Лунин в ночной рубашке и с неизменной трубкой в зубах сидит на постели у сколоченного из ящика стола и что-то пишет при свете огарка.

– Послание возлюбленной, что ли, сочиняешь? – спросил Муравьев.

– Нет, брат, тут сочинение совсем иного сорта, – отозвался Лунин. – Рапорт главнокомандующему пишу...

– По какому же поводу?

– Желая принести себя в жертву отечеству, – немного патетически сказал Лунин. – Прошу послать меня парламентаром к Наполеону...

– Ну, и что же дальше?

– А при подаче бумаг императору французов я всажу ему в бок вот это...

Лунин повернулся, выхватил хранившийся под изголовьем кривой кинжал и махнул им в воздухе. Муравьев от неожиданности вздрогнул. Он не сомневался, что Лунин, решительный характер которого ему был хорошо известен, точно сделал бы это покушение, если б его послали и если б...

– Верю, друг Михаила» в доброе твое намерение послужить отечеству, – произнес Муравьев, – однако имей в виду, что не так все просто обстоит, как ты представляешь. Монархи и деспоты плохо заботятся о народе, зато свои драгоценные особы охраняют весьма бережно; если б не так, то деспотизм давно бы перестал существовать...

– Да, ты прав, пожалуй, хотя...

Лунин не досказал, задумался.

5

... Под Смоленском не смолкал гул орудий, происходило ожесточенное сражение. Пехотная дивизия генерала Неверовского, составлявшая арьергард Второй армии, и корпус генерала Раевского с необыкновенным мужеством сдерживали во много раз сильнеего неприятеля. Французские уланы разъезжали по левому берегу Днепра вблизи сверкавшего золотыми главами древнего русского города, искали броды для переправ. Но помешать соединению русских армий французам не удалось. Армии в Смоленске соединились. Багратион согласился по доброй воле подчиниться Барклаю де Толли, принявшему главное начальство над соединенными войсками.

Барклаю более чем кому-либо хотелось дать неприятелю генеральное сражение: он знал, как нетерпеливо ожидают этого войска, и знал, какие нарекания на себя вызовет, если это сражение не будет дано, но осмотренные им близ Смоленска позиции были совершенно непригодны и могли дать преимущества лишь наступающему численно превосходящему противнику. Барклай с тяжелым сердцем вынужден был подписать приказ об оставлении

Смоленска.

Николай Муравьев спустя некоторое время после этого сделал следующую дневниковую запись: «Вечером получено было приказание к отступлению, и во всем лагере поднялось единогласное роптание. Солдаты, офицеры и генералы вслух называли Баркляя изменником. Невзирая на это, мы в ночь отступили, и запылал позади нас Смоленск. Войска шли тихо, в молчании, с растерзанным и озлобленным сердцем. В Смоленске оставалась только часть корпуса Дохтурова для удержания натиска неприятеля в воротах. Хотели дать время увезти раненых и скрыть от неприятеля наше быстрое отступление. Дохтуров защищался в самых воротах против превосходящих сил, на него крепко наседавших. Наша пехота смешалась с неприятельскою, и в самых воротах произошла рукопашная свалка, в коей обе стороны дрались на штыках с равным остервенением и храбростью. После продолжительного боя, когда все войска уже вышли из города, наши уступили место и в порядке перешли через Днепр. Французы разграбили и сожгли Смоленск, церкви обратили в конюшни, поругали женщин, терзали оставшихся в городе стариков и слабых, чтобы выведать у них, где спрятаны мнимые сокровища. Во всю эту войну они показали совершенными вандалами. В поступках их не заметно было искры того образования, которое им приписывают. Генералы, офицеры и солдаты были храбрые и опытные в военном деле, но дисциплина между ними слабая. Во французской армии было вообще мало образования, так что между офицерами встречались люди, едва знавшие грамоте. Во все время войны французы ознаменовали себя неистовствами, осквернением церквей и сожиганием сел, озлобленный на них народ вооружался против них и побил множество мародеров, удалявшихся в сторону для грабежа... Из-под Смоленска великий князь уехал. Причиною тому были неудовольствия, которые, он имел с главнокомандующим за отступление».

Александр Муравьев, в то время снова прикомандированный к гвардейскому штабу, был свидетелем столкновения великого князя с Баркляем, которое произошло вскоре после того, как Барклай стал главнокомандующим соединенными армиями.

Был знойный июльский полдень. Александр Муравьев дежурил в штабе. Курута работал за письменным столом. В соседней комнате великий князь Константин Павлович совещался о чем-то с генералами. Внезапно дверь распахнулась. Константин Павлович выскочил красный, злой, растрепанный, прохрипел:

– Курута, поезжай со мною!

Оседланные лошади стояли у крыльца. Сопровождаемый Курутой, Муравьевым и адъютантами, Константин Павлович поскакал к главнокомандующему, который находился в открытом сенном сарае, откуда он осматривал местность и отдавал приказания. Константин Павлович без доклада вошел к нему со шляпой на голове и громким, грубым голосом закричал:

– Немец, шмерц, изменник, подлец! Ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде! Курута, напиши от меня рапорт Багратиону, я с корпусом перехожу под его начальство!

Барклай, расхаживая по сараю, услышав брань, остановился, удивленно посмотрел на великого князя. Тот продолжал изрыгать самые непристойные ругательства. Барклай, не обращая более на него никакого внимания, ничего не отвечал, хладнокровно продолжал ходить взад и вперед. Константин Павлович, натешившись бранью и ругательством, выбежал из сарая, с глупой самодовольной усмешкой сказал окружающим:

– Что, а? Каково я этого немца отделал!

Но через два часа по возвращении в штаб он неожиданно получил от Баркляя предписание: сдать гвардейский корпус генералу Лаврову, немедленно выехать из армии. Вечером великий

князь отправился в Петербург, за ним поехали еще некоторые приближенные к нему лица.

Александр Муравьев, рассказав об этом происшествии брату, воскликнул:

– Нет, ты только подумай! Выставить из армии родного брата императора! И при том сохранить полное самообладание и благородство! Восхищаюсь таким характером и почитаю его истинно великим, подобным знаменитым древним мужам Плутарха![7]

Николай с братом был согласен. Не раз приходилось ему, как офицеру квартирмейстерской части, выезжать для выбора позиций в места предполагаемых сражений. Он видел их неудобства и не мог винить Барклая за отступление, вызванное причинами, от него не зависящими.

– Что и говорить, нарекания на Михаила Богдановича несправедливы и напрасны, всяческого уважения достоин он по военным заслугам и неподкупной честности, – промолвил Николай, – и все же, милый брат, нельзя не считаться и с настроением умов, и духом войск...

– Кто же о том спорит, – сказал Александр. – Я уже слышал, будто в Петербурге озабочены создавшимся положением и существует мнение, что необходим новый главнокомандующий...

– Вот это, пожалуй, выход из положения, но кого же нам прочат, не слышал?

– Орлов мне говорил, будто дворянство требует назначения Кутузова...

– Ну, это пустое дело! Всем известно, что государь старика Кутузова терпеть не может...

– Слухи таковы, а там кто знает! Поживем – увидим!

Слух вскоре подтвердился. Император Александр вынужден был вопреки своей воле назначить главнокомандующим Кутузова.

«Известие сие всех порадовало не менее выигранного сражения, – записал Николай Муравьев. – Радость изображалась на лицах всех и каждого».

Кутузов, прибыв в армию, потребовал, чтоб квартирмейстерская часть главной квартиры была составлена из лучших молодых офицеров. В числе их главнокомандующему был представлен Николай Муравьев. Так началась его служба при Кутузове.

...23 августа наши войска, пройдя Колоцкий монастырь, остановились близ села Бородино. Место, избранное для сражения, было, по мнению Николая Муравьева, довольно удобное.

Линии наши занимали высоты по обеим сторонам дороги. Прямо было село Бородино, лежащее на речке Колоче, прикрывавшей фас нашего правого фланга. Правый берег речки был гораздо выше левого и крут. На том же фланге была довольно обширная роща, которая оканчивалась при большой дороге кустарником. Середина нашего левого фланга выдавалась вперед, расположена была на укрепленной высоте, которую защищали войска корпуса Раевского, поэтому и высота эта получила название батареи Раевского. Левый фланг примыкал к большому лесу, через который пролежала Старая Можайская дорога.

Главная квартира находилась в селе Татарках. Барклай остановился в Горках, на полдороге между Татарками и Бородином. Багратион устроил свою квартиру влево от дороги, в селе Михайловском.

Николай Муравьев все последние дни не слезал с коня. Кутузов сразу заметил недюжинные знания и сообразительность восемнадцатилетнего прапорщика, давал ему ответственные поручения, связанные с выбором позиций и дислокацией войск, и, наконец, послал вместе с

полковником Нейдгартом укреплять правый фланг. Квартирмейстерам здесь нашлось что делать. Они назначили место для просек и засек в роще, устроили закрытые батареи и окопы, помогли правильно разместить стоявшие на этом фланге корпуса Багговута и Остермана-Толстого. Приехавший сюда среди дня Кутузов остался действиями своих квартирмейстеров доволен, похвалил их, сделал несколько, дельных указаний. Николай Муравьев, стоявший близ Кутузова, видел, как невозмутимо спокоен был этот невысокий, тучный, старый генерал в простеньком коротком сюртуке и шарфе через плечо, и это его спокойствие, неторопливость движений, тихий повелительный голос невольно вселяли во всех подчиненных полное доверие к нему и надежду на успех.

Кутузов стоял на возвышенности, откуда хорошо просматривалось Бородинское поле, советовался о чем-то с генералами, как вдруг из рощи поднялся орел, круто взмыл вверх, в голубое сияющее небо, и величаво поплыл над войсками. Генерал Багговут, первым заметивший его, снял фуражку и закричал:

– Ein Adler, ach ein Adler!{4}

Кутузов тяжело поднял вверх большую голову и, увидев орла, тоже снял фуражку и, помахав ею, воскликнул:

– Победа российскому воинству! Сам бог ее нам предвещает!

На другой день подошедшие французские войска начали сильную атаку на левом фланге, стремясь захватить так называемый Шевардинский редут и овладеть лесом на оконечности фланга. Густые колонны французской пехоты с барабанным боем лезли вперед. Солдаты были пьяны.

Русские батареи обрушили на неприятеля такой яростный град картечи, что колонны атакующих стали рассыпаться, оставляя на поле сотни трупов.

Кутузов, окруженный большой свитой, во время боя находился на левом фланге. Николай Муравьев впервые видел Кутузова под сильнейшим огнем. Неприятельские ядра все время перелетали через головы, ложась в задних наших линиях. Кутузов был так же спокоен, как вчера, его распоряжения, отдаваемые тем же тихим, повелительным голосом, отличались краткостью и ясностью.

Бой прекратился с наступлением темноты. Стоял тихий вечер. Всюду зажигались костры. Неприятельский лагерь обозначался непрерывной линией пламени на протяжении нескольких верст.

Наши солдаты, составив ружья в козлы, отдыхали у костров, варили кашу, и на лицах только что возвратившихся из боя людей не было никаких признаков пережитого напряжения и утомления, слышались уже и обычные веселые байки, и добродушный смех.

Возвращаясь в главную квартиру, Муравьев близ одного из костров остановился, прислушался. Старый, усатый гренадер рассказывал окружившим его тесным кольцом товарищам:

– Тут, братцы, значит, Бонапарт, прознав, что Кутузов приехал к войску, задумал, значит, Кутузова застрашать и послал ему со своим генералом мешок пшеницы. Ты, дескать, Кутузов, со мной зря не воюй, а покорись, у меня войска столько, сколько зерен в мешке, попробуй посчитай. Только скажу вам, братцы, наш никак того не испугался, а послал, значит, обратно с тем генералом Бонапарту горсть перцу зернистого. У меня, дескать, войска поменьше твоего, да попробуй раскуси!

Гренадеры ответили раскатистым хохотом. И Муравьев тоже невольно улыбнулся и подумал

о том, как чудесно и точно выражалось в этой байке состояние воюющих сторон, и численное превосходство неприятеля, и солдатская вера в Кутузова, и сознание своей силы. Попробуй раскуси!

... И вот пришел он, грозный день русской славы, сохранившийся в дневниковых старых записях Муравьева таким, каким виделся тогда.

«26 августа к рассвету все наше войско стало под ружье. Главкомандующий поехал в селение Горки на батарею, где остановился и слез с лошади. При нем находилась вся главная квартира. Солнце величественно поднималось, исчезали длинные тени, светлая роса блистала еще на лугах и полях. Давно уже заря была пробита в нашем стане, где войска в тишине ожидали начала ужаснейшего побоища. Каждый горел нетерпением сразиться и с озлоблением смотрел на неприятеля, не помышляя об опасности и смерти, ему предстоящей. Погода была прекраснейшая, что еще более возбуждало в каждом рвение к бою.

Прежде всего увидели мы эскадрон неприятельских конных егерей, который, отделившись от своего войска, прискакал на поле против нашего правого фланга. Началась перестрелка с нашими егерями, переправившимися за речку Колочу. Остерман-Толстой приказал пустить несколько ядер в коноводов. После непродолжительной перестрелки французские егеря отступили, но между тем неприятель атаковал гвардейский егерский полк, который защищал село Бородино. Наши войска не могли устоять против превосходных сил и наконец уступили мост через Колочу и отступили. Бородино оказалось в руках французов.

В то же время французы открыли огонь по селению Горки. Наши орудия им отвечали, но атаковать пехотой наших батарей при селе Горки неприятель не стал. В это время самое жаркое дело завязывалось на левом фланге. Наполеон послал сюда Мюрата, приказав ему во что бы то ни стало занять батарею Раевского. Но это было не так-то просто сделать. Чтобы занять и удержать эту батарею, надобно было оттеснить нашу пехоту, защищавшую лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга. Кутузов приказал подкрепить сей фланг, и в лесу завязался ожесточенный бой. Между тем продолжался по всей линии частый артиллерийский огонь; зарядные ящики взлетали на воздух и орудия подбивались, но их немедленно заменяли свежими из резервной артиллерии. Наполеон, находя, что уже настала пора начать атаку, послал огромные массы войск, чтобы взять на штыках батарею Раевского. Французская пехота несколько раз добиралась до нее, но была отбиваема с большой потерей. Тогда в довершение натиска Наполеон пустил всю свою конницу в атаку, чтобы прорвать наши линии, и конница сия, смяв почти весь шестой наш корпус, заняла с тыла батарею Раевского, на которую вслед затем пришла неприятельская пехота.

В эту минуту неприятель мог бы опрокинуть все наше войско, но Кутузов, видя, что правый фланг наш не будет атакован, приказал корпусам Багговута и Остермана-Толстого двинуться на усиление левого фланга. При переводе колонн через большую дорогу Кутузов ободрял солдат, которые спешили на выручку товарищей и отвечали на приветствия главкомандующего неумолкаемыми криками «ура». Во все время сражения Кутузов сохранял невозмутимое хладнокровие. В самые опасные минуты он не терялся и рассылал приказания свои со спокойным видом, что немало служило к поддержанию духа в войсках.

Между тем Алексей Петрович Ермолов, бывший тогда начальником главного штаба у Барклая, увидев, как неприятель занял батарею Раевского, собрал разбитую пехоту нашу, состоявшую из людей разных полков, приказал случившемуся тут барабанщику бить «на штыки» и сам с обнаженною саблей в руках повел сию сборную команду на батарею. Французы собирались увозить оставшиеся там орудия наши, когда сборная команда, предводительствуемая Ермоловым, вбежала на батарею, переколотила всех неприятелей и поставила на место орудия. Сам Ермолов был ранен пулей в шею, он не мог далее оставаться в сражении и уехал. Находившийся с ним рядом генерал Кутайсов был убит наповал.

Полки, пришедшие с правого фланга, заступили место расстроенных частей, гвардейскую артиллерию выдвинули на батарею. Французы продолжали атаку. Рукопашный бой между массами смешавшихся наших и французских латников представлял необыкновенное зрелище и напоминал битвы древних рыцарей или римлян, как мы привыкли их себе воображать. Всадники поражали друг друга холодным оружием среди груд убитых и раненых. От атаки неприятельской конницы остались следы в наших линиях, где лежало много французских кирасир, многие из них были переколоты нашими рекрутами, которые нагоняли легкораненых латников, едва двигавшихся под своей грузной броней.

Перед самой атакой кавалерии я находился с братом Александром в Горках, как прискакал с левого фланга адъютант генерала Беннигсена, бурка его была в крови; обратившись к нам, он сказал, что это кровь брата нашего Михаила, которого сбilo с лошади ядром. Адъютант не знал только, жив ли брат или нет. Мы с Александром отпросились на левый фланг, куда поскакали по разным дорогам. Участь брата нас сильно тревожила.

Следуя за раненым, я спустился в лощину. Тут всюду стояли лужи крови, среди коих многие из раненых умирали в судорожных страданиях. Картина ужасная! Стоны и вопли смешивались со свистом перелетавших ядер и лопавшихся гранат. Истребление человеческого рода на сем месте изображалось во всей полноте, ибо ни одного целого человека и необезображенной лошади тут не было видно. Можно себе составить понятие о понесенном некоторыми полками уроне из следующего примера. Я ехал мимо небольшого отряда иркутских драгун. Их было не более пятидесяти человек, они на конях стояли неподвижно во фронте с обнаженными палашами под сильнейшим огнем, имея впереди себя только обер-офицера. Я спросил у него, какая это команда. «Иркутский драгунский полк, – отвечал он, – а я поручик такой-то, начальник полка, потому что все офицеры перебиты и, кроме меня, никого не осталось». После сего драгуны участвовали еще в общей атаке и выстояли все сражение под ядрами. Можно судить, сколько их под вечер осталось.

Я доехал до Татарок, но никто о брате ничего не знал. Александр тоже возвратился ни с чем. А солнце уже садилось, и огонь все еще не прекращался. Остатки корпуса Дохтурова, примыкавшего правым флангом своим к большой дороге, еще кое-как удержались, но оконечность нашего левого фланга была отброшена назад, так что Старая Можайская дорога оставалась почти совсем открытою.

Когда совершенно смерклось, сражение прекратилось и неприятель, который сам был очень расстроен, опасаясь ночной атаки, отступил на первоначальную свою позицию, оставив батарею Раевского, лес и все то место, которое мы поутру занимали. Войска наши, однако, не подвинулись вперед и провели ночь в таком положении, как вечером остановились. Потери с обеих сторон были равные, хотя гораздо ощутительнее для нас, потому что, вступая в бой, у нас было гораздо менее войск, чем у французов.

Всю ночь войска провели без сна. Разнесся слух, будто сражение с рассветом возобновится, но затем узнали, что подписан приказ об отступлении, да иначе и быть не могло. Во многих полках оставалось едва сто человек, иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с разных сторон. Вся Можайская дорога была покрыта ранеными и умершими от ран, но при каждом из них было ружье. Безногие и безрукие тащились, не утрачивая своей амуниции и оружия.

Подобной битвы, может быть, нет другого примера в летописях всего света. Одних пушечных выстрелов было сделано французами семьдесят тысяч, не считая миллионов выстреленных ими ружейных патронов. Потеря наша убитыми и ранеными в сем сражении состояла из 26 генералов, 1200 штаб- и обер-офицеров и 40 000 нижних чинов^{5}. Французы не менее нашего потеряли. Лошадей зарыто на поле сражения 19 тысяч. От гула 1500 орудий земля стонала за 90 верст. Таким образом кончилось славное Бородинское побоище, в котором русские приобрели бессмертную славу.

... Рано поутру войска наши, оставив поле сражения, начали отступать к Можайску. Французы не решались нас преследовать, вступая лишь в перестрелку с нашим арьергардом.

Полагая брата Михайлу убитым, но в надежде еще найти его, Александр выпросил позволения ехать в Москву, чтобы искать брата на дорогах между множеством раненых, которых везли на подводах. Я отправился вслед за ним днем позднее».

6

Москва, куда 30 сентября добрался Николай Муравьев, представляла горестное зрелище. На улицах под открытым небом лежали мертвые и раненые солдаты. Присмотра за ними не было. Всюду слышались стоны и крики. Дворяне и зажиточные люди спешили покинуть город. Тянулись беспрерывно обозы с казенным имуществом и барским добром. Где-то заунывно перезванивали колокола, в церквах шла служба. Простой народ толпился кое-где у господских особняков, с озлоблением смотрел на проезжающие кареты и забрасывал их камнями. Выпущенные из острогов арестанты разбивали кабаки и торговые лавки.

В родительском доме на Большой Дмитровке было тихо. Николай, сдав лошадь старику кучеру, вбежал, гремя шпорами, в раскрытые опустевшие комнаты и неожиданно был остановлен у дверей отцовского кабинета братом Александром:

– Тише, тише... Михаила умирает... У него открылся антонов огонь... теперь ему операцию делают...

Николай осторожно вошел в кабинет. Доктор Лемер, которого с трудом удалось отыскать, вырезал осколки из страшной гноившейся раны: гранатой было сорвано мясо с левой ноги, повреждены мышцы. Михайла лежал на кровати с помертвелым страдальческим лицом. Узнав брата, он кивнул головой. Потом впал в забытие.

Александр и Николай, посоветовавшись с доктором, решили отправить раненого в Нижний Новгород, куда выехали все родные. На следующий день, заложив парой лошадей найденную в сарае старую удобную коляску, они проводили брата и сопровождавших его на телегах оставшихся дворовых, а сами возвратились в главную квартиру, остановившуюся в Филях.

И там узнали, что на военном совете, только что здесь состоявшемся, решено сдать неприятелю Москву без боя.

Трудно было свыкнуться с мыслью, что чужеземцы будут обладать священным русским городом. Войска покидали матушку белокаменную в скорбном молчании, солдаты со слезами на глазах глядели в последний раз на кремлевские соборы, истово крестились. И Николай Муравьев не удержался от невольной слезы, но его привычный к математической точности разум брал верх над чувствами, он понимал совершенную необходимость избранного Кутузовым решения оставить Москву без боя. Численное превосходство неприятеля после Бородина увеличилось, наша армия не успела еще оправиться, даже на глаз было заметно, как на марше дивизии быстро сменяли одна другую: ведь во многих людей оставалось в три-четыре раза меньше, чем полагалось. «С потерей Москвы не потеряна Россия...» Эти, передаваемые из уст в уста, сказанные Кутузовым слова крепко засели в мозгу и поддерживали дух.

А Москва горела. «Дым от пылавшей столицы обратился в густые черные облака, которые носились над нашими головами несколько дней, – записал Николай в свой дневник. –

Казалось, будто тень древней Москвы не оставляла нас и требовала мщения».

Войска двумя колоннами медленно отступали по Рязанскому большаку.

Неожиданно ночью полковник Толь, собрав офицеров-квартирмейстеров, объявил:

– Господа, предупреждаю, услышанное здесь должно сохраняться вами в самой полной тайне. Главнокомандующий начертал, господа, новый марш для наших войск с конечным выходом их на Калужскую дорогу. Все необходимые указания и маршруты всякий из вас будет получать от меня, колонны придется вести проселками, возможно, будут нарекания со стороны командиров, тем не менее объяснения по сему предмету с генералами и с кем бы то ни было вам иметь строжайше запрещается. Главнокомандующий надеется на вас, господа!

Оставив на Рязанском большаке небольшой отряд легкой конницы, дабы обмануть французов, русская армия внезапно повернула вправо, к Подольску, и, потерянная из виду неприятелем, начала знаменитый фланговый марш. Стояли осенние ненастные дни. Проселочные дороги, покрытые лужами, затрудняли движение. Направление марша никому, кроме квартирмейстеров, не было известно. Генералы и офицеры недоумевали, куда их ведут. Но более всех встревожился Наполеон: «Где же русские, куда они исчезли?»

Замысел Кутузова удался блестяще. Наполеон лишь спустя двенадцать дней узнал, что русские войска вышли на Калужскую дорогу и стоят на позициях близ села Тарутино.

Армия расположилась здесь в несколько линий на высотах позади села. Тяжелую конницу поставили в окрестных селениях. Главная квартира была в Тарутине, затем Кутузов перевел ее в соседнюю деревню Леташовку.

Тарутинский лагерь походил на оживленный городок. Построены были хорошие шалаши, благоустроенные землянки, несколько просторных изб. На протекавшей здесь реке Наре появились бани, на большой дороге собирались ежедневно базары, из Калуги приезжали торговцы пирогами и сбитенщики. По вечерам во всех концах лагеря слышалась музыка, долго не умолкали песни. Ночью лагерь освещался множеством бивачных огней. Кто-то из генералов заметил, что в лагере не по временам слишком весело.

Кутузов возразил:

– А лагерь и не должен походить на монастырь. Веселость солдат – первый признак их неустрашимости и готовности к бою.

Николай Муравьев, находившийся вблизи Кутузова, имел возможность наблюдать за его деятельностью, учиться у него военному искусству и дипломатическим тонкостям.

В глазах царя и многих военных Кутузов не оправдывал своего высокого положения. Москва была в руках неприятеля, а главнокомандующий сидел спокойно в Леташовке, много спал, с аппетитом ел и против французов никаких боевых действий не предпринимал, даже уклонялся от них. Начальник главного штаба бездарный, завистливый генерал Беннигсен и его старый приятель Роберт Вильсон, агент английского правительства при русской армии, открыто осуждали фельдмаршала, плели всякие интриги против него, посылали жалобы в Петербург. Император Александр не скрывал своего раздражения. Кутузов чуть не каждый день получал царские наставления и выговоры, но не обращал на них внимания, продолжая делать то, что считал единственно правильным и нужным для того, чтобы с наименьшими потерями и жертвами освободить отечество от чужеземцев.

Кажущееся многим бездействием Кутузова было мнимым. Предвидя, что Наполеон попытается прорваться в плодородные, неистощенные войной районы, Кутузов, совершив фланговый марш, преградил путь в эти районы и в Тарутинском лагере необычайно деятельно

занимался подготовкой армии к предстоящим наступательным действиям, стремясь в то же время всячески ослабить неприятельские силы. На свою ответственность, вопреки воле императора, Кутузов создал десятки партизанских армейских отрядов и поощрял действия стихийно возникавших народных партизанских дружин.

Николай Муравьев записал в дневнике: «Армейские партизаны наши присылали много пленных, других ловили крестьяне, которые вооружались и толпами нападали на неприятельских фуражиров. Не проходило дня, чтоб их сотнями не приводили в главную квартиру. Поселяне не просили себе другой награды, как ружей и пороху, что им и выдавали из числа взятого неприятельского оружия. В иных селениях крестьяне составляли сами ополчение и подчинялись раненым солдатам, которых подымали с поля сражения. Они устроили конницу, выставляли аванпосты, посылали разъезды, учреждали условные знаки для тревоги. Некоторым из крестьян Кутузов сам выдавал Георгиевские кресты. Не удивительно, что в неприятельской армии вскоре оказалась большая нужда в продовольствии. Французы стали употреблять в пищу своих лошадей, от недостатка питания появились у них заразительные болезни... Пока неприятель таким образом изнемогал, наша армия поправлялась. Продовольствие у нас было хорошее. Розданы были людям полушубки, пожертвованные из разных внутренних губерний, так что мы не опасались зимней кампании. Конница наша была исправна. Каждый день приходило из Калуги для пополнения убыли в полках по пятьсот, по тысяче и даже по две тысячи человек рекрутов. Войска наши отдохнули, укомплектовались, при выступлении из Тарутинского лагеря у нас было под ружьем 90 тысяч регулярного войска. Численностью, однако ж, мы были еще слабее французов, и нам нельзя было рисковать генеральным сражением, но можно было надеяться на успехи в зимней кампании».

И если император Александр и враждебные фельдмаршалу лица не понимали или не хотели понять глубокого, далеко идущего замысла Кутузова, оценить его действия, то в войсках не сомневались в правильности этих действий, видели, что соотношение сил складывается в нашу пользу и час расплаты с неприятелем приближается. В лагере солдаты распевали только что сочиненную песню:

Хоть Москва в руках французов,

Это, братцы, не беда:

Наш фельдмаршал князь Кутузов

Их на смерть впустил туда,

Свету целому известно,

Как платили мы долги,

И теперь получают честно

За Москву платеж враги...

Братья Муравьевы были очевидцами многих интересных событий, происходивших в главной квартире. Они сопровождали приехавшего сюда генерала Лористона, посланного Наполеоном с предложением мира или перемирия.

Кутузов впервые за всю войну надел парадный мундир со всеми регалиями и заранее приказал пододвинуть устроенные в походном порядке лучшие полки. В лагере по его

приказанию непрерывно играла музыка, песенники пели.

Лористон вошел к Кутузову, тот принял его с печальным видом, кряхтя и охая, жалуясь на старческие недуги. Лористон изложил цель своего приезда.

Кутузов развел руками:

– Видите, генерал, в каком состоянии разорения мы находимся. Уверю вас, что я беспрестанно прошу императора заключить мир, но он ни за что не соглашается...

Лористон, только что видевший бодрые войска, понял горькую насмешку, но не подал никакого вида и сказал:

– В таком случае, ваша светлость, я просил бы вас сообщить императору Александру о предложениях моего государя, которые я имел честь вам изложить...

– Непременно, непременно, генерал, так и сделаю, сегодня же обо всем донесу в Петербург, не сомневайтесь...

В дневнике Николай Муравьев отметил, что Кутузов действительно послал такое сообщение, но «курьеру приказано было попасть в руки неприятелю, и Наполеон уверился в мирных расположениях Кутузова, а между тем через Ярославль был послан другой курьер к государю с просьбой не соглашаться ни на какие условия. Французы стояли перед нами в бездействии и ожидали ежедневно ответа о мире».

Любопытно и такое происшествие. Александр Муравьев, будучи однажды на аванпостах вместе с донским генералом Орловым-Денисовым и казачьим полковником Сысоевым, увидел, как из французского лагеря выехала огромная группа конников, впереди которой находился Мюрат, король Неаполитанский, командующий неприятельским авангардом. Отделяясь от своей свиты, Мюрат на прекрасной белой лошади, в парадном мундире с золотом и длинными перьями на треугольной шляпе, выехал почти на версту вперед на возвышенность и стал в подзорную трубу рассматривать расположение наших войск. Сысоев не вытерпел такой дерзости, крикнул своему ординарцу:

– Лошадь!

Невооруженный, с одной нагайкой в руках, вскочил он на своего черкесского серого коня и помчался к Мюрату, который сначала не заметил его, а когда услышал недалеко топот скачущей лошади, успел повернуть коня и понесся во весь дух назад. Сысоев на резвом скакуне догонял его, поднимая вверх нагайку. Картина была восхитительная! Король в великолепной одежде, с развевающимися перьями на шляпе на богато убранном коне удирает от казака, который догоняет его, стоя в стременах и поднимая нагайку, готовую обрушиться на королевскую спину. Но к Мюрату подоспела на помощь свита, и Сысоев принужден был возвратиться, однако продолжал грозить королю нагайкой и ругать его отборными словами.

Полчаса спустя на аванпост явился парламентарем французский генерал, изложил Орлову-Денисову жалобу короля Неаполитанского. Александр Муравьев был послан в главную квартиру, где, встретив командующего авангардом Милорадовича, рассказал ему о том, что случилось. Внезапно дверь из соседней комнаты открылась, просунулась голова Кутузова:

– Что это, мой дорогой, что такое? – спросил он по-французски с явным любопытством. – Расскажите мне...

Муравьев рассказал подробно.

Кутузов, обратясь к Милорадовичу, сказал:

– Мой дорогой генерал, прошу вас, поезжайте к Неаполитанскому королю, передайте его величеству свои извинения за то, что казак, невежа, посмел преследовать и замахнуться плеткой на его величество. Попросите его простить этого варвара. Но скажите также от меня Сысоеву, что, если в другой раз представится случай захватить короля, пусть берет его.[8]

Вскоре, 6 октября, произошло Тарутинское сражение. Николай Муравьев, прикомандированный к авангардным войскам, участвовавший в этом сражении, сделал такую запись:

«Кутузов, находя, что настало время действовать, решился атаковать врасплох стоявший перед нами французский авангард под командой Мюрата. Предварительно посланы были офицеры квартирмейстерской части лесами и проселочными дорогами для обозрения местоположения в тылу неприятеля. Обстоятельно ознакомившись с путями, они повели ночью две колонны под командою Багговута и Беннигсена. Нападение сие хранилось в большой тайне, потому запрещено было во время движения говорить, курить трубку, стучать ружьями. К рассвету колонны были стянуты у опушки леса, к которому примыкал неприятельский левый фланг, войска остановились в близком расстоянии от французов. Милорадович выстроил авангард впереди Тарутина, чтоб отвлечь внимание неприятеля. Гвардия стояла в резерве. На рассвете Беннигсен дал пушечным выстрелом сигнал атаковать левый фланг. Французы еще спали, были раздеты. Беннигсен и Багговут открыли сильную канонаду по неприятелю и, выступив с пехотой из леса, захватили двадцать орудий, стоявших на позиции. Французы, оправившись, отступили левым флангом, устроили сильную батарею, но она была скоро сбита, причем Багговут убит ядром. Между тем правый фланг неприятеля тронулся, чтобы атаковать Милорадовича, но был отражен картечными выстрелами. Пока сие происходило, мы увидели в тылу неприятеля казаков Орлова-Денисова, атакующих французов. Атака была блистательная. Казаки опрокинули неприятельских кирасир, причинив им значительный урон. Французы стали отступать бегом, мы преследовали их верст десять, и наконец они исчезли из виду, потеряв большое число орудий и много убитых, в числе которых генерал Ферье. Войска наши возвратились в Тарутинский лагерь с песнями и музыкой. Аванпосты наши остались на том месте, где неприятель скрылся. Милорадович снова занял квартиру свою в селении Тарутине. Сражение сие получило название по речке Чернышке, на которой оно происходило, называют его также Тарутинским. После этого дела наши гвардейские офицеры пустили насчет Наполеона красное словцо, будто он, выступая из Москвы, сказал о Кутузове: «Taroutine ma d?route!»{6}

Известие о Тарутинском сражении, в котором французы потеряли более 4 тысяч убитыми и пленными и 38 орудий, заставило Наполеона быстрее оставить Москву. Он приказал войскам отступать через Малоярославец на Калугу, как и предвидел Кутузов. Но в Малоярославце французы были задержаны подоспевшими русскими войсками. Завязался ожесточенный бой, город восемь раз переходил из рук в руки. В то же самое время по распоряжению Кутузова была перехвачена и другая калужская дорога через Медынь. Наполеон в конце концов вынужден был отказаться от своего плана. Французская армия начала бесславный обратный путь по разоренной Старой Смоленской дороге, по тому маршруту, который был заранее подготовлен для неприятеля Кутузовым.

Наши авангардные войска шли проселками, в некотором расстоянии от неприятельской армии. Не вступая с нею в сражение, они не допускали и никаких ее отклонений в сторону, стремились совместно с партизанами причинять ей всяческий урон, уничтожить отдельные воинские части.

Николаю Муравьеву, квартирмейстеру авангардных войск, приходилось не только исполнять свои прямые обязанности. Он принимал участие в рекогносцировках и в схватках с голодными, озлобленными французскими фуражирами и мародерами, которые в поисках

продовольствия забирались в селения, где квартирмейстеры предполагали устраивать на отдых свои войска.

Муравьев близко соприкасался с простым народом, видел его действия против неприятеля и все более убеждался, как высока и бескорытна его любовь к отечеству. Нашествие иноплеменников всколыхнуло всю страну, патриотические чувства были присущи людям всех слоев общества, но молодой республиканец наблюдал на каждом шагу такие примеры героизма и самопожертвования со стороны крепостного русского крестьянства, что в голову невольно приходила мысль, насколько этот патриотизм простых людей выше, чище, благородней патриотизма дворян и помещиков. Услышав о приближении неприятеля, помещики покидали свои поместья, спасались в отдаленных местах, а крестьяне уходили в леса, создавали партизанские дружины, отстаивали землю своих отцов не щадя жизни. Ничто не было для них слишком дорогой платой за освобождение отечества от неприятеля!

Войска генерала Дохтурова спешили к Малоярославцу, но натолкнулись на препятствие. Мост через реку Протву, который нужно было переходить, сожгли французы. Саперов не было, леса вблизи тоже не было. Дохтуров обратился за помощью к крестьянам соседнего селения, и они, не задумываясь, разобрали свои избы, помогли быстро построить мост, оставшись на зиму без жилья.

– Колотите хорошенько хранца, служивые, – говорили они солдатам, – а мы как-нибудь тут перебьемся, землянухи выкопаем!

В дневнике Муравьева записан и такой случай:

«Во время Тарутинского боя встретил я одного драгуна, который гнал перед собою русского, сильно порубленного. Раненый кричал, просил пощады, но драгун не переставал толкать его лошадью и подгонять палашом. Я спросил, в чем дело. Пленный этот, оказалось, был родным братом драгуна, ходил по воле в Москве и вступил в услужение к французскому офицеру, за что и не щадил его родной брат, который после строгого обхождения с ним отдал его в число военнопленных, собираемых в главную квартиру. Подобие римских нравов!»

И Муравьев не раз в задушевной беседе с близкими друзьями высказывал мысль, что нищенски живущие, бесправные неграмотные крепостные крестьяне, обладающие столь высокими качествами души, достойны благодарности отечества и лучшей участи. И друзья немолчаливо соглашались с ним.

7

Недавно еще грозная, непобедимая, великая армия, заставлявшая трепетать всю Европу, продолжала отступать ускоренным маршем. Авангардные русские войска, вооруженные крестьяне, конные армейские партизаны и казаки со всех сторон днем и ночью тревожили неприятеля, отбивали тяжелые обозы с награбленным добром, уничтожали отряды фуражиров и конвойные команды, ломали мосты и переправы. Наполеон надеялся, что ему удастся оторваться от идущей по пятам русской армии, закрепиться на рубежах по Днепру и Двине, строил планы зимовок в Смоленске, затем в Витебске и в районе Орша – Могилев, замышлял даже прорваться на Украину. Все было тщетно!

Прогремели кровавые бои под Вязьмой, Смоленском, Красным, русских нигде задержать не удалось, они продолжали неумолимо преследовать обессилевающих французов. Наполеон видел, как рушатся последние его надежды, и мрачнел все более. Событиями управлял не он, а Кутузов, план которого теперь заключался в том, чтобы окружить и окончательно

разгромить неприятельскую армию в районе Борисова на Березине.

Дальновидность Кутузова была поразительна! Наполеон находился еще в Вязьме, собираясь зимовать в Смоленске и делая соответствующие распоряжения, а Кутузов уже писал командующему Молдавской армией Чичагову, чтобы он «как можно поспешнее, оставя наблюдательный корпус против австрийских войск, с другою частью обратился в направлении через Минск на Борисов». Позднее, допуская мысль, что французам частично удастся переправиться через Березину, Кутузов приказал Чичагову на всякий случай немедленно занять находившуюся за Березиной «дефилию при Зембине, в коей удобно удержать можно гораздо превосходнейшего неприятеля».

Получил своевременно точные указания главнокомандующего и генерал Витгенштейн, войска которого находились близ Полоцка и должны были соединиться в районе Борисова с войсками Чичагова, преградив таким образом дальнейший путь отступления неприятельской армии.

Кутузову, однако, не удалось до конца выполнить свой план. Чичагов и Витгенштейн оказались ненадежными исполнителями его предначертаний. Зная о неприязни императора Александра к Кутузову, они пропускали мимо ушей дельные указания главнокомандующего, предпочитая сноситься с самим царем, дававшим, как обычно, путаные советы.

Витгенштейн враждовал с Чичаговым, не спешил с ним соединиться. Бездарный Чичагов был введен в заблуждение Наполеоном, который отвлек внимание адмирала подготовкой ложной переправы через Березину, ниже Борисова, тогда как французская армия начала переправу у деревни Студенки, выше Борисова. Витгенштейн и Чичагов лишь спустя два дня догадались о совершенной ими ошибке и появились со своими войсками у Студенок, открыв артиллерийский огонь по переправе.

Наполеон, потеряв здесь всю артиллерию и обозы, все же успел переправиться с гвардией и оставшейся кавалерией и занял Зембинскую дефилию, болотистую местность, через которую были проложены десятки мостов, – Чичагов не догадался даже сжечь их. Наполеон, легко пройдя Зембинскую дефилию, мосты за собой, разумеется, уничтожил, и это позволило ему на некоторое время оторваться от преследования и быстрее добраться до Вильно.

Враги Кутузова, узнав о переправе Наполеона с гвардией через Березину, пришли в сильнейшее негодование. Более всех кипятился Роберт Вильсон:

– Выпустить из своих рук Бонапарта – общего врага нашего! Какое несчастье! Кутузов нарочно это устроил. Я буду писать императору Александру, он должен найти более способного главнокомандующего...

Штабные интриганы поддакивали английскому агенту, создавая мнение о Кутузове как о весьма посредственном, ленивом, нерешительном военачальнике, не имевшем никакого плана борьбы с неприятелем и все надежды возлагавшем на божью помощь.

Прапорщик Николай Муравьев не принадлежал к числу близких людей Кутузова, но вместе с тем был далек и от штабных интриганов, строивших всякие козни против фельдмаршала. Муравьев был честен, правдив и писал в дневник то, что видел и о чем достоверно знал, и вот что записал он о березинских событиях:

«Намерение главнокомандующего было припереть неприятеля к реке Березине до ее замерзания. Чичагов подвинулся форсированными маршами к Березине и занял Борисов, дабы преградить французам переправу, но авангард его, переправившийся через Березину, был внезапно атакован бегущим неприятелем и принужден был обратно перейти за реку. Пока французы отвлекали Чичагова, вся неприятельская армия, построив мост в другом месте, переправилась, встретив сопротивление только от небольшой части наших войск,

которые Чичагов не успел подкрепить. Между тем Витгенштейн придвинулся к Борису. Он должен был соединиться с Чичаговым и совокупно с ним действовать против главной французской армии, но не сделал сего, как слух носился, потому что не хотел подчиниться Чичагову. Общепризнано обвиняют адмирала в пропуске Наполеона, но многие полагают, что и Витгенштейн был тому причиной».

В Борисове, куда Муравьев вошел с авангардными частями главной армии, творилось что-то невообразимое. В Студенках артиллерия Чичагова била по переправе, оттуда доносился несмолкаемый гул орудий. Площади, улицы города и раскрытые дворы были забиты исковерканными каретами и повозками, всякой рухлядью, замерзшими неприятельскими трупами, среди которых копошились еще живые раненые, брошенные на произвол судьбы. Душу раздирали предсмертные стоны, проклятия, многоязычная ругань. Из догоравшей корчмы на окраине города шел отвратительный смрад, вероятно, там погибли в огне люди. Французские офицеры и солдаты, отставшие от своих частей, более похожие на тени, чем на живых людей, покрытые рогожами и чем попало, стучали в окна домов:

– Клиеба, клиеба...

В канаве сидел утративший человеческое подобие чужеземец и с горячечным блеском в глазах жадно грыз отрезанную лошадиную ногу.

Войска главной русской армии, утомленные длительным непрерывным преследованием врага, тоже сильно ослабели. Численность полков заметно уменьшилась, в иных ротах оставалось всего по десять – пятнадцать рядовых. Солдаты сменили разбитые сапоги на лапти, шинели – на серые крестьянские кафтаны. Офицеры были одеты немногим лучше, ходили в нагольных полушубках, подпоясывались нитяными шарфами. Николай Муравьев находился в бедственном положении. Одежда его состояла из солдатской шинели с выгоревшими у бивачных костров полами, поношенной солдатской фуражки с башлыком, сапог с отваливающимися подошвами, шаровар и сюртука, пуговицы которого были отпороты и пришиты к белью, много недель нестиранному и кишевшему насекомыми. Но более всего мучили покрытые начавшими гноиться язвами ноги, которые только в Борисове он получил возможность вымыть теплой водой и перебинтовать. Он изнемогал телесно и душевно и мог рапортоваться больным, но попасть в переполненный тяжелоранеными госпиталь было не лучшим выходом из положения, да и удерживала от этого мысль, что война на исходе и предстоят какие-то интересные события: вероятно, военные действия будут перенесены в европейские страны. Поэтому не хотелось в такое время отставать от товарищей.

И все же служба все более становилась невыносимой. Милорадович, как на грех, определил его под начальство полковника Черкасова, человека из той породы штабных блюдолизом и службистов, которые ценили лишь соблюдение уставных правил и, карабкаясь вверх по спинам ближних, готовы были каждого из них утопить за одну милостивую улыбку высокопоставленного начальства. Черкасов сразу невзлюбил молодого офицера-квартирмейстера и за превосходство его ума и знаний, и за присущий ему демократизм в обращении с нижними чинами и простым народом.

В Борисове старый мост через Березину был сожжен. Надлежало за одну ночь построить новый, чтоб с рассветом начать переправу войск. Черкасов, возлагая это ответственное дело на Муравьева, заметил не без ехидства:

– Вы, господин Муравьев, я слышал, математик превосходный и офицер с репутацией отличной, кому же, как не вам, задачу сию решать?

Задача была не из легких. Для строительства моста назначили конно-саперную роту капитана Геча, в которой осталось не больше пятидесяти изнуренных солдат. Муравьеву с трудом удалось выпросить еще пехотную роту, но в ней оказалось всего пятнадцать рядовых.

Надлежало разобрать случайно уцелевшую на правом берегу большую корчму и бревна использовать для строительства.

Ночь была темная, ветреная. Мороз крепчал с каждым часом, раскаленными иглами колот лицо. По широкой реке, с несколькими островами, накануне шел лед, он только что остановился, но не был еще в состоянии выдержать тяжесть человека. Муравьев и Геч решили проложить по льду, с острова на остров, связанные бревна и по ним сделать настил, устроив как бы плавучий мост на льду. Замысел был рискованный, но что же, кроме этого, можно придумать?

Солдаты развели огни на берегах и островах, начали разбирать корчму, стаскивать бревна в указанные места. Чтобы ободрить уставших людей, Муравьев работал наравне с ними, хотя больные ноги мучительно ныли и приходилось напрягать всю силу. За полночь, когда работа была в разгаре, с берега раздался окрик полковника Черкасова:

– Прапорщик Муравьев, пожалуйста, сюда!

Муравьев подошел как был: с бревном на плечах. Полковник, от которого разлило водкой, окинул его мутным взглядом, сказал сердито:

– Вы роняете достоинство офицерского звания, пустившись в работу с нижними чинами... Стыдно-с!

– Никакого стыда в том не нахожу, – сдерживая себя, проговорил Муравьев, – напротив того, пример мой нужен для ободрения людей.

– Вам следует только распоряжаться людьми, а оттого, что вы сами работаете, у вас ничего не сделано, даже и начала моста не видно.

– Зато разобрана корчма, лес поднесен к месту, а постройка сейчас начнется.

– Как? Вы хотите еще оправдываться, ничего не сделав? Посмотрите, как нужно обращаться с этим народом... Эй вы, скоты, – закричал он во все горло на солдат, – живей поворачивайтесь, не то я вас всех! – И он пустил такой непристойной руганью, что солдаты даже рты разинули.

Муравьев сжал кулаки, почувствовал, что начинает терять самообладание. Он сделал шаг вперед и, глядя в глаза полковнику, отчеканил:

– Я прошу вас оставить людей в покое, иначе я не могу отвечать за постройку моста...

И, видимо, столько твердой решимости было в глазах прапорщика и в тихом сдавленном голосе, что полковник ссору продолжать не решился.

– Хорошо, я удаляюсь, – пробормотал он, – но предупреждаю, если к рассвету моста не будет, вы пойдете под суд...

Служить под начальством Черкасова после этого случая было уже нельзя. Муравьев подал рапорт Толю, тот взял его опять к себе в главную квартиру, которая в скором времени разместилась уже в Вильно. Освобождение отечества от неприятеля заканчивалось.

В начале 1813 года русская армия под начальством Кутузова, перейдя границу, двинулась на запад. Пруссия, порвав сношения с Наполеоном, перешла на сторону России. Но Кутузов недолго оставался главнокомандующим: в середине апреля в Бунцлау он тяжело заболел и скончался. Между тем Наполеон сумел быстро создать новую двухсоттысячную армию и двинулся навстречу русским и австрийским войскам, которые сначала потерпели поражение под Люценом и Дрезденом, но вскоре счастье Наполеону начало изменять. К союзникам присоединилась Австрия, а главное, усилилось народное сопротивление Наполеону в поработанных им странах, стали рушиться созданные им марионеточные государства. Союзные войска отовсюду теснили французов.

Гвардейская легкая кавалерийская дивизия, шедшая впереди авангарда русской армии, участвовала во всех сражениях с неприятелем. Походная жизнь отличавшимся в боях замечательной храбростью кавалеристам нравилась. Командир дивизии генерал Чаликов, старый рубака, крикун и хлопотун, во время лагерных стоянок офицеров не стеснял, они, как обычно, жили весело, много пили, играли в карты, буйствовали, ссорились со штабными господами, которых терпеть не могли, изощряясь в насмешках над ними. Но с дивизионным квартирмейстером Николаем Муравьевым отношения сложились иначе. Кавалеристы-гвардейцы быстро сдружились с ним. И не потому, что он выделялся из среды других умом, образованием, знаниями, а как раз потому, что эти качества старался не подчеркивать и поступки свои соразмерял с понятиями лихих драгун, улан и гусар.

Под Бауценом русские войска занимали позицию на возвышенности, примыкавшей к высоким горам, отделяющим Саксонию от Богемии. Разворота для конницы не было. Кавалерийская дивизия стояла в резерве за левым флангом, у подошвы лесистых гор, в которых засели французские стрелки. После сильной перестрелки им удалось к вечеру потеснить русских егерей и приблизиться к левому флангу. Генерал Чаликов, окруженный офицерами, стоял на бугорке, следя за перестрелкой, и, увидев, как перебегают по хребту горы французские стрелки, забеспокоился:

– Хм, дело, господа, приобретает неприятный оборот, французы могут зайти к нам в тыл... Хорошо бы пробраться в горы, разведать, нет ли там скрытых колонн? Как, есть охотники?

Офицеры крутили усы, думали. Горы явно кишели французами, ехать туда, где за каждым кустом ожидала пуля, – дело рискованное, все понимали. Николай Муравьев, не раз бывавший в трудных рекогносцировках, вызвался первым.

– Разрешите, ваше превосходительство, попробовать, – сказал он спокойно. – Местность по карте мною изучена, думаю, удастся объехать стрелков стороной и добыть «языка» в тыловых селениях...

– Что ж, если так... не буду возражать, господин квартирмейстер. С богом!

Взяв трех улан, Муравьев перебрался стороной через горный хребет, спустился в покрытую кустарником долину, где увидел небольшое селение, проехал туда осторожно, но там никого не было. Однако, повернув назад, заметил несколько французских стрелков, пробирающихся в селение с другой стороны. Медлить было нельзя. Муравьев выхватил саблю, скомандовал уланам, они понеслись прямо на французов, те, отстреливаясь, побежали, скрылись за первыми строениями. Но один из стрелков, раненный в руку, отстал, его захватили и уже затемно все четверо благополучно возвратились к своим.

Пленник оказался савояром, охотно пояснил, что колонна стрелков состоит из его земляков-горцев и, кроме них, никого в тылу нет, сообщил много иных ценных сведений.

Генерал Чаликов при всех обнял, расцеловал молодого квартирмейстера:

– Ловко, ловко сделано! Молодец! Спасибо, уважил!

Офицеры тут же взяли квартирмейстера к себе в шалаш, устроили в честь его попойку, и он, не отказываясь, первый раз в жизни напился.

Навсегда в памяти Муравьева запечатлелось кровопролитное сражение при Кульме, где гвардейская пехотная дивизия Ермолова и разрозненные батальоны Остермана-Толстого отразили натиск впятеро сильнейшего корпуса маршала Вандама. Кавалерийская дивизия стояла в стороне, ничего не зная про действия Вандама. В тот день Муравьева послали с каким-то мало важным поручением к Ермолову, и он явился к нему, когда сражение было в разгаре. Рвались гранаты, свистели пули. Остерману-Толстому только что ядром оторвало руку, его отправили в полевой госпиталь. Муравьев, выполнив поручение, с позволения Ермолова остался при нем. Гвардейцы держались у подножия гор, в тесном месте, пересеченном болотами и каменными выступами. Вандам находился на горе, в старинном рыцарском замке, укрытом деревьями. Французские стрелки спускались с гор. Селение Кульм, лежавшее в одной версте отсюда, было занято неприятелем.

Ермолов, в сильнейшем огне разъезжая шагом среди боевых линий, воодушевлял солдат, обнадеживал скорым подкреплением. Когда Вандам послал густую колонну пехоты взять на штыки наши батареи, Ермолов, подзвав Муравьева, приказал:

– Передай второму батальону семеновцев, чтобы шли орудия наши выручать...

Второй батальон семеновцев не раз уже ходил в штыки. И теперь сильно поредевшая колонна их стояла в резерве. Первым, кого Муравьев увидел, был прапорщик Якушкин, находившийся впереди колонны:

– А где ваш батальонный, Иван Дмитриевич?

– Я за него остался, никого из офицеров больше в строю нет. Матвей тоже выбыл, в правую ногу ранение, но, кажется, неопасное...

Муравьев передал приказание. Якушкин скомандовал, и батальон со штыками наперевес скорым шагом, в ногу двинулся на батарею, переколот французам, отбил орудия.

Лишь ближе к вечеру при выходе из ущелья засветились медные каски кирасир, заиграли трубы. Следом за кирасирами подошла кавалерийская дивизия и гренадерский корпус Раевского, а за ним – австрийские и прусские войска. Сражение возобновилось на следующий день. Корпус Вандама был разгромлен наголову, сам он взят в плен[9]. Муравьева за боевые отличия в этом сражении произвели в подпоручики и наградили орденом Владимира 4-й степени.

Участвовал Муравьев и во многих других баталиях, и в трехдневной битве народов под Лейпцигом, где с обеих сторон сражалось полмиллиона человек и где Наполеон потерпел решительное поражение. За умелую дислокацию боевых колонн Муравьев был произведен в поручики, а вскоре получил Анненские кресты 3-й и 2-й степени и австрийский орден Леопольда.

Однако в дневниковых записях Николая Муравьева отражены не только военные события. Впервые попав за границу, пристально наблюдает он существующие здесь обычаи и порядки. Разница между тем, как жил народ в крепостной стране и в немецких землях была, конечно, ощутительна, и в первые дни многое поражало воображение. Тщательно обработанные земли, мощные дороги, обсаженные деревьями, благоустроенные чистенькие города и селения, трудолюбивые гостеприимные обыватели. Но монархические правительства были одинаковы. Налоги и повинности, возлагаемые на народ, разные беззакония, творимые высокопоставленными лицами и помещиками, переходили иной раз всякие границы. В Пруссии, Саксонии, Баварии, Богемии, Вюртемберге – везде народ стонал под гнетом власти имущих.

И Муравьев записал:

«Вюртембергцы жаловались на свои бедствия. Король их был самовластный и злодей, всякий опасался за свою собственность, даже за жизнь. Рассказывали, что король многих без всякого повода отправлял в особо на тот предмет построенную крепость, где в темницах заключались сотни несчастных, часто там и погибавших. Когда король ездил на охоту, то он приказывал собирать земледельцев, отрывая их от работ для того, чтобы сгонять дичь, и, кроме того, поля земледельцев стаптывались охотниками. Если же король узнавал, что кто-нибудь из пострадавших от его забав осмеливался жаловаться, то таких заключал в крепость. Пышность Вюртембергского двора не уступала пышности больших европейских дворов, на что истрачивалось множество денег и отчего народ был обременен налогами. Вюртембергский король, дядя нашего императора, был необыкновенно толст и в летах, говорили, что он предавался всяким порокам... Под таким правлением жили в Германии, краю просвещенном, тогда как природа наделила его всеми своими богатствами. Народ очень роптал. Я особенно имел случай слышать этот ропот между студентами в Тюбингене, в университете. Они не хотели оставаться в своем отечестве по окончании курсов»[10].

С нетерпением ожидал Николай Муравьев, когда откроется перед ним Франция. Сколько чудесных рассказов о ней слышал он в детстве от своего гувернера! Бывший пехотный капитан Антуан Деклозе, подвижной, средних лет француз, с ярким румянцем на щеках и черными, лихо подкрученными усиками, попал в плен к русским во время суворовских походов и прижился у Муравьевых, сберегая жалованье, чтоб возвратиться к себе домой не с пустыми руками. Там, в небольшом городке Бар-сюр-Об, близ Труа, ждала Антуана Деклозе невеста, обладавшая, по его словам, всеми женскими достоинствами. Получая от нее письма, гувернер предавался обычно воспоминаниям и со слезами на глазах декламировал:

– О моя прекрасная Франция, моя милая родина, разве есть другая, подобная ей, счастливая страна? О моя возлюбленная, добрая и нежная Тереза, разве есть на свете большее совершенство?

А лет десять назад чувствительный гувернер уехал домой, и, как знать, может быть, теперь удастся его повидать!

1 января 1814 года гвардейские дивизии перешли Рейн во швейцарских владениях, близ Базеля, и вступили на французскую землю, продолжая затем спокойно продвигаться в глубь страны через Монбелияр, Везуль, Лангр, Шамон. Николаю Муравьеву почти ежедневно приходилось бывать в длительных рекогносцировках, подыскивать удобные места для размещения на отдых гвардейских полков, и он с любопытством ко всему присматривался и все более разочаровывался. «Я не встретил во Франции того, чего ожидал. Жители были бедны, необходимы, ленивы. Француз в состоянии просидеть целые сутки у огня без всякого занятия. Едят они весьма дурно вообще, как поселяне, так и жители городов; скряжничество их доходит до крайней степени; нечистота же отвратительная, как у богатых, так и у бедных людей. Народ вообще мало образован, немногие знают грамоте, и то нетвердо и неправильно пишут, даже городские жители. Многие, кроме своего селения, ничего не знают, не знают местности и дорог далее пяти верст от своего жилища. Дома поселян выстроены мазанками без полов. Я спрашивал, где та очаровательная Франция, о которой нам гувернеры говорили, и меня обнадеживали тем, что впереди будет, но мы подвигались вперед и везде видели то же самое».

И когда гвардейские дивизии заняли большой многолюдный город Труа, Муравьев не преминул справиться о своем гувернере, и оказалось, что тот переехал недавно сюда, живет близ городской площади. Муравьев не замедлил отправиться к нему. Антуан Деклозе в старой енотовой шапке, какую носил еще в России, стоял у ворот хорошенького домика, и не успел подъехавший офицер соскочить с коня, как Деклозе признал его и радостно, со слезами на глазах, бросился обнимать:

– O, mon cher Nikolas, je vous revois done avant de mourir!{7}

Он очень изменился, постарел, завял, бедный Антуан Деклозе. Он был женат. Толстая, немолодая, грубая баба с собачкой на руках вышла из дому.

Деклозе представил:

– Моя жена Тереза...

Она молча поклонилась гостю и тут же, не стесняясь его, неприятным, визгливым голосом приказала мужу:

– Возьми Мимишку и ступай гулять с ней в сад, да не спускай на землю, она поморозила лапки...

Мадам резким движением сунула собачку мужу и удалилась. Антуан Деклозе стоял, опустив глаза, щеки его дергались.

Муравьев имел намерение поговорить со стариком по душам, вспомнить прошлое, расспросить его о жизни, но теперь он не решился это сделать, да и не было никакого смысла.

19 марта союзные войска парадным маршем вошли в Париж. После того как они были разведены по казармам, квартирмейстеры получили отпуск. Николай Муравьев осматривал достопримечательности французской столицы и вместе с тем с интересом приглядывался к темпераментным, легковерным парижанам.

Старые роялисты, надев белые бурбонские кокарды, бегали по улицам, кричали: «Viv le Roi!» и «Vive Alexandre!», жали руки русским офицерам. Народ попроще смотрел на роялистов с насмешкой, и все чаще слышались из толпы возгласы: «Vive la republique!»

В парижских записях Муравьев отметил: «Заметно было, что французы, в сущности, были расположены в пользу Наполеона... Мальчишки бегали по улицам и в первые дни пели куплеты, сочиненные во славу Александра и Бурбонов, а через несколько дней из этих куплетов сделали пародии на союзных государей. Вскоре появились и карикатуры на них, а там и брошюры, которые разносились на улицах и продавались с криком».

И было еще одно интересное наблюдение, которое он записал в Париже: императору Александру, этому располневшему, начавшему плешиветь и глохнуть самовлюбленному щеголю с приятной улыбкой на устах и холодным сердцем, был совершенно чужд народ, которым он управлял. Это особенно ярко выявилося в Париже. На балах, даваемых в его честь французской знатью, он публично называл русских дураками и плутами, уверяя, будто все хорошее, что есть в России, сделано иностранцами. Он назначил комендантом Парижа француза Рошешуара, которому приказал следить за поведением русских офицеров. Войска, прошедшие победоносным маршем всю Европу, держались в казармах как бы под арестом и на самой скудной пище. Появляться на улицах им запрещалось.

И солдаты понимали, что им ничего хорошего на родине ожидать не приходится. Никаких льгот освободителям отечества царь не даст. Шпицрутены и розги будут терзать по-прежнему. Несмотря на строжайший надзор, каждый день из полков уходили люди, многие с лошадьми и амуницией.

В числе беглых были и унтер-офицеры, награжденные за храбрость крестами и медалями. Шесть тысяч солдат победоносного российского воинства предпочли не возвращаться в крепостную страну!

... Наступило лето. Гвардейская легкая кавалерийская дивизия походным маршем шла в

Россию. Дивизионный квартирмейстер Николай Муравьев считал дни, оставшиеся до встречи с родными и близкими; более всего, конечно, не терпелось ему увидеть Наташу. Тогда, перед отъездом в армию, он так и не простился с нею и уехал, глубоко оскорбленный отношением к нему адмирала, да и поведение Наташи обижало. Его долго мучила глухая тоска, он порой просто не знал, что с собой делать, но военные события, захватив его, отвлекли от личных дел, дали иное направление мыслям, время начало постепенно притуплять остроту сердечной боли. И вдруг в Париже от приехавшего подпоручика Корсакова, двоюродного брата Наташи и друга ее детства, он узнал нечто такое, что вновь обострило чувства и воскресило надежды. Наташа любит его, и помнит, и страдает оттого, что так нехорошо сложились отношения между ними, и она не виновата в этом, пусть он поймет ее, не осуждает и не забывает... Удивительно ли, что после такого известия парижские развлечения сразу перестали занимать Муравьева, и он веселую французскую столицу оставил без сожаления.

А кавалерийская дивизия продолжала марш. В Вюрцбурге догнали конных егерей. В одном из их батальонов служил поручик Сергей Муравьев-Апостол, и встрече с ним Николай обрадовался чрезвычайно. Ни с кем из кавалеристов близких отношений у него не возникло, а так хотелось отвести душу в распашной беседе[11].

Сергей стоял на квартире в уютном домике пастора и пригласил Николая к себе. Они говорили с родственной откровенностью и о личных делах, и о политических событиях, и о тиранических порядках в отечестве, и о презрении царя к русским войскам и народу. Был благодный июльский вечер. Открытые окна выходили в цветник, откуда тянуло пряным ароматом цветущих маттиол. Сергей в домашней рубашке с раскрытым воротом расхаживал по комнате, и по тому, как порывисто ерошил он густые темные волосы, как набегали и исчезали морщинки на крутом чистом лбу и светились прекрасные глаза, видна была его искренняя заинтересованность беседой. Потом он остановился перед Николаем, произнес взволнованно:

– Я согласен с тобой, любезный Николай, россияне бессмертными подвигами заслужили лучшую долю; позорное рабство и тираническое владычество – главнейшие бедствия наши, и что-то нам всем необходимо предпринять, но что же, что?

– Думается мне, первой всего надо чаще единомыслящим соединяться, связь нам нужна, – сказал Николай. – А там, возможно, какое-то общество составится...

– Мне тоже так мыслилось, – поддержал Сергей. – На манер тугенбунда, так, что ли?

Николай, куривший у окна трубку, слегка поморщился.

– Ну, признаюсь, я до немецких бундов и всяких иных немецких выдумок не охотник. Вольнодумство и поиски лучшей жизни не одним чужеземцам присущи. Что-нибудь свое, русское придумаем...

Сергей неожиданно припомнил:

– Подожди-ка... Матвей мне как-то говорил, будто ты республику на Сахалине замышлял и что-то вы такое устроили?

– Было дело, – подтвердил Николай, – взялись мы тогда горячо, и настоящие собрания учредили, и законы собратства нашего, и условные знаки ввели...

– А здорово, ей-богу, здорово! – воскликнул Сергей. – Я недаром жалел, что, будучи в Москве, не смог в то время примкнуть к вам... Ну, а теперь разве нельзя ваших собраний продолжить?

Николай покачал головой:

– Ребячества много в мечтаниях тех имелось... Теперь не о сахалинской республике, а о благоденствии всего отечества помышлять надо...

Сергей подошел к нему, дружески положил руку на его плечо.

– Да, ты прав, брат Николай. Отечество требует преобразований, новых порядков. Приедем в Петербург, будем сообща думать. В политическом младенчестве более оставаться нам нельзя.

Кончалась короткая летняя ночь. Дохнул предутренний холодок, острее запахло цветы. Восток быстро светлел. Пришла пора расставаться. Довольные друг другом, они крепко, по-братски, обнялись, прощаясь.

... Спустя некоторое время в дневнике Николая Муравьева появилась такая запись: «Мы миновали Кенигсберг, пришли к Тильзиту, где переправились через Неман и перешли свою границу. Я уже имел откомандировку в Петербург для приготовления дислокации войскам около Стрельны. Как ощутительна была разница при переходе в наши границы! Деревни были разорены неприятелем и помещиками, жители разбежались, бедность и нищета ознаменовали несчастную Литву. Несмотря на то, меня радовала мысль, что достиг Родины, – и я с нетерпением желал скорее возвратиться в Петербург... Крепко билось сердце мое, когда въезжал я в заставу. Мне не верилось, что я в Петербурге.

Остановившись в доме дяди моего, я прежде всего узнал, что адмирал с семейством приехал в Петербург из Пензы накануне моего приезда, и я поспешил к нему...»

9

Подъехав к парадному подъезду особняка Мордвиновых, он не успел еще позвонить, как дверь распахнулась и сама Наташа, в простеньком ситцевом платье и домашних туфлях, с покрасневшими щеками, радостная, сияющая, появилась в передней.

– Николенька!.. Вот хорошо, что вы приехали... Я вас в окно увидела...

Не в силах более сдерживать своих чувств, они невольно потянулись друг к другу и впервые обменялись робким поцелуем и в счастливом смущении, держась за руки, вошли в комнату. Он успел только прошептать:

– Я никогда не забывал вас, Наташа...

Она подняла синие блестящие глаза, и он, взглянув в них, понял, что спрашивать ничего не надо, она не сомневается, верит, любит...

Николай Семенович и Генриетта Александровна приняли его необыкновенно ласково. Оставили на весь день, расспрашивали с дружеским расположением о заграничных впечатлениях и службе, хвалили его намерение совершенствоваться в науках, адмирал предложил пользоваться книгами своей библиотеки, а за обедом посадили его рядом с Наташей, и он утопал в неизведанном блаженстве.

Забыты были все прошлые горькие сомнения и мысли, он даже склонялся появлению их объяснить собственной излишней мнительностью: слишком уж наглядно было доброжелательное отношение к нему Мордвиновых. Вечером, прощаясь, адмирал обнял его,

любезно пригласил:

– Всегда рады видеть вас, дорогой Николай, заходите к нам в любое время запросто...

Возвратившись домой, он долго находился в состоянии счастливой взволнованности и думал о том, как причудливо изменилась к нему фортуна. Брат Александр, впрочем, ничуть этому не удивился. Выслушав, пожал плечами:

– Не будь идеалистом. Адмирал изменил отношение к тебе потому, что изменилось твое положение. Ты на хорошем счету, награжден пятью орденами, и потом не забудь, что Мордвиновы выдали замуж уже вторую дочь, а Наташа старшая, и ей идет двадцать первый...

– Ты на что намекаешь? – обиделся Николай. – Что ж она перестарок какой или дурна? Да я уверен, если б она захотела...

– Я Наташу корить не собираюсь, успокойся, – перебил брат, – но родителям с возрастом дочерей приходится считаться, вот что я хотел сказать. Ну и несомненно адмиралу известно, что батюшка наш получил недавно значительное наследство от скончавшегося князя Урсова...

Довод этот был основательнее других, спорить Николай не мог.

– Может быть, конечно, и так, только Николай Семенович о батюшкином наследстве не заикался даже... Хотя я сам, признаюсь, на батюшкину помощь рассчитываю, но, не зная, что мне он выделит, не могу к сватовству приступить...

– Да, тебе надо поскорее брать отпуск и ехать к отцу в Москву, – сказал Александр.

Однако с отпуском дело надолго затянулось. Неожиданно много времени потребовала дислокация гвардейской кавалерийской дивизии, участие в устроенных в Петербурге парадах, а вскоре был создан гвардейский генеральный штаб: братьев Муравьевых зачислили туда одними из первых, и там пришлось выполнять множество всяких поручений.

В то же самое время произошло еще одно событие, имевшее большое значение в жизни Николая Муравьева, да и не его одного. В гвардейском штабе вместе с братьями Муравьевыми служил прапорщик Иван Григорьевич Бурцов, одноклассник Николая, происходивший из небогатых дворян, он отличался превосходными военными знаниями и либеральными взглядами. Александр и Николай Муравьевы сблизились с ним и стали в конце концов неразлучными друзьями. Однажды, когда собрались они вместе, Николай предложил:

– А что, милые мои, если создать нам артель? Снимем удобную квартиру, будем держать общий стол и продолжать самообразование, это и дешевле и приятнее для нас во всех отношениях...

– Подобные артели, я слышал, заводятся среди офицеров в некоторых полках, – сказал Бурцов, – однако поощрения начальства они не находят...

– А тебе разве поощрение это так уже дорого? – усмехнулся Александр.

– Ты не ехидничай, Саша, я просто, осторожности ради, предупредить хотел, – отозвался Бурцов. – А мысль Николая мне по душе.

Александр, обратившись к брату, спросил:

– А как тебе мыслится артельная квартира?

– Каждый должен иметь отдельную комнату, а одна, самая большая, будет общей...

– Все это так, – согласился Александр, – но ведь артель, вероятно, будет расширяться, уверен, что брат Михаила, приехав с Кавказа после лечения, захочет жить с нами, и наш друг Петр Калошин, и другие... Как быть с ними?

– Будем искать квартиру с несколькими запасными комнатами на первый случай, – ответил Николай.

– Мне думается, новых артельщиков можно поселить и где-нибудь поблизости, – добавил Бурцов. – Вопрос вполне разрешимый!

Через несколько дней квартира для артели была снята на Средней Мещанской улице. В складчину приобрели необходимую мебель и посуду, наняли повара. За обедом всегда имелось у артельщиков место для двух гостей, и места эти никогда не пустовали, а вечерами гостей у них собиралось больше.

Привлекала друзей царившая в артели товарищеская непринужденность; можно было здесь за стаканом горячего чая почитать иностранные газеты, которые выписывались артельщиками, или сыграть в шахматы, но более всего соблазняла возможность поговорить без стеснения о заводимых в стране и вызывавших общее негодование аракчеевских порядках, о бессмысленных деспотических действиях двоедушного царя. Либерально настроенным молодым людям, на глазах которых только что свершились великие исторические события, невыносима была пустая придворная жизнь, тягостна служба под начальством бездарных и жестоких парадиров. Тем для разговоров было много. И споры в артели день ото дня становились все горячее.

В конце января 1815 года Николай Муравьев получил наконец отпуск и собрался ехать в Москву, как вдруг, зайдя к Мордвиновым, узнал, что Наташа опять слегла, и на этот раз с воспалением легких в самой тяжелой форме. Лучшие столичные доктора не ручались за успешный исход болезни.

От Мордвиновых явился он к себе в артель в таком состоянии, что все встревожились. Помертвевшее лицо, прикушенные губы, неподвижный взгляд.

– Что с тобой, Николай, друг мой? – поспешил к нему испуганный Бурцов.

– Она... умирает... – произнес он чуть слышно и, с трудом сдерживая рыдания, ушел в свою комнату.

Тут только открылась друзьям вся глубина его безмерной, всепоглощающей любви. Несколько дней он был словно в столбняке. Бурцов пробовал отвлечь его от мрачных мыслей, однако он оставался ко всему безучастным, потом сказал, что при известии о смерти Наташи лишит себя жизни, и это решение его твердо, ничто отвратить от него не может. Характер Николая был друзьям хорошо известен, они не решались даже отговаривать, это могло лишь укрепить его намерение, но они устроили постоянное наблюдение за ним, окружили заботой и вниманием, по два раза в день бегали к Мордвиновым узнавать, в каком положении больная.

Так прошло несколько томительных дней. И вот наконец брат Александр возвратился от Мордвиновых повеселевший, с порога еще крикнул:

– Кризис миновал. Мне с доктором лечущим поговорить удалось. Будет жива Наташа!

Николай бросился обнимать его и радостных слез не сдерживал.

Бурцов, не менее родных братьев переживавший за него, тут же принялся уговаривать:

– Теперь собирайся к родителю в первопрестольную. Надо же тебе с ним повидаться. Дни идут, второго отпуска могут не дать, а о здоровье ее я буду посылать тебе частые и верные известия...

Бурцов был прав. Откладывать поездку нельзя, иначе опять на неопределенное время задержится сватовство. Наташа, хотя и медленно, поправлялась. Артельщики собрали ему денег на прогоны. И он поехал в Москву.

... Наследство, отказанное князем Урусовым пасынку Николаю Николаевичу Муравьеву-старшему, заключалось в известном имении Осташево и московское доме «со всем, что в оном находится», как было сказано в завещании. Но во время нашествия французов имущество, оцененное в 120 тысяч рублей, из Москвы было вывезено в Нижний Новгород и оставалось там, когда старый князь умер. Полковник Н.Н.Муравьев-старший был тогда в заграничном походе, родственники покойного князя воспользовались этим и начали судебный процесс, требуя раздела имущества между всеми наследниками. Суд признал это требование справедливым, доставшаяся Муравьеву часть имущества ушла на уплату судебных издержек. А имение Осташево было приведено управляющим в полное расстройство. И к тому же полковник, надеясь на наследство, жил не по средствам, наделав порядочно картежных и всяких иных долгов. Будучи знатоком сельского хозяйства, Николай Николаевич мог исправить положение, поднять доходность имения, но на это требовалось время, а он решил опять заняться педагогической деятельностью, собрал старых и новых учеников, которым преподавал математику и военные науки, и замыслил открыть в Москве школу колонновожатых, представив для зимних занятий большой урусовский дом, а для летней практики – Осташевское имение. Начальник главной императорской квартиры Петр Михайлович Волконский замысел этот горячо одобрил, и теперь Николай Николаевич со дня на день ожидал официального разрешения на открытие школы.[12]

Но так или иначе, материальное положение, в каком Николай Николаевич находился, нельзя было назвать хорошим, и поэтому не удивительно, что он отнесся к желанию сына жениться на дочери адмирала довольно холодно. Выделить сыну мог он лишь самую незначительную сумму и знал, что это адмирала не устроит, а надеяться на большое приданое невесты тоже не приходится, у адмирала семеро детей.

Николай Николаевич имел другой план. Не давая сыну никакого ответа, он на следующий день повез его к старой богатой московской барыне Нарышкиной. Здесь сын был представлен внучке старухи Анете Бахметьевой, шестнадцатилетней прекрасной собой и хорошо воспитанной девице. Молодой офицер гвардейского штаба, грудь которого была украшена орденами и крестами, и на бабушку и на внучку произвел самое лучшее впечатление. Бабушка, прощаясь с отцом, не удержалась от комплимента:

– Завидую тебе, Николай Николаевич, что такого молодца вырастил. И умен, и обходителен, всем хорош. Посылай его к нам почаще.

Но деловой разговор с сыном у Николая Николаевича не получился.

– Что скажешь, как тебе понравилась Анета? – спросил, он, когда возвращались домой.

– Очень славная, милая, ничего не могу возразить...

– Надеюсь! Любимая внучка Нарышкиной, старуха на ее образование ничего не жалела, души в ней не чаёт...

– Только я не понимаю, батюшка, – продолжал сын, – зачем весь этот разговор? Вы знаете, у меня не она на сердце...

Полковник, сдержав себя, сказал как можно мягче:

– Знаю, осуждать не могу, все молоды были, но надо же, дружок, и разум иметь. За Анетой приданое огромное, дом, чудесная подмосковная, шестьсот душ...

Возражение сына дышало непреклонностью:

– Если б достоинства Анеты удвоились, а состояние ее удесятерилось, это все равно бы никак повлиять на меня не могло, мои чувства остались бы неизменными!

Отец спора продолжать не стал, была очевидна его бесполезность. Когда-то он сам вот так же, без памяти, влюбился в Сашеньку Мордвинову, и ничто не могло поколебать его. Теперь он молчал, грустно опустив голову. А сын любил отца и, почувствовав невольный укор за огорчение, дотронулся до руки его, произнес душевно:

– Не сердитесь, батюшка, и простите, тут уж ничего нельзя поделаться!

Николай Николаевич написал адмиралу, что, одобряя желание сына, просит для него руки Наташи и со своей стороны обещает выделить сыну приличные для гвардейского офицера средства и всемерно содействовать в семейном устройстве.

... Посылаемые Бурцовым из Петербурга известия были для Николая Муравьева приятными. Наташа быстро оправляется от болезни, и у Мордвиновых о нем говорят как о близком человеке. Возвращался он в первых числах марта домой в радостном, приподнятом настроении.

Адмирал при первом же свидании с ним, подтвердив получение отцовского письма, сказал:

– Нам приятно видеть Наташу в супружестве с вами, и она чувствует к вам дружбу и уважение, я говорил с нею на сей счет, но вы и она еще молоды, мы просим несколько подождать и почаще посещать нас, дабы мы могли короче вас узнать...

Обнадеживающий ответ адмирала не оставлял никакого сомнения в его доброжелательном отношении к сватовству. Николай стал почти каждый день бывать у Мордвиновых, и Наташа, зная о предложении, краснела всякий раз, когда он подходил к ней, но это замешательство, вызванное необыкновенной скромностью, вскоре проходило, и он чувствовал все возрастающую нежность ее. Однажды, прощаясь, они остались одни, он привлек ее к себе и страстным шепотом поклялся:

– Что бы со мной ни случилось, Наташа, верьте, первым я верности вам никогда не нарушу!

Наташа, вся пылая, неожиданно обняла его, поцеловала в губы и, застыдившись своего поступка, убежала.

Взволнованный и счастливый, он до рассвета бродил в ту ночь по столичным набережным, строя радужные планы совместной жизни с Наташей. А коварная фортуна опять уже готовила для него неприятный сюрприз.

В ближайшее воскресенье, ранним утром, его разбудил Бурцов, возвратившийся из гвардейского штаба с ночного дежурства.

– Новость потрясающая! Опять воевать придется!

Николай сел на постели, протирая глаза.

– Что такое? С кем воевать?

– Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции...

– Да что ты говоришь? Как же это случилось? Какие же у него войска?

– Я слышал, будто высадился он с одним батальоном старогвардейцев, которые на Эльбе с ним были, – сказал Бурцов, – но к нему всюду присоединяются гарнизоны южных городов, и французы восторженно его приветствуют.

– Понятно Я еще в Париже заметил, что народ предпочитает Наполеона ненавистным Бурбонам... В общем, счастливый корсиканец двигается на Париж, не встречая сопротивления. Наши армейские войска уже маршируют на запад. Вероятно, в ближайшие дни отправится в поход и гвардия.

Да, так оно и случилось. Стояли чудесные весенние дни, на оживленных проспектах краснощекие цветочницы бойко торговали букетиками фиалок и ландышей, с моря дул теплый ветерок, и тихо плескались невские воды... В такую пору особенно грустно было расставаться с Наташей, а приходилось, и неизвестно, на какое время.

Накануне отъезда он провел у Мордвиновых весь вечер, и, желая скрыть печальное смущение, сел за фортепьяно и долго с чувством играл романсы и ноктюрны, которым еще в детстве научила покойная мать Наташа несколько раз выбегала из комнаты, чтобы скрыть волнение и смахнуть набежавшую слезу, она хотела как-то ободрить его, но не могла этого сделать.

Проститься с ним собралось все семейство. Адмирал удержал его, напутствовал с родственной теплотой:

– Прошу вас беречь себя, дорогой Николай Николаевич. Будьте уверены в нашем уважении. Прощайте, желаем вам счастливого похода, хорошего здоровья и скорого благополучного возвращения!

10

Гвардия дошла только до Вильно. Здесь получили сообщение о победе, одержанной союзными войсками при Ватерлоо над Наполеоном, и о вторичном его отречении. Гвардейцам, не успевшим принять участия в военных действиях, возвращаться обратно было даже немного обидно. К тому же после бивачной веселой жизни оказаться опять в казармах, с раннего утра до вечера заниматься шагистикой никому не улыбалось.

Николай Муравьев, впрочем, об этом не думал. Мысли его были сосредоточены на другом. Он спешил в Петербург, где его ждала Наташа и где надо было подготовить новую более просторную и удобную квартиру для артели...

Во время похода артельщики по-прежнему почти не разлучались, и однажды Муравьев высказал мнение, что после возвращения домой им следует изменить артельную жизнь, расширить и законспирировать ее деятельность. Артельщики согласились. Ведь у них собирались не только единомыслящие вольнодумцы, но заходили и сослуживцы с иными политическими настроениями, и хотя при них артельщики воздерживались от резких суждений, а все же мало ли что могло произойти!

Артельщики решили прежде всего переменить квартиру, гостей приглашать с большим разбором и приняли предложенный Николаем Муравьевым план артельного переустройства. В плане этом отразились и опыт юношеского собратства, и характерное для вольнодумцев того времени увлечение вечерним устройством древних русских городов, и республиканские

взгляды автора.

Николай Муравьев, как и четыре года назад, когда создавал юношеское братство, был страстно увлечен этим планом. Прибыв в столицу, он хотя и отвлекался частыми визитами к Мордвиновым, однако переустройство артели, намеченное им, шло своим чередом. Квартиру для артели сняли в двухэтажном доме генеральши Христовской на Грязной улице. Общая комната, представлявшая комбинированную столовую и гостиную, помещалась на втором этаже и могла вместить свободно двадцать-тридцать человек. Шесть комнат вверху и внизу занимали по одной на каждого Александр, Николай и Михаил Муравьевы, Иван Бурцов, Петр и Павел Калошины, молодые офицеры гвардейского штаба, старинные приятели Муравьевых. Постоянными посетителями артели были Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Никита Муравьев, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой. Приходили Лев и Василий Перовские, Михайло Лунин, Михайло Пущин, Дмитрий Бабарыкин, Алексей Семенов, несколько позднее стали появляться здесь и лицеисты Иван Пущин, Владимир Вольховский, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер.

Артель, созданная Николаем Муравьевым и его товарищами, в отличие от обычных бытовых артелей являлась политической организацией, а сами артельщики называли ее между собой Священной нераздельной артелью, но говорить о ее существовании артельскими правилами запрещалось. Связанные единомыслием члены артели и их товарищи составляли Священное братство, которое превыше всего ставило любовь к отечеству, общественное благо и пользу сограждан. «Всякий член Священного братства, занимаясь различно самообразованием и служебными делами, обязывался содействовать намеченной цели и пользе общей». А цель явно виделась в изменении существующего порядка вещей.

Иван Якушкин, вспоминая позднее о частых встречах с братьями Муравьевыми, писал: «В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще. То, что называлось высшим образованным обществом, большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего».

Иван Пущин в своих записках тоже свидетельствует о политическом характере бесед в Священной артели: «Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизило меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем».

В комнате Николая Муравьева, признанного главы артели, находился вечевой колокол, каждый мог ударить в него и собрать сход для решения общественных дел. Собрания Священного братства были закрытыми и открытыми. На закрытых решались такие вопросы, как выбор думы, артельщика и казначея, а также прием новых членов братства. На открытых собраниях, которые назывались беседами, шла главным образом подготовка будущих членов братства. Когда тот или иной кандидат был достаточно просвещен, наблюдающий за ним артельщик свидетельствовал, что, по его мнению, этот кандидат заслужил право быть членом Священного братства «мыслями и поступками, сходными с правилами, знаменующими нас», после чего он подвергался еще испытанию и лишь затем утверждался членом братства[13].

Меры предосторожности, принятые в Священной артели, оказались весьма своевременными. Император Александр, возвратившийся из европейского вояжа, строжайшим образом запретил существование каких бы то ни было офицерских артелей, сказав, что ему эти офицерские сборища не нравятся. Священная артель довольно легко перешла на

нелегальное существование.

... Навсегда остались в памяти Николая Муравьева артельные зимние вечера. На дворе морозно, северный злой ветер поднимает и гонит по пустынным улицам снежную колючую пыль, леденит дыхание у спешащих домой редких прохожих. А в артельной гостиной тепло и необыкновенно уютно. Великий артельщик, как звали товарищи Николая, позаботился о том, чтобы всем здесь было приятно. Окна завешены тяжелыми бархатными шторами. На стенах со вкусом подобранные картины и гравюры. Зеленеют пальмы в глазированных кадках. Горят свечи в старинных бронзовых подсвечниках, неугасимое колеблющееся пламя камина отсвечивает на стеклах книжных шкафов и на полированных клавишах фортепьяно, которое достал где-то Бурцов, неутомимый и ревностный помощник великого артельщика.

Собравшиеся в гостиной члены Священного братства расположились где кому понравилось: и за столом, и на широких удобных диванах, и в креслах, а некоторые устроились прямо на полу, против камина, сидя на коврике, поджав по-турецки ноги, с чубуками и трубками в зубах.

Якушкин, расхаживая по комнате, говорит взволнованно:

– Существующие у нас рабство и аракчеевские порядки несовместимы с духом времени... Я видел недавно, как истязают солдат шпицрутенами. Невыносимое зрелище! А положение несчастных крестьян, остающихся собственностью закоснелых в невежестве и жестокосердии помещиков? Мир весь восхищен героизмом русского народа, освободившего свое отечество и всю Европу от тирании Бонапарта, а какую награду героям уготовил их повелитель император Александр?

– А ты царского манифеста не читал? – иронизирует Матвей Муравьев-Апостол и на церковный манер возглашает: – Верный наш народ да получит мзду свою от бога!

– Вот, только разве это, – усмехается Якушкин. – Мзда от бога! Ничего, кроме лживых обещаний и красивых жестов! В Европе наш царь держится чуть ли не либералом, а в России – жестокий и бессмысленный деспот!

– Чего стоит подписанный недавно государем указ о создании военных поселений! – напоминает Петр Калошин. – Аракчеев все глубже запускает когти в тело народа...

Николай Муравьев, сдерживая негодование, добавляет:

– На Бородинском поле до сей поры не сооружен ни один памятник в честь храбрых русских воинов, погибших здесь за свое отечество; жители окрестных селений, не получив никакого пособия, живут в ужасающей нищете, питаются мирским подаянием, тогда как благоверный наш государь изволил выделить жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего в том месте, два миллиона русских денег.[14]

– Какое издевательство над русским народом, какое оскорбительное предпочтение чужеземцев! – пылко восклицает Никита Муравьев. – Не стыдно ли после сего оставаться в безмолвном повиновении монарху, допускающему подобные явления?

– Приходится повиноваться, коль вся власть и сила в его руках. – вздыхает кто-то из сидящих у камина.

– Печальная истина, с коей нельзя не считаться, – произносит длиннолицый, чопорный Сергей Трубецкой и повертывается в кресле к Никите Муравьеву: – Вы сказали как-то святые слова, Никита Михайлович: нельзя, чтоб произвол одного человека был основанием правления. Вполне разделяю ваше мнение. Вы говорили также, что слепое повиновение основано только на страхе и недостойно ни разумных повелителей, ни разумных подданных.

Согласен и с этим. Государь, столь явно чуждающийся нас, сам отвращает от себя и уважение наше и желание служить ему, истинно так! Однако ж и того забывать нельзя, что простолюдины смотрят па многое иначе, чем мы с вами, повиновение, помазаннику божию прививалось народу православной церковью веками, следовательно...

– Следовательно, необходимо приучать народ неповиновению земным владыкам, – вставляет сидевший рядом с братом на диване Сергей Муравьев-Апостол.

Все невольно улыбаются столь неожиданному выводу. Сергей продолжает:

– Нет, право, любезный Трубецкой, ты подсказываешь дельную мысль.. Церковь пользуется словом Божиим, чтоб поддерживать самодержавие, а ежели сие духовное оружие направить против? Будем пояснять, что бог создал всех равными, и апостолов собрал из простых людей, и повиноваться царям, тиранящим простой народ, богопротивно...

– Что ж, мысль сама по себе недурна, – одобрительно кивает головой Бурцов, – можно для просвещения народа и этим средством пользоваться...

Трубецкой недовольно морщится:

– Я же хотел, однако, сказать, что задача наша более в том состоит, чтоб добиваться ограничения самовластья, способствовать ускорению полезных реформ, нежели в том, чтоб говорить о неповиновении властям предрержащим...

Тут поднимается сидевший в задумчивости у камина брат Александр. В новеньком гвардейском мундире с только что полученными полковничьими эполетами, высокий, статный, с мужественными, благородными чертами лица, он и впрямь похож чем-то на известного полководца маршала Морица Саксонского, артельщики недаром прозвали его дружески Маршалом.

– Много вопросов существует, братья и товарищи, о коих долго еще придется спорить нам, – говорит Александр, – но есть и такие в нравственном мире неоспоримые истины, что уверять в них образованных людей было бы смешно. Разве не такова высказанная Жан-Жаком Руссо истина, что наибольшее благо всех состоит в свободе и равенстве? А кто из нас возьмет на себя смелость оспаривать, что узаконенное рабство, существующее в нашем отечестве, является величайшим его позором? Я разделяю негодование Якушкина, неустанно напоминающего о горькой участи крестьян, остающихся в собственности помещиков. Русские люди торгуют русскими людьми, меняют их на собак и лошадей, проигрывают в карты, заставляют исполнять свои любые самые гнусные прихоти и за ослушание запарывают до смерти... – Александр делает короткую передышку, затем еще более гневно продолжает: – И все же наши знатные господа-староверы утверждают, будто в крепостничестве заключается древнее законное право русского дворянства. Законное право пользоваться чем же? Землями и трудами своих крестьян, располагать личной их участью! Если это право законное, то что же тогда незаконное? Нет, нельзя мириться с таким положением! Братья, товарищи, друзья артельщики, давайте рассудим, каким способом можем мы воздействовать на правительство, заставить его освободить народ от рабства, ускорить проведение полезных реформ, как выразился Трубецкой, или... или следует нам предпринять для блага отечества и пользы сограждан что-то иное? Подумаем! Да возговорит в нас честь и совесть истинных и верных сынов отечества!

Ничего нового как будто сказано не было, артельщики не раз высказывались за необходимость уничтожения крепостного права, но та сила убежденности, страстность, с которой говорил Александр Муравьев, артельщиков всегда увлекала, и, как обычно, последние его слова утонули в гуле возбужденных голосов:

– Дольше терпеть крепостное иго невыносимо!

– Стыд вечный нам и презрение потомства, если не сделаем для освобождения крестьян всего, что в наших силах!

– Самодержавие на крепостничестве держится, на царя надеяться бесполезно!

Загорались жаркие споры, накалялись страсти. Высказывались и разумные мысли, но более строились всяческие несбыточные планы, давались клятвенные обещания не щадить жизни для счастья отчизны. Все это от души, от чистого сердца. Благородные помыслы владели молодыми офицерами, желавшими видеть свое отечество свободным, могучим, просвещенным.

Широко открытыми влюбленными глазами глядит на своих красноречивых друзей Павел Калошин, шестнадцатилетний прапорщик, самый младший из артельщиков. А его брат, Петр, которого артельные вечера настраивали на поэтический лад, что-то, кажется, нашептывает, может быть, в его голове уже складывались посвященные артели стихотворные строки:

Мечта золотая ранних дней

Еще от нас далеко,

Еще в тумане скрыта цель

Возлюбленных желаний!

Кто ж благотворную артель —

Источник всех мечтаний,

Высоких чувств и снов золотых

Для счастья отчизны, —

Кто в шуме радостей пустых

Мне замени?т в сей жизни?

Незаметно проходит время. Догорают свечи. Часы бьют полночь. Николай Муравьев садится за фортепьяно и ударяет по клавишам. Плывут торжественные звуки Марсельезы. Споры сразу затихают, один за другим поднимаются со своих мест артельщики ис разгоряченными лицами, стоя и взявшись за руки, вдохновенно поют вполголоса Марсельезу:

Allons enfants de la Patrie!

Le jour de gloire est arrive...

... Между тем наступили рождественские праздники. В доме Мордвиновых, где постоянно собиралось много молодежи, веселились каждый день: елки, маскарады, катание на тройках, концерты, танцы. Николая Муравьева принимали в семействе адмирала с обычной приветливостью, он участвовал во всех святочных развлечениях, и Наташа была с ним мила по-прежнему, но на душе у него было невесело. Все-таки в отношении к нему адмирала

ощущалась какая-то настороженная выжидательность, да и само по себе положение его в доме Мордвиновых отличалось полной неопределенностью. До каких же пор можно ждать ответа на сделанное Наташе предложение? Смутное беспокойство овладевало им все более. Он не сомневался в чувствах Наташи, и, будь она немного посмелей и не так привязана к отцу, которого все его дети боготворили, он нашел бы способ увезти ее и обвенчаться, но о том нечего было и думать: Наташа без родительского благословения ни за что на это не решится. А надо было что-то делать, зная, что товарищи каждый раз при встречах интересовались, когда же его намерение осуществится.

Он отправился к дяде – Николаю Михайловичу Мордвинову, брату матери, родственнику адмирала, признался ему во всем, просил переговорить с родителями Наташи, чтобы дали они решительный ответ на сделанное им предложение – больше ждать он не может.

Дядя согласился, был у адмирала и говорил с ним, но тут произошло нечто такое, чего никак нельзя было предвидеть.

Адмирал не принял во внимание никаких высказанных дядей доводов и сказал:

– Дочь моя и все наше семейство относятся к племяннику вашему с уважением, но так как он не желает ждать, а требует ответа решительного, то объявите ему, что мы отказываем ему в супружестве с Наташей и просим, чтобы он удалился из Петербурга, потому что может повредить нашей дочери...

Жестокий неожиданный удар совершенно сразил Николая Муравьева, и только спустя полгода смог он взяться за перо, чтоб записать, в каком состоянии тогда находился: «Я был в отчаянии. Можно ли было ожидать такого ответа от людей, которых я привык уважать? В крайнем волнении находились тогда мои мысли, я терял все очарования будущности, коими питались мои надежды, и мрачные думы их заменили. Мне хотелось исчезнуть, удалиться навсегда из отечества. Я думал скрыться в Америке, и так как у меня не было средства предпринять этот путь, хотел определиться простым работником или матросом на отплывающем корабле. Долго думал я о сем способе, но оставил это намерение, боясь бесславия, которое нанесу сим поступком отцу своему и семейству. Затем мне приходило на мысль застрелиться. Может быть, и не остановился бы я в исполнении сего намерения, если б не удерживала меня страстная и нежная любовь к Наташе, которую я опасался огорчить этим поступком. Родители ее требовали, чтоб я выехал из Петербурга, и я решился на сие последнее средство не из уважения к ним, а к дочери их».

Выехать из Петербурга, оставить службу здесь... Но как это осуществить? Он только что подучил чин штабс-капитана, однако материальное положение его не улучшилось, а скорее ухудшилось. Пришло известие из Москвы, что отец, произведенный недавно в генерал-майоры и утвержденный начальником московской школы колонновожатых, опять наделал долгов и на помощь его совершенно рассчитывать нечего.

И тут только разъяснилась истинная причина адмиральского отказа. Побоялись связать судьбу дочери с офицером без средств. Что ж, в этом была своя логика! Навсегда осталась у Николая Муравьева неприязнь к честолюбивым аристократам и сановникам, ценящим людей не по личным заслугам и достоинствам, а по чинам, связям, состояниям.

Братья и друзья артельщики, которым он обо всем рассказал, были возмущены до глубины души. Бурцов собрался идти стыдить и урезонивать адмирала.

Николай остановил его:

– Нельзя этого делать, ты забываешь, что у меня тоже есть самолюбие. Если б даже они сами прислали за мной, я бы все равно не пришел. Я оскорблен, огорчен, обижен, и мысли мои стремятся лишь к тому, чтобы поскорее уехать отсюда, найти занятие, которое помогло

бы мне забыть о понесенной утрате...

– Я понимаю твое состояние, – со вздохом промолвил Бурцов, – но ты должен и об истинных друзьях своих подумать. Возможно, ты оставляешь нас на пороге великих свершений, отечеству нужны будут твои способности и душевная сила, ужели ты, глава Священного нашего братства, хочешь навсегда лишить нас надежды сопутствовать нам на стезе общественного блага?

Сердечность, с какою говорил Бурцов, тронула Николая, он ответил взволнованно:

– Нет, добрый мой Бурцов, я никогда не забуду нашего Священного братства, навсегда останусь верен нашим правилам, и ежели настанет время великих свершений, как ты говоришь, и потребует того польза отечества, я к вам возвращусь... А сейчас я должен искать способ удалиться отсюда, нет у меня иного выбора!

И вскоре случайная встреча, как это часто в жизни бывает, помогла этот способ найти.

С поручением из гвардейского Генерального штаба он был во дворце и, выходя оттуда, лицом к лицу столкнулся с Ермоловым. Алексей Петрович окинул его быстрым взглядом пронизательных серых глаз, узнал, обнял, потом отвел в сторону, спросил со свойственной ему прямоотой:

– А ты почему будто не весел, братец Муравьев? Что с тобой приключилось?

Николай был душевно расположен к Ермолову и таиться не стал, тут же поведал кратко о причинах угнетенного своего состояния. Ермолов выслушал внимательно, с явным сочувствием.

– Да, история твоя печальная, слов нет, на незнатных служивых, как мы с тобой, всюду шишки сыплются, однако зачем же голову вешать? – Алексей Петрович дотронулся до руки Муравьева и продолжал: – Я тебя за храброго, образованного, умного офицера знаю, помню, как при Кульме под ядрами стоял, и, если пожелаешь, могу тебя с собой взять.

– С вами готов куда угодно, ваше превосходительство, – не задумываясь и благодарно глядя на генерала, отозвался Муравьев.

– Подожди, подожди, – слегка поморщился Ермолов. – Во-первых, запомни, что я титулований терпеть не могу, у меня имя и отчество есть, а во-вторых, выслушай сперва, что скажу, и до времени никому того не разглашай... Меня посылают чрезвычайным послом в Персию, и я могу включить тебя в число посольских чиновников...

– Что же может быть для меня лучшего? – воскликнул Муравьев. – Я буду век признательным должником вашим!

– Но уговор, уговор! – Ермолов поднял палец, лицо его приняло строгое выражение. – По возвращении из Персии я остаюсь в Грузии командовать войсками Кавказского отдельного корпуса, мне и там нужны будут образованные сотрудники, ты должен дать слово, что и в Грузии меня не оставишь...

– Охотно даю, Алексей Петрович, лишь бы в гвардейском штабе не препятствовали...

– А уж это не твоя забота, договорюсь сам... Завтра утром явись ко мне, поговорим обо всем посвободней!

Ермолов все устроил отличным образом. Теперь оставалось собраться и проститься с близкими. Артельщики не могли не согласиться, что служба под начальством Ермолова, поездка с ним в Персию – превосходный выход из положения для Николая, многие ему

завидовали, но расставаться с ним было тяжело, особенно потому, что...

Ночью к нему в комнату пришел брат Александр. Он сел на кровать, как любил это делать в детстве, и откровенно признался, что считает необходимым создать тайное общество, целью которого будет в обширном смысле благо России, и что он говорил об этом с некоторыми членами Священного братства, и они замысел его одобряют.

– Я понимаю, – добавил Александр, – что мысли твои сосредоточены сейчас на другом, но ты имеешь опыт в устройстве подобных обществ, и мне хотелось бы посоветоваться с тобой, узнать твое мнение на сей счет.

– Мы всегда с тобой были близки по склонностям и понятиям нашим, – ответил Николай, – тебе в моем мнении сомневаться нечего, Саша. Я полагаю, что пора для соединения единомыслящих людей в едином тайном обществе назрела, верю, что благородное предприятие сие отечеству послужит с большой пользой... Мне только одно немного неясно, – продолжил он, подумав, – все наши артельщики, не сомневаюсь, войдут в тайное общество, а что же тогда будет со Священной артелью нашей?

– В артели все останется, как при тебе, в беседах наших будут убеждения и мысли друзей и товарищей выявляться, и коих найдем для дела готовыми, станем принимать в общество.

– Стало быть, Священная артель как бы соединит свою деятельность с деятельностью тайного общества?

– Выходит, так. Придется, вероятно, при составлении устава общества и кое-что позаимствовать из наших артельных правил... А в общем, – неожиданно вздохнул Александр, – жаль, что обстоятельства нас с тобою разлучают... Нам, как никогда, будет тебя не хватать.

– Бурцов говорил со мной о том же. Ничего не поделаешь, судьба! – сказал Николай. – Самому тяжело разлучаться с вами. Сердце сжимается, как подумает, что вскоре зазвонит без меня вечевого колокол и вы опять соберетесь вместе, а я лишь мысленно буду представлять все и слышать приятный вечевой звон, он проводит меня через места чужие, раздастся в обширной донской степи, эхо повторит его в горах, наконец, умолкнет он, когда строгий долг службы повелит мне оставить воспоминания... Грустно, грустно, Саша!

Александр взял его руку в свою, пожал сочувственно.

– Мы будем по-прежнему считать тебя своим великим артельщиком...[15]

– Считаю меня также и сочленом в создаваемом обществе. Верь, Саша, куда бы судьба меня ни забросила, я всюду буду служить общему нашему делу. Может быть, и на Кавказе мне удастся что-то создать в духе нашего общества...

– А если нам придется кого-то укрыть, – сказал Александр, – или кто-нибудь из наших не по доброй воле попадет на Кавказ, мы будем рассчитывать на твою помощь.

– Об этом не стоит и говорить... Пишите чаще, держите постоянную связь со мной, только соблюдайте величайшую осторожность!

... Сборы посольства задержались до конца лета, но пришел наконец и тот печальный день, когда братья и друзья артельщики проводили Николая Муравьева до Средней Рогатки и расстались там. А близ Осташева, куда заезжал из Москвы проведать отца, последний раз неожиданно встретился он с Наташей.

Почтовая тройка, звеня бубенцами, бежала по Волоколамскому большаку. Было раннее утро той благодатной поры, которую в народе издавна называют бабьим летом. Золотилась и

краснела листва в подмосковных лесах, над убегающей вдаль извилистой речушкой медленно плыла голубая дымка, и свежий воздух был напоен острыми запахами грибов и увядающих трав.

– Господа какие-то нас догоняют, – сказал ямщик.

Николай повернулся и увидел, как из-за рощи, куда сворачивала дорога, показалась запряженная в дышло парой серых рысаков лакированная рессорная коляска, следом другая, а за ними четверка лошадей вынесла старинный тяжелый дормез. Это Мордвиновы возвращались из своей подмосковной в столицу.

Он почувствовал, как прилила к голове волна горячей крови и бешено заколотилось сердце. Он приказал ямщику свернуть чуть в сторону и остановиться. Вылез из брички, жадно глотнул воздух. Серые в яблоках рысаки, собственного мордвиновского завода, высоко вскидывая ногами, быстро приближались. Наташа сидела в передней коляске с младшей сестрой и ее гувернанткой. Он не отрывал глаз от милого лица, и она узнала его и на молчаливый поклон ответила легким кивком головы и улыбнулась.

Экипажи Мордвиновых скрылись за густым облаком пыли. Поднявшееся солнце начинало припекать все чувствительнее. Пахнуло горькой придорожной пылью. Почтовая тройка продолжала свой путь. А он долго не мог прийти в себя, думая о Наташе. Приятный ее взгляд и эта странная, ничего не выражающая улыбка оставили его в тяжком недоумении. Каково ее отношение к нему, к тому, что с ним произошло? Неужели и ей свойственна аристократическая нечувствительность?

Из памяти Николая Муравьева не выходил один случай. Во время Отечественной войны под Вязмой скончался на его руках близкий друг Михаил Калошин, брат артельщиков, молодой гвардейский офицер. Перед смертью он признался, что страстно любит красавицу Нелидову, был с ней счастлив, и просил передать ей, что умирает с ее именем на устах. Муравьев исполнил предсмертную просьбу друга, и что же? Нелидова, выслушав трогательный рассказ, только улыбнулась... Никакою душевного волнения не отразилось на лице молодой аристократки, ничего, одна эта неуместная, страшная, деланная улыбка.

Он не хотел сравнивать, не хотел верить, что Наташа может быть столь же черствой. Незадолго до отъезда ему сообщили, будто за Наташу сватался какой-то князек, но она решительно отвергла его предложение, заявив отцу, что ни за кого, кроме как за Николая Муравьева, не пойдет. И вновь затеплилась у него надежда. Вот почему, увидев ее сегодня, он мучительно ждал, что она хотя бы сброшенным платочком или иным каким знаком выскажет неизменность своих чувств, подкрепит его надежды... Нет, ничего этого не произошло. Все кончено! Вероятно, товарищи, чтобы немного его подбодрить, нарочно сказали ему, что Наташа отказала князьку. Он не должен более питать никаких надежд на счастье с ней...

И все же, несмотря ни на какие доводы рассудка, где-то там, в глубине его души, как огонь под пеплом, жгла и согревала мысль, что он, возможно, ошибается в своих выводах, что Наташа не изменяла своего отношения к нему, и созданная искусственно преграда между ними рухнет, и долгожданное, выстраданное счастье не минует его... Надо терпеть, время и новые обстоятельства все могут изменить! Ведь ему только двадцать два года! А теперь скорее туда, где ждет его новая жизнь, полная опасных приключений, неизведанных тревог и лишений! Погоняй лошадей, ямщик!

Часть II

К тебе песнь дружбы днесь летит.

О брат, с артелью разлученный!

Сей глас тебе да возвестит

Наш за тебя обет священный.

Пусть честь и правота хранит

Тебя в трудах и начинаньях,

А мысль о нас да усладит

Тебя в печалях и страданьях Декабрист Петр Калошин

Мы все почти каждый день о тебе вспоминаем или говорим, собираемся читать твои письма и воображением переносимся на кручища Кавказские вслед за тобою.

Все наши тебя любят и тебе кланяются. Декабрист Никита Муравьев

1

Еще в Петербурге Ермолов просил Николая Муравьева выбрать в созданной его отцом московской школе колонновожатых двух воспитанников, которых разрешено было включить в состав посольства. Будучи в Осташеве, где проводились летние занятия колонновожатых, Муравьев остановил свой выбор на Николае Воейкове и Евдокиме Лачинове. Молодые эти люди были хорошо образованы, прилежны, расторопны, отличались свободомыслием и веселым нравом, обещая, судя по всему, быть добрыми и верными товарищами в дальнем путешествии. Предложение о поездке они приняли с радостью и на Кавказ прибыли одновременно с Николаем Муравьевым в первых числах октября 1816 года.

Но тут выяснилось, что Ермолов получил известие о том, будто турки усиленно вооружаются и сговариваются о чем-то с персиянами; можно было ожидать внезапных нападений. Отправка посольства в Персию опять задерживалась, и, по всей вероятности, надолго. Чтобы не сидеть без дела, Муравьев предложил произвести первую инструментальную съемку местности от Моздока до Тифлиса, {8} чего никто еще не делал. Ермолов охотно согласился.

В экспедиции, возглавленной Муравьевым, приняли участие Воейков, Лачинов и только что прибывший из Петербурга для посольской службы поручик Дмитрий Бабарыкин, задушевный приятель Муравьева, постоянный посетитель Священной артели. Работа по съемке была сопряжена с опасностью, немирные горцы поджидали всюду, экспедицию сопровождал отряд из ста человек пехоты и тридцати казаков при двух орудиях. Тем не менее участники экспедиции, оказавшись вдали от высшего начальства и не скованные никакими уставами, чувствовали себя прекрасно. Всех очаровывала величественная красота Кавказа, покрытые снегом вершины гор, ревущие в ущельях бешеные реки и водопады, вид далеких неприступных аулов и парящих в бездонной голубой выси орлов.. Сама природа, кажется, способствовала тому, что здесь особенно обострялись вольнолюбивые мысли.

Молодые люди почти все время находились вместе, говорили обо всем с полной откровенностью, быстро сближались. Муравьев и Бабарыкин часто вспоминали Священную артель и оживленные артельные вечера. Воейков и Лачинов слушали эти рассказы с явным интересом, и предложение Муравьева создать подобную артель в Тифлисе было всеми одобрено.

Однако в грузинской столице, куда экспедиция возвратилась в середине ноября, задержаться на этот раз не пришлось. Ермолов проделанной работой остался очень доволен и сказал Муравьеву:

– Ну, любезный Николай, вижу, что не ошибся в тебе, съемка превосходная, я словно другими глазами край увидел.

– Разрешите напомнить, Алексей Петрович, что съемка не мною одним производилась...

– Знаю, знаю. Всех благодарю. А теперь, если еще услужить мне желаешь, бери свою команду и отправляйся в пограничные наши области. Там и необходимую съемку проведете, и описание гор и перевалов сделаете, и хорошо бы поверней разведать о намерениях наших соседей... Может быть, тебе удастся лазутчиков опытных найти?

– Постараюсь, Алексей Петрович. Все, что в моих силах, будет сделано.

Ермолов подошел к висевшей на стене карте, продолжил:

– Вот тут, в Гумрах, подполковник Севарзедшидзе с батальоном тифлисского пехотного полка стоит, я ему напишу, чтобы во всем тебе была оказана помощь. От Гумр в двух верстах, за рекой Арпачаем, турецкие владения, земли Карского пашалыка рядом, да и до персидской границы оттуда рукой подать... Только, любезный Николай, тайность соблюдай наистрожайшую. Туркам и персиянам, полагаю, состав посольства известен, молодцам своим строго-настрога прикажи, чтоб всего остерегались... Впрочем, я на тебя надеюсь. Ты же у Кутузова в квартирмейстерах служил, – неожиданно вспомнил Ермолов, – следовательно, цену осторожной изворотливости знаешь!

Спустя несколько дней Муравьев, отправив своих товарищей для съемки в разные пограничные селения, сидел в небольшом деревянном домике подполковника Леонтия Яковлевича Севарзедшидзе. Высокий, статный, с тонкими благородными чертами лица и посеребренными черными кудрями, подполковник сразу расположил к себе. Сын бедных родителей, хотя и происходивших из княжеского грузинского рода, Леонтий Яковлевич прямым путем, без средств и связей, достиг своего звания, слыл как умный, справедливый человек и необычайно мужественный, храбрый офицер. Однажды Гумры были атакованы двадцатью тысячами турок. Севарзедшидзе, устроив на выгодных позициях батареи, держался с одним батальоном четыре дня, пока не пришли на помощь войска из Грузии.

Леонтий Яковлевич принял Муравьева просто, по-дружески и, когда тот сказал о данном ему поручении, заметил:

– Среди местных армян и татар сыскать лазутчиков нетрудно, но как ручаться за достоверность их сведений? Иные, побыв лишь в ближних деревнях, плетут что на ум придет, а другие нарочно, чтоб получить большее вознаграждение, представляют все в преувеличенном виде. Вот дело какое!

И тут внезапно у Муравьева возникла дерзкая мысль:

– А что, если мне самому попробовать за рубежи наши пробраться?

Севарзедшидзе отговаривать не стал, но предупредил:

– Рискованное предприятие, Николай Николаевич. Персияне хитры и жестоки, при малейшем подозрении можно голову потерять...

– Понимаю, Леонтий Яковлевич. Однако ж любопытно знать, как бы вы сами на моем месте поступили?

Подполковник улыбнулся, признался:

– Смелым бог владеет, попробовал бы, вероятно... И прежде всего в персидских границах Эчмиадзинский монастырь посетил бы. Там все армяне-монахи нам преданы. Патриарх Ефрем, хотя и считает эриванского сердаря своим высоким покровителем, но мне в добрый час открылся, что он, как и весь армянский народ, молит бога, чтоб Россия исторгла из-под власти ненавистных персиян. На патриарха и его ближних можно положиться. Они и нужные сведения лучше любого лазутчика добудут.

– Спасибо за добрый совет, Леонтий Яковлевич. Давайте поговорим о том, как осуществить вояж в Эчмиадзин?

На следующий день Муравьев, в штатском костюме, снабженный документом на имя Ивана Семеновича Старина, едущего в Эчмиадзин молиться богу, был уже близ Арарата и, переночевав в армянском селении Мастрах, благополучно прибыл в Эчмиадзин. Все получилось, как говорил подполковник. В монастыре приняли Ивана Семеновича Старина с великим почетом, и патриарх, догадавшись, что приехавшего богомольца интересуют не столько молитвы, сколько замыслы и поведение персиян, охотно помог удовлетворить это любопытство.

Пробыв в персидских владениях четыре дня, Муравьев возвратился в Гумры, где с нетерпением ожидали его соотечественники.

– Теперь, погостив у одних соседей, не следует забывать и других, – весело сказал Леонтий Яковлевич. – Завтра к туркам поедem!

Ранним утром Севарзедшидзе и Муравьев, сопровождаемые несколькими верными офицерами, переправились через Арпачай и приехали в турецкое селение Баш-Шурагели. Там у Севарзедшидзе было много знакомых турок и татар, которые, несмотря на строгие магометанские законы, весьма охотно пили русскую водку и язык на привязи не держали. Муравьев жалел лишь о том, что приходилось собирать сведения через переводчиков, это страшно усложняло задачу, он тут же дал себе слово выучиться в ближайшее время персидскому и турецкому языкам.

7 января 1817 года Муравьев был в Тифлисе. Сведения, собранные им, и съемки, сделанные в пограничных областях, привели в восторг Ермолова и совершенно расположили его к деловитому и отважному штабс-капитану.

Выполняя особо важные поручения главнокомандующего, усиленно занимаясь изучением восточных языков, Николай Муравьев в то же самое время не оставляет и политической деятельности.

В дневнике он записал: «Мое намерение было устроить пребывание в Тифлисе наподобие петербургской жизни нашей, и потому я пригласил своих товарищей жить вместе и принять учреждения артельные. Мы жили у Джиораева в доме, у Дигомских ворот. Вскоре пригласили еще Щербинина и Машкова, живописца».

Так возникло на Кавказе общество вольнодумцев, принявших устав и правила Священной артели. А в то время артели в воинских частях были строго запрещены, следовательно, тифлисская артель вела нелегальное или полунелегальное существование. Членами ее были

Николай Муравьев, Евдоким Лачинов, Дмитрий Бабарыкин, Николай Воейков, подпоручик Михаил Щербинин и известный художник Владимир Дмитриевич Машков. Артельщиком был избран Лачинов. Все они являлись сотрудниками собранного в Тифлисе и задержавшегося здесь посольства. Постоянно посещали артель секретарь посольства Александр Худобашев, штабс-капитан Василий Бебутов и капитан Петр Ермолов, двоюродный брат главнокомандующего.

Тифлисская артель была тесно связана со Священной артелью.

Переписка Николая Муравьева с петербургскими артельщиками не прекращалась. 23 февраля 1817 года Павел Калошин его уведомил: «Вчера получила артель о тебе известие, что ты был послан на съемку. Да возрадуется нераздельная артель о геройских подвигах знаменитого ее основателя! Члены артели, дабы не оставить тебя без известий насчет оной и согласуясь со свойственной им ленью, положили, чтоб писать к тебе еженедельно одному из членов, начиная с младшего, что я сим и исполняю»[16].

Держали свое слово и другие артельщики. Чуть ли не с каждой почтой приходили в Тифлис письма от брата Александра или Ивана Бурцова, Петра Калошина, Никиты Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола... Там, в Петербурге, в доме генеральши Христовской на Грязной улице, по-прежнему собиралось вечерами Священное братство, и члены его громили самодержавный деспотизм, в страстных спорах зрели здесь мысли о героических деяниях. А многие из членов Священного братства состояли уже в созданном Александром Муравьевым тайном обществе, где правила, принятые в Священной артели, сочетались с более энергичной деятельностью, направленной на благо любезного отечества в более широком смысле, как говорил брат. И Николай Муравьев знал, что товарищи и друзья постоянно вспоминают о нем, любят его, считают своим и не теряют надежд на его возвращение.

«Отечество немного имеет сынов, подобных тебе, и ожидает от дел твоих величайшей пользы, – писал Бурцов. – Если ты, имея средства, не будешь употреблять их для блага сограждан, то не достоин будешь имени добродетельного, того имени, которое по всем правилам принадлежит тебе... Возвратись в отечество и присоедини труды свои к нашим занятиям, благу сограждан посвященным».

Дружеские чувства, которые артельщики к нему питали, высказывал в стихах Петр Калошин.

А вот записка от Никиты Муравьева, которого Николай любил особенно сердечно и упрекнул однажды в том, что тот пишет ему реже всех:

«Любезный Николай! Я так перед тобой виноват, не знаю, как и извиниться, повинную голову меч не сечет. За всем иным не думай, чтоб я тебя забыл. Мы все почти каждый день о тебе вспоминаем или говорим, собираемая читать твои письма и воображением переносимся на кручища кавказские вслед за тобою. Александр опять прихварывает. Я почти каждый день с ним вижусь. Я надеюсь, любезный друг, что ты не будешь мне мстить, а будешь отвечать на сие мое послание. Все наши тебя любят и тебе кланяются. Сделай милость, опиши мне все свое пребывание в Грузии и каково она тебе понравилась. Ты не завел себе еще серала?.. Прощай, любезный друг, тебя любящий Никита Муравьев».

Николай, прочитав записку, невольно улыбнулся. Вместе с братом Александром, Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами, Якушкиным и Трубецким Никита положил начало тайному обществу, был одним из самых ревностных его членов. Николай знал это и перед отъездом на Кавказ, прощаясь с Никитой, договорился с ним, чтоб в переписке соблюдалась необходимая конспирация. Теперь из записки Никиты он узнал, что тайное общество продолжает свою деятельность, собираются они почти каждый день в артели, в комнате Александра, и все кланяются ему и просят известить, не создал ли он на Кавказе, как намеревался, артель или иное политическое общество.

Нет, порадовать товарищей успешным осуществлением своего намерения Николай Муравьев пока не мог. Тифлисская артель, созданная им, не оправдывала еще возлагавшихся на нее надежд. В дневнике он сделал грустное признание: «Я искал хоть чем-нибудь вспомнить старую артель нашу, но не удалось: не те люди, не то единообразие в обычаях, мыслях, не та связь... Ссор у нас никаких не было, но я весьма ошибся в своем расчете: большая часть господ не любила заниматься, а только мешала мне. Никто почти не имел понятия об общей пользе, а всякий только о себе думал. Я завел было уроки, их слушали без внимания. Видя все сии неудачи, я начал сожалеть о своем предприятии».

И все же артель продолжала существовать. И вероятно, он сумел бы в конце концов привлечь артельщиков к общественно-политической деятельности, но дело неожиданно стало осложняться непредвиденными причинами и обстоятельствами.

Бывая часто у Алексея Петровича Ермолова, подолгу и откровенно беседуя с ним, Николай Муравьев с каждым днем все более привязывался к этому необыкновенному человеку. Ермолову исполнилось сорок лет, но трудно было угадать этот возраст в широкоплечем богатыре с резкими красивыми чертами лица, львиной гривой темных густых волос и быстрыми серыми, чуть насмешливыми глазами.

Ермолов получил образование в благородном пансионе московского университета, затем постоянно пополнял свои знания, много читал, обладал широким кругозором, беседы с ним доставляли истинное наслаждение. Особенно сблизало с Ермоловым его свободомыслие. Он рано, как и Муравьев, познакомился с книгами французских просветителей, увлекался Вольтером и Жан-Жаком Руссо. Находясь на службе в суворовских войсках, двадцатилетний капитан Ермолов вступил в тайное общество, созданное его старшим единоутробным братом полковником Александром Михайловичем Каховским, адъютантом Суворова. Заговорщики хотели «взбунтовать войска и восстать против государя, имея план к перемене правления». Заговор был раскрыт при императоре Павле, в 1797 году, причем генерал Ф.И.Линденер, производивший следствие, доносил царю, что заговорщики, которых он именовал «приверженцами вольности» и «якобинцами», на своих тайных собраниях «производят чтение публичное запрещенных книг, как то Гельвеция, Монтескье, Гольбаха и прочих таковых книг, развращающих слабые умы и поселяющих дух вольности, хвалят французскую республику, их правление и вольность».

Каховский был лишен чинов, дворянства и навечно заточен в Динамюндскую крепость. Наказанию подверглись все другие заговорщики. Ермолова, продержав несколько месяцев в Петропавловской крепости, выслали в Кострому под надзор полиции, и освобожден он был из ссылки только после смерти царя Павла[17].

Принадлежа к суворовской военной школе, отличаясь незаурядным военным дарованием, мужеством и хладнокровием, Ермолов, продолжая оставаться «приверженцем вольности», смело, зло и остро издевался над иноземными «теоретиками», действия которых сковывали русские войска, являлся непримиримым врагом придворных аристократов и бездарных парадоманов из аракчеевских ставленников. Обличительные остроты Ермолова были всюду широко известны и создавали ему заслуженную популярность.

А с подчиненными Алексей Петрович держался просто, как старший товарищ. Доступ к нему был для всех свободен. Отвечая на приветствия, он вставал даже перед самым младшим армейским чином. Посещал войсковые части, прежде всего расспрашивал солдат, как им живется, требовал от командиров человеческого отношения к нижним чинам. Несмотря на строгие воинские уставы, Ермолов освободил войска Кавказского корпуса от излишних учений, заменил стеснительную форму одежды более легкой, заботился об устранении всяких иных солдатских тягот.

Муравьеву не раз приходилось слышать, как солдаты, обсуждая справедливые распоряжения

Ермолова, говорили:

– Дай бог всю жизнь служить с таким начальником! За него в огонь и в воду пойдём!

Вот как складывалось положение на Кавказе. Можно ли было заниматься здесь созданием каких бы то ни было политических организаций без ведома главнокомандующего?

Однажды вечером Муравьев, будучи наедине с Ермоловым и пользуясь его хорошим настроением, начал осторожный разговор о том, что необходимо, по его мнению, завести в корпусе офицерские общества для самообразования и просвещения.

Алексей Петрович живо заинтересовался:

– Согласен с тобой, любезный Николай, дело нужнейшее, сам думал об этом, созерцая, как гарнизонные командиры пухнут от скуки и многопьянства. Только тут, брат мой, и закавыка имеется, – Ермолов привычно прищурил левый глаз и поднял указательный палец, – как на сии просветительные заведения Александр Павлович вкупе с графом Змеем Горынычем Огорчевым{9} посмотрят?

– А мне кажется, Алексей Петрович, этого до их сведения не стоит и доводить. Что тут особенного? Существуют же у нас офицерские артели и клубы...

Ермолов не дал досказать, перебил:

– Существовали! Пока государь либеральничал! А ныне он иными взглядами обзавелся, всюду крамола ему чудится... Хочешь не хочешь, а считаться с этим приходится!

– Я полагал, однако, Алексей Петрович, что жить артельно никому не возбраняется, а потому и поселился у Джиораева вместе с Воейковым, Бабарыкиным и Лачиновым, – признался Муравьев, – но если имеются указания свыше...

– Живи, как хочется, не в этом суть, Николай, – опять перебил Ермолов. – Мне хотелось лишь сказать, что, на мой взгляд, при нынешних обстоятельствах более разумно пользоваться не артелями, а такими обществами, объявленная цель коих не вызывает никаких подозрений. Имеется, например, почтенное библейское общество, или общество археологическое, или по изучению края... Да мало ли где могут встречаться порядочные люди! – Последние слова Ермолова прозвучали несколько загадочно, но уточнять их Алексей Петрович не стал. Он поднялся из-за стола, подошел к Муравьеву, положил дружески руку на его плечо: – Ну, об этом мы с тобой еще потолкуем, а сейчас другими делами займемся... В ближайшие дни посольство наше в Персию тронется, необходимо побыстрее все привести в полную к сему готовность!

2

В последних числах апреля Ермолов, сопровождаемый многочисленными посольскими чиновниками, конвойной командой гренадер и конным казачьим отрядом, с военным оркестром и огромным обозом находился уже в персидских владениях.

Путь на Тегеран пролегал через Эривань, Нахичевань и Тавриз. Жара и духота стояли страшные. Дороги были скверные. Вокруг лежала бесплодная каменистая желтая земля, поросшая жестким кустарником, вдали виднелись развалины каких-то древних строений и краснели скалы. Не хватало воды, продовольствия, фуража. Шахские чиновники, обязанные по договоренности снабжать посольство всем необходимым, прятались или доставляли

продукты в меньшем количестве, чем требовалось, притом почти всегда в недоброкачественном виде.

Муравьеву не раз приходилось бывать в придорожных селениях, чтобы купить свежего мяса или фруктов, но и за деньги приобрести их было нелегко. Народ находился в полном рабстве у шаха и управляющих провинциями ханов. Босые оборванные жители селений глядели испуганными голодными глазами и поясняли, что питаются лепешками из отрубей и порченными фруктами, – более ничего ханские приказчики им не оставляют. Грязь в селениях была неопишная. Посольский лагерь приходилось на ночевку разбивать в поле, но и здесь поджидали всякие неприятности. В палатки заползали ядовитые змеи, скорпионы и фаланги, а в постелях появлялись огромные клопы, от укусов которых распухало все тело.

В Тавризе все же немного отдохнули. Здесь жил сын и наследник шаха Аббас-Мирза, который встретил посольство довольно гостеприимно. Тавриз был окружен высокими стенами из сырцового кирпича, башнями и глубоким рвом, гарнизонная артиллерия выглядела внушительно. Зато войска Аббас-Мирзы, хотя и находились под начальством английских офицеров, представляли жалкое зрелище. Сарбазы, как называли здесь пехотных солдат, были дурно одеты и обучены, иррегулярная конница, состоявшая из ополченцев, вооруженных старыми фитильными ружьями и кинжалами, не признавала никакой дисциплины и строевых порядков, и лишь воинственные крутинцы, потомки древних курдов, выделялись как лихие наездники: они метко стреляли на всем скаку из пистолетов и мастерски владели пиками.

Пользуясь свободным временем, Муравьев знакомился не только с бытом и нравами персиян, но и с устройством их войск, словно предчувствовал, что придется воевать с ними. А вечера проводил он с артельщиками, они достали большую персидскую палатку, продолжали жить вместе, причем часто посещал их и сам Ермолов. В дневнике Муравьева сохранилась такая запись: «Третьего дня Алексей Петрович пришел к нам в кибитку рано поутру, перебудил всех и пробыл у нас до самого вечера. Разговоры беспримерного сего человека наставительнее самых лучших книг. Мы заслушались и удивлялись необыкновенному уму и дару его». А вскоре появилась и другая дневниковая отметка: «Вчера было собрание нашего общества у Петра Николаевича. Читали статьи Ермолов и Бебутов о войсках персидских».

Из Тавриза посольство направилось в Султанию. Там находилась летняя резиденция шаха, он известил, что будет здесь, а не в Тегеране принимать чрезвычайного российского посла.

Муравьев не раз слышал рассказы о необыкновенных богатствах и роскоши восточных владык, о пышности персидского двора, и воображение рисовало красочную картину. Султания! Тенистые сады и парки, сверкающий зеркальными стеклами великолепный дворец, мраморные бассейны, фонтаны, пряный и сладкий аромат восточных благовоний, и в одном из окон гарема, за чуть приподнятой занавеской, любопытствующие черные глаза красивой одалиски...

Нет, ничего подобного в Султании Муравьев не увидел. Он прибыл сюда прежде всех для устройства посольского лагеря, который разбили против дворца. Шах со своим двором и гаремом находился еще в пути из Тегерана, и Муравьев имел возможность более или менее свободно осмотреть его резиденцию. Впечатление произвела лишь одна огромная величественная мечеть, оставшаяся от древних времен. Но ни сада, ни парка не было. И стоявший на пригорке дворец оказался весьма посредственным двухэтажным кирпичным домом. Примыкавший к нему гарем построен был на дворе полукругом, имел одну большую среднюю комнату, куда приходит шах, и множество полутемных нечистых чуланчиков, где живут триста шахских одалисок и танцовщиц. Стены дворцовых комнат украшены уродливой живописью. В приемной на картине изображена охота, в центре ее – шах. Сидя на коне, он закалывает лань. Шах представлен в короне и в полной царской амуниции, смотрит он не на лань, а на зрителей, борода его задрана, а талия тоньше руки. Столь же карикатурно на

других картинах написаны сыновья шаха. Мебель во дворце бедная, хороши лишь ковры и некоторые вещи, украшенные крупными бриллиантами и изумрудами.

Муравьев не забыл описать в дневнике торжественный въезд шаха в Султанию и прием, устроенный им российскому послу:

«Рано утром по залпу, данному из замбурагов (или фалконетов на верблюдах), мы узнали, что шах, ночевавший в четырех верстах от Султании, тронулся с места. Второй залп возвестил, что он на половине дороги. Посол поехал в синем сюртуке частным образом посмотреть его въезд. Сарбазы были расставлены в две линии по дороге. Шах ехал один. Впереди шел лейб-гвардии верблюжий его полк, а сзади, поодаль, ехали его чиновники. Увидев наших господ, шах привстал на стременах и закричал им: «Хош-елди», что значит по-персидски «Добро пожаловать». Персияне все рты поразинули и удивлялись необычайной сей милости царской. Шах приказал зятю своему Алаяр-хану показать нам свои войска, что тот и исполнил. При третьем залпе шах въехал в свою лачугу. Войска персидские все мимо нашего лагеря прошли, также и слон шахский. Весьма странно для европейцев видеть верблюжий полк. Верблюды были обвешаны красными лоскутками, и горбы служат лафетом для одной пушчонки. Они хорошо выучены, скачут скорее лошадей, немилостиво ревут и воняют. Где пышность персидского двора? Кроме лоскутков, свинства и нескольких жемчугов, ничего не видно!

... А спустя три дня состоялся первый прием нашего посольства. Приемная шахская открытая палатка была устроена на обширном дворе. Шах сидел на троне, украшенном драгоценными камнями. Ноги шаха, обутые в белые чулки, болтались, и вместо величия, которое мы ожидали, мы увидели мишурного царя на карточном престоле, и все неволью улыбнулись. Он был, конечно, богато одет, впрочем, все было грязно и обношено. Шестнадцать сыновей его стояли у стены недвижимо и безмолвно. Алаяр-хан, сопровождавший посла, громко доложил о нем шаху. Тот приказал приблизиться, в цветистых восточных выражениях поздравил посла с благополучным прибытием. Ермолов передал шаху царскую грамоту, сказал, что император российский желает существующий ныне мир с Персией утвердить навсегда. Шах предложил послу сесть на приготовленные для него кресла. Советники посольства стояли по обоим бокам. Нас всех представили шаху поименно.

Представляя сотрудника посольства капитана Мавра Астафьевича Коцебу, известного путешественника, Ермолов сказал:

– Вот один капитан, который три года ездил кругом света и не был доволен, пока не удостоился увидеть ваше величество.

– Теперь он все видел, – ответил шах и затем несколько раз подтвердил, что мы все его слуги и он нас представит русскому государю к следующим чинам, чему мы немало после смеялись.

Шах имеет простое лицо, борода его, по длине которой измеряется в Персии уважение, совсем не так велика, как ее представляют. Когда шах говорит, он кричит во все горло и говорит довольно глупо. Шах стар, бледное лицо его показывает человека истощенного...

... На следующий день начали перетаскивать подарки, полученные из Петербурга для шаха, в особую палатку, поставленную подле шахской. Подарки состоят из прекраснейших стеклянных и фарфоровых вещей, из больших зеркал и разных игрушек, чтобы забавлять его шахское величество. Особенно хороши меха, которые для этих скотов привезены. Соболи и горностаи удивительной красоты, один мех соболей оценивают в тридцать тысяч рублей. Жалко было смотреть на сии вещи, зная, что они попадут в руки непросвещенных, скотообразных царей, которые напустят их вшами! Шах целый день сидел в своей палатке и смотрел в дырку, как переносили подарки. А затем он опять принимал во дворце посла. Дано

было три залпа из орудий. В комнате шахской привязана была веревка, прикрепленная другим концом к деревянному козлу, поставленному во дворе, и когда шах веревку дергал, козел прыгал, увеселяя его величество. Два слона приходили к дворцу и кланялись шаху. Потом посол повел шаха смотреть подарки. Сей последний весьма удивлялся им. Подошедши к зеркалам, он все кричал «ах! ах! ах!» от удивления. Взобрался на большой туалет из красного дерева и смотрелся в зеркало. Бриллиантам он не удивлялся, а стекло и фарфор ему очень понравились. О богатейших мехах он спрашивал, крашенные они или нет. Он был чрезвычайно учтив с послом. При каждой игрушке, которую ему показывали, он оборачивался к своим и говорил беспрестанно: «Что, миллион!» Царьку так понравились подарки, что он сейчас же велел собрать всех ханов и приказал им удивляться. Мы узнали, что всю следующую ночь он пробыл возле подарков со своими женами.

... Вечером Ермолов собрал наш персидский караул и подарил нижним чинам сто червонцев, а саргангу золотые часы. Но только успел Ермолов отвернуться, как деньги сии сарганг отобрал у солдат и, вероятно, им не отдаст. Солдаты сии мне самому жаловались о несчастном своем положении. Они не получают ни провианта, ни жалованья, которое причитается. Их обкрадывают и начальники и сам шах. Последний следующим образом. При выезде из Султании он объявляет, что ему желательно бы еще две недели тут пробыть, но, зная, что солдатам нужно жить в деревне, заниматься сельскими работами, он уезжает ранее, жертвуя своим удовольствием для блага общего. Объявив сию милость, он приказывает всенародно вознаградить себя деньгами и велит половину жалования войскам недоплатить. Он таких проделок несколько в год делает, а другие военачальники также удобного случая не упускают.

... Посол дал пир главнейшим чиновникам Персии.

Приемная палатка была освещена чудесным образом, к стороне дворца была иллюминация, музыка играла, словом, нельзя было сделать ничего пышнее и параднее, но неучи сии ничего не поняли, они рыгали и ели руками одни арбузы. Вали Курдистанский чуть было не подавился конфеткой, которую он хотел проглотить с бумажкой.

... Незадолго до отъезда принесли нам подарки от шаха. Я получил орден Солнца и Льва, черную шаль и два куска парчи. Послу подарены десять прекрасных шалей, бриллиантовая звезда с орденом, ковры, несколько славных лошадей. Другой на месте Алексея Петровича сделал бы себе состояние из подарков сих, но бескорыстный наш генерал назначил все эти вещи знакомым своим, друзьям и родственникам, ничего себе не оставив».

Первое знакомство Николая Муравьева с Персией, сохранив в памяти несколько интересных впечатлений, во многом его разочаровало. Таинственный Восток предстал перед ним в неприкрашенном виде, как разоренная, бедная, рабская страна, управляемая невежественными царями. И он без сожаления возвращался с посольством в Грузию, где собирался заняться составлением карты Кавказа, описанием кавказского края, быта и нравов вольнолюбивых горцев.

Но когда, прибыв в Тифлис, он сказал о своем намерении Ермолову, тот возразил:

– Все это похвально, любезный Николай, но, признаюсь, у меня иные на тебя надежды и планы. Более широкие!

Алексей Петрович встал из-за стола, подошел к двери и закрыл ее на ключ, потом усадил Муравьева в кресло против себя, спросил:

– Ты о Хивинском ханстве понятие какое-нибудь имеешь?

– Весьма слабое, Алексей Петрович, – признался удивленный неожиданным вопросом Муравьев. – Знаю лишь, что Хива находится близ Индии и что при императоре Петре

Великом был туда послан большой воинский отряд, который весь там погиб.

– Вот, вот! И произошло это в конце 1717 года, ровно сто лет назад, – уточнил Ермолов. – Замысел императора Петра клонился к тому, чтобы открыть через Хиву торговый путь в Индию, а для сего необходимо было склонить хивинцев к русскому подданству или хотя бы установить дружеские отношения с ними и разведать, что сей народ представляет. Под началом посланного туда полковника Александра Бековича Черкасского было три тысячи драгун и казаков. Хивинский хан встретил их миролюбиво, поклялся на Коране, что никакого зла против русских не замышляет, но затем с необыкновенным коварством хивинцы заманили наших в Степь, внезапно напали на них, всех перерезали. И более никаких попыток проникнуть в Хиву правительство наше не предпринимало.

– Стало быть, – заметил Муравьев, – замысел императора Петра Великого до сей поры остался неосуществленным?

– Выходит, что так. А между тем господа англичане, пользуясь нашей неповоротливостью, завели уже шашни с хивинским ханом, всячески настраивают его против нас, снабжают хивинцев, как и персиян, оружием, и в конце концов наши азиатские владения могут оказаться в опаснейшем положении. Суди теперь сам, что следует сделать для пользы отечества.

– Кажется, сам собой напрашивается вопрос об отправке в Хиву новой экспедиции, – сказал Муравьев.

– Вопрос такой напрашивается, это верно, – кивнул головой Ермолов, – да ведь на экспедицию большие средства нужны, а где их взять? Я в Петербурге говорил с министром иностранных дел графом Нессельроде, он понимает, как необходимо завязать сношения с Хивой, а дошел разговор до средств – руками развел. Пуста казна российская!

– Что же в таком случае остается?

Ермолов, пристально глядя на Муравьева, произнес, чеканя каждое слово:

– Отправить в Хиву не экспедицию, а одного отважного россиянина для переговоров с ханом и описания того края...

Муравьеву все стало ясно. Вот какая миссия на него возлагается! Пробраться в Хиву, в это гнездо кочевых разбойников, не признающих никаких международных прав, склонить их жестокого и коварного повелителя к дружеским отношениям с Россией. Сделать то, чего до сей поры никому из русских сделать не удавалось!

Он отлично понимал, какими опасностями чревата эта миссия, но вместе с тем воспринимал ее как сыновний долг перед своим отечеством, и мысль об отказе в голову даже не закрадывалась.

А Ермолов, расхаживая по комнате, продолжал:

– Спешить с отправкой в Хиву не будем. Не менее года потребуется на подготовку. Надо будет договориться с обитающими на восточном берегу Каспийского моря дружественными нам туркменами, чтобы провели в Хиву нашего посланника в своем караване, надо и о подарках хану позаботиться, и о многом другом подумать... Но ты скажи сначала, – он остановился перед Муравьевым, – как на предприятие сие смотришь? Согласен ли взять на себя исполнение сего трудного замысла? Неволить не хочу, отвечай, как совесть подсказывает.

Муравьев встал и сказал спокойно:

– Благодарю за лестное предложение, Алексей Петрович, буду счастлив исполнить оное и

оправдать ваше ко мне доверие...

Ермолов обнял и крепко расцеловал его:

– Иного ответа я от тебя и не ожидал! А разговор наш до поры до времени держи в тайне. Да вот еще что! Я слышал, как ты бойко по-турецки изъясняешься, знаю, что персидский изучаешь, а не худо бы также поболее восточных оборотов и разноречий усвоить, чтобы в Хиве без переводчика обходиться. – Ермолов неожиданно что-то вспомнил, рассмеялся: – Забыл тебе показать, как шахиня нашу императрицу приветствует, – он отыскал на столе бумагу с переводом письма шахини, прочитал: – «Пусть зефир моей дружбы навеваает под широкие полы твоего пышного платья...» Вот, братец, как изъясняться следует!

3

Осенью 1817 года император Александр со всем двором переехал из Петербурга в Москву, где собирался пробыть длительное время. Вместе с императором пришли и гвардейские войска, в рядах которых находилось большинство членов Священной артели и Союза Спасения, именовавшегося также Обществом истинных и верных сынов отечества. Они продолжали собираться по-прежнему у Александра Муравьева, получившего просторную и удобную квартиру в шефском корпусе Хамовнических казарм.

Положение в стране было напряженное. Аракчеевские военные поселения вызывали всюду крестьянские волнения и бунты, подавляемые с небывалой жестокостью. Новые налоги, которыми правительство думало пополнить опустевшую казну, заставляли роптать помещиков, фабрикантов и торговцев. Увлечение царя парадоманией и изматывающей силы бессмысленной шагистикой создавало недовольство и в среде военных. А тут еще стали распространяться тревожные слухи, будто император Александр, презиравший русский народ, собирается восстановить Польшу, расширить ее территорию за счет исконных русских и украинских земель, перенести столицу в Варшаву. И этого можно было ждать, оскорбительные для русских людей замечания с царских уст срывались постоянно.

Патриотические чувства передовой дворянской молодежи были глубоко возмущены. Среди членов тайного общества распространялся революционный гимн, только что написанный капитаном Преображенского полка Павлом Катениным:

Отечество наше страдает

Под иггом твоим, о злодей!

Коль нас деспотизм угнетает,

То свергнем мы трон и царей!

Свобода! Свобода!

Ты царствуй над нами!

Ах! Лучше смерть, чем жить рабами. —

Вот клятва каждого из нас...

На многолюдных и шумных собраниях у Александра Муравьева члены тайного общества все более настойчиво высказывались за решительные действия, направленные на замену самодержавия представительным правлением и уничтожение крепостного права. И однажды, когда после долгих прений особенно сильно накалились страсти, Александр Муравьев предложил:

– Надо начинать действие. Бедственное положение, в коем находится отечество, всем очевидно. Необходимо прекратить царствование Александра. Бросим жребий, кому нанести удар!

Якушкин, в крайнем волнении ходивший по комнате, остановился, обвел всех горячечными глазами, облизал пересохшие губы, произнес:

– Вы опоздали, я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести.

– Это безумие! – крикнул полковник Фонвизин, близкий приятель Якушкина, принятый недавно в общество. – Ты в лихорадочном состоянии и не можешь брать на себя обет, который завтра покажется безрассудным.

– Я совершенно спокоен, – возразил Якушкин, – в доказательство чего могу сыграть партию в шахматы и обыграть тебя.

– Смерть императора в настоящее время бесполезна для отечества, – продолжал уговаривать Фонвизин, – и покушение может лишь погубить всех нас и общество при самом его начале...

В конце концов большинство истинных и верных сынов отечества отвергло предложение о цареубийстве. Якушкин отказался от участия в тайном обществе, охладели к его деятельности и некоторые другие члены. Явной стала, по выражению Сергея Муравьева-Апостола, «скудность средств к достижению цели». Дума, управляющая обществом, постановила распустить его, устав и другие документы Союза Спасения были сожжены, Александр Муравьев и его товарищи занялись разработкой программы новой тайной организации, которая вскоре и была создана.

Николай Муравьев обо всех этих происшествиях не знал, но, судя по некоторым намекам в письмах артельщиков, приходивших из Москвы, догадывался, что в тайном обществе идет какая-то перестройка, что-то там не ладится, и, считая себя членом этого общества, не мог не беспокоиться за положение дел в нем. И это беспокойство еще более усилилось, когда пришло в Тифлис известие, что 6 января 1818 года в крещенский парад брат Александр сделал какое-то упущение, вызвавшее сильнейший гнев царя, и был по его распоряжению посажен на гауптвахту. Но такова ли была действительная причина ареста брата?

26 января Воейков, взятый Ермоловым в адъютанты, уезжал в отпуск в Москву. Воейков был членом тифлисской артели, надежным, преданным товарищем, он знал о существовании Священной артели, разделял все принятые там правила, и Муравьев, отправляя с ним письмо брату Александру, просил также как можно подробнее узнать обо всех действиях и намерениях находившихся в Москве членов Священного братства. А для того, чтоб Воейков был принят там с полным доверием, снабдил его такой рекомендацией:

«Постоянство всякому члену Священной артели. Дружба. Правота. Тебе, брату моему, лист сей показывает Николай Воейков, который заслужил его в моих, глазах мыслями и поступками, сходными с правилами, знаменующими нас. Да каждый из вас ударит в колокол, да соберется вече наше, да прочтут сие писание в думе нашей. Там его вы испытайте и, буде

слова мои окажутся справедливыми, удостойте его всеми правами, которыми пользуется почтенная братия наша. Тогда да назовется он членом Священного братства нашего; примите его в беседу вашу и просвещайте».[18]

Воейков пробыл в Москве до самой весны, вполне оправдав возлагаемые на него надежды. Александр Муравьев и его товарищи приняли Воейкова как своего единомышленника и открыли многое из того, что хранилось в тайне.

Возвратившись в Тифлис и оставшись наедине с Николаем Муравьевым, Воейков рассказал, что хотя причиной ареста Александра Муравьева считается незначительное упущение по службе, но сам он склонен думать, что государю стало что-то известно о его деятельности в тайном обществе, ибо это подтверждается и другими несправедливыми нападками на него царя, и потому он подал в отставку, твердо решив более на военной службе не оставаться.

– Если общество будет раскрыто, отставка не спасет от наказания, – заметил Николай Муравьев.

– Старого общества уже нет, оно распущено, – сказал Воейков.

– Как же так? А из письма брата Александра, в котором он изображает несчастное положение отечества, я усмотрел, что общество продолжает свою деятельность.

– Это вновь созданное, которое называется Союзом Благоденствия...

– Вот оно что! А ты о целях одного союза не проведал?

– Александр Николаевич говорил, что желают они, изменив существующий порядок, утвердить величие и благоденствие российского народа и важнейшей задачей полагают создание общественного мнения...

– С этим кто же не согласится? «Общественное мнение рано или поздно свергает любой деспотизм». Это еще Дюкло утверждал. А каким образом полагают в союзе воздействовать на умы?

– Путем распространения среди всех сословий добродетельных правил, знаний и просвещения. Члены союза обязываются вступать во все существующие открытые общества и создавать, где возможно, новые, дабы иметь общение с наибольшим кругом людей и нечувствительным образом привлекать достойных на свою сторону. Предусматривается обличение жестоких помещиков и бесчестных лихоимцев, искоренение злоупотреблений и всяких иных общественных язв.

– Ясно, ясно. А какова же теперь роль Священной артели, не слышал? Мне Бурцов из Петербурга пишет, что новые обязанности, коим каждый из членов артели посвятил себя, неминуемо влекут разрушение артели, а Петр Калошин, напротив, утверждает, что артель пребывает в том же состоянии, как и прежде?[19]

– Насколько я уразумел из бесед с Александром Николаевичем и Петром Ивановичем Калошиным, все артельщики вошли в общество, а артель решено сохранить, ибо под ее покровом более безопасно проводить собрания...

– Да, видно, все же прав Бурцов, артельные времена миновали, – со вздохом произнес Муравьев. – И думается мне, программа нового общества, о коей Александр тебе сказывал, при настоящих обстоятельствах более всего может принести пользу отечеству... Мало, мало нас, мыслящих свободолюбцев, горсточка одна в стране столь обширной! Давят нас горы вековых предрассудков и деспотических установлений, но мы верим, что в конце концов горы будут взорваны и мы увидим чистое небо в звездах... А для того, любезный Воейков, первой

всего нужно круг наш расширить и крепость душевную в себе воспитывать.

– Ныне кто только из молодых людей Плутарха не читает, – вставил Воейков, – я в Москве будучи, чуть не в каждом доме книги Плутарховы видел...

– Да не у одного Плутарха, а и в народе нашем примеры твердого поведения искать нужно, – продолжал Муравьев. – В Тифлис недавно пригнали пятерых помещичьих крестьян из Тамбовской губернии. Господа в солдаты их сдали, а они служить в войсках наотрез отказались. Их несколько раз кнутом секли и сквозь строй гоняли, они на самые жестокие мучения себя отдают и смерть принять соглашаются, но от убеждений своих не отказались. «Отпустите нас, – говорят они, – и не трогайте, мы тоже никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем убивать на войне людей, не сделавших нам никакого зла? Можете нас по кускам резать, а мы совестью кривить не будем... Не переменим своих мыслей, не наденем шинели и не будем казенного пайка есть!» Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России!

Случай этот долго не выходил из памяти Николая Муравьева и беспокоил его. Соприкасаясь в Тифлисе с деятельностью военной и гражданской администрации, он всюду наталкивался на вопиющие беззакония. Вот дневниковые его записи того времени:

«... Злоупотреблений здесь множество. Алексей Петрович смотрит на оные сквозь пальцы или не знает о них. Всякий управляющий какой-нибудь частью присваивает себе неограниченную власть и делает что ему вздумается, все ищут более своей собственной пользы, чем пользы службы... Жители города Тифлиса угнетены ужасным образом полицмейстером Кахановым. Он явно взятки не берет, но имеет другие средства, освобождая от постоя тех, которым постой следует, они откупились тем, что выстроили ему дом. У бедных людей отнимаются земли для расширения улиц, а напротив живущего, богатого не трогают. Каханов – человек, изгнанный из Астрахани за воровство и подлейшие поступки, – приезжает в Тифлис без гроша денег и вскоре начинает жить самым роскошным образом, угнетая жителей, и, выказывая себя ложью, сплетнями, доносами, неправдами, получает доверенность главнокомандующего.

... Затеяли начальники строить колонистам дом с колоннами, каких во всем Тифлисе нет. Собрали множество солдат в Сартагалы, начали строить. Солдаты от непосильного труда и дурного содержания стали занемогать. Колония сия о сю пору не выстроена, а стоит уже жизни тысяче солдат.

... Вчера я был у Ховена. Впервой слышал от него порядочную вещь. Он жаловался на неустройство Грузии и сказал: «Это удивительно! Хотят, чтоб здешний народ благословлял российское правление, тогда как употребляют всевозможные средства для угнетения его».

... Ермолов видит все, но позволяет себе наушничать, часто оправдывает и обласкивает виноватого. Отдавая полную справедливость великим качествам Алексея Петровича, я не могу сего одобрить».

Будучи прямым и правдивым человеком, Николай Муравьев не раз пытался говорить об этом с Ермоловым, но безрезультатно. Алексей Петрович хмурился и однажды прямо сказал ему, что напрасно вмешивается он в дела, которые его не касаются.

Что же оставалось Муравьеву? Мириться с вызывавшими негодование позорными явлениями он не мог, однако и выступать открыто с обличением лиц, находившихся под покровительством Ермолова, было нельзя, потому что удар неволью пришелся бы и по Алексею Петровичу, человеческие слабости которого столь щедро искупались достоинствами. Ермолов оставался непримиримым врагом придворной клики, его принадлежность к лагерю вольнолюбивых людей была несомненной, порядки, заводимые им в Кавказском корпусе, отличались демократическим характером, и любая попытка

критиковать его деятельность была бы на руку многочисленным врагам его.

«Живя в обществе, надо сообразоваться с обычаями оного и принимать меньшее зло для избежания большего», – записывал Муравьев в дневник, явно успокаивая самого себя. Но, привыкнув с детских лет избегать каких бы то ни было сделок с совестью, он успокоения найти не мог. Стояли перед ним тамбовские мужики в залатанной пыльной одежке, бородатые, грязные, неграмотные, жестоко истерзанные кнутом и шпицрутенами, и проникал прямо в душу взгляд их спокойных светлых глаз, мучительным укором звучали слова: «Можете нас на куски резать, а мы совестью кривить не будем».

Муравьев отправился к двоюродному брату главнокомандующего Петру Николаевичу Ермолову, с которым находился в приятельских отношениях, выложил все, что знал о злоупотреблениях администраторов, и все, что лежало на душе, просил, чтоб довел Петр Николаевич это до сведения главнокомандующего. И добавил:

– Я безгранично предан Алексею Петровичу, и мне весьма прискорбно будет, если он заподозрит меня в каком-либо умысле или интриге против него, но я видел бы себя подлецом в глазах своих, если б умолчал о том, что волнует меня и накладывает тень на репутацию его.

На следующий день Алексей Петрович Ермолов уезжал в войска, действовавшие на Сунже против чеченцев. Ермолов был мрачен. Увидев среди провожающих Муравьева, он ничего ему не сказал и отвернулся.

... Незадолго перед тем в Кавказский корпус по распоряжению императора был переведен из Петербурга корнет лейб-гвардии уланского полка Александр Якубович. Этот коренастый, смуглый, с густыми казацкими черными усами и выпуклыми темными глазами офицер сразу расположил к себе Муравьева открытым характером и смелыми суждениями.

Якубовича выписали из гвардии за участие в нашумевшей дуэли кавалергарда Шереметева с камер-юнкером Завадовским. Поединок произошел из-за известной танцовщицы Истоминой. Секундантом Завадовского был чиновник министерства иностранных дел Александр Сергеевич Грибоедов, а секундантом Шереметева – Якубович. На дуэли Шереметев был убит. После этого, как было заранее установлено, должны были стреляться и секунданты, но они сразу попали под надзор, и вторая дуэль не состоялась. Завадовскому, благодаря связям, удалось избежать наказания, он взял длительный отпуск и отправился за границу, участие в дуэли Грибоедова тоже замяли, а Якубовича наказали. И он, говоря об этом, не скрывал справедливого возмущения:

– Где же тут хоть капля справедливости, почтенный Николай Николаевич? Выслали из столицы, как преступника, даже обычного при переходе из гвардии в армию повышения в чине меня лишили! Почему я один государем столь жестоко взыскан? Потому что знатных покровителей не имею, с дворцовыми блюдолизами не вяжусь и правду в глаза начальству привык резать. Нет, клянусь честью, без мщенья я расправы над собой не оставлю.

Якубовича определили в Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Караагаче, куда он вскоре и уехал.

И вдруг через несколько дней после отъезда Ермолова на Сунжу Якубович является в Тифлис к Муравьеву, объявляет:

– Сюда приезжает на днях Грибоедов, назначенный секретарем русской дипломатической миссии в Персии. Я должен кончить с ним наше дело и прошу вас, Николай Николаевич, оказать мне помощь.

– Вы решаете с Грибоедовым стреляться?

– Честь офицера и дворянина к сему меня обязывает.

– Понимаю вас, любезный Александр Иванович, и все же должен сказать, что мой взгляд на дуэли, очевидно, не совпадает с вашим, – сказал Муравьев. – Я полагаю, что обычай сей остался от варварских времен, и более желал бы мирного исхода вашего дела.

– Это невозможно, почтеннейший Николай Николаевич! Между нами загубленная жизнь! – воскликнул Якубович. – Я прошу вас все же быть моим секундантом или хотя бы находиться близ места поединка, дабы оказать помощь в случае ранения... Мне не на кого положиться, кроме вас!

В конце концов Якубович уговорил Муравьева и спустя несколько дней пришел к нему с Грибоедовым и его секундантом. Грибоедов был хорошего роста, брюнет, с выразительным сухощавым лицом, живым румянцем на щеках и слегка прищуренными близорукими глазами. Он свободно говорил по-английски и по-французски, во всем показывал себя человеком незаурядного ума и образования. Секундантом его был сослуживец по дипломатической миссии маленький и юркий Андрей Карлович Амбургер.

Грибоедов вежливо и спокойно подтвердил, что вызов Якубовича им принят, и просил секундантов условиться о том, как осуществить поединок.

Амбургер сказал:

– Мне думается, господа, что первый долг секундантов состоит в том, чтоб стараться достигнуть примирения. Подумайте, господа, так ли уж велики ваши взаимные неудовольствия и обиды, чтоб нельзя было кончить дело без поединка?

Муравьев поддержал предложение. Грибоедов обратился к Якубовичу:

– Я, кажется, ничем не обижал вас, Александр Иванович...

Якубович кивнул головой:

– Я никогда и не утверждал этого, Александр Сергеевич...

– Так почему же вы не хотите оставить сего дела? – спросил Грибоедов.

– Я обещал Шереметеву при смерти, что отомщу за него на Завадовском и на вас, – пояснил Якубович. – Я уважаю вас, как благородного человека, но не менее того должен сдержать свое слово.

– Если так, воля ваша, – пожав плечами, произнес Грибоедов, – мне ничего не остается, пусть господа секунданты решают дело.

Дуэль состоялась на следующий день, 23 октября 1818 года, за городом, в овраге, находившемся при дороге в Кахетию, недалеко от селения Куки.

День выдался серенький. Горы были заняты облаками, порой начинало дождить, в овраге остро пахло опавшей сырой листвой. Грибоедов и Якубович держались с изумительным самообладанием. Сняли сюртуки, молча заняли назначенные секундантами места. Якубович, подойдя к барьеру, выстрелил первым. Пуля попала Грибоедову в кисть левой руки, повредила палец. Он прикусил губы, чтобы сдержать стон, затем слегка приподнял окровавленную руку, показал ее секундантам и медленно, но твердо навел пистолет на Якубовича, тот, ожидая выстрела, стоял со скрещенными на груди руками. Грибоедов имел право подвинуться к барьеру, но, заметив, что Якубович не желал его убивать, не воспользовался своим правом и выстрелил с места, не целясь. Пуля пролетела над головой Якубовича, не задев его.

Секунданты подбежали к Грибоедову. Он стоял смертельно бледный с капельками холодного пота на лбу, но не стонал и не показывал виду, что страдает.

– O, sort injuste!{10} – тихо произнес он, пытаясь улыбнуться.

Доктор Миллер, приглашенный Муравьевым и недалеко ожидавший исхода дуэли, перевязал рану. Грибоедова посадили в бричку, и все отправились в город. «Тот день Грибоедов провел у меня, – спустя три дня записал в дневник Муравьев, – рана его была неопасна, Миллер сказал, что он в короткое время оправится. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что были на охоте, Грибоедов свалился с лошади, которая наступила ему на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым и по обращению их друг с другом никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие у всех, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стать к барьеру, они мирно разговаривали между собой и после того, как секунданты их побежали за доктором, Грибоедов лежал на руках у Якубовича».

Скрыть поединка все же не удалось. Слухи расползались всюду и дошли до Ермолова, Зная, что Александр Петрович без того сердит на него, Муравьев не ожидал для себя ничего хорошего.

А тут, как на грех, ко всем напастям прибавилось еще одно неприятное происшествие... В своей квартире неожиданно, в припадке умственного расстройства, покончил жизнь самоубийством начальник квартирмейстерской части корпуса полковник Иванов, которому Муравьев по основной должности был непосредственно подчинен. Начальник штаба генерал Вельяминов, узнав о самоубийстве полковника, приказал Муравьеву заняться разбором бумаг покойного. Иванов отличался мрачным, подозрительным нравом, был готов на любую подлость. Ермолов недаром называл его ядовитой гадиной. Разбирая бумаги, Николай Николаевич обнаружил копию отправленного Ивановым в главный штаб доноса на него, Муравьева, Воейкова и Бабарыкина. В доносе говорилось о политической неблагонадежности молодых офицеров и о покровительстве им со стороны Ермолова, причем доносчик указывал, что Муравьев с товарищами, живя артелью, устраивали у себя подозрительные сборища. И хотя артель прекратила свое существование, после того как Лачинов, Машков и Щербинин уехали весной с Кавказа, все же донос был чреват самыми дурными последствиями. И не только для него, но и для Ермолова, и эта мысль была особенно мучительна. Нет, видно, не судьба служить под начальством Алексея Петровича. Черт знает, как неблагоприятно складывались обстоятельства!

... Ермолов возвратился в Тифлис в самом конце года. Поздно вечером к Муравьеву явился новый ермоловский адъютант Иван Дмитриевич Талызин.

– Его высокопревосходительство просит вас незамедлительно к нему пожаловать...

«На расправу», – мысленно дополнил приглашение Муравьев и, захватив с собой написанное на всякий случай прошение об увольнении, отправился к Ермолову, готовый к самым горьким упрекам и жестокому разговору. Но все получилось не так, как ожидал. Алексей Петрович встретил дружелюбно, никаких упреков делать не собирался и лишь слегка пожурил за участие в дуэли. А вызывал, оказывается, затем, чтоб объявить, как идет подготовка экспедиции в Туркмению и Хиву. Елизаветпольский окружной начальник майор Пономарев, которому Ермолов поручил удостовериться, возможно ли осуществить эту экспедицию, сообщил благоприятные сведения. Не раз бывавший на восточном берегу Каспийского моря, он имел среди кочевых туркмен много приятелей и заручился их согласием доставить посланных под видом торговцев в Хиву и привести их обратно в своих караванах. Военный корвет «Казань» и шкоут «Святой Поликарп», назначенные Ермоловым для доставки экспедиции к восточным берегам Каспийского моря, по его распоряжению ремонтировались в

Астрахани, откуда должны были прийти в Баку, где собиралась экспедиция. Сопроводять Муравьева в Хиву взялся бывавший там армянин Муратов.

– В скором времени армянин сей сюда прибудет, – добавил Ермолов, – тебе надлежит вместе с ним сочинить ведомость на приличные подарки для хана и, не откладывая дела в долгий ящик, готовить для себя необходимые вещи и татарскую одежду, в коей удобнее всего за торговца себя выдавать. Придется тебе, любезный Николай, – шутя заключил Ермолов, – именоваться Мурад-беком, в магометанство переходить и гарем заводить!

Алексей Петрович находился в хорошем настроении. Муравьев видел, что его благожелательное отношение к нему не изменилось, и радовался этому и тем более умалчивать о доносе полковника Иванова в главный штаб считал невозможным. Может быть, Алексею Петровичу удастся принять какие-либо меры, чтоб отвести от себя подозрения в покровительстве неблагонадежным офицерам.

И тут произошло самое неожиданное.

Выслушав Муравьева, Ермолов достал из нижнего ящика стола какую-то бумагу и, протянув ему, сказал:

– Можешь за меня не беспокоиться и за себя также... Полюбопытствуй!

Заглянув в бумагу, Муравьев не мог скрыть молчаливого удивления. А Ермолов, взяв ее обратно, не слеза порвал и бросал в камин.

– Как видишь, – усмехнулся он, – не одни недруги у меня в столице, есть и добрые товарищи!

Бумага была подлинным доносом полковника Иванова, полученным в главном штабе и возвращенным Ермолову в секретном порядке дежурным генералом Закревским.

4

3 августа 1819 года военный двадцатипушечный корвет «Казань» под начальством лейтенанта Басаргина бросил якорь близ Серебряного бугра на восточном берегу Каспийского моря. Следом подошел с провиантом, запасом пресной воды и необходимыми для экспедиции материалами шкоут «Святой Поликарп».

Майору Пономареву, назначенному начальником экспедиции, в составе которой было сто сорок человек, поручалось вступить в дружеские сношения с туркменским народом и заложить на восточном берегу крепость и пристань, куда бы могли приходить русские купеческие суда с товарами для восточных стран. Капитан Муравьев должен был содействовать Пономареву в выборе наиболее удобного места для крепости, а затем следовать в Хиву.[20]

Местность, где высадилась экспедиция, представляла безрадостный вид: занесенный песками бугор с остатками каких-то древних развалин и кругом степь, покрытая редким кустарником.

Но в нескольких верстах отсюда, по берегам впадавших в море мелководных степных речонок, находились туркменские кочевья. В ближайшем из них, называвшемся Гассан-кули, стояло свыше двухсот кибиток, и старшиной был тут доброжелательно настроенный к русским Кият-Ага, которого хорошо знали и Пономарев, и армянин Муратов.

В Гассан-кули Муравьев впервые познакомился с жизнью вольнолюбивого народа. Управляемые избранными старшинами, аксакалами, туркмены жили в видимом довольстве, занимались скотоводством и рыбной ловлей, охотились на джейранов и кабанов, промышляли искусно выделанными коврами, зимой ловили лебедей, с которых добывали большое количество пуха. И выглядел народ хорошо. Рослые, широкоплечие, с приветливыми лицами мужчины в персидской одежде и стройные женщины в цветных шароварах, красных рубахах и высоких, обвешанных серебряными монетами кокошниках. Суровых законов Магомета они строго не придерживались, многих обрядов не соблюдали, питались чем попало, мужчины пили с наслаждением водку, женщины не прятались, ходили с открытыми лицами. Вместе с тем среди кочевых туркмен не исчезли еще дикие нравы, их кочевья, принадлежавшие к разным поколениям, враждовали между собой, таскали друг у друга людей, обращая их в рабство, подстерегали и грабили караваны.

Кият-Ага приготовил для русских гостей особую, убранную коврами кибитку и принимал их радушно. Он знал грамоту, славился как мастер на все руки, был седельником, кузнецом, серебряником, занимался и торговлей, пользуясь общим уважением прибрежных туркмен. Кият-Ага весьма рассудительно согласился с Муравьевым, что местность в районе Серебряного бугра для строительства крепости и пристани мало пригодна, и предложил экспедиции перебраться в Красноводский залив.

– Там море глубже, стоянка для кораблей удобней, – сказал он, – там и пресной колодезной воды много, и вблизи лес строевой есть, да и путь в Хиву оттуда прямой, всего пятнадцать дней езды.

– А найдутся ли там верные люди, с коими меня можно будет отправить в Хиву? – спросил Муравьев.

– У меня в тех местах, в Челекениях, родственники живут. Я сам поеду туда с вами и устрою благополучное ваше путешествие.

Кият-Ага оказался прав. Несколько дней спустя экспедиция была в Красноводском заливе. Обследовав гористые берега залива и сделав съемку всей Красноводской косы, Муравьев убедился, что лучшего места для крепости и пристани на всем восточном побережье нет. И майор Пономарев с ним согласился.

Между тем Кият-Ага, побывав в одном из ближних кочевий при колодце Суджи-Кабил, где собирался караван в Хиву, договорился с тамошним старшиной Сеидом взять с собой русского посланника. Прибывший на корвет Сеид произвел хорошее впечатление и подрядился за сорок червонцев, огромные по тем временам деньги, доставить Муравьева в Хиву и обратно. Сеид предоставлял в распоряжение Муравьева четырех верблюдов и двух лошадей, так как при нем находились Муратов и денщик Морозов, имелось несколько тюков с подарками для хивинского хана и его ближних. Кият-Ага, поручившийся за Сеида, оставлял на корвете в аманатах, как тогда водилось, своего сына Якши-Мегмеда.

Последние приготовления к опасному путешествию вскоре были закончены. Полученное Муравьевым от Ермолова послание хивинскому хану, написанное в обычных цветистых восточных выражениях, гласило!

«Высокославной, могущественной и пресчастливейшей Российской империи главнокомандующий в Астрахани, в Грузии и над всеми народами, обитающими от берегов Черного до пределов Каспийского моря, дружелюбно приветствуя высокостепенного и знаменитейшего обладателя Хивинской земли, желает ему многолетняго здравия и всех радостей. Честь имею при том объявить, что торговля, привлекающая хивинцев в Астрахань, давно уже познакомила меня с подвластным вам народом, известным храбростью своею, великодушием и добронравием. Восхищенный же сверх того славою, повсюду

распространяющуюся, о высоких достоинствах ваших, мудрости и отличающих особу вашу добродетелях, я с удовольствием пожелал войти в ближайшее с вашим высокостепенством знакомство и восстановить дружеские сношения; почему чрез сие письмо, в благополучное время к вам писанное, открывая между нами двери дружбы и доброго согласия, весьма приятно мне надеяться, что через оные, при взаимном соответствии вашем моим искренним расположениям, проложится счастливый путь для ваших подвластных к ближайшему достижению преимущественнейших выгод по торговле с Россиею и к вящему утверждению взаимной приязни, основанной на доброй вере. Податель сего письма, имеющий от меня словесные к вам поручения, будет иметь честь лично удостоверить ваше высокостепенство в желании моем из цветов сада дружбы сплести приятный узел соединения нашего неразрывной приязнью. Он же обязан будет, по возвращении своем, донести мне о приеме, коим от вас удостоен будет, и о взаимных расположениях вашего высокостепенства, дабы я и на будущий год мог иметь удовольствие отправить к вам своего посланного с дружественным приветствием и с засвидетельствованием моего особливейшаго почтения. Впрочем, прося бога да украсит дни жизни вашей блистательною славою и неизменяемым благополучием, честь имею пребыть искренне вам усердный и доброжелательный генерал Ермолов».

20 сентября Муравьев отправился в Хиву. Майор Пономарев, прощаясь с ним, сказал:

– Я буду ожидать вас на корвете в том же месте, где теперь находимся. Если, однако, встретятся непредвиденные обстоятельства, то сыщите средства дать мне знать о том письменно. И нахожу за нужное для тайного сведения установить в письмах ваших особые знаки: тонкая краткая черта в конце строки будет означать, что у вас все благополучно; толстая черта – сомнение в делах и подозрение недоброго; волнистая черта змейкой – все худо и не ждате вас более...

– Вернее всего, эта змейка и приползет к вам, – с горькой усмешкой вставил Муравьев.

– Что вы, что вы, почтеннейший Николай Николаевич, – замахал руками Пономарев. – О том и в мыслях держать не извольте. Нынче не те времена, что прежде. Владелец хивинский Мегмед-Рагим-хан – человек благомыслящий, радеющий о пользе своего народа, и наивыгоднейшие предложения о сношении и торговле с нами не отвергнет. И путь наш в Хиву содействием достойнейших старшин туркменских вполне обеспечен.

Нет, Муравьев не питал никаких иллюзий, отдавая себе полный отчет в том, чему подвергается. В дневник он записал: «Я имел весьма мало надежды возвратиться, но был довольно покоен, ибо уже сделал первый шаг к той трудной обязанности, которую на себя взял и без исполнения которой не смел бы показаться перед главнокомандующим, перед знакомыми и товарищами моими».

Опасности, притом самые непредвиденные, подстерегали его с первых дней путешествия.

В караване Сеида было семнадцать верблюдов, но на первой остановке к ним присоединился караван соседнего кочевья под предводительством Геким-Али-бая, и затем стали приставать туркмены из других мест, так что на третьи сутки в караване было уже сорок человек и свыше двухсот верблюдов. Чтобы избавиться от вопросов любопытных, Муравьев уговорился с Сеидом, дабы тот выдавал его за туркмена из поколения Джафар-бая и именовал Мурад-беком. Татарским языком, на котором говорили туркмены, Муравьев уже хорошо владел и подозрений как будто ни у кого не вызывал. Но... почему Геким-Али-бай, красивый, средних лет туркмен с дурной славой разбойника, встречаясь с ним на привале, никогда не кланялся, отворачивая глаза в сторону?

На одном из ночлегов Муравьев, подойдя к костру, у которого сидел Геким-Али-бай, услышал, как тот пояснял собравшимся вокруг него туркменам, что Мурад-бек из каравана Сеида не туркмен, а переодетый русский лазутчик, и если хивинский хан узнает, что привезли его в

своим караване туркмены, то всем им несдобровать.

Муравьев отыскал Сеида, гневно обрушился на него:

– Ты нечестный человек, ты, как старая баба, разболтал то, что поклялся таить от всех! От кого же, как не от тебя, Геким-Али-бай узнал, что я русский?

– Напрасно плохо обо мне думаешь, господин, – возразил Сеид. – Я никогда не нарушаю своих слов и обещаний. Когда Кият-Ага искал в наших кочевьях проводника для тебя, Геким-Али-бай запросил за это сто червонцев. Кият-Ага отказал ему, а я сторговался за сорок, и теперь Геким-Али-бай обижается на меня и, по догадке дурной головы своей, заодно чернит тебя. Но ты не беспокойся, я сумею обуздать его!

Разговор этот, однако, Муравьева не успокоил. Он продолжал всюду встречать подозрительный и недобрый взгляд Геким-Али-бая. Мало ли что мог учинить этот разбойник! Муравьев жил настороже, не расставаясь с добрым штуцером, пистолетом, кинжалом и шашкой.

А тут еще из бесед с бывавшими в Хиве старыми туркменами стало выясняться, как непохож хивинский хан на того благомыслящего правителя, каким представлял его майор Пономарев. Старики говорили, что лег двадцать тому назад Мегмед-Рагим, собрав шайку единомышленников, изменнически захватил и казнил двух старших братьев со всеми их приверженцами, женами и детьми, достигнув таким образом неограниченной власти. Жестокими непрерывными казнями, кровью многих невинных жертв он смирил противившихся его власти узбеков и туркмен, населявших ханство, и правил как самовластный тиран, не признававший никаких законов. В пьяном виде он вымышлял самые зверские терзания всякому, кто чем-либо ему не понравился. Хотя в последние годы, как говорили, Мегмед-Рагим-хан стал умереннее и тише, гарем свой ограничил семью женами и пить совершенно перестал, запретив крепкие напитки и курение табака всем подданным и приказав за нарушение сего виновным разрезать рты до ушей.

Таков был хивинский правитель, с которым, по выражению Ермолова, надлежало «из цветов сада дружбы сплести приятный узел соединения неразрывной приязню».

А караван тем временем приближался к хивинским владениям. Стоявшая в первые дни холодная погода сменилась жарой. Степь была безжизненна. Никаких растений, никаких птиц и животных, одни сыпучие пески кругом. Стоило подуть легкому ветерку, как они начинали двигаться, ветер быстро сметал одни песчаные бугры, создавал другие, и на дороге не оставалось никаких следов. Как-то утром, поднявшись с привала, Муравьев увидел перед собой густой туман, затянувший весь горизонт. Он ждал, что вот-вот взойдет солнце и туман рассеется, но вдруг рванул неистовый вихрь, и поднялся страшный степной буран, который продолжался весь день. Солнца не было. Света не было. Все исчезло в песчаной метели. Словно лютым морозом обжигало лицо, а глаза, уши, рот, волосы забивало песчаной пылью. Ревели и останавливались верблюды, отворачиваясь от жгучего ветра.

Трудней всего приходилось терпеть отсутствие хорошей воды. Пресная вода в бурдюках от жары испортилась, а в придорожных колодцах она была солоноватой, мутной и вонючей.

На девятый день пути караван достиг колодцев Беш-Дешика, где сделали недолгий отдых. Муравьев записал в дневник: «Я девять дней в дороге. Или качался на верблюде, или пешком шел. Девять суток я почти совсем не спал. Туркмены умели растягиваться на верблюдах, но я сего сделать никак не мог, а изредка дремал и несколько раз чуть не свалился со своего большого и толстого верблюда. Каждый день я надеялся уснуть. Но мне никогда не удавалось переменить платье, набитое песком и пылью, умыться, напиться чаю на пресной воде и сварить что-нибудь, вся пища моя состояла из черных сухарей и теплой плохой воды».

Во время стоянки у колодцев Беш-Дешика к Муравьеву совершенно неожиданно подошел Геким-Али-бай, извинился, что до сей поры держался в стороне от него, и, объяснив это неприязнью к Сеиду, добавил:

– Искренность моя не на языке, как у окружающих вас, а в сердце моем. Считайте меня, господин, самым верным своим служителем.

Муравьев насторожился. Столь внезапная перемена в настроении Геким-Али-бая была подозрительна. Может быть, он лез в дружбу для того, чтоб облегчить себе какой-то дурной замысел?

Но все оказалось несколько проще. Геким-Али-бай проведал от возвращавшихся из Хивы туркмен, что там носится слух о скором прибытии русского посла и Мегмед-Рагим-хан крайне обрадован этим, с нетерпением ожидает посла, который будто бы везет ему четыре вьюка с червонцами в подарок от русского царя.

Слух о прибытии русского посла мог, конечно, дойти до хана через прибрежных туркмен, которым ничего не стоило присочинить и легенду о четырех вьюках золота, но все это Муравьева не радовало. Как поступит Мегмед-Рагим-хан, узнав, что никакого золота посол не привез? Не вызовет ли обманутое ожидание бешенства восточного деспота?

Неспокойно было на душе у Муравьева, когда караван вошел в пределы Хивинского ханства, и все же природная любознательность отвлекла его от мрачных мыслей, и он не забыл записать то, что открылось его глазам:

«По мере того как я все больше вдавался внутрь края, я видел возрастающую обработанность земли, поля с богатейшими жатвами поражали меня. Едва ли видел я в Германии такое тщание в обработке полей, как в Хиве. Плодородие удивительное! Засевается жителями сорочинское пшено, пшеница, кунжут, из которого делают масло, и джюган, дающий круглое белое зерно поменьше горошины и растущий толстыми колосьями наподобие кукурузы. Хивинцы имеют овощи и плоды всех сортов, особенно хороши арбузы и дыни, которые бывают в три четверти аршина и отменно сладкого вкуса. Большое скотоводство, много рогатого скота, верблюдов, баранов и отличные, невероятно выносливые лошади. Селения в Хивинском ханстве расположены по каналам, наполненным водой. Все дома обведены каналами, по коим сделаны везде мостики. Я ехал прекрасными лужайками между плодовых деревьев; множество птиц увеселяло меня пением; кибитки и строения из глины, рассыпанные по сим прекраснейшим местам, составляли весьма приятное зрелище. Я обрадовался, что попал в такую чудесную землю, и спросил у проводников своих с выговором: «Почему вы сами не обрабатываете таким образом землю, а если земля у вас ничего не производит, то почему не переселяетесь в Хиву?» Мои туркменцы ответили мне: «Посол, мы господа, а это наши работники. Они сверх того боятся владельца своего, а мы, кроме бога, не боимся никого!»

В сорока верстах от Хивы жили родственники Сеида, и он со своими верблюдами остановился у них, а Геким-Али-бай и другие туркмены уехали в соседние селения и кочевья закупать хлеб.

У родственников Сеида впервые за всю дорогу Муравьев искупался, переоделся, хорошо отдохнул и послал отсюда двух туркмен к Мегмед-Рагим-хану с извещением о своем приезде.

На другой день в сопровождении четырех вооруженных всадников к Муравьеву явился посланный ханом чиновник. Это был некий Ат-Чанар, отец ханского любимца Ходжаш-Мегрема. Маленького роста, морщинистый, седобородый, Ат-Чанар выглядел настоящей обезьяной, говорил заикаясь, а мышинные глазки его при этом так и бегали по сторонам, выдавая мерзкого и готового на любую подлость старичишку.

Осведомившись о здоровье посла и о цели его приезда, не забыв полюбопытствовать и о подарках, Ат-Чанар объявил, что хан сейчас занят, принимать будет позднее, а пока просил посла отправиться с ним, Ат-Чанаром, в его деревню Иль-Гельди, близ Хивы, где все приготовлено для приема высокого гостя.

Муравьеву ничего не оставалось, как поблагодарить и согласиться. Деревня Ат-Чанара, куда они приехали, оказалась настоящей небольшой крепостью: высокие, сложенные из камня трехсаженные стены, башни по углам, широкие ворота с крепкими запорами. Внутри этой крепости были устроены жилые помещения и загоны для скота, мельницы, кладовые, небольшой бассейн, стояли кибитки, в которых жили невольники, из них семь русских. К крепости примыкал окруженный оградой сад и виноградник.

В Иль-Гельди встретили Муравьева с почетом, поместили в особой комнате, куда он велел сложить и подарки. Сын старика Сеид-Незер, только что возвратившийся из Хивы, передал вежливо поклон от хана и старшего своего брата, приказал слугам поставить для посла самовар, сварить плов и принести свежих плодов. Муравьев подарил хозяевам по куску сукна, сделал небольшие подарки и домочадцам.

Двое суток прошло спокойно. Муравьев свободно гулял по саду, катался на верховых лошадях с Сеид-Незером, который заверил, что хан относится к послу благожелательно и на днях его примет.

И вдруг все изменилось. Приехав вечером из Хивы, Ат-Чанар пришел к нему в комнату и довольно грубо объявил, что хан уехал на охоту, пробудет в степи двенадцать дней и лишь после этого потребует к себе посла. Произошло что-то неблагоприятное для Муравьева, Это было по всему видно. Но что?

Ат-Чанар молчал, прятал мышинные свои глазки. Вежливый Сеид-Незер куда-то исчез. А обращение с гостем стало сразу иным. Самовара на другой день не подали, свежих фруктов не принесли, в лошади для прогулки было отказано, у садовой калитки оказалась злющая собака Койчи, а у дверей комнаты появились вооруженные, свирепого вида караульщики.

Муравьев понял, что западня захлопнулась.

5

Что же все-таки произошло?

Прибытие российского посла сильно встревожило Мегмед-Рагим-хана. Близкие люди ежедневно передавали множество ходивших среди народа всяких слухов. Одни говорили, будто посол приехал, чтобы выручить русских невольников, другие высказывали мнение, что он хочет требовать воздаяния или мщения за убийство Бековича, третьи полагали, что он явился, чтобы узнать дороги в Хиву, все высмотреть, а затем привести сюда русские войска. И этот последний слух казался хану очень правдоподобным. Он приказал допросить бывших в караване туркмен, те показали, что посол в дороге часто расспрашивал их о Хиве и делал у колодцев какие-то записи.

Мегмед-Рагим-хан собрал совет из близких людей. Все согласились, что посол прибыл с дурными тайными целями и живым его отсюда выпускать не следует. И расправиться с ним лучше всего тайно.

Мегмед-Рагим-хан заметил:

– Туркмены, в караване коих лазутчик сей находился, не должны были допускать его до моих владений, а убить и доставить мне подарки, которые он вез. Но так как он приехал, и все о том знают, нужны иные меры... Я бы желал знать, какой совет мне даст Кази? – обратился он к рябому толстому мулле, занимавшему должность верховного судьи.

Тот пожевал толстыми губами и изрек:

– Он неверный, его должно отвезти в поле и зарыть живого.

Мегмед-Рагим посмотрел на него с презрительной усмешкой, произнес:

– Я тебя почитал умнее себя, а вижу, что в тебе совсем ума нет. Если я посла убью, то на будущий год его государь, белый царь, повытаскает жен моих из гарема. Нет, убивать подождем, пускай пока посидит, надобно сначала разведать, за каким он делом сюда приехал, а ты пошел вон!

Об этом совете Муравьев узнал, впрочем, позднее, а пока, сидя под караулом, вынужден был довольствоваться народной молвой, проникавшей к нему через проворного армянина Муратова, денщика Морозова и Сеида с его туркменами, которым удавалось его навещать.

А молва была довольно зловещей. Хивинцы не сомневались, что русского посла умертвят, спорили лишь о том, каким образом это сделают. Зароют живым, или посадят на кол, или поступят, как с Бековичем: сдерут кожу и набьют ее соломой? А может быть, просто задушат ночью, как это уже не раз проделывал Ат-Чанар со своими гостями по приказу хана?

Муравьев не смыкал ночами глаз, прислушивался к шорохам, ожидал, что убийцы вот-вот ворвутся к нему в комнату, и собирался дорого продать свою жизнь. Оружие было при нем, шашка и штуцер лежали рядом – это для них, а заряженный пистолет – для себя. Живым он не сдастся!

В напряженном ожидании проходит время. Заложив руки за голову, лежа на постели в своей каморке и глядя на просинь в единственном маленьком окошке под потолком и на одиноко мерцающую звездочку, Муравьев предавался воспоминаниям и мысленно представлял, как встретят известие о его гибели родные и близкие... Видел он отца, убитого горем, видел скорбные лица братьев, товарищей, но никак не мог вообразить, как отнесется к этому Наташа. Сколько раз в его снах и грезах оживала она – и всегда являлась перед ним сияющей и радостной или с той ничего не выражающей странной улыбкой на губах, с какой запомнилась в последнюю встречу. Неужели он ничего для нее не значит, неужели ее не взволнует его гибель, не ляжет на милое лицо тень печали и не заискрятся слезами синие глаза?

Ах, Наташа, Наташа!

... Однажды Муратов сообщил, что работавший у Ат-Чанара русский невольник Давыд желает увидеться с послом и просит принять его. Муравьев охотно согласился, он давно уже подумывал над тем, как бы связаться с русскими невольниками.

– Только как же осуществить эту встречу? – спросил он. – Ведь Ат-Чанар под страхом смерти запретил невольникам какое бы то ни было общение со мной.

– Давыд малый ловкий, – сказал Муратов. – Он говорит, что может прийти к вам ночью, когда караульщики заснут, а чтобы крепче спали – водочку им поднесет.

– А не учинит ли Давыд какого-нибудь подвоха? Нам всего опасаться следует.

– Я прослежу за ним, буду на карауле, хотя подлости от него не ожидаю. Давыд, по всей видимости, человек верный.

Он пришел в полночь, плотный, средних лет, с худощавым, бронзовым от загара рябоватым лицом и светлыми тоскующими глазами, сел подле постели и вполголоса рассказал о своей несчастной доле. Пятнадцать лет назад его, мальчишку, сына оренбургского казака, схватили хивинцы около Троицкой крепости на Оренбургской линии. Несколько раз его продавали и перепродавали, подвергали жестоким истязаниям, он принял нравы и обычаи хивинцев, но жил неистребимой надеждой выбраться из неволи.

– А сколько же сейчас русских пленников томится в Хиве? – поинтересовался Муравьев.

– Свыше трех тысяч, ваше благородие, да в Бухаре, говорят, побольше того... Что творят с нами, собаки, страшно молвить! На базарах торгуют, как лошадьми, содержат хуже скотины, плетью бьют за каждую малость, а за ослушание выкалывают глаз или прибивают гвоздями за уши к двери. Могут и убивать, да сие делают редко, выгоды им нет, русский невольник шестьдесят ихних тиллей стоит, на наши деньги рублей двести серебром... А мой хозяин Ат-Чанар сущий дьявол, – неожиданно повернул разговор Давыд, – ему, ваше благородие, ни в чем не доверяй, он более всего на привезенные тобой подарки зарится и через старшего сына Ходжаш-Мегрема старается, чтоб хан велел ему удушить тебя... Я к тебе затем пришел, чтобы о подлом умысле ихнем предупредить... Бежать тебе отсюда надо, ваше благородие!

– Ты что, не в своем уме, что ли? Как сие возможно?

Давыд встал с пола, сел на постель, наклонился, зашептал:

– Коли меня с собой возьмешь да коли деньги есть – все устроим. У моих дружков туркмен таких коней купим, самому хану не снились! Птицами отсель полетим до самых рубежей ханства. А там лошадей сменим аль украдем в кочевьях.

– Прежде еще надо караульщиков наших обмануть да из крепости выбраться, – подсказал Муравьев.

– О том я сам позабочусь. Лестница и веревка давно на случай заготовлены, караульщиков обманем, собаку отравим. Все в лучшем виде будет. Думай, ваше благородие!

Муравьева разговор с Давыдом взволновал чрезвычайно. Мысли о побеге из Хивы в голову и прежде приходили. Помощь, обещанная Давыдом, позволяла надеяться на успех. Да в конце концов, и не в этом суть! Если б даже пришлось умереть в степи с оружием в руках, это было бы лучшим исходом, чем ожидавшая его мучительная казнь. Бежать, бежать!

Но на эти мысли начали постепенно наплывать другие. Он представил себе, как, удачно бежав из плена, явится на корвет, а затем перед Ермоловым и товарищами... Он может, разумеется, оправдаться в том, что не вручил хану послания и не добился ответа, и объяснить свое трудное положение, из коего не было иного выхода, как бегство, но может ли он сам, перед своей совестью, считать выполненным до конца долг свой перед отечеством?

Размышления переносят его к единомыслящим друзьям, оставленным в столице три года назад. Они видели смысл жизни в служении родине, в исполнении долга перед отечеством и перед согражданами. И не он ли сам, составляя правила Священного братства, записал: «Всякий добродетельный гражданин должен поставить единственной целью своей жизни принесение отечеству самой величайшей пользы».

А как все они сейчас о нем беспокоятся, не получая столько времени никаких известий, и уж конечно никто не подозревает, в каком опасном положении он находится... А что там сейчас у них? Священная артель распалась, но сохранилось ли рожденное в ее недрах тайное общество и кто во главе его? Кажется, у них начался какой-то неприятный разброд... Брат Александр женился, вышел в отставку и как будто отошел от политической деятельности, жизнь разбрасывает в разные стороны других товарищей, и Бурцов уезжает в Тульчин

адъютантом начальника штаба Второй армии генерала Киселева... Но что бы с ними ни случилось, они навсегда останутся истинными и верными сынами отечества! В этом можно не сомневаться!

Муравьев забывается в беспокойном сне, и представляется ему, будто он горячо о чем-то спорит с Бурцовым, и так явственно видится разгоряченное лицо Ивана, а очнувшись, вспоминает, что у него среди других писем, полученных перед отправлением в Хиву, хранится письмо Бурцова, которому так и не успел ответить.

А скупой рассвет уже занялся. Из окошка тянет осенним холодком. С ближнего минарета гнусавит муэдзин. Муравьев поднимается с постели, облачается в восточный цветистый халат, закуривает трубку, достает из сумки послание старого друга. Знакомый, крупный и кудреватый почерк легко разбирается и при скудном освещении. Бурцов, еще не знающий о хивинской экспедиции, упрекает его в том, будто он бесполезно тратит время в Грузии, тогда как в России мог бы служить с большей пользой для отечества. И привычно философствует: «Что будет с нашей Родиной, когда мужественные россияне не обрекут себя на жертву общественной пользе? В благоустроенных государствах граждане должны нести некоторые обязанности, налагаемые обществом, а в государствах, преисполненных зла и невежества, обыкновенные обязанности недостаточны, – потребны доблести, потребно отречение от собственных выгод и стремление к общему всеобъемлющему благу».

Да, все это так. Отечеству необходимы граждане, способные на подвиг, на отречение от собственных выгод, но почему же Бурцов полагает, что только там, в России, могут свершать доблестные дела мужественные россияне?

На посеревшем, осунувшемся от бессонных ночей лице Муравьева промелькнула невольная улыбка. Интересно, как оценит старый друг его путешествие в Хиву?

... Давыду же, который следующей ночью опять пробрался к нему, он решительно сказал, что, пока письма хану не передаст и ответа не получит, о побеге нечего и говорить.

– Эх, ваше благородие! – вздохнул Давыд. – Глядите сами, только кабы не потужили после. Замучают, собаки!

– Есть кое-что пострашней смерти, – тихо и раздумчиво произнес Муравьев. – Мужество потерянное и долг россиянина неисполненный...

6

Из всех ханских чиновников, навещавших Муравьева и допытывавшихся о тайных его намерениях, располагал к себе более или менее один. Звали его Еш-Незер, он имел чин юз-баши, то есть командира, которому хан во время военных действий вверял начальство над воинскими отрядами. Юз-баши не было еще сорока лет, он выделялся благородной осанкой, смелыми рассуждениями и, кажется, недолюбливал хана. Юз-баши был приятным собеседником, знал много восточных мудростей. Как-то Муравьев спросил, какие ханские чиновники, по мнению юз-баши, лучше, какие хуже. Он ответил: «Верблюд шел на гору, а потом спускался с нее. Некто спросил у верблюда, что ему лучше: на гору идти или с горы спускаться? Наплевать на них обоих, – сказал верблюд».

К заключенному в крепости посланнику юз-баши относился сочувственно, старался ободрить его и дал нагоняи Ат-Чанару, узнав, что тот скряжничает при выдаче продуктов. Муравьев стал сближаться с юз-баши и подумывать над тем, не доверить ли ему послание от Ермолова

для вручения хану? Ат-Чанар и другие ханские приставы не раз предлагали ему свои услуги в этом деле, но отдать в их руки единственный документ, подтверждавший полномочия посланника и цель его поездки в Хиву, было немыслимо. Они могли послание уничтожить, и тогда Муравьев оказался бы в положении самозванца, А вместе с тем, не зная, что написал Ермолов, хан свое отношение к Муравьеву определял на основе неверных донесений и слухов. Надо было как-то разорвать этот заколдованный круг. И нельзя было медлить.

Шел второй месяц заключения в Иль-Гельди. Стоял ноябрь. Осыпались листья с деревьев, свежее становились утренники, приближалась зима. Муравьев все более отчаивался. На восточном побережье Каспия мог появиться лед, и корвет «Казань», на котором его ожидали, вынужден был бы возвратиться в Баку.

Муравьев сказал об этом юз-баши, и тот сам предложил:

– Я намекну хану, что если с корветом что-нибудь случится, он будет отвечать перед русским императором, коего весьма побаивается... Но чтобы ускорить ваш прием у Мегмед-Рагима, не следует ли вам отправить ему со мной послание Ермолова и некоторые подарки?

Муравьев решил рискнуть. Незадолго перед тем юз-баши высказал желание отправиться вместе с ним посланником хана к Ермолову и собирался хлопотать об этом, и по всему было видно; никаких коварных замыслов не строил.

Муравьев отдал юз-баши для передачи хану ермоловское послание, а также подарки, состоявшие из нескольких кусков сукна и парчи, золотых часов, посуды, фарфоровых и стеклянных изделий, неизвестных в Хиве.

Юз-баши, уезжая, пообещал:

– Если дела хорошо пойдут, то ожидайте меня завтра после полудня...

Однако прошел день, прошел другой, третий... Юз-баши не возвращался. И вестей о себе не давал. Значит, дела были плохи. А может быть, он обманул? Оказался не лучше других ханских чиновников, готовых на любую подлость, лишь бы завладеть привезенными подарками? Стоило только юз-баши уничтожить послание... Нет, не хотелось в это верить! И все-таки тревожные мысли держали в лихорадочном состоянии. Без ермоловского послания нечего рассчитывать на прием у хана, можно ожидать лишь страшной мучительной казни. В таком случае побег теперь являлся единственным разумным действием. Муравьев назначил себе твердый срок: ждать юз-баши еще один день, и если он до вечера не приедет...

Но юз-баши приехал, веселый и радостный:

– Хан требует вас к себе. Послание и подарки приняты милостиво. Завтра утром мы едем в Хиву.

И вот открылся перед ним прекрасный и таинственный город. Тенистые, заботливо выхоженные сады, искусно сделанные каналы с прозрачной водой, великолепные каменные мосты и строения восточной архитектуры, бассейны и фонтаны, чудесная мечеть с бирюзовым куполом и золотым шаром над ним. Даже не верилось, что этот город, во всем превосходивший старинные персидские города, – столица кочевого разбойного народа, промышлявшего работорговлей.

Муравьев остановился в доме первого визиря. Здесь готовилось еще одно испытание. В соседней комнате у закрытой двери находился знавший русский язык ханский пристав, на обязанности его лежало в течение трех дней подслушивать все, что говорит гость, которого другие ханские чиновники всячески настраивали на откровенность.

Муравьев, к счастью, знал об этом, его успел предупредить Давыд, и поэтому распространялся лишь о великих достоинствах хивинцев и несравненного их повелителя. Когда испытание было закончено, юз-баши объявил, что хан ожидает посла. Муравьев надел гвардейский мундир со всеми регалиями. Сопровождали его во дворец юз-баши и несколько приставов – разгоняли дубинами наседавших на них людей, думавших, что посла ведут казнить.

Муравьева провели к дворцовым кирпичным, со вкусом построенным воротам, за которыми был мощеный двор, где у стен в неподвижных позах сидели шестьдесят киргизских послов, приехавших на поклон к хану, власть которого они признавали. Затем надо было пройти второй двор, где стояло семь небольших пушек на лафетах, и третий двор, где собирались ханские любимцы и вельможи, а отсюда через крытый камышом коридор был выход на четвертый двор – там росли степные травы и цветы, и среди них стояла ханская кибитка.

Привратники распахнули шелковые полы кибитки. Посредине ее на роскошном хороссанском ковре сидел, по-восточному поджав под себя ноги, хивинский владыка. Он был в красном суконном халате, застегнутом на груди серебряной петлицей, и в высокой, повязанной белым шелком чалме на голове. Богатырского роста, с величественной осанкой, с чистым смуглым лицом, пронзательными умными глазами и белокурой короткой бородкой хан оставлял довольно приятное впечатление. Это было для Муравьева несколько неожиданно и подействовало ободряюще. Он молча поклонился.

– Хошь-гелюбсен! Хошь-гелюбсен!{11} – чуть приподняв правую руку, приветствовал его Мегмед-Рагим-хан. И, сделав небольшую паузу, поглаживая бороду, спросил: – Посланник! Зачем ты приехал и какую имеешь просьбу до меня?

Мегмед-Рагим-хан говорил по-турецки чисто и мягко. Муравьев сделал шаг вперед, отвечал тоже на турецком языке свободно и спокойно:

– Счастливой российской империи главнокомандующий над землями, лежащими между Черным и Каспийским морями, послал меня к вашему высокостепенству для изъявления почтения своего и вручения вам письма, в благополучное время писанного!

Мегмед-Рагим-хан перебил:

– Я читал письмо его!

Муравьев поклонился, продолжил:

– Сверх того он поручил мне доставить вашему высокостепенству некоторые подарки, которые я имел счастье несколько дней вперед отправить к вам. Я имею также приказание доложить вам о некоторых предметах изустно... Когда угодно будет вам выслушать меня, теперь или в другое время?

– Говори теперь, – кивнул головой хан.

– Главнокомандующий наш, – сказал Муравьев, – желая вступить в тесную дружбу с вашим высокостепенством, хочет войти в частные сношения с вами. Для сего должно поставить на твердую почву торговлю между нашим народом и вашим в пользу обеих держав. Но караваны ваши, ходящие в Астрахань через Мангышлак, должны идти тридцать дней степью почти безводной, трудная дорога сия причиною, что торговые сношения наши до сей поры еще малозначительны. Теперь же главнокомандующий желает, чтобы караваны ваши ходили к Красноводской пристани, по сей новой дороге только семнадцать дней езды, и купцы ваши всегда найдут в предполагаемой новой пристани Красноводской несколько купеческих судов из Астрахани с теми товарами и изделиями, за которыми они к нам ездят.

– Хотя справедливо то, – сказал хан, – что мангышлакская дорога гораздо далее красноводской, но народ мангышлакский мне предан, тогда как прибрежные туркменцы служат в большей части Каджарам, и потому караваны мои подвергаются опасности быть разграбленными. Я не могу согласиться на сию перемену.

– Когда вы вступите в дружественные сношения с нами, то сии самые туркменцы, теперь готовые нам повиноваться, будут ваши же слуги, и мы будем готовы подать вам всякую помощь порохом, свинцом и даже орудиями.

– Порох у меня есть, свинца довольно, – сказал с гордостью хан. – Ты видел, что и пушки у меня есть. Мастер из Царьграда взялся на днях вылить новую пушку, коей бы ядро весило два пуда.

– Слава оружия вашего высокостепенства слишком известна, чтобы мне ее не знать, – едва сдерживаясь от неподобающей улыбки, сказал Муравьев. – Но что прикажете мне отвечать главнокомандующему нашему, желающему дружбы вашей? Он приказал мне просить у вас доверенных людей, кои могли бы отправиться со мною и затем доложить вам о благорасположении главнокомандующего и нашего народа.

– Я пошлю с тобой хороших людей и дам им письмо к главнокомандующему. Я сам желаю, чтобы между нами утвердилась настоящая дружба. Хошь-гелюбсен!

Муравьев откланялся и вышел. Старый визирь Мехтер-ага и хивинские вельможи ожидали его в соседнем дворе. Вскоре сюда явился юз-баши, за ним пристав внес пожалованный ханом русскому посланнику халат из индийской золотой парчи, богатый восточный кушак, кинжал в серебряных ножнах и парчовую безрукавку, надевавшуюся на халат. Муравьева тут же обрядили в эту одежду и снова повели к хану благодарить за милостивый прием и подарки. Выполнив, как полагалось, этот обряд, Муравьев произнес:

– Благодарю ваше высокостепенство за доброе отношение ко мне, скажите, чем я могу заслужить милости, которыми вы одаряете меня. Я бы счастлив был, если б на будущий год опять мог приехать к вам с препоручениями от нашего главнокомандующего, дабы показать вам преданность мою.

– Ты приедешь, если тебя пошлют, – перебил хан строго. – А моих посланников ты представишь главнокомандующему. Если он захочет, то может послать их даже и к государю.

Муравьеву объявили, что он может возвращаться домой. С ним отправлялись ханские посланники юз-баши Еш-Незер и славившийся ученостью узбек Якуб-бай с небольшой свитой.

14 декабря Муравьев, спустившись с прибрежных гор, увидел Красноводский залив и стоявший на якоре трехмачтовым корвет. Навстречу ему отчалил гребной катер. Муравьеву показалось, что никогда еще в жизни не билось так сильно сердце, не ощущал он так полно любви к отечеству, как при виде русских кораблей и своих соотечественников!

Майор Пономарев в тот же день послал рапорт к находившемуся в Дагестане Ермолову о благополучном возвращении Муравьева из Хивы. На корвете три дня царило радостное возбуждение. Кият-Ага позвал из соседних кочевий лучших наездников и устроил в честь Муравьева конные скачки и стрельбу из лука. Лейтенант Басаргин готовился в обратный рейс.

24 декабря корвет «Казань» бросил якорь в Бакинском рейде. Здесь Муравьев вскоре получил депешу от Ермолова, который писал: «С почтением смотря на труды ваши, на твердость, с какою вы превозмогли и затруднения, и самую опасность, противуоставшие

исполнению возложенного на вас важного поручения, я почитаю себя обязанным представить всеподданнейше государю императору об отличном усердии вашем в пользу его службы. Ваше высокоблагородие собственно мне сделали честь, оправдав выбор мой исполнением столь трудного поручения. Генерал Ермолов. 31 декабря 1819 г. С.Параул в Дагестане».

Так была перевернута еще одна интересная страница жизни.

Муравьев испытывал большое внутреннее удовлетворение, он имел право гордиться выдержанными жестокими испытаниями. Мужество потеряно не было. Долг россиянина исполнен.

7

Алексей Петрович Ермолов был не в духе. Собираясь весной замирать горцев в Дагестане, он полагал, что намерение это не встретит больших препятствий. Могли ли противиться силе двенадцатитысячного русского корпуса плохо вооруженные да еще зачастую и враждовавшие между собой чеченцы, лезгины, аварцы? А получилось все не так, как думалось...

Горцы независимостью дорожили больше жизни. Никакие уговоры и мирные предложения не помогали. Покорности никто не изъявлял. Аулы превратились в маленькие крепости, их приходилось брать на штыках при огромных жертвах. Горцы сопротивлялись отчаянно. Пощады никто не просил. Старики, и ребятишки, и женщины с пылающей ненавистью в глазах кидались на солдат с кинжалами и с чем попало. Кровавопролитные бои ослабляли войска. Военные строгости, наказания, разрушения аулов лишь усиливали ожесточение населения.

Алексей Петрович, сам себя успокаивая и оправдывая, говорил близким:

– Знаю, знаю, иные господа либералисты будут меня осуждать: на вольность народа посягнул Ермолов, – а что в настоящих обстоятельствах делать прикажете, позвольте вас спросить, господа? Оставить в покое горцев? Так их сейчас же турки и персияне к рукам приберут. А за спиной сих магометанских народов могущественный мистер Пудинг стоит и давно алчным взглядом взирает на горы и долины Кавказа. Не долг ли наш оградить край сей от вожделений чужеземцев? А без суровых мер как этот план исполнен быть может?

Но хотя доводы были отчасти справедливыми, успокоения они не давали. Каковы бы ни были соображения высокой политики, все же горцы отстаивали свою свободу и жизнь платили за любовь к ней, и разве он, Ермолов, с юных лет ненавидевший угнетение, мог оставаться равнодушным к ежедневно наблюдаемым примерам изумительного свободолюбия и героизма? Да и что давали, в конце концов, суровые военные меры?

А из Петербурга поступали неприятные вести... Император Александр, совершенно не разбирающийся в обстановке на Кавказе, ждал быстрых успехов и победных реляций, а их не было, и он все более критически относился к деятельности командующего Кавказским корпусом.

– Я ценю Ермолова за ум и бескорыстие, – говорил он Петру Михайловичу Волконскому, – но, признаюсь, последние донесения с Кавказа меня не радуют: Ермолов полгода возится с горцами, когда при надлежащих мерах можно бы за месяц привести в покорность этих дикарей...

– В горах военные действия весьма затруднительны, ваше величество, – решился напомнить

Волконский.

– Не в этом дело, – поморщился император. – Алексей Петрович слишком либеральничает и самовольничает... Ты читал его приказ, в котором он называет солдат товарищами? Возмутительно, мерзко! Я не поручусь, что и с горцами у него нет каких-нибудь шашней. А что это за история с посылкой в Хиву капитана Муравьева? Персияне враждуют с хивинцами, и шах встревожен, требует объяснений, зачем наш военный корвет стоит у восточных берегов Каспия, а наш офицер отправился в Хиву. Ты представляешь, какие осложнения может вызвать необдуманый поступок Ермолова?

– Позволю заметить, ваше величество, что Муравьеву поручено разведать дорогу в ханство и говорить с ханом лишь о торговых отношениях. И я надеюсь, капитан Муравьев, коего знаю с отличной стороны, поручение, данное ему, выполнит с весьма выгодным для нас рвением.

– А если с него там, как с Бековича, кожу сдерут, тогда кто за сие в ответе будет? Нет, я решительно умываю руки, заранее тебе говорю! Напиши Ермолову построже, что я действиями его недоволен и чтоб более о его самоуправствах не слышал...

Ермолов о настроении императора и его отношении к себе знал отлично, и с этим, хочешь не хочешь, приходилось считаться. Все это тоже сказывалось на дурном расположении духа. Охватившие Ермолова противоречивые чувства причиняли почти физическую боль. Он изменился и внешне. Похудел, пожелтел, под глазами легли морщины, посеребрилась львиная грива, отпущенные усы придавали лицу какое-то неприятное озлобленное выражение.

Благополучное возвращение Муравьева из Хивы порадовало Алексея Петровича; он, отдавая должное отважному капитану, незамедлительно написал в главный штаб:

«Гвардейского Генерального штаба капитан Муравьев, имевший от меня поручение проехать в Хиву и доставить письмо тамошнему хану, несмотря на все опасности и затруднения, туда проехал. Ему угрожали смертью, содержали в крепости, но он имел твердость, все вытерпев, ничего не утрапиться; видел хана, говорил с ним и, внуша ему боязнь мщения со стороны моей, побудил отправить ко мне посланцев. Муравьев есть первый из русских в сей дикой стороне, и сведения, которые передаст нам о ней, чрезвычайно любопытны. Увидев его в Дербенте, я пришлю вам рапорт о происшествиях и похвальной решительности Муравьева».

Но в Дербенте, куда Ермолов прибыл в половине января 1820 года, встреча с Муравьевым получилась довольно холодной.

Николай Николаевич прибыл в Дербент немного раньше Ермолова и тотчас же попал в объятия своих кавказских приятелей Бабарыкина и Воейкова. Они находились в Дагестане при Ермолове и, не таясь, рассказали обо всех допущенных им жестокостях против горцев. И об этом шепотом и вслух говорили всюду. Муравьев записал: «Рассказы, слышанные мною касательно кампании Алексея Петровича, не могут быть здесь помещены, ибо, не имея настоящих сведений на сей счет, мне бы не хотелось обсуживать действия двенадцатитысячного корпуса, который в течение целого лета, как мне кажется, только грабил и разорял окрестные деревни и несколько раз рассеял вооруженные толпы жителей. Главнокомандующий до такой степени забывался, что даже собственными руками наказывал несчастных жителей. Жестокие поступки, которыми он себя ознаменовал в течение прошлого года, совсем несовместимы со свойственным ему добродушием. Одно отравление Измаил-хана Текинского, коего исполнитель был генерал Мадатов, заставляет всякого содрогаться».

И хотя обсуждать действия главнокомандующего Муравьев не собирался, но тягостного впечатления, оставленного рассказами, скрыть не мог, и Ермолов при первом взгляде на него догадался, в чем дело. «Тоже и этого либералиста, видно, успели приятели настроить на

осуждение, – подумал он, – своих чувств укрывать не научился еще!» И сразу недобрыми, колючими стали спрятавшиеся под лохматые брови серые пронизательные глаза.

Сказал без обычной приветливости, сухо, коротко:

– Садись. Докладывай.

Слушал же молча и без особого внимания. Лишь по еле заметному судорожному движению сжатых губ можно было судить, что он сдерживает готовое прорваться раздражение.

А у Муравьева горько было на душе... И более всего боялся он сейчас не гневных речей и упреков, а того, что Ермолов начнет выискивать оправдания своим жестоким поступкам, ибо тогда он мог не выдержать и сказать Алексею Петровичу прямо, что стыдится за него, и это будет концом их отношений.

Но Ермолов сдержался. Он любил и более других своих приближенных уважал Муравьева, цenia его преданность, душевную твердость, мужество, прямоту и стойкость свободолюбивых убеждений, и поэтому-то особенно обидно было видеть на лице капитана плохо скрытое осуждение, и хотелось дать ему почувствовать, сколь «приятно» применять вызванные необходимостью, как Ермолову казалось, карательные меры. Пусть-ка тогда попробует осуждать!

Выслушав донесение, он произнес:

– Изложи сие в краткой записке и подай мне не позднее следующей недели. Будет тебе еще важное поручение. Отправишься с отрядом генерала Мадатова для наказания изменившего нам Суркай-хана Казы-Кумыкского.

Догадаться, какими мотивами вызвано это распоряжение главнокомандующего, не составляло труда. Муравьев возражать не стал, надеясь, что Ермолов сам, подумав, отменит это поручение. И не ошибся.

Неделю спустя записка была готова. Муравьев обстоятельно изложил свое мнение о необходимости учреждения крепости в Красноводском заливе и о распространении нашей торговли в Хиве и Бухаре.

Ермолов, одоблив записку, сказал:

– Надо, чтоб правительство, согласясь с мнением сим, продолжало начатое нами... Придется тебе в Петербург ходатаем по этим делам ехать.

О прошлом своем поручении он не упомянул ни словом.

... А известие о необычайном путешествии в Хиву капитана Муравьева проникло в газеты и в Тифлис, где он задержался до весны, обрабатывая дневниковые записи, хлынул поток писем от родных, друзей и совершенно незнакомых людей, восхищавшихся отважным офицером. Особенно взволновало полученное из Тульчина послание Бурцова:

«Имя твое, достойнейший Николай, превозносимо согражданами. Подвиг, тобой совершенный, достоин славного Рима. Как ни равнодушен век наш к подобным делам, но не умолчит о тебе история. Суди же, какую радостью исполнены сердца друзей твоих! Всегда друзья твои славляли и чтили твою чувствительность, душевную крепость: теперь отечество обязано пред тобой – оно в долгу у гражданина, торжественное, превосходное состояние!»
[21]

Муравьев не ожидал, что соотечественники придадут такое значение его путешествию в Хиву, и у него зародилась мысль издать свои записки отдельной книгой. Поездка в столицу

была весьма кстати. Там найдутся люди, которые дадут добрый совет. Прежде всего можно, конечно, рассчитывать на Никиту Муравьева. Он пошел в своего батюшку, пером владеет бойко, и ум у него светлый. Недаром в созданное Жуковским литературное общество «Арзамас» был принят.

Давно хотелось поговорить с Никитой по душам и о делах сокровенных, касающихся тайного общества... Что там происходит? Судить о том по намекам, допускаясь в письмах, становилось все более затруднительно. А он не собирался отказываться, подобно брату Александру и некоторым малодушным друзьям, от политической деятельности и теперь намеревался восстановить связь с обществом. Ему было известно, что из членов общества в столице сейчас находятся помимо Никиты Павел Калошин, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Михайло Лунин, а может быть, подъедет и Бурцов из Тульчина. Предстоящая поездка в Петербург обещала много интересного.

Ну и помимо всего прочего туда влекла его – он мог в этом себе признаться – и пробудившаяся надежда на встречу с Наташей Мордвиновой и на возможность благополучного окончания долголетнего романа. Как раз перед отъездом из Тифлиса он получил неожиданное известие от двоюродной сестры Сони Корсаковой: она виделась с Наташей, и та открылась ей, сказала, что продолжает любить его и ждет нового предложения. Соня обещала совершенный успех, если он этот решительный шаг сделает. Как знать, может быть! Затуманенный временем милый образ вновь ожил и волновал его чувства.

8

В Петербург приехал он ранним утром четырнадцатого мая. Остановился у Павла Калошина, который жил на Мойке в большой, хорошо обставленной квартире вместе с прапорщиком Алексеем Тучковым, недавно окончившим московскую школу колонновожатых.

Павел по-прежнему служил в Гвардейском штабе, был одним из ревностных членов Союза Благоденствия, возглавлял одну из его столичных управ. Муравьева встретил он радостно, как близкого друга и единомышленника.

Союз Благоденствия, по словам Павла, значительно расширился, окреп и довольно успешно завоевывал общественное мнение. Члены Союза действовали в Вольном обществе любителей российской словесности, в обществе по распространению ланкастерских школ, создали журнальное общество, предполагая издавать собственный журнал, проникли в масонские ложи и в библейское общество.

Не ограничиваясь распространением свободомыслия и вербовкой новых приверженцев, Союз Благоденствия усиливал и практическую деятельность. Члены Союза были во многих департаментах и при высших сановниках, влияли на этих сановников в нужном направлении, разоблачали темные махинации в судопроизводстве, собирали средства для голодающих, выкупали у помещиков даровитых крепостных людей.

А незадолго до приезда Николая Муравьева произошел такой случай. Император Александр приказал петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу арестовать и выслать в Сибирь молодого поэта Александра Пушкина, автора свободолюбивых стихов. Но любимый адъютант губернатора, член Союза Благоденствия и литератор Федор Глинка предупредил Пушкина о грозящей беде, устроил ему свидание с Милорадовичем, подготовил к тому, как надо держаться с ним, и Пушкин, избежав ареста, отделался простой высылкой на юг.

– У нас в корпусе не только у офицеров, но и у солдат рукописные стихи Пушкина имеются, – заметил Муравьев. – Мне недавно Воейков прочитал одни; не знаю, верно ли, что Пушкиным сии стихи сочинены, но с чувством необыкновенным каждое слово выражено, меня, веришь ли, жаром они обдали!

– А что за стихи, не запомнил? – спросил Калошин.

– Конец ухватил, из головы до сей поры строки эти не выходят:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

– Пушкин, наш Пушкин! – весь просияв, радостно воскликнул Павел. – Певец наш вдохновенный!..

... В первый день приезда Муравьев с бумагами Ермолова явился к генералу Закревскому и к Петру Михайловичу Волконскому, которые похвально отозвались о его мужестве и поздравили с производством в полковники. Волконский посоветовал по делам, касающимся отношений с Хивой и Бухарой, побывать у министра иностранных дел графа Нессельроде, у министра внутренних дел графа Кочубея и министра духовных дел князя Голицына. И добавил:

– По всей вероятности, тебя пожелает видеть и государь, посему далеко не отлучайся, ожидай вызова во дворец...

Приезд Муравьева в Петербург наделал много шума, и в высшем свете двери для него гостеприимно распахнулись. Но ни ласковое обращение министров, ни щедро расточаемые титулованными господами комплименты, ни изысканное общество сверкающих бриллиантами женщин с оголенными по моде плечами – ничто на молодого полковника впечатления не произвело. Все было чуждо ему в этом мире, где блестящая мишура и застывшие улыбки скрывали душевную пустоту и невежество.

Особенно поражало полное безразличие сановников к своим обязанностям, Графу Нессельроде очень понравилась высказанная Муравьевым мысль об установлении отношений с Хивой и Бухарой, он сказал:

– Не может быть двух мнений о несомненной пользе для нас предложенного вами дела, любезный полковник, но у нас в министерстве нет людей, хорошо знающих эти азиатские страны... Что вы скажете, если мы назначим вас полномочным посланником в Бухару?

– Я всегда готов отправиться туда, где могу с большей пользой служить отечеству, ваше сиятельство, – сдержанно отозвался Муравьев.

– И отлично! Не сомневаюсь, что государь нас одобрит... А теперь прошу вас посетить графа Каподистрию и управляющего департаментом азиатских дел господина Родофиникина, надо согласовать вопрос с ними...

Согласовать вопрос, однако, так и не удалось. Все предложения одобряли, все помощь обещали, все улыбались, и никто решительного слова произнести не осмелился. Муравьев тогда же с горькой иронией записал в свой дневник: «Таскаясь по всем первым лицам Государства, я имел случай узнать их, наблюдать ход действий их и взаимные сношения. Как не пожертвовать Поучительному наблюдению сему несколько времени, проведенного в скучной столице сей? Министры гуляли и разъезжали по мызам. Нерадение и беспечность сих людей беспримерна. Их не может занимать самое выгодное дело для правительства нашего, но весь предмет их службы состоит только во взаимных распрях и в стараниях выманить себе что-нибудь от государя. И я радовался избавлению своему из рук сих людей, которых презирал от всего сердца».

Представление императору оказалось столь же бесцельным. Петр Михайлович Волконский, встретив во дворце Муравьева, прежде чем ввести его в кабинет императора несколько минут обучал придворным манерам и показывал, как надо держать себя у царя. Пожилой, тучный человек со сладчайшей улыбкой на губах, выкатив глаза, кланяясь и выгибаясь, вытягиваясь и сжимаясь, что-то бормотал, делал какие-то странные движения руками и, казалось, готов был вот-вот начать кувыряться. Муравьев, глядя на него, едва сдерживался от смеха. Вот до чего доводит холопство! Нет, никогда он, Муравьев, не будет царедворцем, никогда не унижится до потери человеческого достоинства перед земными владыками! Сопровождаемый Волконским, он вошел в кабинет. Император Александр поднялся навстречу и, с обычной приятной улыбкой на пухлом лице, подойдя к Муравьеву, обнял его.

– Очень рад видеть тебя, Николай Николаевич, и благодарить за усердную службу, – сказал он мягко. – О твоём путешествии в Хиву у нас только и говорят. Эго правда, что ты находился в заключении?

– Сорок восемь дней, государь.

– Каким же образом тебе удалось выбраться? И что такое представляет собой правительство в Хиве?

Муравьев кратко рассказал о главном. Император, приложив полусогнутую ладонь к правому уху – он начал сильно глохнуть в последнее время, – слушал со вниманием и лишь слегка поморщился, когда услышал, что хивинцы занимаются работоторговлей и у них в неволе томится свыше трех тысяч русских.

– Неужели так много? – спросил он с деланным сочувствием на лице.

Муравьев подал ему полученную в Хиве записку. Император прочитал и, передав ее Волконскому, произнес:

– Надобно им помочь, Петр Михайлович. Как бы это сделать? Надо послать письмо хану Хивинскому, чтоб он их возвратил... Ну, а как, – снова повернулся он к Муравьеву, – обращались с тобой после освобождения из крепости, когда видели в тебе доверенную особу?

– Со всеми почестями и низкопоклонством, коими хотели загладить подлости свои, как обычно делают люди, лишённые нравственных правил, – отчеканил Муравьев.

Ответ, видимо, не понравился. На лице императора появилось выражение досады, но он мгновенно скрыл ее под выдавленной улыбкой и, обратившись к Волконскому, кивнул головой:

– Это верно, я знаю, эго всегда так у восточных государей...

«Не только у восточных», – мелькнуло в голове у Муравьева. И он тут только догадался, что последние, нечаянно слетевшие у него с языка слова, а равно и упоминание о торговле людьми, император принял, вероятно, как ядовитые намеки (у самого-то в империи не то же ли делается?). И даром ему, Муравьеву, слова эти не пройдут.

Аудиенция окончилась ничего не значащими ласковыми словами императора. Муравьева он милостиво отпустил. Волконского задержал. И, оставшись с ним наедине, спросил:

– Скажи, Петр Михайлович, этот молодец в каком родстве с гвардейским, ныне в отставке, квартирмейстером Александром Муравьевым, который в Хамовнических казармах устраивал возмутительные сборища?

– Родной брат, ваше величество.

– Хм... Я так и подумал, хотя Александр лицом много приятней... А этот держится бычком, кажется грубоватым, неотесанным и... Он ведь тоже из твоих квартирмейстерских птенцов?

– Так точно, государь. Офицер храбрый, исполнительный, превосходно образованный. Шестнадцати лет от роду преподавал геометрию и тригонометрию в нашем петербургском корпусе колонновожатых. Ваше величество верно изволили заметить, что наружностью и манерами полковник Муравьев не отличается, но за всем тем...

Император договорить не дал.

– Так что же, по-твоему, мне следует сделать для твоего протеже?

– Полагал бы справедливым, государь, пожаловать Орден святой Анны первой степени. Труды и мужество, показанные Муравьевым в Хиве, того вполне заслуживают.

– Ты удивительно последователен, Петр Михайлович, – с насмешкой в голосе промолвил император. – Мы выговариваем Ермолову за необдуманную посылку Муравьева в Хиву и тут же награждаем этого Муравьева, признавая тем самым действия Ермолова весьма нам полезными. Нет, награждать воздержимся. Повысили в чине – и достаточно. И не следует усиливать шума, поднятого приездом сюда этого молодца. Ты меня понимаешь?

Волконский молча наклонил голову.

А спустя несколько дней Муравьеву объявили, что государь считает преждевременной посылку посольства в Бухару и Хиву, и дали понять, чтоб в столице он, Муравьев, долго не задерживался, а собирался бы опять в Грузию, куда с ним будут отправлены важные бумаги для Ермолова.

Итак, в служебных делах и в общении с высокопоставленными господами никакого успеха он не добился. Разрушились надежды и на встречу с Наташей. Семьи адмирала в столице не было, незадолго перед тем Мордвиновы уехали в свою подмосковную.

Муравьев повидался с Соней Корсаковой, и та подтвердила, что Наташа все время о нем вспоминает и что ему следует, не теряя времени, возобновить предложение. А ему с необыкновенной ясностью вдруг вспомнилось, как четыре года назад он был оскорблен и унижен постыдным отказом, и, чувствуя, как запылали щеки, качнул головой упрямо и сердито:

– Я не могу приступить к делу такого рода, не могу позволить шутить с собой в другой раз...

– С тех пор прошло четыре года, милый кузен, и многое изменилось...

– Да, четыре года... Четыре года я жил изгнанником из своего отечества и четыре года, признаюсь тебе, делал усилия забыть ее...

– Ну, если тебе это удалось, тогда нам не стоит и продолжать разговора...

– Нет, все мое несчастье в том, что я не могу забыть ее. Но у меня есть гордость, Соня, меня слишком больно ударили в сердце. Пусть первый шаг сделают они, пусть сама Наташа хотя бы в письме выскажет то, о чем говоришь ты, я должен быть твердо уверенным, что снова не буду отвергнут...

– Хорошо. Я передам Наташе, когда они возвратятся, хотя на твоём месте не сделала бы этого. Заставить такую скромную и застенчивую девушку, как Наташа, высказаться первой – ты слишком многого хочешь. Наташе двадцать шестой год. Она отвергла многих претендентов на свою руку, это ли не доказывает ее чувств? Но вечно так продолжаться не может. Насколько мне известно, кавалергард князь Львов в ней души не чаёт, и если б не ты...

– Ну, это уж ее дело, пусть сама решает, – перебил он Соню.

И разговор на этом был закончен.

Да, не ладилось у него дела, не ладилась, и личная жизнь. Зато, будучи в столице, вдоволь насладился он беседами со старинными своими единомыслящими товарищами и новыми знакомыми из лагеря вольнодумцев, среди которых был и жизнерадостный Федор Глинка, и красноречивый оратор Николай Тургенев, и молодой офицер Горсткин, создавший управу Союза Благоденствия в егерском полку, и прекрасно образованный чиновник из духовного звания Степан Семенов, страстный республиканец, с которым Николай особенно сблизился и намеревался взять с собой секретарем предполагаемого посольства в Бухару.

Но, разумеется, более всех других приятны были встречи с Никитой Муравьевым. Петербургские скупые дневниковые записи сохранили даты нескольких таких встреч:

«2-го июня я обедал на Каменном острове у Екатерины Федоровны Муравьевой... 10-го июня я провел день у Никиты Муравьева в надежде заняться поправкой моих записок, но вместо сего был завлечен матерью его, которая целый вечер таскала меня по Крестовскому острову и надоела мне до крайности... 11-го июня я провел утро у Муравьева же, читая ему свои записки».

С братской теплотой обнял его Никита, который недавно вышел в отставку и теперь с присущей ему горячностью отдавался работе в тайном обществе. Тут же, без всяких рекомендаций, создатель первого в России тайного юношеского республиканского общества и глава Священной артели Николай Муравьев принят был в Союз Благоденствия.

– Не знаю только, чем могу быть вам полезен, будучи в таком отдалении отсюда, – заметил при этом Николай Муравьев.

– А вот тем самым, – улыбнулся Никита, – что, находясь в Грузии, будешь там, на окраине государства Российского, в духе нашего общества действовать и на самого достойного генерала Ермолова должным образом влиять...

– Эка куда ты хватил, братец любезный Никитушка! – воскликнул Николай. – Влиять на Ермолова! Плохо ты знаешь проконсула Кавказа! Я пробовал на незаконные действия его чиновников указать, да и то чуть-чуть домой не отправился...

– Вот тебе раз! – удивился Никита. – А ведь мы все Ермолова противником самодержавия почитали, среди своих друзей полагали...

– Оно отчасти так и есть, он нам явно сочувствует, – подтвердил Николай. – И я не жалуясь и ценю Алексея Петровича более чем кто-нибудь, но, милый брат мой, мне приходится и с иными его действиями сталкиваться, вот в чем суть! Знаю, что нужно немирных чеченцев смирить и край обезопасить, но зачем же излишняя жестокость, угнетение и беззаконие? Вот что терпеть мне трудно! Посему и отношения у нас с Алексеем Петровичем неровны: порой кажется, век с ним служил бы, а подчас бежать хочется...

– Последнего делать никак нельзя, – решительно возразил Никита, – трудно предугадать, как далее события развернутся, потому и стараться надлежит, чтобы в корпусе Кавказском поболее своих было... Вот главная твоя задача!

Затем в отцовском кабинете, уставленном тяжелой дубовой мебелью и шкафами с книгами, Никита, стоя за отцовским бюро, взволнованно, глухим баском читал только что им написанный революционный катехизис. В кратких и ясных вопросах и ответах раскрывалась российская история, говорилось о том, как малое число людей поработило большое, как цари присвоили себе всяким обманом власть беспредельную, и доказывалась пагубность для отечества самодержавного строя, которому противопоставлялось старинное вечевое устройство и народоправие.

Николай Муравьев со всем соглашался, одобрял:

– Превосходно. Не в бровь, а в глаз каждое слово.

Многие мысли, высказанные в катехизисе, ему знакомы. Не он ли сам в Священной артели столько раз восхвалял преимущества вечевого устройства? Даже вечевой колокол в артели повесили. Да и некоторые правила, ныне принятые в Союзе Благоденствия, были составлены им для артельщиков. Вон и Бурцов, который вместе с Пестелем возглавляет Тульчинскую управу тайного общества, пишет, что именно эти правила вводятся теперь и у них.[22]

– А ты с Бурцовым связь поддерживаешь? – спросил он после того, как чтение было окончено.

– Более с Пестелем. Был здесь зимой Павел Иванович и явил себя подлинным республиканцем. Обширного ума человек и великой силы душевной!

– Я видел его перед отъездом на Кавказ у брата Александра. Калошин говорит, что Бурцов и Пестель в Тульчине вовлекли в общество много штабных офицеров и даже сам начальник штаба генерал Киселев будто бы с ними заодно?

– Слышал об этом, но не могу судить, сколь слухи достоверны, – пожав слегка плечами, ответил Никита и, чуть помолчав, продолжил: – Меня беспокоит, что между Бурцовым и Пестелем появились расхождения во взглядах и усиливаются резкие споры. Пестель убежденный республиканец, а Бурцов как будто всяких решительных мер побаивается. Я собираюсь в конце лета поехать туда с Михайлой Луниным, чтоб иметь представление о том, что там творится...

– Так увидишь Бурцова, передай ему, что я во всяком случае от старых взглядов отказываться не собираюсь.

– Непременно, непременно передам...

Они говорят обо всем с полной откровенностью. Впрочем, наедине оставаться приходится им не так часто. Вечерами собираются у Никиты товарищи, и в кабинете не утихают споры. А

более всех отвлекает Екатерина Федоровна, мать Никиты. Она женщина общительная, и показать отважного путешественника в Хиву, коего с малых лет по-родственному зовет Николенькой, хочется ей всем знакомым, а их у нее полгорода! Вот и делаешь вынужденные визиты или, сидя в гостиной у Екатерины Федоровны и с трудом сдерживая зевоту, отвечаешь на глупейшие вопросы важных господ.

Записки о путешествии в Хиву читаются в кабинете Никиты в утренние часы, в самое удобное время. Никита оправдал возлагавшиеся на него надежды, оказался хорошим редактором, с его помощью подготовка текста к печати проходила успешно. Но когда записки были прочитаны до конца, Никита задумался:

– Мне кажется, книга твоя имеет все же один существенный недостаток...

– Какой же?

– В записках твоих весьма мало сказано о политическом устройстве Хивинского ханства и нет оценки действиям Мегмед-Рагим-хана, коего ты представляешь читателю самовластным злодеем и тираном.

– Помилуй, Никита, что же я в Хиве мог более подробно разглядеть и узнать, находясь почти все время в заточении?

– Понимаю, однако ж можно и не видя представить устройство тиранической власти и высказать собственные мысли о ней, отнеся все эти высказывания к Мегмед-Рагиму... Представляешь, с какой прекрасной начинкой может появиться в свет твоя книга?

Николай представил и невольно улыбнулся:

– А ты дипломат тонкий, Никита. Ей-богу, мне как-то на ум сия возможность не пришла... Попробую!

Так появились в замечательной книге о путешествии в Хиву не менее замечательные вставки, вскоре прочитанные Никите.

«Ныне в Хиве правление самовластное, не ограниченное ни законами, ни общим мнением. И поэтому зависит совершенно от воли самовластного владыки, который взирает на ханство как на свое поместье и управляет оным для личной своей выгоды и обогащения. В Хиве, где цель правительства не есть польза народа, а частное благо властителя и окружающих его любимцев, общая польза не занимает никого. Любовь к отечеству при таком правлении существовать не может...»

«Бедствия междуусобий, когда они происходят от распри честолюбивых аристократов, почти всегда прекращаются большим еще злом – порабощением народа одним властителем, который кровавыми следами достигает верховного правления и трон свой основывает на коварстве и всякого рода неистовствах; введенная таковым правлением тишина не означает довольствия народа».

«Где ничем не обуздана власть повелителя и где одни пороки и несовершенства его управляют царством, нарушая общую пользу для своей личной, в таком правлении никто не может достигнуть истинного счастья, каждый гражданин есть раб».[23]

Никита, выслушав подобные вставки, пришел в восторг:

– Вот теперь совсем другое дело! Самодержец наш российский сходство с хивинским деспотом признать не пожелает, а читателю догадаться не трудно, в каком это государстве, помимо Хивы, народ состоит в столь жестоком рабстве у не обузданного никакими законами самовластного владыки.

... И все-таки мужественный, республикански настроенный, суровый по виду молодой полковник Николай Муравьев не чуждался сентиментальности. По дороге из Петербурга на Кавказ он опять заехал в Осташево проведать отца. И сделал там такую дневниковую запись: «Я посетил на островах, перед домом среди пруда находящихся, одно дерево, на котором десять лет тому назад я изобразил имя... Я нашел оное, и множество воспоминаний посетило меня и повергло в задумчивость, и чувства мои заглушили рассудок».

Ему вдруг с неодолимой силой захотелось увидеть Наташу, вот сейчас, во что бы то ни стало, только взглянуть на нее. Стоял летний тихий вечер. Солнце давно скрылось, и догорал закат, и вода в пруду лишь слегка румянела. Он побежал в конюшню, приказал оседлать Соколика, золотистого белоногого рысака, подаренного отцом. Потом снял полковничий мундир, надел штатский костюм для верховой езды: не нужно вызывать у встречных излишних толков.

До села Полуектово, где жили Мордвиновы, было всего двадцать верст. Соколика подгонять не приходилось, он с места пошел крупной и ровной рысью. Между тем в чистом небе начали зажигаться звезды. Придорожные леса дышали ночной прохладой. Полуектово показалось, когда совсем стемнело. Огромный парк, куда выходили балконы деревянного барского двухэтажного дома, казался безлюдным. У сторожки в конце парка Муравьев соскочил с коня. Караульщик, дед Михей, осташевского барчука, от которого не раз перепадали щедрые чаевые, признал сразу. Договориться с ним было нетрудно.

– Посмотри за лошадей, дед, да чтоб ни одна живая душа о моем приезде не ведала. Понял? – строго сказал Муравьев, засовывая старику в карман несколько ассигнаций.

– Ох, батюшка Николай Николаевич, премного вами благодарны, – запричитал старик, – а уж во мне не извольте сомневаться, накажи меня бог, ежели...

– Ладно, ладно, не божись, верю...

По боковой аллее, где некогда гулял с Наташей, он подошел к дому. Оттуда доносились звуки танцевальной музыки. Окна и выходившая на верхний балкон стеклянная дверь были открыты. Сквозь кружевные гардины в парк проникал мягкий свет. Муравьев стоял в тени под старым деревом, прислушиваясь к доносившемуся до него веселому говору, и старался угадать голос Наташи, но это никак не удавалось. Так прошло несколько минут» И вдруг музыка оборвалась, и сама Наташа, разгоряченная танцами, обмахиваясь веером, выбежала на балкон. Он почувствовал, как учащенно забилося сердце, и, невольно подавшись вперед, хорошо разглядел ее: и по-прежнему нежные черты чуть округлившегося лица, и сделанную по моде, с завитыми локонами, прическу... Но она лишь мгновение оставалась одна. На балконе показался высокий стройный кавалергард-офицер. Он наклонился к ней, что-то тихо произнес, и Наташа покачала головой:

– Нет, я пока еще не могу дать вам ответа... Пойдемте в дом!..

Муравьев более угадал по движению ее губ, чем расслышал последние слова, и понял, что Наташе, очевидно, нравится этот кавалергард, но она чувствует себя связанной с ним, Муравьевым, и не может ни на что решиться... А что он мог сделать? Говоря Соне Корсаковой о своих отношениях с Наташей, он еще не знал, что дела отца пришли в полное расстройство, созданная им школа колонновожатых поглотила все его состояние, а правительство никакой помощи не оказывало. Мог ли Николай Муравьев, рассчитывавший только на весьма скромное армейское жалованье, которого едва хватало одному, вообще думать о браке с избалованной, не привыкшей к лишениям Наташей?

Нет, видно, счастье с ней ему не суждено...

Раздумывая о сложившихся обстоятельствах, он не спеша дошел до сторожки. Отдохнувший Соколик, увидев хозяина, радостно заржал. Муравьев потрепал его по горячей шее, поправил

седло. Потом, прощаясь с дедом Михеем, как бы между прочим спросил:

– А ты не слыхал, дед, кто этот офицер высокий, что у ваших господ гостит?

– Слыхал, батюшка Николай Николаевич, говорили давеча дворовые, – охотно отозвался старик. – Петербургский ихний знакомый князь Львов...

9

Шли дни, месяцы, годы. Николай Муравьев безвыездно находился на Кавказе. И если судить по его «Запискам», опубликованным в «Русском архиве», ничем особенно примечательным этот период его жизни ознаменован не был. Он возглавлял вторую длительную экспедицию в Туркмению, потом по распоряжению Ермолова наблюдал за строительством Тарковской крепости, изучал армянский, персидский, грузинский языки и составил турецкую грамматику, которой пользовались Ермолов и Грибоедов, занимался археологическими изысканиями, описанием быта и нравов горцев. И наконец после многих настойчивых его просьб был назначен командиром 7-го карабинерного полка.

Но если мы прочитаем неопубликованные строки его дневниковых записей и недавно обнаруженные письма к нему известных политических и общественных деятелей того времени, то Николай Муравьев предстанет перед нами в ином свете.

Вспомним прежде всего, что Муравьев был опытным конспиратором. Сумел же он уберечь от разгрома созданное им в 1811 году тайное юношеское республиканское общество и Священную артель. В дневниковых записях его, как опубликованных, так и неопубликованных, появляется с каждым годом все больше неправильных дат и противоречивых вставок, сделанных, очевидно, на тот случай, если бы эти дневники оказались в чужих руках. А он мог этого ожидать.[24]

И все же Николай Муравьев политическую деятельность в духе тайного общества продолжал и от опасных связей не отказался. Он ведет обширную переписку с деятелями Северного и Южного тайных обществ, в частности, получает подробную информацию от Евдокима Лачинова из Тульчина. А на Кавказе покровительствует всем высылаемым сюда политически неблагонадежным и разжалованным офицерам; через Муравьева пересылается секретная корреспонденция испанскому революционеру Ван-Галлену, другу знаменитого Квируги.[25]

Более того, узнав, что Бурцов, разойдясь во взглядах с Пестелем, вышел из тайного общества и отказался от политической деятельности, Муравьев сердито отчитывает в письме старого друга.

Но, разумеется, Муравьев не мог знать, почему Бурцов вышел из тайного общества и как на самом деле обстояли дела в Тульчине.

Павел Иванович Пестель и его приверженцы, замышлявшие организовать республиканское правление, создали новое тайное общество – Южное. Бурцов, не сумев собрать партию умеренных, несколько отходит от активной политической деятельности.

Иван Григорьевич стал любимым адъютантом генерала Киселева, своим человеком в его доме. А Киселев, хотя иной раз и либеральничал и даже слушал не без удовольствия чтение Пестелем «Русской правды», в которой тот изложил свои революционные взгляды, однако ближних своих от участия в тайных обществах решительно остерегал. Охлаждение Бурцова к политической деятельности связано, вероятно, и с другим немаловажным обстоятельством.

Жена Киселева, урожденная графиня Потоцкая, сосватала за Ивана Григорьевича свою подругу, красивую и легкомысленную шляхтенку Аннету. Бурцов влюбился в нее без памяти, женился, а она «вольнодумных прений» терпеть не могла и мужа от них всячески удерживала.

И все же основных своих правил и политических убеждений Бурцов не изменял. Он по-прежнему готов был пожертвовать жизнью за отечество, содействовал всему полезному и доброму, не задумываясь с риском для себя отворотить опасность, которой подвергались товарищи.

6 февраля 1822 года в Кишиневе был арестован адъютант командира 16-й дивизии генерала Михаила Федоровича Орлова майор Василий Федосеевич Раевский – один из самых революционно настроенных членов тульчинского тайного общества. Раевский был сильно замешан в происшедшем недавно возмущении солдат Камчатского полка. При обыске среди других бумаг у него забрали список всех тульчинских членов тайного общества, руководимого Пестелем. Забренные бумаги поступили к корпусному генералу Сабанееву. Но в это время в Кишинев для расследования происшедших событий прибыл генерал Киселев, сопровождаемый Бурцовым, и Сабанеев передал все бумаги арестованного начальнику штаба армии. В списке среди других значились имена генерала Михаила Федоровича Орлова, генерал-интенданта Алексея Петровича Юшневского, Павла Ивановича Пестеля и многих других близких Киселеву людей, выдать которых правительству значило бы не только погубить их, но и самому за связи с ними не избежать наказания... Но и решиться уничтожить список Киселев не мог. Этот солдафон Сабанеев, по всей вероятности, знал о списке, дело пахло изменой присяге!

Будучи в сильнейшем волнении, Киселев вызвал Бурцова:

– Вот что, Иван Григорьевич... Придется вам скакать в Тульчин.

– А по какой надобности, ваше превосходительство?

– Передадите главнокомандующему мое донесение об исполнении приговора над возмутившимися солдатами Камчатского полка... а кстати, вот эти бумаги арестованного майора Раевского сдадите в штабе генералу Байкову...

Беспокойство генерала от Бурцова не укрылось, но виду он не подал.

– Бумаги не опечатаны, Павел Дмитриевич?

– Да я ничего особо важного в них не вижу... Впрочем, я просмотрел поверхностно... Возьмите на себя труд познакомиться более внимательно, а потом, как обычно, сами запечатаете...

Придя домой и обнаружив среди бумаг список членов тайного общества, Бурцов понял причину волнения генерала Киселева. Он, не раздумывая, взял на себя всю ответственность и сжег список. Тульчинская управа от разгрома была спасена.

И он мог гордиться своим поступком... 24 апреля 1822 года, отвечая Николаю Николаевичу Муравьеву, упрекавшему его в отходе от политической деятельности и перемене правил, Бурцов писал:

«Нет, почтенный Николай! Я не переменял их. Основание моего образа мыслей и образа поведения было всегда то же, с коим ты знал меня в Петербурге. Желание принести жизнь и способности мои на пользу Отечества всегда было и будет выражением моих действий».

А в одном из следующих писем пояснил:

«Творить что-либо приятно для самолюбия человека, а творить полезное для сограждан – возвышает душу и облагораживает существование наше».

... Особый интерес представляет связь Николая Муравьева с декабристом Александром Якубовичем, служившим в Нижегородском драгунском полку, расквартированном в Караагаче. Вскоре после возвращения из Хивы Муравьев получил следующее письмо:

«Год вашего отсутствия из Грузии был мне десятью, в течение этого времени я не был в Тифлисе. Несчастья и новые неприятности, которые постояннее самих уставов, еще более дали мне право сказать: я несчастлив! Гоним высшим начальством, отринут и заброшен здешними, все это вселяет в меня дух неприязни ко всему, меня окружающему. Я вас уважаю и люблю! Буду следовать вашему совету. Скоро приеду в Тифлис, объявлю мое намерение и уверен, что чувства чести и любовь к свободе, так много и вами уважаемые, будут в этом случае говорить в мою пользу. И мной предпринятое не сочтете следствием неосновательной молодости – это останется между вами и мной. Прощайте, почтенный Николай Николаевич. Истинное чувство благодарности, любви и уважения к вам будет мне законом. Остаюсь вам преданный Александр Якубович».[26]

Письмо свидетельствует не только о близости Якубовича с Муравьевым, но и о том, что Якубовичу отлично известно политическое настроение Муравьева, его неудержимая любовь к свободе. А какое тайное намерение Якубович хотел сообщить Муравьеву? Не ошибемся, если выскажем предположение, что Якубович, всюду выставивший себя несчастной жертвой царского произвола, говорил о намерении убить императора Александра, чего не скрывал и от других. Муравьева, однако, это тайное намерение Якубовича не испугало и не оттолкнуло, их дружба продолжала крепнуть.

После возвращения из Петербурга Муравьев получил записку Якубовича, который, приглашая его в Караагач, сообщал: «Все порядочные ожидают вашего приезда с истинным нетерпением... Его сиятельство, посещая меня, препоручил свидетельствовать вам свое почтение».

Кто же эти порядочные люди в Караагаче, ожидающие с нетерпением возвратившегося из столицы Муравьева? Это свободолюбивые офицеры Нижегородского драгунского полка, собиравшиеся у Якубовича и у князя Александра Герсевановича Чавчавадзе, находившегося в нерушимой дружбе с Муравьевым.

Подчеркиваем близкие отношения Муравьева с Якубовичем потому, что ведь не кто иной как Якубович спустя некоторое время говорил Сергею Григорьевичу Волконскому о существовании кавказского тайного общества, довольно подробно обрисовав и организационное его устройство. Впоследствии в тайном комитете Якубович заявил, что, говоря с Волконским, он «врал не краснея», что тайного общества на Кавказе не было, но можно ли верить этому показанию?

Ниже мы ответим на этот вопрос. А теперь коснемся еще отношений Муравьева с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Почему-то сложилось мнение, будто они не нашли общего языка, оставались чуждыми и даже враждебно настроенными друг к другу. Так ли это?

Муравьеву при первом знакомстве Грибоедов не понравился. Николай Николаевич переживал тяжелую душевную драму, сторонился светского общества, смотрел на представителей его мрачно, и щегольски одетый, с безукоризненными светскими манерами Александр Сергеевич расположить к себе Муравьева не мог. А времени для сближения не было. Александр Сергеевич вскоре уехал в Персию.

И вот теперь, в начале 1822 года, возвратившись из второй туркменской экспедиции, Муравьев вновь встретился в Тифлисе с Грибоедовым, приехавшим из Персии и служившим

чиновником по дипломатической части при Ермолове.

Читаем сделанные Муравьевым дневниковые записи:

«25 января. Провел вечер у Грибоедова. Нашел его переменившимся против прежнего. Человек сей очень умен и имеет большие познания».

«2 февраля. Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг; которых у него тогда не было, велики. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень переменившимся, и он очень понравился вчера».

«3 февраля. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками».

«10 февраля. Вечером поздно Грибоедов ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны».

«27 февраля. Я ходил к Алексею Петровичу и носил к нему турецкую грамматику, которую для него сочинил. После полдня я ходил к Грибоедову, который был болен сии дни».

«19 марта. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком».

«31 марта. Провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер».

«4 апреля. В десять часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать».

Грибоедов и Муравьев постоянно встречались у Ермолова, у Чавчавадзе, в офицерском клубе и особенно часто в гостеприимном доме Ахвердовых, где принимали их по-родственному и где они соперничали в игре на фортепьяно.

За все это время между ними произошла лишь одна размолвка: Грибоедов сказал какую-то колкость, Муравьеву это не понравилось, они объяснились, Грибоедов извинился, и на том дело кончилось.

А в середине апреля Муравьев уехал строить крепость в Тарки, откуда возвратился в Тифлис в начале 1823 года и застал Грибоедова за сборами в Россию, Муравьев составил в Тарках по просьбе Грибоедова и подарил ему словарь тарковских горцев. Грибоедов уступил Муравьеву свое фортепьяно, доставка которого из России по тем временам представляла большие трудности.

26 января Грибоедов послал следующую записку Муравьеву, находившемуся в Башкегете:

«Милостивый государь Николай Николаевич! Я уже укладываюсь. Фортепьяно к вашим услугам. Назначьте мне, кому должен буду сдать их с рук на руки: тогда бы без дальних отлагательств мог я запечатать свою квартиру и отправиться. Прощайте, командуйте счастливо, наигрывайте шумные каденцы, пользуйтесь благорастворением климата и не забывайте вам преданного А. Грибоедова».

А 16 февраля, извещая Муравьева, что фортепьяно сдано по его распоряжению в дом Бебутова и деньги за инструмент получены, Грибоедов заканчивает эту записку такими словами:

«Я же с моей стороны должен радоваться, что досталось фортепьяно отлично хорошее человеку с талантом музыкальным и любителю искусства, который будет знать им цену и

вспоманет иногда обо мне с признательностью. Прощайте надолго!»[27]

Можно ли утверждать судя по всему этому, будто Грибоедов и Муравьев находились во враждебных отношениях и не нашли общего языка? Грибоедов и Муравьев имели разные характеры, склонности, привычки, но они охотно общались и, видимо, искали встреч наедине. Их сближали не только совместные занятия восточными языками и музыкой, их сближала любовь к свободе, единомыслие по многим политическим вопросам, у них был обширный круг общих друзей в тайных обществах – Артамон и Никита Муравьевы, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Матвей Муравьев-Апостол, Михаил Орлов, Петр Муханов, Александр Якубович... Несомненно, что Грибоедов и Муравьев обсуждали политические события и касались таких острых тем, о которых нельзя было упоминать ни в дневниках, ни в письмах. Они так и поступали.

Раскроем сейчас еще одну страницу из жизни Николая Муравьева. Он не мог проводить Грибоедова, уезжавшего из Тифлиса, потому что принимал в это время стоявший в Башкегете 7-й карабинерный полк, командиром которого только что был назначен. Почему и как это назначение произошло? Ведь известно, что Муравьев, будучи на Кавказе, к строевой службе никак не стремился, даже опасался ее, не желая принимать участия в карательных экспедициях против горцев. Он не скрывал своего возмущения политикой российского самодержавия, угнетавшего свободолюбивые народы, на стороне которых он был всей душой.[28]

И вдруг после возвращения из Петербурга он начинает настойчиво хлопотать о том, чтоб его перевели из квартирмейстерской части на строевую службу и дали один из полков Кавказского корпуса. Вместе с Ермоловым он сочиняет письмо начальнику квартирмейстерской части Петру Михайловичу Волконскому, выставляя причиной своей просьбы ослабление зрения, не позволявшего ему более производить квартирмейстерские работы, чертежи и съемки. Причина явно выдуманная. Муравьев еще долгие годы продолжал производить чертежи и съемки и на зрение не жаловался.

Волконский, однако, ничего сделать не смог, о чем и сообщил Ермолову. Император Александр, видимо, что-то заподозрил и назначения Муравьева полковым командиром не утвердил. Напомним, что именно в это время среди членов тайных обществ стала укрепляться мысль о возможном военном выступлении против самодержавия и многие, в том числе Пестель, стали проситься на строевую службу, желая получить под свою команду воинскую силу.

Ермолов, выждав некоторое время, назначил Муравьева полковым командиром на свою ответственность, Ермолов и не то еще делал! Можно было не обратить внимания на это, если б назначение Муравьева странным образом не совпало с некоторыми иными действиями Ермолова. Почти одновременно он назначает командиром 41-го егерского полка члена тайного общества А.Авенариуса, а командиром Грузинского гренадерского полка – члена тайного общества Г.Копылова. В то же время в Тифлис приезжает вызванный Ермоловым для службы по особым поручениям его старый приятель Василий Федорович Тимковский, умный, тонкий дипломат, которого Пестель, как заявил он о том на следствии, считал одним из членов кавказского тайного общества. А в штабе корпуса работает еще один вольнодумец, член тайного общества П.Устимович, о котором в дневнике Муравьева есть такая запись: «Вечер провел у меня Устимович, вновь приехавший с Алексеем Петровичем чиновник и родственник Якубовича; я с ним недавно познакомился, и он мне начинает нравиться». Стало быть, и Устимович был приглашен Ермоловым!

Становится все более очевидным, что в Кавказском корпусе готовится осуществление какого-то тайного замысла Ермолова, и с этим замыслом тесно связана деятельность Муравьева.

Но что же все-таки готовится? Искать ответа на этот вопрос в записках Муравьева бесполезно. Он прекращает дневниковые записи. Вместо них появляются сделанные задними числами обзорные статьи и редкие датированные записи о ничего не значащих происшествиях в полку. Ни встреч, ни имен, ни рассуждений о политических событиях, никаких намеков на то, что автор может интересоваться чем-то иным, кроме служебных занятий. Достоверностью все это, понятно, не отличается.

Но попробуем обратиться к отысканным нами документам, доселе неизвестным. 18 ноября 1823 года в Манглис, близ Тифлиса, куда перевели 7-й карабинерный полк, прискакал нарочный и вручил Муравьеву следующую записку: «Завтра к вечеру я ожидаю к себе Василия Федоровича Тимковского и с ним вместе придет ко мне прибывший по любопытству адъютант из 1-й армии... Прошу вас покорнейше пожаловать к нам, чем весьма меня одолжите. Ожидаю завтра к обеду».

Записка подписана полковником А.Авенариусом, командиром 41-го егерского полка, расквартированного в Квешах. О чем совещался Тимковский с Авенариусом, Муравьевым и неким «любопытствующим» адъютантом, неизвестно, но сам этот факт свидетельствует, что Тимковский на Кавказе не сидел без дела и выполнял какие-то важные задания. Напомним, что Авенариус был принят в тайное общество Пестелем, они старые друзья и единомышленники. Не от Авенариуса ли идет осведомленность Пестеля о Тимковском? А если это так, то заявление Якубовича на следствии, будто он солгал о существовании кавказского тайного общества, ставится под сомнение.

Заодно вспомним: Пестель полагал, что членом кавказского тайного общества является также Н.П.Воейков. Может быть, и об этом Пестель узнал не от «солгавшего» Якубовича, а иным путем?

Воейков – один из самых верных, преданных друзей Муравьева, он состоял членом тифлисской артели и был Муравьевым рекомендован Священной артели, как заслуживающий полного доверия «мыслями и поступками, сходными с правилами, знаменующими нас». Весной 1818 года, когда в Москве создавался Союз Благоденствия и на квартире Александра Муравьева происходили бурные политические споры, Воейков постоянно посещает Александра Муравьева и едва ли не был принят им в Союз Благоденствия. Пестель тогда еще мог услышать, что Воейков является их политическим единомышленником и представляет кавказскую нелегальную артель.

12 мая того же года Николаем Муравьевым в дневнике записано: «Приехал Воейков из Москвы и привез мне много посланий. Он изображает мне несчастное положение, в котором находится отечество наше, и представляет мне те беды, которые оному предстоят». Ясно, что подобные документы Александр Муравьев мог доверить только политическому единомышленнику.

В последующие годы Воейков, бывая в столицах, продолжает связь с членами тайных обществ, выполняя какие-то поручения Николая Муравьева. В то же время Воейков один из самых близких людей Ермолова, любимый адъютант его, и, конечно, вряд ли кто другой был так осведомлен о замыслах главнокомандующего, как Воейков.

В мае 1825 года на Кавказ приехал член тайного общества Петр Муханов. Воейков, находившийся при Ермолове во Владикавказе, пишет Муравьеву; «Приезд Муханова должен вас весьма удивить. Он, конечно, расскажет вам нашу встречу и зачем он приехал. Гоните только его на воды, поскольку ему в Тифлисе по крайней мере делать нечего».

Записка весьма загадочная. Почему Воейков не хотел, чтобы Муханов задержался в Тифлисе? Но так или иначе, связь Воейкова с Мухановым, равно как и с другими вольнолюбцами, приезжавшими на Кавказ, не подлежит сомнению.

И вот наступили тревожные дни междуцарствия...

22 ноября 1825 года Ермолов, находившийся в станице Екатериноградской, где был и Грибоедов, записал в свой дневник: «Первый слух о кончине государя с подробностями, которые не оставляют места сомнению».

И в тот же день возбужденный и радостный Грибоедов посылает письмо Александру Бестужеву и просит его искренне, по-республикански обнять Рылеева. Столь неуместное в эти траурные дни по почившему в бозе самодержцу праздничное настроение охватывает и других ермоловцев. «Смерть государя причиною, – сообщает Грибоедов приятелям, – что мы здесь заприказывали – и ни с места».

А как встретил кончину императора Александра Муравьев, стоявший со своим полком в Манглисе? Оказывается, он, обычно уклонявшийся от всяких празднеств, на этот раз тоже «заприказывал». Среди редких дневниковых записей 1825 года имеются такие строки: «К 6-му декабря я созвал сюда офицеров своих из Тифлиса и сделал бал, на котором все веселились без притворного удовольствия... 14-го декабря собрались из Тифлиса офицеры наши и сделали мне праздник по случаю возвращения моего в сей день из Хивы. Был обед, бал и ужин».

Кто же такие эти офицеры из Тифлиса, для которых Муравьев в дни траура по усопшему царю устраивает в Манглисе бал и которые спустя неделю вновь собираются здесь, чтобы устроить праздник для Муравьева? Это ермоловцы, служившие в штабе корпуса и расположенных близ Тифлиса полках, приехали обсудить сложившееся положение. И так как в тайне собрания эти сохранить было невозможно, Муравьев и записал на всякий случай, будто офицеры приезжали просто повеселиться, не упомянув при этом ни одного имени. Заметим, что первое совещание состоялось после того, как в Тифлисе было получено известие о воцарении Константина Павловича, а второе после того, как в Тифлисе 11 декабря была принята присяга ему. Но Муравьев со своим полком присягал Константину Павловичу лишь 16 декабря – спустя двадцать три дня после того, как Ермолов узнал о смерти императора Александра, и спустя пять дней после того, как присяга была принята в Тифлисе.

Муравьев до последней возможности оттягивал присягу, видимо чего-то ожидая. И нетрудно представить, в каком подавленном настроении он пребывал, вынужденный все же присягать Константину – вздорному, невежественному, тупому солдафону, под начальством которого некогда находился. Муравьев записал в дневник, что он решил оставить военную службу. И этому можно верить.

Но прошло несколько дней, и вдруг пронесся слух о кровавых событиях 14 декабря в Петербурге. Муравьев спешит в Тифлис. В штабе корпуса слух подтверждают, но подробностей никто не знает. Чиновник, возвратившийся из станицы Червленной, куда Ермолов перебрался из Екатериноградской, сообщил, что 24 декабря прибывший из Петербурга фельдъегерь Дамиш вручил Ермолову манифест о восшествии на престол императора Николая и без особых подробностей поведал о восстании заговорщиков.

Муравьева охватило лихорадочное волнение. Восстание против самодержавия! Значит, тайные общества решили все-таки воспользоваться сменой самодержавных венценосцев. Имена заговорщиков были еще не названы, но он не сомневался, что среди них его друзья и единомышленники. Говорили, будто восстание, начавшееся в Петербурге, подавлено. Может

быть... Но ему хорошо известно, что главные силы, на которые рассчитывали в тайных обществах, находились не в столице, а на юге страны. Якубович еще в прошлом году рассказал о встрече на водах с бригадным генералом Сергеем Григорьевичем Волконским, одним из видных деятелей Южного тайного общества. Артамон Муравьев командует Ахтырским гусарским полком. Вятский пехотный – под командой Пестеля. В Черниговском полку – Сергей Муравьев-Апостол. Да говорят, что и сам начальник штаба Второй армии генерал Киселев близок с деятелями Южного тайного общества.

Должно, следовательно, ожидать, что вот-вот может вспыхнуть восстание и на юге, кто знает, как развернутся события? Надо выждать несколько дней, задержать вторичную присягу войск Кавказского корпуса... Решится ли на это Ермолов?

Проходит день, другой, третий. Из Червленой от главнокомандующего никаких известий. За два дня до нового года в Тифлис приезжает Василий Бебутов. Старый верный друг. Он командует полком в Кутаисе, но по служебным надобностям заезжал в Червленую. Оставшись наедине, старые друзья говорят откровенно.

– Старик хандрит, – сообщает Бебутов. – Никуда не выходит, никого не принимает. И никто толком ничего не знает.

– А кто из наших около него?

– Вельяминов, Грибоедов, Устимович, Талызин...

. – А ты не пробовал через них узнать, когда вторичная присяга войск предполагается?

– Талызин намекнул, будто Алексей Петрович ожидает каких-то дополнительных сведений от графа Воронцова... А тебя что так волнует?

– Думается, на пороге огромных событий мы находимся, любезный Бебутов!

– Ты что имеешь в виду?

– Смена царей должна как-то отразиться на нашей жизни. Следует быть готовыми к любым неожиданностям. И у меня в связи с этим будет к тебе просьба... такая, которой лишь самого искреннего друга обеспокоить можно...

– Ну, тебе, Николай, во всяком случае, во мне сомневаться не нужно. Располагай мною вполне. Только о чем речь все-таки?

– Пока не спрашивай. Мне надо еще кое-что выяснить... Завтра узнаешь!

... Зима в тот год на Кавказе стояла необыкновенно холодная, какой давно не помнили старики. В последних числах декабря не прекращался снегопад. Ездили на санях. Домишки обывателей и мелкого чиновного люда на окраинах Тифлиса утопали в сугробах. Улицы здесь не расчищались и не освещались, и с вечера темь стояла непроглядная. Но в деревянном флигельке, приютившемся под двумя старыми каштанами в глубине обширного плохо загороженного двора, приветливо светились огоньки, и Муравьев, увидев их, почувствовал, как у него на душе потеплело.

У крыльца он отряхнул снег с шинели и папахи, тихо постучал в окно. И сейчас же из комнаты кто-то стремительно выскочил в сенцы, щелкнул замок, и едва только Муравьев переступил порог, как его обвили теплые, нежные руки и к лицу прильнули горячие девичьи губы.

– Что так поздно? Я уж бояться начала, не струсилась ли с тобой беда какая?..

– Со мной ничего не случилось, Сонюшка, – сказал он ласково, – а вот ты напрасно в одном

легком платьице щеголяешь... Хоть бы плечи платком прикрыла!..

В небольшой комнатке, куда они вошли, было тепло и уютно. Столовый стол, покрытый льняной вышитой скатертью, турецкий диван и кресла в полотняных чехлах, подаренный им, привезенный еще из Персии ковер, старенькие клавикорды в углу, пальмы и фикусы в деревянных кадках. И на всем какая-то особая печать опрятности и чистоты.

Сонюшка оказалась очень молоденькой стройной черноглазой девушкой. Она была круглой сиротой, жила со старой полуглухой теткой на маленькую пенсию, получаемую после смерти отца, служившего канцеляристом в гражданском ведомстве. Муравьев встретил ее год назад, когда уже знал, что Наташу Мордвинову выдают замуж за князя Львова. «Не я прервал первый связь сию, – записал он тогда в дневнике, – я был постоянен до конца». И хотя он никому в этом не признавался, образ Наташи долго еще продолжал волновать его, и Сонюшка при первой встрече привлекла его тем, что в чертах ее лица заметил что-то неуловимо напомиравшее Наташу, хотя видимого сходства между ними и не было.

Вскоре, однако, он разглядел в этой бедной, простенькой девочке такие редкостные душевные качества, что пробудившееся в нем нежное чувство к ней начало быстро крепнуть. Кроткая, правдивая, бескорыстная Сонюшка тоже привязывалась к нему все сильнее, и она беззаветно верила ему, поэтому начавшаяся связь не пугала ее, а радовала.

Месяц назад она призналась, что будет матерью. Первой мыслью его было узаконить их отношения. Он обязан это сделать, как честный и порядочный человек. Но он происходил из старинного дворянского рода и не чуждался традиций и предрассудков своего класса, переступить через них было не так-то просто. Ему представилось разгневанное лицо отца. Сын женился на какой-то безродной и нищей мещанке! Брат Александр и тот, пожалуй, отвернется. А его жена, урожденная княжна Шаховская? Подаст ли она руку Сонюшке? Среда, к которой он принадлежал, не мирилась с подобными мезальянсами...

Что же ему предпринять? Он долго мучительно ломал голову над этим вопросом и никакого ответа не находил.

Но после разговора с Бебутовым, окончательно убедившись, что Ермолов умышленно задерживает присягу и, следовательно, войска Кавказского корпуса могут быть с минуты на минуту двинуты против российского самодержавия, Муравьев решил более не медлить и позаботиться так или иначе о Сонюшке... Кто знает, каков будет исход надвигающихся грозных событий?

Он усадил ее с собой на диван, сказал:

– Давай поговорим о серьезных делах, Сонюшка... Ты у меня умница и понимаешь, что меня как военного человека могут в любое время призвать для исполнения моих основных обязанностей, а посему столь беспечно, как сейчас, жить нам нельзя, надо подумать о будущем...

Она опустила голову, произнесла со слезами:

– Я без тебя ничего не могу, но подумать надо, это верно. Я вчера слышала, как соседки нехорошо обо мне говорили...

– Вот поэтому-то я и хочу прежде всего предложить тебе переехать отсюда в другой город, чтоб тебе никто не досаждал и чтоб ты могла родить спокойно..

– В другой город? Но куда же?

– В Кутаис. У меня там верный друг князь Бебутов. Я попрошу его, он поможет тебе хорошо

устроиться.

Большие черные глаза ее вдруг наполнились слезами. Она схватила и сжала его руку:

– Ты... ты... хочешь меня оставить?

Он привлек ее к себе, успокоил:

– Да нет же, нет, Сонюшка... Я буду приезжать к тебе, и там нам будет спокойней... А для нашего будущего малыша я передам пять тысяч Бебутову, он будет опекуном до твоего совершеннолетия... мало ли что может быть, надо на черный день всегда что-то иметь!

Она повеселела и, доверчиво к нему прижавшись, спросила полупшепотом:

– А ты будешь любить нашего малыша?

– Ты еще спрашиваешь! Конечно, буду... И ты, и он всегда будете иметь место в моем сердце... Не сомневайся!

... Получив 24 декабря манифест о восшествии на престол императора Николая Павловича, Ермолов был обязан немедленно сообщить об этом в штаб корпуса, находившийся в Тифлисе, и привести войска к присяге, но не сделал ни того, ни другого.

Ермолов знал нового императора с самой дурной стороны, как непомерно тщеславного, жестокого и мстительного крепостника и солдафона. Надеяться на службу при нем Ермолову не приходилось. И он решил повременить с присягой. Может быть, осуществится военное выступление, давно подготовляемое Южным тайным обществом? Еще до приезда Дамиша, как только слух об отречении Константина от престола дошел до Ермолова, он послал верных людей разведать, не замечается ли каких волнений в войсках Второй армии, расквартированных на юге. А помимо того, мог надеяться на известия и от руководителей тайного общества, рассчитывавших на его помощь; ведь Каменскую управу этого общества возглавлял вместе с Сергеем Волконским двоюродный брат Ермолова полковник Василий Давыдов.

Между тем дни уходили, а Ермолов никаких обнадеживающих вестей не получал. Он понимал, что задержка присяги может дорого ему обойтись, и день ото дня тревога овладевала им все более. Напряженное ожидание становилось невыносимым. Он плохо спал ночами, вскакивал при каждом стуке, осунулся, помрачнел, и все чаще страх заползал в душу. Он живо помнил, как тридцать лет назад сидел в сырой и холодной одиночной камере Петропавловской крепости за участие в заговоре против самодержавия.

31 декабря возвратился посланный к новороссийскому наместнику Воронцову верный человек, сообщил, что на юге спокойно, войска Второй армии мирно присягают новому самодержцу.

Ермолов весь день провел в одиночестве. Дежуривший в соседней комнате адъютант Талызин слышал лишь тяжелые шаги и вздохи охваченного смятением главнокомандующего. Шли восьмые сутки, а войска корпуса еще не принимали присяги, завтра начинается новый год... Надо было что-то немедленно решать!

Короткий зимний день кончался. Ермолов вызвал адъютанта и, передавая ему запечатанный сургучом пакет, кратко приказал:

– Отправишь в штаб корпуса. А ко мне пригласи Вельяминова. Больше никого не впускай. Я болен!

... Николай Муравьев, возвратившийся 2 января из Тифлиса в Манглис, собрал преданных

ему командиров карабинерного полка и приказал быть в готовности к возможному походу. Но помимо преданных командиров, на которых он мог положиться, были и такие, поведение которых вызывало сомнение. Полковой адъютант Артемовский, например, держал себя явно подозрительно, нужно было искать способы обезопасить себя от возможных предательств.

Но в конце концов все как будто уладилось, и Муравьеву оставалось лишь ожидать приказа главнокомандующего.

5 января под вечер из Тифлиса прискакал нарочный. Муравьев нетерпеливо распечатал врученный ему пакет. Исполняющий обязанности начальника корпусной канцелярии Иван Майвалдов сообщал:

«Конечно, уже дошло до вас известие о важном и необычайном событии, полученном здесь третьего дня в 11 часов утра; вчерашний день разосланы по полкам присяжные листы и акты об отречении его высочества Константина Павловича; добавлю к сему к сведению вашему высочайший приказ в копии, отданный в 14-й день декабря. Дня через три ожидают сюда А.А.Вельяминова; от его высокопревосходительства Алексея Петровича с нарочным получено известие от 31-го декабря из Червленной о восшествии на престол государя императора Николая Павловича...».[29]

Прочитав это письмо, Муравьев с привычной аккуратностью спрятал его в нижний ящик стола, где хранилась личная переписка, потом закурил трубку и погрузился в тяжелые думы.

Из Петербурга уже начали доходить слухи об арестах и готовящейся суровой расправе над бунтовщиками... А в Южном обществе, видимо, не решились поддержать северян. Надежды оказались напрасными. И Ермолов не мог дольше задерживать присяги. Можно ли обвинять его в этом? Первый акт трагедии закончился. Как-то сложатся дальнейшие события?

Никто в Кавказском корпусе, и Муравьев в том числе, не знал, конечно, что в тот самый день, когда Ермолов отправлял из Червленной в Тифлис столь запоздавшее извещение о восшествии на престол императора Николая, Черниговский пехотный полк Второй армии, соединившись в Василькове с несколькими воинскими частями других полков, выступил против самодержавия. Возглавлял восстание подполковник Сергей Муравьев-Апостол.

... А тем временем в Петербурге был арестован находившийся там в отпуске Воейков. Слух об этом чрезвычайно встревожил Ермолова и Муравьева, особенно когда вслед за этим был на Кавказе неожиданно арестован и Грибоедов. Чем интересуются в Следственном комитете? Что выясняют, чего нужно опасаться? Воейков понимал, в каком тревожном состоянии находятся Ермолов и ермоловцы, и, освободившись из-под ареста, спешит поставить их в известность об учиненных ему допросах и своих ответах, хотя Следственный комитет, продолжавший работу, строжайше запрещал их разглашение. Письмо Воейкова к Николаю Муравьеву послано из Петербурга частным образом 11 апреля 1826 года. Выставляя себя, осторожности ради, таким невинно пострадавшим благонамеренным лицом, Воейков писал:

«Вам известны уже все беспорядки, бывшие здесь 14-го декабря, равно как и преступная цель злоумышленных людей. В числе их злодеи, которые хотели замарать имена гнусною клеветою. Самые неприятные слухи о корпусе нашем носились по городу. Присяга не получалась весьма долгое время. Сверх сего знакомство мое с Якубовичем, пребывание мое в столь смутное время в Петербурге, все сие не могло не навлечь на меня справедливого подозрения: итак, 8 января я был призван к дежурному генералу и арестован, а 10-го был представлен во дворец к генерал-адъютанту Левашову для снятия с меня показаний или допроса. Из них я увидел, что главное обвинение мое состояло в том, что будто в Грузии существует также общество злоумышленников и что я должен быть один из членов оно́го, сие донесение сделано было генерал-майором Сергеем Волконским, человеком, которого я

отроду не видел и который, бывши в 1824 году на водах, слышал от какого-то офицера, что в корпусе есть действительно общество. Невзирая на все слухи весьма дурные о нашем корпусе, я так был уверен, что они несправедливы, что ручался головою своею, что у нас нет общества и никогда не существовало. После сих допросов я был представлен к государю и точно также ручался за корпус головою и решительно утверждал, что нет у нас общества. Государь со мною говорил весьма милостиво и довольно долго, после чего я был опять отвезен в Главный штаб и содержится до тех пор, пока не собраны были доказательства в моей невинности».

Получив это сообщение, ермоловцы с облегчением вздохнули. Во-первых, стало ясно, что Следственный комитет интересуется лишь вопросом о тайном обществе в Кавказском корпусе. Во-вторых, что никакими уликами и доказательствами Следственный Комитет не располагает, иначе Воейкова не отпустили бы.

Однако можно ли сделать из всего этого вывод, что тайного общества в Кавказском корпусе не существовало?

Письмо Воейкова наталкивает на мысль, что Следственный комитет, выясняя вопрос о тайном обществе в войсках Кавказского корпуса и признав в конце концов это общество «мнимым», совершенно упустил из виду не менее, а более существенный вопрос о причинах задержки присяги. Грибоедова об этом даже не спросили. А именно полное выяснение этого вопроса могло открыть Следственному комитету замысел Ермолова.

Упущение кажется особенно странным потому, что Следственному комитету было хорошо известно решение тайных обществ начать восстание во время смены императоров на престоле и ни в коем случае не присягать наследнику, не ограничив его самодержавия.

Решение это было, конечно, известно и Николаю Муравьеву, а через него, вероятно, и Ермолову, знали о нем Авенариус, Устимович, Грибоедов и все находившиеся на Кавказе члены тайных обществ. Грибоедов, возвратившийся осенью 1825 года из России, по всей вероятности, рассказал также Ермолову о надеждах, питаемых членами тайных обществ на помощь Кавказского корпуса в случае военного выступления против самодержавия. Осторожный Ермолов, может быть, никому и не высказал своего отношения к этому, но крепко призадумался. А что, если в самом деле в нужный момент поддержать восставших?

Задержка присяги теперь подтверждена двумя доселе неизвестными документами: письмом Н.Воейкова и сообщением И.Майвалдова. И вопрос о существовании кавказского тайного общества получает несколько новое освещение. Организационно оформленного тайного общества, вероятно, не было.

Много лет спустя, когда Ермолов, будучи в отставке, жил в Москве, он сделал следующее признание, записанное часто навещавшим его А.В.Фигнером^{12}, племянником известного партизана: «Однажды, говоря о том, как в молодости за участие в антиправительственном заговоре он был посажен императором Павлом в Петропавловскую крепость, Ермолов сказал: „Если бы Павел не засадил меня в крепость, то я, может быть, давно уже не существовал бы и в настоящую минуту не беседовал бы с тобою. С моею бурною, кипучею натурой вряд ли бы мне удалось совладать с собою, если бы в ранней молодости мне не был дан жестокий урок. Во время моего заключения, когда я слышал над своей головою плескавшиеся невские волны, я научился размышлять“. Может быть, это заявление Ермолова в какой-то степени объясняет, почему он, явно сочувствовавший декабристам, не решился вступить в тайное общество и проявил колебания в период междуцарствия. Однако при Ермолове на Кавказе несомненно существовал круг или общество преданных ему свободолюбивых „порядочных“ людей, полагавших, что в случае военного выступления против самодержавия Ермолов поддержит восставших, стремящихся выполнить его неосуществленный замысел. Дальнейшие поиски советских исследователей покажут, так ли

это.

Часть III

Уверен, что чувство чести и любовь к свободе, так много и вами уважаемые, будут говорить в мою пользу, и мною предпринятое не сочтете следствием неосновательной молодости.

Декабрист Александр Якубович

Надеюсь, что вы позволите мне считать себя в числе любящих вас и самых преданнейших вам. Декабрист Владимир Вольховский

1

Лет десять назад, когда Ермолов командовал гвардейской дивизией, великий князь Николай Павлович состоял у него бригадным начальником, отличался совершенным знанием устава и ревностным соблюдением всех предписанных им правил. На учениях и на парадах великий князь показывал образец военной выправки, ходил таким немислимо размеренным гусиным шагом, что приводил в полный восторг бывалых парадоманов. А Ермолов, глядя, каким бравым молодцом, выпятив грудь колесом, идет впереди своей бригады великий князь, лишь усмехался и ни разу похвального слова даже не сказал. Николай Павлович обижался, кусал от досады губы.

Однако ж во время пребывания российских войск в парижке, узнав, что великий князь изволил учинить пьяный дебош в непотребном доме, Ермолов не постеснялся сурово, словно какого-нибудь нашкодившего прапорщика, отчитать его. Николай Павлович дивизионному командиру, находившемуся тогда в фаворе у императора Александра, ничего не посмел возразить, а случая этого не забыл. И слухи о допускаемых Ермоловым в войсках Кавказского корпуса вольностях и поблажках великий князь старательно раздувал, стремясь убедить императора, что Ермолов – человек подозрительный, либерал и ненадежный на границах российских начальник.

12 декабря 1825 года, за два дня до восстания, Николай Павлович писал начальнику главного штаба Дибичу, находившемуся в Таганроге:

«Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю сам еще не знаю кого с уведомлением, как все сошло. Вы также не оставите меня обо всем, что у вас или вокруг вас происходит будет, особливо у Ермолова, ему менее всего верю!»

После того как восстание на Сенатской площади было подавлено, а из допросов арестованных заговорщиков выяснилось, что они наряду со Сперанским и Мордвиновым намечали ввести в состав свободного правительства Ермолова, император Николай окончательно уверился, что главнокомандующий войсками Кавказского корпуса связан с бунтовщиками. Комитету, созданному для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества, было приказано с особой тщательностью расследовать, нет ли тайной организации на Кавказе, не укрываются ли и там мятежники под покровительством

Ермолова. 8 января император Николай получил известие о революционном выступлении на юге Черниговского полка, и хотя, как сообщил командующий Второй армией Витгенштейн, черниговцев удалось быстро усмирить, кто знает, не вспыхнет ли завтра восстание в других полках? И не соединятся ли южные бунтовщики с Ермоловым?

В царском кабинете тихо и сумрачно. Шторы на окнах спущены. На письменном столе горят две свечи под темными шелковыми зонтиками. Прикрывшись шотландским пледом, Николай лежит на диване, хотел вздремнуть, но в голову лезут и лезут страшные мысли. В памяти императора невольно возникает богатырская фигура проконсула Кавказа. Чем он сейчас занят? Почему до сих пор не высылает присяжных листов?

Император чувствует, что заснуть не удастся, тяжело поднимается, приводит себя в порядок и отправляется на половину жены. Когда им овладевает страх, он испытывает неодолимое желание заразить им и близких, у него с детства эта подленькая черта в характере.

Будуар Александры Федоровны пропитан тонким ароматом фиалок. Она сидит в глубоком кресле, хрупкая, болезненная, и широко раскрытыми глазами следит за мужем, который, расхаживая по комнате, изрекает жестко и отрывисто:

– У Ермолова в корпусе сто тысяч штыков! На юге он найдет полную поддержку! Во Второй армии гнездо бунтовщиков. В аракчеевских поселениях и на Дону волнения не прекращаются. Представляешь, какое угрожающее положение складывается?

– Неужели ты думаешь, мой друг, что Ермолов заодно с мятежниками? – спрашивает дрожащим голосом императрица.

– Думаю. По всему на то похоже. Ермолов заядлый якобинец. Заговорщики признаются, что всю нашу императорскую фамилию под корень хотели истребить, а Ермолова избрать в свое свободное правление, недаром же ему почет такой! И присяжных листов из Кавказского корпуса до сей поры нет! Неделя сверх срока прошла! Это что же такое, как по-твоему? И слухи идут ужасные! Австрийский посол сегодня у брата Михаила осведомлялся, правда ли, что генерал Ермолов со всей кавказской армией находится на марше к Петербургу.

Александра Федоровна не выдерживает, испуганно крестится и стонет:

– Господи, спаси и помилуй, не отврати лица своего от нас!

Николай, видя, что слова его возымели желаемое действие, успокаивается, привычно выпячивает грудь, меняет тон:

– Но я не допущу, чтоб злодейский умысел осуществился, я не брат Александр, миндальничать с бунтовщиками не буду! Разгромили их подлую шайку здесь, доберемся и до других! Я им покажу, как революции устраивать!

Присяжные листы из Кавказского корпуса наконец-то пришли. Императрица от радости прослезилась и заказала благодарственный молебен. Ермолов объяснил задержку присяги тем, что в войсках, находившихся в походе, не было священников, приходилось привозить их из Кизляра и других городов, а начавшаяся оттепель совершенно испортила дороги, связь с войсковыми частями чрезвычайно была замедлена. Император Николай сделал вид, что поверил. Ссориться с человеком, под командой которого находится сто тысяч штыков, было рискованно.

А в Следственном комитете продолжали выявлять причастность к заговору главнокомандующего Кавказским корпусом. Волконский сознался, что Якубович говорил ему о существовании тайного общества под покровительством Ермолова. Якубович заявил, что все это чистая выдумка, плод его фантазии. Воейков и Грибоедов показали, что ни о каком

тайном обществе не слышали. Председатель Следственного комитета доложил императору, что существование тайного общества в Кавказском корпусе следует считать мнимым и никаких улик против Ермолова не обнаружено. Николай пожал плечами и остался при своем мнении.

На Кавказ один за другим стали выезжать рекомендованные шефом жандармов Бенкендорфом лица для сбора тайных сведений о деятельности Ермолова и окружающих его людей.

В черновых записях Николая Муравьева сохранилась такая заметка, сделанная в Манглисе 11 февраля 1826 года: «Третьего дня узнал я о несчастном происшествии, случившемся в Черниговском полку, коего одним батальоном командовал Сергей Муравьев-Апостол. Мне не могло не быть прискорбно слышать о несчастье, постигшем всех трех братьев и все семейство их (далее две строки густо зачеркнуты)... Здесь пронеслись слухи, что братья мои Александр и Михаил, живущие в деревне, захвачены и увезены в Петербург в тайный комитет, учрежденный для разбора дел заговорщиков бунта... Княгиня Мадатова говорила также, что родственники мои Никита и брат его Александр Муравьевы участвовали в происходивших в Петербурге событиях».[30]

Судить по этой скупой записи о душевном состоянии Николая Муравьева нельзя, но, зная о его длительных близких отношениях со многими арестованными заговорщиками, можно представить, в каком ужасном положении он находился.

... Пребывание на Кавказе отдалило Муравьева от тайных обществ, последние годы он не мог принимать участия в их работе, не был и среди восставших на Сенатской площади, однако высочайше учрежденный Следственный комитет, как вскоре стало известно, интересовался не только расследованием заговора, но и тем, когда и как зародились в России первые тайные общества, а в таком случае не приходилось сомневаться, что доберутся и до него. Он знал, что подписи вступавших в члены первых тайных обществ лиц уничтожены, мог надеяться, что родные и близкие не выдадут его, но в Петропавловской крепости оказались все члены Священной артели, и стоило кому-нибудь из них проговориться на допросе о существовании ее, как он будет привлечен к ответу. Не меньшую опасность представляли находившиеся у арестованных заговорщиков письма его, часто весьма неосторожные, которые при обысках могли оказаться в руках полиции. А деятельность его на Кавказе, откровенные беседы с Якубовичем?

Аресты продолжались всю зиму, и список бунтовщиков все более пополнялся знакомыми именами. В двадцатых числах января взяли и увезли под конвоем Грибоедова. Вслед за тем пришло из Петербурга известие об аресте Воейкова. Муравьев ждал, что гроза вот-вот разразится и над его головой, и готовился к этому. Были сожжены все наиболее опасные документы, а дневники и письма, которые, по его мнению, можно было не уничтожать, переданы на сохранение Прасковье Николаевне Ахвердовой, на которую он мог положиться.

Но беспокоила не только личная судьба... В тюремных казематах томилась многие из тех, кого он, Николай Муравьев, впервые приобщил к революционным идеям... Разве не он пятнадцать лет назад соблазнил Матвея Муравьева-Апостола и красавца Артамона Муравьева вступить в тайное юношеское братство? Разве не он доказывал в Священной артели преимущества республиканского строя перед монархическим? А кто привлек в тифлисскую артель, затем путем переписки нравственно образовал в республиканском духе Евдокима Лачинова, арестованного на днях на юге?[31]

Нет, ни тогда, ни сейчас, ни после не раскаивался он в своей политической деятельности и не считал ее заслуживающей наказания, ибо она была вызвана любовью к отечеству, желанием лучшей жизни для своих соотечественников, но все же сознание, что его «разговоры и внушения вовлекли многих в возникшее возмущение и соделали их через сие несчастными»,

причиняло большое нравственное страдание. Страшила участь узников, сердце обливалось кровью, когда думал он о слезах и муках, выпавших на долю их родных.

Между тем наступила весна, а его никуда не вызывали. Он взял отпуск, отправился в Кутаис. Сонюшка родила девочку. Он стал отцом. И опять возник перед ним тяжелый вопрос, как узаконить отношения с Сонюшкой и положение маленькой Сони, как назвали дочь. И он опять ни на что не решился. Сказал, что угроза, нависшая над ним, не позволяет ему заводить связи, ибо они могут повредить тем, кто с ним связан. Довод этот был справедлив лишь отчасти, ибо главная причина состояла все-таки в том, что он, оставаясь сыном своего века, не мог переступить запретной черты, установленной воспитавшей его средой.

Возвратившись в Манглис, он получил письмо от освобожденного из-под ареста Воейкова, и письмо это приободрило его и всех ермоловцев, которым оно было незамедлительно сообщено. А прибывший в Тифлис князь Александр Сергеевич Меншиков, назначенный посланником в Персию, говорил, будто Следственный комитет работу уже заканчивает, государь настроен миролюбиво и строгих приговоров заговорщикам не предвидится. И в самом деле было на то похоже. Пришло известие, что освобожден из-под ареста и возвращается на Кавказ Грибоедов, выпущены из крепости с очистительными аттестатами многие другие лица, взятые по подозрению в соучастии. На душе стало немного легче.

И Софья Ахвердова, падчерица Прасковьи Николаевны, восемнадцатилетняя красивая и умная девушка, которой Муравьев давно нравился, заметив, что он, придя к ним, после долгого перерыва снова сел за фортепьяно, сказала ему, улыбаясь:

– Я догадываюсь, что вы получили какое-то приятное известие, не правда ли?

– Кажется, тучи, сгущавшиеся над близкими моими и надо мной, немного рассеиваются, милая Софи, – признался он откровенно.

Но все обстояло иначе, чем ему показалось. В Следственном комитете Сергею Волконскому задали вопрос:

– Была ли связь у Южного тайного общества с Кавказским корпусом и через кого она осуществлялась?

Волконский ответил:

– Я знаю только, что полковник Бурцов переписывался с полковником Муравьевым.

Муравьев был взят под подозрение. Ермолов получил высочайшее повеление учредить за ним секретный надзор. 4 марта, уведомляя об этом начальника штаба Вельяминова и думая, что тот, перепуганный событиями, может, чего доброго, впрямь приставить к Муравьеву соглядатаев и ввести его в беду, Ермолов счел нужным от себя добавить, что Муравьев «поведением своим и усердием к службе не подавал ни малейшего подозрения в участии в открытых уже правительством тайных обществах, но под надзор взят потому единственно, что многие из однофамильцев его оказались к ним принадлежащими».

Надзор за Муравьевым не осуществлялся, а в Петербург, когда требовалось, главнокомандующий посылал написанные по всем правилам сообщения, что поднадзорный полковник ни в чем предосудительном не замечен.

Сам Муравьев ничего об этом не знал. Ермолов скрыл от него высочайшее повеление о надзоре, то ли не желая лишней раз тревожить его, то ли из боязни, что он где-нибудь о том проговорится.

Невзирая на благодушные письма императора Николая, Ермолов не обольщал себя

надеждой на долгое пребывание главнокомандующим Кавказским корпусом и не верил, будто царь снисходительно отнесется к заговорщикам и к тем, кто их поддерживал. И все же, когда известие об ужаснувшем всю страну приговоре над декабристами дошло до Алексея Петровича, он невольно содрогнулся, ибо не ожидал столь неправдоподобно чудовищной расправы. И, видя среди приговоренных столько родных Николая Муравьева, пожалел его и подумал о дальнейшей судьбе мужественного, преданного ему поднадзорного полковника.

Что можно для него сделать? Задача была не из легких. Прибывавшие из Петербурга шпионы не преминут теперь донести, что близкий родственник заговорщиков командует карабинерным полком, значит, прежде всего надо найти ему иную службу, и подальше от Тифлиса, чтобы не мозолил он глаза недоброжелателям, пока всюду обсуждают приговор над заговорщиками.

Лучше всего отправить его на персидскую границу, где начались стычки с персиянами. Наследник шаха Аббас-Мирза, подстрекаемый англичанами, готовился воевать. Воинственный Гассан-хан, брат Эриванского сардаря, перейдя границу, грабил и сжигал армянские и грузинские селения в Бамбакской и Шурагельской провинциях.

Там, в пограничных войсках, Муравьев получит возможность полнее развернуть свое военное дарование, отличиться и проявленным усердием создать хорошую репутацию, смягчив тем самым тяготевшее над ним в правительственных кругах подозрение в неблагонадежности. Но на какую же должность определить Муравьева? Пограничными войсками Бамбакской провинции командовал отважный и опытный полковник Севарзедшидзе. Послать Муравьева как представителя корпусного командования в помощь Севарзедшидзе – заденешь самолюбие последнего, а подчинить ему Муравьева – этот обидится, гордыня у обоих непомерная. Пришлось Ермолову поломать голову!

19 июля Муравьев получил приказ главнокомандующего тотчас же отправиться в Бамбакскую провинцию, в Караклис, а спустя три дня близ Караклиса его нагнал нарочный с личным письмом Ермолова:

«Николай Николаевич, по расчету моему ты уже в Караклисе, чему я весьма рад, ибо не могло быть более вовремя. Ты, следовательно, все уже знаешь, что персияне делают. У меня в виду один бестолковый рапорт майора Варламова, из которого даже не вижу, где Севарзедшидзе? От вероломства подлейших мошенников всего можно ожидать, и, быть может, он уже не существует; в таком случае ты принимаешь команду над войсками и остаешься в Бамбаках. Получишь о сем бумагу. Надеюсь на храбрость, будь чрезвычайно осторожен и не рассеивай сил. Прощай. Душевно любящий Ермолов».

Однако Севарзедшидзе был жив и здоров и Муравьева встретил в Караклисе не очень дружелюбно, видимо усмотрев в этом нежданном визите старого приятеля недоверие главнокомандующего.

Муравьев сообщил Ермолову:

«О своем назначении осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокопревосходительство, дабы вы снабдили меня вашим повелением, ибо я теперь нахожусь здесь без всякого занятия».

Ермолов отозвался краткой запиской:

«Останься некоторое время в Бамбаках и как храбрый офицер помогай Севарзедшидзе от чистого сердца и за своими между тем посмотри. Ермолов».

Муравьев, вероятно, догадался, в чем дело, и, как сам в дневнике записал, остался безропотно «нянькой при Севарзедшидзе», который, впрочем, назначил старого приятеля

командовать войсками, находившимися в Караклисе.

Здесь узнал Муравьев о казни пятерых декабристов{13} и ссылке на каторгу других... Потрясенный кровавой расправой, он, сказавшись больным, двое суток не выходил из своей квартиры. Ужасно было его душевное состояние. Даже в Хиве, ожидая страшной казни, не испытывал он столь жестоких терзаний. Перед ним стояли пять виселиц на крепостном пустыре, и особенно ясно представлялось бледное, страдальческое лицо Сергея Муравьева-Апостола, вспоминались встречи с ним, дружеские беседы... А сколько их, родных и близких, друзей и товарищей, отправлено в Сибирь! Брат Александр отделался ссылкой в Якутск, Бурцов и Калошины – заключением в крепости, а как безжалостна судьба к Никите Муравьеву, Матвею Муравьеву-Апостолу, Артамону Муравьеву, Михаиле Лунину, Сергею Трубецкому, Михаилу Фонвизину, Ивану Якушкину, Александру Якубовичу и ко многим другим, коим «милосердный монарх» смертную казнь заменил тяжкими работами в мрачном подземелье!

Сестра писала Николаю Муравьеву: «Мы часто о тебе говорим и благодарим судьбу, которая сохранила тебя от общего нынешнего несчастья, ты можешь себе представить, в какую грусть и уныние повергли они многие семейства. Участь Александра в сравнении с другими может назваться завидной».

Николай Николаевич еще не знал в то время, какая трагедия происходила в семье Никиты Муравьева и какие страдания испытывала молодая жена его красавица Александрина.

Стояла суровая зима. Александрина только что возвратилась из Петербурга. Она молча, с полузакрытыми глазами сидела у остывшего камина в гостиной, помещавшейся в нижнем этаже большого дома в Москве на Садово-Самотечной. Она не могла ни плакать, ни молиться. Горе было слишком огромно.

Не прошло и трех лет, как она, девятнадцатилетняя скромная и застенчивая Александрина Чернышова, стала – в феврале 1823 года – женой Никиты Муравьева, которого страстно и нежно полюбила на всю жизнь.

Да и как было не любить его, умного, пылкого и доброго Никиту! В литературном обществе «Арзамас», куда он вошел вместе с поэтами Пушкиным и Батюшковым, его прозвали Адельстаном – красавцем-лебедем. Он был блестящим гвардейским офицером и наследником богатейших имений, жизнь раскрывалась перед ним самыми заманчивыми сторонами, А он, ненавидя существовавшие в стране самодержавно-крепостнические порядки, мечтал о свободном строе и разрабатывал проект будущей российской конституции.

Александрине он многое открыл, и она во всем одобряла его, не сомневаясь, что никакие дурные помыслы в голову ее Никитушки прийти не могут. И все же одного она не знала, самого главного, того, что он являлся одним из деятельнейших членов тайного общества. Это стало известно только в декабре прошлого года. Она с мужем гостила в Тагине – орловской отчине Чернышовых, когда туда, после восстания на Сенатской площади, прибыл жандармский офицер с повелением арестовать Никиту Муравьева, как участника тайного злоумышленного общества. Она с помертвевшим лицом, не веря своим ушам, глядела на мужа. Он упал перед нею на колени и в слезах припал губами к рукам ее:

– Прости, что я не сказал тебе всего... Я так бесконечно виноват перед тобой!..

Александрина, сдерживая рыдания, подняла мужа, прильнула всем телом к нему, произнесла горячим полупшепотом:

– Молчи... молчи... ты ни в чем не виноват, и что бы тебя ни ожидало, я всегда буду с тобой, единственный, бесценный мой, я во всем разделю твою судьбу!..

На следующий день Александрина помчалась в Петербург, чтобы, сдав двух своих малышей на попечение свекрови, Екатерины Федоровны Муравьевой, посвятить себя всецело хлопотам о смягчении участи мужа и чтоб добиться разрешения на пребывание вместе с Никитой там, куда он будет выслан.

Тщетно шеф жандармов Бенкендорф пытался отговорить от поездки эту слабенькую по виду женщину, запугивая ее предстоящими бедствиями:

– Следуя за мужем и продолжая с ним супружескую связь, вы будете признаваемы не иначе, как женой каторжника, и мы не в состоянии будем защищать вас от могущих быть оскорблений от людей самого презрительного класса. И обратный выезд в Россию разрешен не будет. И ваши дети, кои родятся в Сибири, станут казенными заводскими крестьянами.

Александрина подняла на генерала не скрывавшие укора правдивые и ясные глаза:

– А разве нельзя быть более милосердными?

Бенкендорф невольно смутился:

– Воля государя... Я обязан предупредить вас...

– А я ничем не обольщаю себя, – вздохнула Александрина, – и готова пожертвовать всем, лишь бы быть с мужем...

И вот на днях Никита Муравьев, осужденный на двадцать лет каторжных работ, в кандалах, с жандармами, проследовал в Сибирь. Александрина встречала его и простилась с ним в Ярославле. С ней были сестры Вера и Наташа. Они провожали не одного Никиту. На каторгу отправляли единственного их родного брата Захара Чернышова, и Александра Михайловича Муравьева, младшего брата Никиты, и сколько еще родных и близких!

При последнем прощальном объятии Александрина думала лишь о том, чтоб ободрить мужа, она сказала с улыбкой:

– Мы расстаемся с тобой ненадолго... Не простудись смотри в дороге и жди меня!

Вчера она приехала с сестрами в Москву из Ярославля, чтобы проститься, может быть, навсегда со стариком отцом и с больной, парализованной матерью и, не медля ни одного дня, ехать вслед за мужем в далекую и страшную, по общим представлениям, таежную, каторжную Сибирь...

Ночь она провела у постели матери и только ранним утром перебралась в гостиную, чтобы, сидя, как она любила, в глубоком старинном бабушкином кресле, немного вздремнуть. Но первые неяркие лучи зимнего солнца пробудили ее, и она поняла, что вновь нахлынувшие скорбные мысли больше заснуть не дадут...

Кукушка старинных часов, находившихся в соседней комнате, прокуковала десять раз. Александрина встала, машинально поправила перед зеркалом растрепавшиеся золотистые волосы, затем присела к небольшому письменному столику, зачинила перо и принялась за письмо Екатерине Федоровне, зная, как свекровь нетерпеливо ждет ее сообщения.

Она не заметила, как в гостиную быстро вошла необычайно оживленная сестра Наташа.

– К тебе Пушкин приехал!

– Какой Пушкин? – недоумевая, спросила Александрина.

– Поэт Пушкин! Александр Сергеевич! Говорит, что желает видеть тебя по неотложному

делу...

– Ну, хорошо, так проводи его сюда, Наташа...

Сестры Чернышovy были восторженными поклонницами Пушкина, знали его как смелого и остроумного поэта, в доме Чернышовых частенько появлялись рукописные вольнолюбивые его стихи, которые заучивались наизусть. Александрина познакомилась с поэтом в Петербурге, будучи еще девчонкой, и он запомнился ей оживленным, необыкновенно темпераментным, юношески задорным. Но годы ссылки и связанные с восстанием декабристов события не прошли для него бесследно. Александрина сразу это отметила, взглянув на вошедшего в гостиную поэта. Пушкин был в черном сюртуке, темном, наглухо застегнутом жилете, казался угрюмым, на лице с широкими бакенбардами появились резкие морщины, поредела копна кудрявых волос, и голос потерял былую звонкость.

– Извините, что я решился побеспокоить вас в такое время, Александрина Григорьевна, но, может быть, узнав о цели моего визита, вы не осудите строго...

Александрина приветливо подала ему руку, он крепко, до боли, сжал ее и, глядя в глаза, продолжил:

– Я узнал от Волконских, что вы завтра уезжаете туда, где будет Никита Михайлович... Меня восхищает ваше мужественное решение, я испытываю благоговейное чувство перед небывалым подвигом жен несчастных узников... – Пушкин порывисто вздохнул, и голубые прекрасные глаза его затуманились. – Со многими из них я был близок и хочу, чтобы они знали, что я мысленно по-прежнему всегда с ними... Я прошу вас передать им вот это мое небольшое послание...

Пушкин протянул Александрине аккуратно сложенный листок со стихами.

Она попросила:

– Прочтите сами...

Он сделал молчаливый полупоклон в знак согласия и глухим взволнованным голосом начал:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье...

Александрина слушала затаив дыхание. Каждая строка пушкинских стихов проникала в душу. Она ясно представила себе, какую радость доставят они там, как ободрят Никиту и его товарищей, и когда Пушкин закончил, она со слезами на глазах тихо и благодарно промолвила:

– У меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность. Ваши стихи будут для них чудесным бальзамом...

Пушкин между тем достал из кармана другой листок и, положив его на столик рядом с первым, сказал:

– А здесь десять строчек для моего лицейского товарища Ивана Ивановича Пущина. Прошу сохранить их, может быть, вам где-то там придется повстречаться с ним...

И, уже не дожидаясь приглашения, прочитал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,

Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

Позднее декабрист Иван Иванович Пущин в своих «Записках» вспоминал:

«Вслед за мужем она поехала в Сибирь, в 16 суток прискакала из Москвы в Иркутск. Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в сношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную ее прелесть. Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования... Помню тот день, когда Александра Григорьевна через решетку отдала мне стихи Пушкина... Воспоминание поэта, товарища лица, точно озарило заточение, как он сам говорил, и мне отрадно было быть обязанным Александре Григорьевне за эту утешительную минуту».

... В августе 1826 года войска Аббас-Мирзы, нарушив договор, вторглись в Карабах, обложили крепость Шушу. Конница Гассан-хана подходила к Караклису. Война с персиянами разгоралась. Надо было защищаться.

Пограничные воинские части под командой Севарзедшидзе и Муравьева вынуждены были на первых порах оставить Гумры и Караклис и расположились лагерем близ недостроенной крепости Джелал-Оглу.[32] Неприятельские пикеты заняли вершины Безобдала.

Ермолов послал в Джелал-Оглу подкрепление. Сюда собирались грузинские конные ополченцы. И вскоре здесь был сформирован для вторжения в неприятельские границы особый отряд из девяти рот пехоты, конной артиллерийской бригады, ста пятидесяти казаков и шестисот человек грузинской конницы. Начальником отряда главнокомандующий назначил прибывшего сюда генерал-майора Дениса Давыдова, знаменитого поэта-партизана, а начальником штаба – Николая Муравьева. Разработанный ими план смелого рейда был блестяще осуществлен.

Перейдя через Безобдал и оттеснив передовые неприятельские пикеты, отряд спустился в долину близ Мирака и здесь наголову разгромил конницу Гассан-хана, заняв затем в персидских владениях селение Кюлюдже и несколько деревень.

«Полковник Муравьев, – доносил в главный штаб Денис Давыдов, – выбил штыками из каменистых высот засевшего в них неприятеля, расстроив толпы его картечными выстрелами, разорвал средину его линий, преследовал его до наступления ночи и первый поставил ногу на неприятельскую землю».

Дойдя до урочища Судегям, отряд повернул к Гумрам, откуда персияне без боя бежали, после чего возвратился в Джелал-Оглу.

Известие о вторжении русских вызвало паническое смятение в Эривани и Тавризе. Незадолго перед тем Аббас-Мирза потерпел поражение при Елизаветполе и, сняв осаду крепости Шуши, бежал из Карабаха. Надежда оставалась на Гассан-хана, но она оказалась тщетной. От наступательных действий против русских пришлось отказаться. Остатки разбитой конницы Гассан-хана и пехота, собранная близ озера Гохчи для вторжения в Грузию, стягивались теперь для защиты Эривани и Тавриза.

У Муравьева, которому отлично были известны боевые средства противника, созрел замысел небольшими силами быстро овладеть Эриванью и Тавризом. «Наступательные действия наши в сие время года, осенью, должны были во всех отношениях обратиться в нашу пользу, – записал он. – Климат умеренный на равнине, а в горах уже холодный, для нас был стеснителен, для персиян же несносен. Продовольствие везде было обильное. Эривань, вероятно бы, держалась, но нам не было надобности осаждать крепость, если не в силах были сего сделать. Монастырь Эчмиадзин и деревни с хлебом остались бы в руках наших и служили бы нам богатейшими житницами. С другой стороны, народ в Тавризе был готов принять нас, ненавидя правителей своих и царствующую в Персии династию Каджаров. Мы могли смело надеяться на возмущение или, по крайней мере, не должны были ожидать никакого сопротивления при вступлении в столицу эту, в чем нас удостоверяли и все известия, из Персии получаемые».

Денис Давыдов горячо поддержал этот план, он был доложен Ермолову, и, очевидно, при иных обстоятельствах Алексей Петрович решился бы на эту экспедицию, но... теперь все помыслы его были заняты иными делами, и он приказал верным своим командирам ограничиться строгой обороной.

Ермолов переживал трудное время. В самом конце августа на Кавказ прибыл любимец императора генерал Паскевич. Назначив его командующим кавказскими войсками, продолжавшими оставаться под главным начальством Ермолова, царь лицемерно писал Алексею Петровичу, что дает ему «отличнейшего сотрудника, который выполнит всегда все делаемые ему поручения с должным усердием и понятливостью».

Паскевич, распинаясь перед Ермоловым в своем уважении и уверяя его в благосклонности императора, в то же самое время собирал порочащие Алексея Петровича материалы, не брезгуя никакими клеветами и сплетнями. В этом Паскевичу усердно помогал прибывший вскоре в Тифлис генерал К.Х.Бенкендорф, брат шефа жандармов, не устававший писать императору доносы на Ермолова и всех, кто был к нему близок.

Возмущенный подобной низостью, Ермолов выходил из себя и в свою очередь едкими и оскорбительными насмешками обличал лакейскую угодливость и бездарность царских фаворитов. Вражда главных начальствующих лиц в Кавказском корпусе не прекращалась, а изо дня в день усиливалась.

Николай Муравьев, получивший в декабре позволение возвратиться в свой полк, стал невольным участником напряженного драматического конфликта.

Дом Ахвердовых в Тифлисе стоял на склоне горы, близ потока Салалык, и выходил террасой в чудесный сад с тенистыми аллеями, площадками для игр и причудливыми беседками, сооруженными понойным генералом Федором Исаевичем Ахвердовым.

Прасковья Николаевна, вторая жена генерала, имела одну дочь Дашеньку. Но у Федора Исаевича от первого брака с княжной Юстиниани оставалось двое детей – Сонюшка и Егорушка. Они жили с мачехой душа в душу, ибо Прасковья Николаевна была добра, сердечна и относилась к падчерице и пасынку с той же материнской нежностью, что и к Дашеньке.

А флигель во дворе дома занимала семья князя Александра Герсевановича Чавчавадзе: жена его, рыхлая и болезненная княгиня Саломе, и трое детей – Нина, Катенька и Давыдчик. Сам князь, командуя Нижегородским драгунским полком, большую часть года проводил в Караагаче, где был расквартирован полк, или в своем имении Цинандали, требовавшем хозяйского присмотра.

Семьи Ахвердовых и Чавчавадзе издавна связаны были родственными и дружескими отношениями. Дети росли и воспитывались вместе.

Хорошо образованная и общительная Прасковья Николаевна любила повеселиться, и пофилософствовать, и в карты поиграть, ее часто навещал Алексей Петрович Ермолов, запросто бывали в доме Ахвердовых многие командиры и чиновники штаба Кавказского корпуса.

Николай Муравьев познакомился с Прасковьей Николаевной еще в первый год своего пребывания на Кавказе. И всегда чувствовал себя у Ахвердовых в семейном кругу, которого столь давно был лишен. Помогал Прасковье Николаевне советами в хозяйственных делах, а иной раз выручал и деньгами, делился своими огорчениями и радостями, играл с детьми.

Но события последнего времени отдалили его от милого семейства, и теперь, приехав из Джелал-Оглу в Тифлис и зайдя к Ахвердовым, он почувствовал, как что-то здесь изменилось, и тут же догадался, в чем дело. Дети незаметно стали взрослыми. И не детский смех и беготня, а звонкие молодые голоса оживляли дом. Невольно чаровали взгляд нежный румянец и темные бархатные глаза Сони Ахвердовой, привлекала к себе внимание веселая, пышная и белокурая двоюродная сестра ее Аннета, расцветала Нина Чавчавадзе, которой шел пятнадцатый год, а благоразумная младшая сестра ее Катенька все более приобретала черты надменной красавицы и важную осанку. Муравьев, увидев ее, шутя заметил:

– Ну, Катенька, попомни мое слово, быть тебе царицей.

Встретив Муравьева с обычной приветливостью, Прасковья Николаевна тут же поведала обо всех семейных происшествиях. За Софи сватался офицер Севинис, грек родом, обольстивший всех рассказами о своих необычайных приключениях и богатстве, и дело дошло до обручения, но Грибоедов изобличил Севиниса как авантюриста и вора, его арестовали и выслали. А сейчас ищет руки Софи донской генерал Иловайский, имеются и другие претенденты, да и Грибоедов, кажется, к ней неравнодушен.

Грибоедов, видимо, успел приобрести особую доверенность и симпатию Прасковьи Николаевны, она отзывалась о нем восторженно:

– Александр Сергеевич у нас каждый день бывает и всем нам нравится, такой остроумный, образованный, милый, и такой прекрасный музыкант, дай бог, чтобы у него с Софи дело сладилось.

Муравьева слова эти задела за живое, он почувствовал нечто вроде укола ревности, произнес с усмешкой:

– Александр Сергеевич теперь многим правиться будет... Как же! Самому Паскевичу близкий родственник! На двоюродной сестрице Александра Сергеевича царский фаворит женат!

Прасковья Николаевна, чуть смутившись, возразила:

– Нет, дорогой Николай, я далека от высказанных вами подозрений, но Александр Сергеевич в самом деле человек необыкновенный, и его достоинства столь очевидны...

– Не буду сего оспаривать, – сказал Муравьев. – Изгнав из дома вашего плута Севиниса, он поступил по-рыцарски, да и прочие достоинства его кто же отрицать может?

И все же, встретившись в тот же вечер с Грибоедовым, неприязненного чувства к нему долго побороть не мог. Может быть, этому способствовало отчасти и то, что он видел несомненные преимущества Александра Сергеевича в умении держать себя в обществе, знал об успехах его у женщин. Грибоедов сам рассказал, как, будучи в Петербурге, посещал Мордвиновых, и старшая сестра Наташи – красавица Вера, бывшая замужем за Столыпиным, была увлечена им.

Впрочем, неприязни своей Муравьев старался ничем не выдавать, и Грибоедов проявлял к нему самое дружеское расположение, хотя холодок в отношении к себе заметил...

Когда они возвращались вместе домой, Александр Сергеевич спросил:

– Мне кажется, вы что-то против меня имеете, Николай Николаевич. Но я не знаю за собой ничего, что бы могло доставить вам неприятность, и прошу вас открыться.

Муравьев от ответа уклонился. Грибоедов продолжил:

– Я потому прямо говорю об этом, что, с тех пор как между Ермоловым и Паскевичем затеялась распря, мое положение сделалось невыносимым. Я никогда не был в дружестве с Иваном Федоровичем Паскевичем, он недостаточно умен, самонадеян, тщеславен, и мои отношения с ним ограничены служебными делами, а меня подозревают в наушничестве и чуть ли не в совместных с ним враждебных действиях против Алексея Петровича...

– Кто же вас подозревает? – заинтересовался Муравьев. – Я ничего об этом не слышал!

– Сам старик и ближние его... тот круг уважаемых мною людей, среди которых еще недавно я был своим и чувствовал себя счастливым... Обидно и несправедливо!

Голос Грибоедова дрогнул, он отвернулся и закусил губы, стараясь скрыть волнение. В искренности его можно было не сомневаться.

Муравьев сказал:

– Вам бы следовало откровенно объясниться с Алексеем Петровичем...

– Невозможно! – махнул рукой Грибоедов. – Он смотрит на меня как на человека из неприятельского лагеря. Предубеждение его против меня столь велико, что он в каждом моем слове старается отыскать какой-то иной, затаенный смысл... – Грибоедов немного помолчал, слегка дотронулся до руки Муравьева. – Мне было бы тяжело, Николай

Николаевич, если б подобное предубеждение коснулось и вас, лишив меня прежней вашей приязни и доверия...

– Я не так легковверен, Александр Сергеевич, чтоб поддаться предубеждению, – отозвался Муравьев. – И мне понятна ваша обида, вызванная подозрениями, возникшими у Алексея Петровича от чрезмерной мнительности... Но мне говорили, не знаю, насколько это верно, будто генерал Паскевич пользуется недостойными средствами борьбы, окружил себя заведомыми негодьями, вроде изгнанного Ермоловым за воровство и мошенничество Ивана Корганова, прозванного по заслугам Ванькой Каином, с помощью коих стряпаются гнусные лживые донесения государю, и это обстоятельство отчасти оправдывает чрезмерную мнительность и раздражение Алексея Петровича против всех, кто так или иначе хоть чем-то связан с генералом Паскевичем...

– Да, я сам склонен так думать, но мне от этого не легче, – сказал с легким вздохом Грибоедов. – Начальники дерутся, а с подчиненных перья летят!

– Вот именно, – улыбнулся Муравьев. – Я могу, как и вы, оказаться между двух огней. Завтра я должен представляться генералу Паскевичу как прямому начальнику, а ему известна моя преданность Ермолову, следственно, рассчитывать на его расположение мне не приходится, а с другой стороны, Алексей Петрович, возвратившись из Кахетии, где он теперь находится, и узнав о моих сношениях с Паскевичем, возможно, заподозрит в отступничестве и меня. Положение, что и говорить, незавидное! А сколь долго междоусобная война начальства продолжаться будет – аллах ведает!

– В Петербурге, еще перед отъездом сюда, я слышал, что вопрос о смещении Ермолова предрешен, – произнес тихо и по-французски Грибоедов. – И пусть только это будет между нами, Николай Николаевич, кузина моя как-то проговорила, что Паскевич имеет позволение государя в любое время при необходимости сместить Ермолова и наименоваться настоящим командиром Кавказского корпуса.

– Да что вы говорите! – воскликнул удивленный Муравьев. – Почему же в таком случае Паскевич подличает, а не действует открыто?

– Его удерживает от решительного шага страх, что преданные Алексею Петровичу войска взбунтуются...

Сообщение, сделанное Грибоедовым, свидетельствовало о его полном доверии, и Муравьев признался:

– Ну, если судьба Ермолова решена, значит, и я должен в дорогу собираться. С Паскевичем мне не служить.

– Я вас понимаю, Николай Николаевич, – кивнул головой Грибоедов. – Дурные качества Ивана Федоровича слишком всем известны, и служить с ним нелегко. Мне тоже не чуждо было желание подать в отставку, уехать в Россию, заняться сочинительством... Однако ж, подумав, решил я дипломатического поприща не оставлять. Денис Васильевич Давыдов, коему я как-то сказал об этом, заявил, будто меня бесчестолюбия терзает. Но это не совсем так. Находясь на службе, я могу и отечеству небесполезен быть, и верней о том стараться, чтобы участь близких сердцу моему несчастных узников, елико возможно, облегчать. Не таюсь перед вами, зная, сколь великой скорбью отозвались на вас и на семействе вашем известные события.

Муравьев тяжело вздохнул. Мысли, высказанные Грибоедовым, заставили его крепко задуматься. Расстались они дружески.

... Паскевич, пользуясь отсутствием Ермолова, бесчинствовал в Тифлисе. Ему казалось, все

делается не так, всюду находил он беспорядки, всех беспощадно бранил и обещал подтянуть по-своему. Начальника штаба корпуса старика Вельяминова заставил при разводах маршировать на фланге первого взвода, а заметив в одном из полков какие-то уставные погрешности, пригрозил:

– Я из вас мятежный дух вышибу!

Муравьев не ошибся, полагая, что на расположение царского фаворита надеяться ему нечего, и записал:

«Я явился к Паскевичу, коего был любопытен увидеть. Я не долго дождал его в приемной: по докладу обо мне он принял меня и, окинув меня глазами с головы до ног взглядом нахмуренным, недоверчивым и строгим, сказал мне, что по знакам отличия, мною носимым, он заключает о заслугах моих, но не умел скрыть недоверчивость, которую в него вселили наушники ко мне так же, как ко всем тем, кои пользовались расположением Алексея Петровича Ермолова. Словом, прием его не был привлекателен».

Однако, несмотря на это, оставлять службу в Кавказском корпусе Муравьев теперь не собирался. Слова Грибоедова не выходили из головы. Война с персиянами не окончена, и он, Муравьев, не вправе уклоняться от прямого долга перед отечеством, а вместе с тем, как и Грибоедов, обязан подумать о помощи прибывавшим уже на Кавказ разжалованным в солдаты деятелям тайных обществ и прикосновенным к ним лицам... Как раз на днях получил он сообщение от Бурцова; старый приятель писал, что, отсидев несколько месяцев в крепости, переводится ныне для службы в Грузию и надеется на скорое свидание.

А вскоре появился еще один весьма существенный довод за то, чтоб остаться на службе. Муравьев решил жениться.

Нет, не на Сонюшке, оставленной с ребенком в Кутаисе. Запретной черты он так и не переступил, ограничился тем, что обеспечил их. Сонюшка на его деньги завела небольшую белошвейную мастерскую, он и впредь не отказался помогать им. Выбор свой он остановил на другой...

Постоянно бывая у Ахвердовых и находясь в обществе стольких красавиц, он не мог преодолеть соблазна. Положа руку на сердце он признавался себе, что больше всех нравится ему Нина Чавчавадзе. Стройная, как газель, благородная и кроткая, она отличалась удивительной скромностью и должна была быть верной подругой. Но эта милая девочка вдвое моложе его, и отец ее князь Александр, старый приятель, всего несколькими годами старше его самого; о браке с Ниной неудобно и думать.

И тогда мысли стали все более сосредоточиваться на Софи Ахвердовой. Она не была ему безразлична, и он знал, что пользуется ее благосклонностью, но ее окружала толпа обожателей, и Грибоедов вечерами не отходил от нее, вполне вероятно успев в какой-то степени затронуть и чувства простодушной девушки. А каковы серьезные намерения Александра Сергеевича?

Муравьеву было известно, что небольшой капитал, завещанный детям покойным генералом, был прожит беспечной, привыкшей к легкой жизни Прасковьей Николаевной, и падчерица ее Софи осталась бесприданницей. А по тем временам это обстоятельство имело существенное значение, жениться на бесприданницах могли себе позволить лишь обеспеченные люди, а человек без средств, женись на бесприданнице, подвергал себя и будущую семью жестоким испытаниям.

Муравьев решил поговорить с Грибоедовым о его намерениях откровенно. И Александр Сергеевич признался, что хотя к Софи он неравнодушен, но о женитьбе помышлять не может, ибо не имеет никакого состояния.

– В таком случае, – несколько приподнято и чуть краснея сказал Муравьев, – покорнейше прошу вас принять к сведению, что я желаю сделать предложение Софье Федоровне...

– Как? – удивился Грибоедов. – Мне казалось, вы были заинтересованы Ниной Чавчавадзе.

– Интересуются, сравнивают и любят многими, а женятся на одной, достоинства которой кажутся несравненными, – ответил Муравьев.

– Что ж, мне остается радоваться за вас, Николай Николаевич, и, сознаюсь, немножко завидовать чудесному вашему выбору, – произнес Грибоедов. – Не сомневаюсь, что с такой женой, как Софья Федоровна, вы будете счастливы.

– Все это пока между нами, я никому, кроме вас, не открывал сего, – счел нужным предупредить Муравьев.

Грибоедов вежливо поклонился:

– Благодарю за доверие, я его оправдаю...

Предложение вскоре было сделано и принято. Муравьев, на правах жениха, проводил теперь много времени у Ахвердовых и чем более узнавал невесту, тем более очаровывался ею и влюблялся в нее. Выбор его был одобрен и отцом, приславшим свое благословение, и Ермоловым, который знал Софи с детских лет. Муравьев чувствовал себя счастливым.

3

Как-то в середине февраля 1827 года, поздно вечером, когда Муравьев, бывший у Ахвердовых, прощался с ними, собираясь ехать в Манглис, его внезапно вызвали к главнокомандующему.

Алексей Петрович тяжело шагал по кабинету и никогда еще не казался таким расстроенным. Увидев Муравьева, он остановился, едва ответил на приветствие, произнес трясущимися губами:

– К нам едет начальник Главного штаба барон Дибич, не знаю, с какими намерениями, но я могу всего ожидать... Тебе известно отношение ко мне ныне царствующего, и ты меня, надеюсь, понимаешь?

Муравьев молча наклонил голову.

Ермолов продолжал:

– Я на тебя одного полагаюсь и хочу тебе поручить некоторые записи и бумаги, которые ты дашь мне обещание никому не показывать.

Муравьев поднял голову, сказал взволнованно:

– Алексей Петрович! Вы знаете, что я не привык бросать слова на ветер. Я был и останусь навсегда преданным вам. Прошу располагать мною, как вам будет угодно.

На глаза у Ермолова навернулись слезы. Он обнял Муравьева, поблагодарил за любовь и верность, а затем, достав из стола перевязанную бечевкой толстую пачку бумаг, протянул ему:

– Вот, возьми и спрячь. Я не ожидаю для себя от барона ничего хорошего. Он может прямо ко мне приехать и опечатать мои бумаги. Не хотелось бы мне лишиться сих «Записок о двенадцатом годе» и позднейших иных записей, в коих названы видные лица и описаны предосудительные их поступки. Никому моих бумаг не показывай и не сказывай о них, а ежели все обойдется благополучно и меня не арестуют, возвратишь их мне лично, когда скажу тебе о том...

Муравьев без колебания взял бумаги, отлично понимая, какой опасности подвергается, и в душе Алексея Петровича несколько осуждая. «Он должен был все-таки взять в соображение, что вся почти фамилия моя пострадала в недавнем времени и что правительство имело меня в наблюдении».

Приезд Дибича обеспокоил не одного Ермолова. Все понимали, что посланный на Кавказ государем начальник Главного штаба должен разрешись какие-то очень важные дела и, по всей вероятности, сместить Ермолова. Партия Паскевича торжествовала. Доносчики ожидали прибытия Дибича с радостными лицами. А люди, знавшие о высоких качествах Алексея Петровича и преданные ему, не скрывали тревоги и огорчения.

Для встречи начальника Главного штаба войска были выстроены на площади, где находился и Паскевич в парадной форме. А Ермолов оставался в своей квартире.

Муравьев записал:

«Дибич проехал на дрожках весьма шибко, в полной форме, прямо к Алексею Петровичу, коего он был моложе, и явился к нему. Мы долго ожидали его с Паскевичем на площади; наконец он приехал к нам, вышел к разводу, был очень весел, любезен и успокоил многих. Меня он скоро узнал в толпе: мы с ним были довольно коротко знакомы еще в 1811 году, когда он был подполковником Генерального штаба; он меня принял очень ласково и не упустил при сем успокоить меня насчет брата моего Александра, сказав мне, что я могу надеяться, что государь скоро простит его. Все любопытствовали знать о свидании Дибича с Ермоловым. Узнали, что они обошлись очень дружески, и многие лица вытянулись внезапно. Пошли разные разговоры по городу, и многие убеждались уже, что Алексей Петрович не будет сменен и что Паскевич уедет назад».

Спустя несколько дней Ермолов опять потребовал к себе Муравьева. На этот раз Алексей Петрович выглядел молодцом и настроение у него было радужное.

– Ты знаешь, зачем я тебя позвал? – спросил он Муравьева и, не дожидаясь ответа, продолжал довольным голосом: – Ты назначаешься помощником начальника штаба Кавказского корпуса Вельяминова, коего расстроенное здоровье часто не позволяет исполнять должность. На деле штаб будет в твоих руках. Тебе понятно?

– Так точно, Алексей Петрович!

– Ну и что скажешь, любезный Николай?

– Благодарю за лестное назначение, но... может быть, Дибич или Паскевич не согласятся с этим?

– Дибич сам предложил мне назвать командира, коему можно доверить столь важный пост, и вполне мой выбор одобрил. Я рассказал ему, между прочим, как ты с Денисом Давыдовым разбил конницу Гассан-хана и о твоих планах насчет Эривани и Тавриза. Он похвалил и жалел, что я отпустил Дениса домой. А с Паскевичем о твоём назначении Дибич уже договорился, завтра будет приказ, можешь принимать дела...

– Значит, ваше предположение, Алексей Петрович, относительно миссии Дибича не

оправдалось? – поинтересовался Муравьев.

– Кажется, и дай бог, если так, – промолвил Ермолов и чуть задумался: – Хотя, с другой стороны, рассчитывать совершенно на его доброжелательство мне трудно. Мнение царедворцев изменчиво, а вернее, они его не имеют. Что хозяин прикажет, то холуй и сделает. Впрочем, кто знает, Дибич меня обнадеживает правдоподобно... Но ваше назначение, не скрою, меня особенно потому устраивает, что я уверен, вы употребите всю деятельность свою, дабы помочь мне... что бы со мною ни произошло...

Муравьев, сдав полк, переехал в Тифлис и с головой окунулся в служебные дела. Штабная работа была невероятно запущена. Вельяминов не показывался и вскоре ушел в отставку. Распоряжения враждующих начальников были противоречивы и в большинстве случаев невыполнимы. Подготовка войск к весенним наступательным действиям против персиян шла медленно. Муравьев только поздно вечером освобождался в штабе и приходил к Ахвердовым отдохнуть в их семейном кругу и повидаться с невестой.

Между тем Паскевич, видя дружелюбное обхождение Дибича с Ермоловым, выходил из себя и заставлял доносчиков усилить их грязную деятельность. Паскевич не разлучался с К.Х.Бенкендорфом, который в письмах к императору запугивал его тем, будто Ермолов и ближние его продолжают оставаться скрытыми мятежниками. В последних числах марта Дибич получил письмо царя: «Бенкендорф, по-видимому, сильно убежден в дурных намерениях Ермолова, прошлых и настоящих. Было бы весьма существенно постараться разузнать, в особенности, кто руководитель зла в этом гнезде интриг, и непременно удалить их, дабы ведали, что подобные люди не могут быть терпимы, раз они: обличены».

Дибич понял, что царь на стороне своих любимцев и дальнейшее оставление Ермолова на посту главнокомандующего для него нежелательно. Алексею Петровичу была объявлена воля государя о смещении, Паскевич занял его место.

Узнав об этом, Муравьев тотчас же отправился к начальнику Главного штаба, чтобы выяснить свое положение. Паскевич вряд ли захочет, чтоб штаб его находился в руках близкого Ермолову командира, да и Муравьеву служить в полном подчинении у бестолкового, вспыльчивого, самонадеянного нового главнокомандующего никак не улыбалось.

Дибич находился в своей квартире. Маленький, с прыщеватым невыразительным лицом и оттопыренными ушами, небрежно одетый барон был в беспокойном состоянии и глядел исподлобья, словно стыдясь совершенного им поступка. Ответив на приветствие Муравьева и не ожидая с его стороны вопросов, он произнес по-французски:

– У вас новый начальник. Вы это знаете. Я уверен, что при нем вы так же хорошо будете исполнять ваши обязанности, как и при его предшественнике.

Муравьева сказанные скороговоркой казенные эти слова больно затронули. Он представил оскорбленного внезапным смещением Ермолова, вспомнил, чем был обязан ему, душевные беседы с ним, долголетнюю службу и не мог удержать слез, достал платок, отвернулся в сторону.

Дибич несколько секунд пристально, молча смотрел на него, потом быстро подошел, обнял:

– Я понимаю вас, любезный Муравьев. Это делает вам честь. Я за это уважаю вас еще более. Ваша привязанность к Ермолову мне порукою вашего образа действий в новых обязанностях, которые на вас возложены.

Муравьев в искренность барона верить не мог, сказал прямо:

– Ваше высокопревосходительство, я не нуждаюсь в утешениях, и вы напрасно употребляете

сии околичности, а ежели цель ваша состоит в том, чтобы удалить меня из Грузии, скажите сразу, я удалюсь, не ожидая повторения...

На лице у Дибича появились багровые пятна:

– Как, вы мне не верите? Думаете, я вас обманываю? Разве я подал вам когда-нибудь повод в том? Неужели вы думаете, что мне нужно было прибегать к подобным околичностям, чтобы удалить вас отсюда, когда для этого достаточно одного моего приказа? Полковник, я человек честный и надеюсь, вы объяснитесь насчет вами сказанного.

– Прошу извинить меня, ваше высокопревосходительство, ежели я ошибся, – промолвил Муравьев. – Мне подумалось так потому, что не верится, чтобы генералу Паскевичу было угодно мое оставление в штабе корпуса...

– Это мое желание, и это так будет, – перебил Дибич. – Вы, как никто другой, знаете местные условия и обладаете опытом, без которого Паскевичу не обойтись, он понимает это и будет ценить надлежащим образом, я вам ручаюсь... Что вас еще беспокоит, говорите мне прямо.

– Я боюсь, что не смогу служить при генерале Паскевиче и потому, – сказал Муравьев, – что мне невыносимо слышать предосудительные выражения, коими он беспрестанно при мне чернит предместника своего, зная о моем безграничном уважении к нему.

– Хорошо, полковник. Я беру на себя уладить с Иваном Федоровичем и это, можете быть спокойны. Вас же прошу, насколько возможно, усилить подготовку корпуса к военным действиям. Я на вас надеюсь.

... А в доме Ахвердовых заканчивались последние приготовления к свадьбе, назначенной на 22 апреля. Накануне того дня Муравьев поехал к Алексею Петровичу, который некогда обещал быть у него посаженным отцом.

Дом бывшего главнокомандующего, недавно еще оживленный, приветливо светившийся по вечерам яркими огнями, был мертв, и комнаты в полном запустении. Полы запачканы следами грязных сапог, мебель, покрытая густым слоем пыли, беспорядочно сдвинута, картины и гравюры со стен сняты, в открытые двери и окна врывался холодный сквозной ветер. В кабинете стояли не запакованные еще чемоданы и ящики, валялись обрывки веревок и всюду разбросанные мелко порванные клочки бумаг.

Алексей Петрович в домашней старой черкеске, усталый, небритый, укладывался, готовясь к отъезду. Увидев Муравьева, он сказал с горькой усмешкой:

– Sic transft gloria mundi.{14} Смотри и постигай, любезный Николай.

– В пятьдесят лет рано еще прощаться с надеждами, Алексей Петрович, – попробовал ободрить его Муравьев, – слава – баба капризная, скрытная, и ласкает, и покидает, и вновь возвращается, когда не ждешь...

– Нет, чего уж там хорошего ожидать, – отмахнулся Ермолов. – Коли в крепость не заточит меня Николай, как его родитель, и то бога благодарить надо... Поеду в деревню капусту и огурцы сажать! – И вдруг, что-то вспомнив, Ермолов сверкнул глазами, а из уст его вырвался короткий смешок: – Знаешь, чем я утешен? Вчера барон Дибич приезжал покорнейше меня просить, чтобы я не днем, а ночью отсюда выехал. Говорил, что среди солдат замечено роптание, и они с Паскевичем опасаются, как бы солдаты из преданности ко мне мятежа не учинили... Вот что, оказывается, царских блюдолизов тревожит! Я им и поверженный страшен! Какова честь, а? – Ермолов передохнул, прошелся тяжело по кабинету, остановился и круто сломал разговор: – Ну, а как твои собственные дела? Когда свадьба?

– Завтрашний день, Алексей Петрович. И я затем явился, чтоб просить вас оказать мне честь принять звание посаженного моего отца...

Ермолов не дал договорить, замахал руками:

– Да ты что, любезный Николай, рехнулся, что ли? Я же человек государю ненавистный, опальный, от меня подалее держаться надо. А тебе особливо. Сам в подозрении, зачем же лишний раз неудовольствие на себя навлекать? Воля твоя, не могу у тебя на свадьбе быть!

– Вы обещали мне, Алексей Петрович...

– Помню, помню, только когда это было? А ныне положение мое, сам ведаешь, изменилось. Дразнить новое начальство для тебя в высшей степени неблагоразумно. Нет, спасибо за честь, не сомневаюсь в любви твоей, а подводить тебя не хочу...[33]

Видя, что Ермолова никак уговорить не удастся, Муравьев шагнул к нему и, глядя в глаза, объявил строго и решительно:

– Алексей Петрович, ежели вы откажете в просьбе моей, я возьму в посаженные отцы первого вестового солдата, коего встречу на улице...

Зная характер Муравьева и не сомневаясь, что он исполнит безрассудный замысел свой, Ермолов не выдержал, взволнованно, со слезами на глазах бросился обнимать его:

– Ну хорошо, хорошо, пусть будет, как ты желаешь... Благодарю, бесценный, верный друг!

Скрывать сделанного Ермолову приглашения Муравьев не собирался. Напротив, он отправился к Паскевичу, у которого застал Дибича, и сказал им:

– Ваши высокопревосходительства, завтра состоится мое бракосочетание, но я не смею звать вас, так как посаженным отцом моим будет Алексей Петрович.

Дибич одобрительно, впрочем, может быть, не совсем искренне, кивнул головой. Паскевич что-то пробормотал под нос и отвернулся, скривив губы.

... Свадьба прошла тихо и скромно. Присутствовали только свои: Ахвердовы и Чавчавадзе, Ермолов и Грибоедов, приглашенный Прасковьей Николаевной.

Софи в белом подвенечном платье была особенно привлекательна.

Алексей Петрович пошутил:

– От тебя, Сонюшка, приходится жмуриться, как от солнца... Слепишь глаза!

Грибоедов, любезничавший с Ниной Чавчавадзе, порой тоже с восхищением поглядывал на молодую. Муравьев ловил эти взгляды и мучительно ревновал. Он понимал, что видимых причин для ревности как будто и не было, но ничего не мог с собой поделать.

4

12 мая, простившись с женой, Муравьев выехал из Тифлиса в Шулаверы, близ персидской границы, куда стягивались войска Кавказского корпуса. В конце месяца авангардные части, оттеснив неприятельские пикеты, заняли Эчмиадзин. Вскоре сюда прибыл Паскевич со всей корпусной квартирой. И войска, почти не встречая сопротивления, двинулись в Нахичевань.

Мучили знойные летние дни. Транспорт двигался медленно, провианта и воды не хватало. Жители окрестных селений разбегались, и лишь аисты на мечетях стерегли опустевшие деревни. Лошади и скот страдали от безводья, дорога все более покрывалась трупами павших животных. Появились заразные болезни среди солдат и офицеров. Полевые госпитали не вмещали больных.

Мечтая о легких победах и лаврах, Паскевич всю ответственность за движение войск возложил на Муравьева, а сам бестолковым вмешательством и неразумными требованиями только усугублял беспорядок. Он обещал начальнику Главного штаба не отвлекать Муравьева от тяжелой штабной работы бесконечными подозрениями и придирами, не попрекать преданностью Ермолову и некоторое время сдерживался, но как только Дибич уехал, снова дал волю своему необузданному нраву.

Муравьев, начавший опять делать дневниковые записи, отметил: «Отношения с Паскевичем день ото дня становились хуже. Терпения моего не доставало выслушивать напрасные и оскорбительные упреки, кои он постоянно делал. Он упрекал мне какие-то тайные сношения с Ермоловым, упрекал всеми неисправностями, которые находил в солдатах Кавказского корпуса, упрекал в ошибках писарских, когда я приносил ему бумаги па подпись, находя везде умысел, видя везде заговоры».

Любимец императора, облеченный почти неограниченной властью, Паскевич хотел сделать из Муравьева безгласного исполнителя своей воли, но столкнулся с таким характером, подчинить который оказалось ему не под силу. Не сомневаясь, что Муравьев состоял в тайных сношениях не только с Ермоловым, но и со многими заговорщиками, Паскевич старался при всяком удобном случае намекнуть на это обстоятельство, чтоб устроить неуступчивого полковника, сделать его более сговорчивым, но и такой неблагоприятный замысел не удавался.

Однажды поздно вечером в лагере близ Нахичевани главнокомандующий, помещавшийся в своей просторной, богато убранной в восточном вкусе палатке, вызвал Муравьева. Он сидел за столом, а против него стоял какой-то высокий военный, и при скудном свечном освещении лица его Муравьев сначала не разглядел, но, подойдя ближе, вздрогнул от неожиданности. Перед ним был лучший друг его и товарищ Бурцов, которого он не видел одиннадцать лет.

Паскевич наблюдал за ними, в его красивых прищуренных глазах затаилась ядовитая усмешка. Муравьев, не обращая на него внимания и не размышляя, открыл объятия старому приятелю:

– Ты ли это, Иван? Когда же ты прибыл? А как изменился, похудел...

В глазах Бурцова блеснули слезы:

– Ты не представляешь, как я счастлив видеть тебя...

Паскевич не постеснялся прервать разговор ехидным намеком:

– Какая приятная встреча, не правда ли? Вы, как я вижу, состоите в старинном и весьма близком знакомстве?

– Так точно, ваше высокопревосходительство, – ответил Муравьев, – и притом никогда не имели случая для раздора и жалоб друг на друга...

Паскевич нервно передернул плечами:

– Что ж, пожелаю вам того же и в дальнейшем... Можете пока устроить своего друга у себя, – сказал он Муравьеву, – а службу я ему подыщу согласно с повелением, данным мне

государем императором...

Последняя фраза прозвучала несколько зловеще, но старые приятели пропустили ее мимо ушей. Они откланялись, вышли. И всю ночь до рассвета не сомкнули глаз, предаваясь сердечным излияниям.

А спустя несколько дней русские войска заняли Нахичевань. В восьми верстах отсюда находилась Аббас-Абадская крепость, защищаемая сильным гарнизоном под начальством сардаря Махмед-Аминь-хана. Крепость хорошо просматривалась из окна нахичеванского ханского дворца, где разместился Паскевич со своей свитой и прибывший с ними Грибоедов.

Паскевич приказал обложить крепость кавалерией, сделать траншеи и заложить батареи, но опытных начальников для осадных работ не было, сильный орудийный огонь с крепостных стен днем разрушал построенные ночью брустверы.

Паскевич выходил из себя, осыпал всех бранью и угрозами, но дело не двигалось. Тогда Муравьев предложил:

– Назначьте начальником траншей Бурцова, и я ручаюсь за успех, фортификационные работы ему отлично известны, и в усердии его можно не сомневаться.

Паскевич не утерпел, чтобы не уколоть:

– Желание ваше весьма похвальное. Желаете старинному вашему дружку протекцию оказать?

Муравьев спокойно возразил:

– Желая, чтобы назначенная вашим высокопревосходительством осада крепости была успешно и в быстрейшее время завершена.

– Хм... А вам известно, что Бурцов состоял в тайных злоумышленных обществах, являлся с государственными преступниками и лишь милосердием государя возвращен на службу?

– Так точно, известно. Однако полковник Бурцов чина и звания не лишен, следовательно...

– Ну, оставим этот разговор, вы не можете не противоречить, я подумаю, – сказал Паскевич, – Что еще вы хотите предложить?

– Весьма полезным полагал бы также возведение редутов на правом берегу Аракса, против южного фаса крепости, поручить назначенному в пионерный батальон разжалованному из артиллерийских офицеров в солдаты за известные события Михаилу Пущину...

– Что? Разве он тоже из ваших старинных близких знакомых?

– Никак нет. Но, видя старание и умение его, показанные в батальоне, полагал бы...

– Хорошо, посмотрим, – перебил Паскевич. – Соглашаюсь на ваше предложение, но имейте в виду – за усердие этих господ отвечать вы будете...

Муравьев поклонился, хотел уйти. Паскевич добавил:

– И потом, полковник, я поручаю вам сделать полный обзор крепости, да извольте непременно измерить глубину рва...

– На правом берегу Аракса замечено большое скопление неприятельской конницы, ваше высокопревосходительство, и я просил бы вас для моей рекогносцировки назначить батальон прикрытия...

– Какой вам еще батальон, сударь? – неожиданно вспыхнул Паскевич. – Возьмите две сотни казаков, и достаточно... Я все сказал!

Муравьев с казаками отправился для обозрения крепости на рассвете, держась за буграми, скрывавшими от неприятельских глаз. А близ крепости спешил казак и выслал их на бугор, чтобы ввести персиян в заблуждение относительно числа людей, оставшихся за буграми. Хитрость удалась. Произвести нападение на отряд из крепости не решились.

Однако как только Муравьев с несколькими казаками, подъехав под самую крепость, спустился в ров, он был замечен с правого берега Аракса, откуда сейчас же вынеслась неприятельская конница, быстро переправилась через реку и стала превосходящими силами отрезать казаков.

Грибоедов, наблюдавший из дворца в подзорную трубу за действиями Муравьева, видя его бедственное положение, встревожился, побежал к Паскевичу:

– Иван Федорович, надо немедленно послать Муравьеву подкрепление, его отрезают, он погибнет, если мы не выручим...

– И пусть погибнет! – сердито отозвался Паскевич. – Если он расторопный офицер, то сам выпутается, если же плох, то мне не нужен...

Муравьев между тем не растерялся, построил казаков в две линии и отступал, отстреливаясь, в полном порядке, послав в лагерь приказание третьей сотне, остававшейся в резерве, поспешить на помощь. В конце концов и Паскевич, вняв просьбе Грибоедова, послал кавалерию на выручку казаков. Неприятельская атака была отбита.

И Грибоедов в тот же день писал Паскевичу Николаевне Ахвердовой:

«Муравьев обзирал сегодня утром крепость Аббас-Абад. Я же был слишком занят, чтобы сесть на лошадь. Но так как у меня из всей нашей компании лучшее помещение и из окон открывается превосходный вид, то я часто отрывался от бумаг и наводил подзорную трубу туда, где происходило сражение. Я видел, как неприятельская кавалерия скакала по всем направлениям и переправлялась через Аракс, чтобы отрезать Муравьева и две сотни его казаков. Он отлично выпутался из беды, не было никакой серьезной стычки, и он вернулся к нам цел и невредим, хотя и не смог высмотреть того, что хотел. Главкомандующий относится к нему с большим уважением и доверием, но какая-то дьявольщина мешает тут: у них часто бывают серьезные размолвки. Один кричит, другой дуется, а я играю глупейшую роль примирителя, хотя ни тот ни другой меня за это не благодарят. Это между нами. Поблагодарите же меня за вашего зятя. Однако я не поручусь вам, что в один прекрасный день они не рассорятся навсегда, и это иногда меня очень печалит. Не сообщайте ему об этом в своих письмах, а также и не рассказывайте м-м Муравьевой. Дело в том, что генерал бывает иногда очень несговорчив, а вашему зятю недостает в характере уступчивости».

Да, уступать он не собирался, и нельзя было этого делать, зная капризный нрав и повадки главкомандующего. Но причина острого конфликта между Паскевичем и Муравьевым была значительно глубже. И не кто иной как Грибоедов в одном из следующих писем к Ахвердовой определил эту причину более точно: «Что мне сказать вам о вашем зятя? Невозможно лучше исполнять свой долг, соответственно тому, как он понимает свои служебные обязанности, и вместе с тем быть более непонятым своим начальником».

Вот в чем было дело. Разное понимание служебного долга и своих обязанностей. Паскевич, как и всякий царедворец, служил своему государю, стремился сделать лишь ему угодное, в службе видел способ для новых отличий и наград. Муравьев ненавидел царя и презирал царедворцев, он служил совестливым своим трудом не им, а своему отечеству, как не раз и отмечал в дневниках и письмах. Он не лишен был, как все смертные, самолюбия и

тщеславия, но чувство долга перед отечеством неизменно над всем преобладало. И терпел оскорбительные выходки главнокомандующего только потому, что «помнил увещания Дибича быть терпеливым для службы и услуг, коих от меня ожидает отечество».

И все же терпение иной раз вот-вот готово было лопнуть...

Бурцов и Пущин в короткое время сумели окружить Аббас-Абад кольцом траншей и редутов. Связь осажденных с персидскими войсками Аббас-Мирзы была прервана. Крепость вскоре сдалась.

Муравьеву пришлось принимать трофеи, пленных и оружие. После этого Паскевич поручил ему составить реляцию о победе. Но как только реляция была готова и Муравьев, придя к Паскевичу, стал читать то место, где перечислялись трофеи, лицо главнокомандующего начало дергаться и багроветь, он не дослушал до конца, вскочил с места, закричал:

– Кто это писал? Кто это писал, я спрашиваю?

– Писал я, по вашему поручению, – недоумевая, произнес Муравьев, – и не знаю, в чем же я провинился?

– Вы, сударь, не поместили всего в реляции, – задыхаясь от гнева, прошипел Паскевич. – Вы скрыли число пленных ханов, их взято семь, а не три, как вы записали... Сочтите их в палатке!

– Я считал, там три хана и четверо их прислужников, – сказал Муравьев.

Паскевич ничего в резон принимать не хотел, продолжал распаляться:

– Вы написали мало пленных. Алексею Петровичу Ермолову вы написали бы тридцать ханов и тридцать тысяч неприятельского урона, а мне не хотите написать семи ханов... Я знаю, это все последствия интриг ваших с Ермоловым, вы хотите приуменьшить мои подвиги и не щадите для достижения вашей цели славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить!

Муравьев более выдерживать оскорбительных и несправедливых упреков не мог:

– Ваше высокопревосходительство, обвиняете меня, стало быть, в измене? Сии слова ваши касаются уже до чести моей, и после оногo я не могу более в войске оставаться. Прошу отпустить меня и сообщить, кому передать дела по штабу.

– Как вы смеете проситься? Вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет!

– Я доведен до крайности. Я не могу более служить под начальством вашим. И буду счастлив удалиться отсюда под каким вам угодно предложением. Отпустите меня, или командуйте по службе, или удалите как человека неспособного, провинившегося, я всем останусь доволен, лишь бы не при вас служить!

Паскевич, видимо сообразив, что хватил через край, перешел на более спокойный тон:

– Хорошо, я ваше дело уже решу, а до того времени прошу продолжать занятия ваши в штабе по-прежнему...

Муравьев в дневнике записал: «Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и объяснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родству его с Паскевичем, видеть ссору сию, он не мог не оправдать поведения моего в этом случае.»

Грибоедов сумел воздействовать на Паскевича, доказав, как трудно будет ему обойтись без такого сведущего и опытного командира, как Муравьев. Паскевич па другой день перед ним извинился, и Муравьев остался, а Грибоедов был доволен, что помирил их, Но этот мир, как и следовало ожидать, оказался недолговечным.

5

Кончалось жаркое лето, дни становились короче, прохладней. Паскевич намеревался идти к Тавризу, как вдруг лазутчики донесли, что Аббас-Мирза, обманув наши наблюдательные посты и удачно сманеврировав, повернул с главными силами к Эривани, под стенами которой находился генерал Красовский с небольшим отрядом, оставленным для осады крепости.

Вслед за тем пришло более тревожное известие. Аббас-Мирза под Ушаганом одержал победу над отрядом генерала Красовского, который укрылся в Эчмиадзине. Конница Аббас-Мирзы занимала дороги в Грузию, почти не встречая сопротивления, и могла в несколько дней добраться до Тифлиса. Создавалось угрожающее положение в тылу.

Паскевич с большей частью войск и артиллерией вынужден был из лагеря при Карабабе двинуться к Эривани. На Тавризской дороге был оставлен пятитысячный отряд генерала Эристова, которому было поручено защищать Аббас-Абад и Нахичевань от возможных покушений неприятеля и отвлекать его внимание от Эривани.

В это время в корпус прибыл генерал Сухтелен, назначенный начальником штаба. Муравьев был утвержден его заместителем. А так как Паскевич опасался, что храбрый, но старый и бестолковый Эристов не справится самостоятельно с возложенными на него задачами, то оставил при нем Муравьева, который фактически взял в свои руки руководство всеми действиями отряда.

В начале сентября Паскевич подошел к Эривани. Аббас-Мирза, несмотря на превосходство в силах, побоялся вступить в сражение и ушел обратно по Нахичеванской дороге. Эристов и Муравьев двинулись ему навстречу. Однако Аббас-Мирза опять-таки боя не принял и, отделавшись несколькими стычками с кавалерией отряда, стал укрепляться в Дарадизском ущелье близ Маранды. Персияне считали эту позицию неприступной, но Муравьев, бывший в этих местах с Ермоловым во время первого персидского посольства и хорошо изучивший местность, уговорил Эристова атаковать персиян. Дарадизское ущелье, а затем и Маранда, были заняты отрядом.

Отсюда совсем недалеко оставалось до Тавриза. Муравьева не покидала возникшая еще в прошлом году мысль о возможности быстро и с небольшими силами занять столицу Адербиджана, второй по величине персидский город, где находилась постоянная резиденция Аббас-Мирзы. Муравьев, будучи некогда в Тавризе, недаром внимательно осматривал крепостные сооружения, а самое главное, он превосходно знал, что местное население ненавидит царствующую династию Каджаров, и не без основания надеялся на помощь самих тавризцев.

Муравьев собрал находившихся в отряде генералов Панкратьева, Сакепа, Чавчавадзе и Эристова, изложил им свое мнение о возможности взять Тавриз. Все понимали, что Паскевичу, которому только что сдалась Эривань, будет неприятно, если Тавриз возьмут без его участия. Но замысел, предложенный Муравьевым, был так заманчив и соблазнителен, что никто возражать не стал.

Подготовку и осуществление смелого плана Муравьев взял на себя. Медлить нельзя было ни

одного часа. Хотя Аббас-Мирза и не думал, что маленький русский отряд отважится прорваться в Тавриз, все же приближение этого отряда начало его, видимо, тревожить, и он двинулся с войском к своей столице. Нужно было предупредить его. И потом: от Паскевича, извещенного о занятии Маранды и выходе отряда на Тавризскую дорогу, вот-вот могло прийти запрещение продолжать дальнейшее движение. Муравьев в этом не ошибся, оно так и было. Нарочный от Паскевича уже мчался в отряд со строгим наказом Эристову: «Движение ваше на Тавриз с малозначащими силами я нахожу преждевременным. Следую сам к Тавризу с главным отрядом и в сопровождении парков и транспортов, могущих единственно обеспечить основательное наступательное действие, а вашему сиятельству надлежит довольствоваться твердым занятием Дарадизского ущелья и заготовлением запасов облегчить марш моей колонны. Теперь я опасаюсь, дабы с вами не случилось, как перед сим с генералом Красовским, и что я вынужден буду поправлять дела неблагоприятные, от неосторожной отважности происшедшие. Ибо вы из виду упускаете, что на дальнем расстоянии от Аракса до Тавриза, имея неприятеля по обоим флангам дороги, вы подвергаете не только себя опасности потерять всякое сообщение, но и меня нападением неприятельской кавалерии на транспорт, которых число войск со мною прибывших совершенно прикрыть не позволяет. Вследствие чего предписываю, буде вы еще далее не продвинулись, то, остановясь у Маранды, ожидать дальнейших приказаний».

Нет, не успел вовремя доскакать до отряда нарочный! Не успел и Аббас-Мирза защитить своей столицы! Не смог и Алаяр-хан, зять шаха, остававшийся в Тавризе, устроить оборону города – лазутчики с прокламациями, посланные Муравьевым, возбудили народ к неповиновению. Участь Тавриза была решена.

Муравьев так описывает дальнейшие события: «10 октября были сделаны последние распоряжения для движения к Тавризу. Я едва мог сомкнуть глаза за всю ночь, ибо мысли мои были заняты предпринятым мною действием. Часа за два до света я вылез из палатки и сел к огню. Весь лагерь еще спал, слышны были только протяжные крики часовых. Я задумался о предстоящем подвиге, с мыслями о последствиях оно были неразлучны и воспоминания о семействе, предположения о будущем, и я совершенно погрузился в мысли свои, как вдруг тихий шорох пронесся мимо меня. Я поднял глаза и увидел длинную худощавую фигуру передо мною. Остатки седых волос старца сего развевались от ветра; на гладкой поверхности голого его лба и головы отражался огонь, нас разделяющий; большие и темные глаза старца были опущены вниз и следовали движению головы, наклоненной также к огню. Одетый в разорванный халат и в туфлях старец сей стоял неподвижно и, казалось, опасался прервать мои думы. Посторонние, увидевши его, могли бы подумать, что сие полуночное чудовище было извергнуто из недр земли при землетрясении, за два дня случившемся. Но я узнал своего князя Эристова, которому также не спалось.

– Пусть генерал Паскевич сердится, – сказал он, – а мы в Тавриз пойдем и мошенника Аббаса-Мирзу за набеги на Грузию накажем.

Еще не рассвело как следует, а наш отряд уже двигался по дороге к Тавризу... Все было бодро и весело, как и бывает в таких случаях при наступательных движениях, и в таком расположении духа все нам предзнаменовало успех...

Спустя два дня, приблизившись к предместьям столицы, мы растянули войска свои на правом берегу Аджи-Чая, дабы более их показать. Я и Панкратьев с шестью ротами гренадер, сводным батальоном и шестью батарейными орудиями пошли вперед. Столица казалась безмолвной, и это нас настораживало. Вступая в форштадт, мы зарядили ружья и подвигались с барабанным боем. И вдруг мы увидели, как на одной из улиц появилась толпа богато одетых всадников, впереди коих ехал прекрасный собой юноша: это Ахмет-хан, сын губернатора, и старшины города встречали нас с изъявлением покорности. Ахмет-хан за всех говорил, представил мне старшин и сказал, что они давно бы встретили нас, если б не препятствовал в том Алаяр-хан, который хотел защищать город и завалил все ворота. Знание

турецкого языка мне много способствовало. Я обходился без переводчика и все прибегали ко мне. Оставив гренадер и орудия в городе, я с Панкратьевым повел сводный батальон прямо к цитадели, которую спешил занять. Треск барабанов, громкое «ура», возглашенное при переходе рва и в воротах, поздравления всех сослуживцев с завоеванием Тавриза, приветствия народа и старшин – все сие доставило мне одну из самых лестных и торжественных минут в жизни! Мне было тридцать три года, я завоевал столицу и принимал поздравления тех, кои по старшинству своему могли желать себе приписать сию славу! Вряд ли самолюбие может встретить когда-либо столь сильное наслаждение, особливо после того, как я помышлял о том, что мне предстояло в случае неудачи...

Ночью я приказал зажечь фейерверк на стенах цитадели, употребив на сие все плошки и фейерверочные штуки, которые мы нашли готовыми в арсенале цитадели. С высокой башни был пущен букет ракет, вид был прелестный, вся цитадель в огне, и зрелище сие виделось издалека. Аббас-Мирза, как я слышал, находившийся в двадцати верстах от Тавриза, видел оное и зарыдал. Эристов получил от него письмо, в коем он просил пощадить город, обнадеживая нас миром. Аббас-Мирзе было очень вежливо ответствовано, что мы не имеем обычая истреблять завоеванных нами городов, а что о мире он может иметь сведения только от главнокомандующего, во власти коего состояло заключить оный».

Тавриз был захвачен Муравьевым столь молниеносно, что персиянам не удалось ничего отсюда вывезти. Трофеи были огромны: дворец Аббас-Мирзы, хотя и разграбленный частично жителями, но все же сохранивший много ценностей; арсенал с большим количеством новеньких английских ружей, сорок крепостных орудий, десятки тысяч артиллерийских снарядов разных калибров, хорошо устроенный английскими мастерами литейный двор и пороховой завод; полные амбары с зерном и всякими иными припасами.

Однако Паскевич, узнав о взятии Тавриза и захваченных трофеях, не только не порадовался успеху войск своих, а напротив, пришел в бешенство. Он понимал, что со взятием Тавриза войну с персиянами можно считать выигранной, но какое ему, царедворцу, было дело до пользы отечества, когда так нежданно ускользнула от него слава и, словно мираж, исчез грезившийся титул графа Тавризского. Целый день не выходил он из палатки, грыз от досады ногти, грозил победителям неистово:

– Старый баран Эристов никогда бы не решился на подобное самовольство! Я знаю, это подлые интриги Муравьева! Он тайный карбонарий и ненавистник честных слуг государя! Нет, с меня довольно, более в корпусе я терпеть его не намерен!

Но на людях приходилось сдерживаться. Все знали, как и кто взял Тавриз, все говорили о Муравьеве с почтением, и высказывать открыто недовольство действиями смелого и талантливого полковника Паскевич не мог: слишком явно выявились бы его задетое самолюбие и зависть.

Муравьев поехал в ближайшее от Тавриза селение Саглан встречать главнокомандующего. Был вечер. Паскевич ужинал в компании своих приближенных. Муравьева принял он со скрытой неприязнью. Посадив к столу и с трудом выдавив любезную улыбку, сказал:

– Вот вы молодцы какие, куда забрались! – И, чуть помолчав, спросил: – А ключи от ворот Тавриза получены?

Никаких замков и ключей не было, но, зная, какое большое значение придает Паскевич этой устаревшей церемонии, и не желая его лишней раз сердить, Муравьев промолвил:

– Ключи будут вам поднесены при вашем въезде в завоеванную столицу.

Напоминание о завоеванной не им столице было видимо, Паскевичу неприятно. Мускулы на его лице дрогнули. Но он сдержался, выпил бокал вина, потом спросил полупрошепотом:

– Ну-с, а предписание мое князю Эристову вы получили?

– Так точно. На следующий день после взятия Тавриза.

– Как это так? – нахмурился Паскевич. – Ведь известно, с кем оно было послано, об этом надо будет справиться.

– Ваше предписание получено было после взятия крепости, – уточнил Муравьев.

Паскевич привычно передернул плечами, замолчал, отвернулся и более разговора об этом не возобновлял.

Возвратившись в Тавриз, Муравьев послал находившегося при нем юнкера Егорушку Ахвердова, брата жены, искать на базаре большие висячие замки и ключи. Егорушка доставил их несколько штук. Выбрали, какие получше, положили на поднос под цветное покрывало, поднесли торжественно Паскевичу, и он милостиво принял, но государю, как тогда требовалось, отослать не решился. Приказал Муравьеву доставить другие, постарее и помудренее. Пришлось один из самых больших и безобразных замков положить на несколько дней в навоз, чтобы железо окисло... Ничего не поделаешь, надо было для государя постараться!

Прошло несколько дней. Никаких распоряжений насчет дальнейшей службы, никаких приказаний от главнокомандующего Муравьев не получал, все его представления о награждении отличившихся были отвергнуты, при встречах с ним Паскевич отводил глаза в сторону. Объясняться не было необходимости. Муравьев подал рапорт об увольнении и получил его.

Уезжая ночью из Тавриза, он размышлял о превратностях судьбы. Но не роптал па нее. Он не угодил начальству, зато верно послужил отечеству. Война заканчивалась. Города Адербиджана и северных провинций сдавались без боя. Армяне и грузины, жившие в этих местах, освобождались от тяжелого ига персиян. Народы Кавказа надолго избавлялись от варварских и кровавых набегов. Грибоедов подготавливал уже основы мирного договора с Персией. Аббас-Мирза с потерей Тавриза лишился средств для продолжения войны. Он переезжал из города в город, боясь показаться в Тегеране, где сладостно дремал в объятиях трехсот своих одалисок престарелый его отец Фет-Али-шах. Фет-Али-шах не желал войны с русскими, но поддался уговорам Аббас-Мирзы и англичан, которым давно приглянулись богатые нефтеносные кавказские берега Каспия. Аббас-Мирза знал, что отец недоволен им, и, страшась потерять голову, жаждал скорейшего окончания военных действий.

Муравьев возвращался в Тифлис, где ждала его жена, по которой он смертельно соскучился, и тот круг его родных и близких, в котором он чувствовал себя так хорошо и спокойно. Тревожил только вопрос, как и на что далее жить? До сих пор единственным источником существования являлось скромное военное жалование. Никакого движимого и недвижимого имущества, кроме половины тифлисского дома, у него с женой не было. Что же делать без службы?

Отец быстро старел и желал его возвращения... Созданная им школа колонновожатых, из которой вышло более тридцати деятелей тайных обществ, была правительством за неблагонадежность закрыта. Отец переселился в Осташево, где занимался хозяйством, но годы давали себя знать, поднять доходность имения не удавалось, и мучили старые долги, вся надежда была на то, чтоб передать имение в руки сына Николая... Значит, можно было, выйдя в отставку, сделаться помещиком, подобно многим другим военным, и жить за счет труда крепостных людей. С юных лет страстно желать отмены позорного крепостного рабства и потом самому пользоваться его плодами! Нет, такое решение вопроса было противно его совести! В одном из писем к отцу он намекнул, что хорошо бы отпустить мужиков на волю и перейти на более выгодный наемный труд, но мысль эта отцом была отвергнута самым

категорическим образом...

Стало быть, все-таки без службы не обойтись. Придется писать в Главный штаб Дибичу, просить о назначении в другую армейскую часть, сославшись на то, что якобы домашние обстоятельства не позволяют более продолжать службу в Грузии. И не хочется, и обидно оставлять благословенный край, с которым так сроднился, но иначе нельзя.

... В Тифлис он приехал холодной ноябрьской ночью. Наверху, в их спальном комнате, мерцал слабый свет. Это его не удивило. Соня имела привычку зачитываться в постели. Он оставил вещи в передней камердинеру, приказал никого не будить, радостный и взволнованный поспешил к жене, тихо приоткрыл дверь в спальню и остолбенел от неожиданности...

В постели с книгой в руках лежала не Соня, а незнакомая молодая женщина в кружевном кокетливом чепчике, из-под которого выбивались пушистые белокурые волосы. Свеча, стоявшая на ночном столике, освещала лишь ее миловидное, с мелкими правильными чертами лицо, а в комнате колебались причудливые тени и было полусумрачно. Незнакомка, увидев вошедшего, не испугалась, не вскрикнула, а приподнялась, натянула до подбородка одеяло и, глядя на него широко открытыми серыми с веселой искоркой глазами, произнесла:

– Я догадываюсь... вероятно, сам хозяин Николай Николаевич?

– Простите, сударыня, – все еще не придя в себя, пробормотал он, – но здесь как будто была моя спальная комната...

Она кивнула головой и улыбнулась:

– Я понимаю, вам кажется странным мое присутствие здесь, но все очень просто... Софья Федоровна после ремонта в доме нашла нужным сделать вашу спальню в угловой комнате, предназначавшейся прежде для детской, а меня поместили здесь!

– С кем же, в таком случае, я имею честь разговаривать?

– О, какой вы недогадливый! – рассмеялась она. – Я Бурцова. Жена вашего друга. Анна Николаевна или просто Анна, как вам будет угодно. Разве Иван не говорил вам, что я приезжаю в Тифлис?

– Нет, он говорил... я просто не подумал как-то о возможности встретить вас при таких необычайных обстоятельствах...

– А я рада, что так получилось. Будете дольше помнить первую встречу. – И, протянув ему оголенную пухлую руку, заключила: – Целуйте и исчезайте. Я нашла здесь в доме самое нежное попечение всех женщин и не хочу никого омрачать ревнивыми подозрениями...

Она опять рассмеялась. Он тоже не удержался от улыбки и хорошенькую ручку поцеловал охотно.

Анна Николаевна была полькой. Хорошо образованная и начитанная, веселая и предприимчивая, она всех к себе располагала, и Муравьев на первых порах с ней подружился, радуясь за старого приятеля, что послала ему судьба такую милую жену.

Как-то вечером за общим разговором в гостиной возник спор об искренности между мужчиной и женщиной. Муравьев утверждал, что без искренности и доверия между любящими он не представляет себе полного счастья.

Бурцова, смеясь, заметила:

– Что ж, если так, значит, вы отрицаете вообще возможность счастья?

– Почему же? – возразил он. – Я только высказываю свое мнение, как оно мне представляется...

Бурцова, пристально глядя на него чуть прищуренными глазами, сказала:

– А в нашей жизни, милый Николай Николаевич, многие ли счастливицы могут заявить, что они с любимым человеком вполне искренни? Я, признаюсь, за себя не ручаюсь... И разве у каждого из вас нет в душе чего-то такого, что составляет его личную сокровенную тайну, которой он ни с кем, даже с богом, делиться не желает?

Соня, вмешавшись в спор, произнесла:

– Мне думается, вы не совсем правы, Анна... Хранить от любимого человека тайну и быть вполне счастливым... как это можно?

Бурцова ласково обняла ее:

– Сонечка, вы ангел! А я говорю о людях, населяющих грешную землю!

Вскоре Муравьев убедился, что радоваться за старого приятеля преждевременно. Анна Николаевна особой привязанности к мужу не чувствовала, верности не хранила, и хорошее воспитание не мешало ей с удивительным легкомыслием вступать в весьма предосудительные связи. Муравьев стал от общества ее уклоняться и был доволен, что Соня, разделяя его взгляды, поступала так же. Но спор с Бурцовой об искренности между любящими из памяти не выходил и чувствительно тревожил...

Прошло два года, как прежняя его связь прекратилась. И Бебутов недавно сообщил ему, что в Кутаисе за Сонюшку сватается молодой чиновник и она не против, но не решается на брак без его, Муравьева, согласия. И он согласие охотно дал, послав на приданое пятьсот рублей из скудных своих сбережений, и все как будто завершилось благополучно, может быть, и не стоило огорчать жену тяжелым признанием? И все-таки при его твердых правилах утаивание этой связи, чем бы оно ни вызывалось, казалось непозволительным малодушием и ощущалось им как темное пятно на совести...

Однажды, войдя в комнату жены, он застал ее в слезах.

– Соня, родная... что случилось? – бросился он к ней, встревоженный.

Она сердито его оттолкнула, швырнула под ноги скомканную какую-то записку:

– Можете убираться к другой своей Сонюшке... Я не хочу вас более знать!

И, продолжая истерично всхлипывать, побежала на половину Прасковьи Николаевны.

Записка, присланная из Кутаиса и случайно попавшая в руки жены, гласила: «Николай Николаевич, может, я вас обеспокоила два раза насчет портрета. Поверьте, что это произошло не от какой-нибудь ветрености, а от искренней любви к вам и преданности. Не думайте, однако ж, что я могу без портрета забыть вас; нет, черты лица вашего и бесценная для меня любовь ваша никогда не изгладятся из памяти моей. Я бы еще желала когда-нибудь увидеть вас, и дорогие руки ваши облить слезами, те, которые не раз обнимали меня. Благодаря бога я живу благополучно и счастливо, любима и уважаема другом, которого любовь ценю, и радуюсь, что вы не забываете вечно вам преданную от всей души Сонюшку».

Прочитав записку, он не порвал ее, а бережно расправил и убрал. Стыдиться нужно не этой

записки, а своего малодушия. Нельзя было скрывать того, что теперь открылось само собой. И он отправился к жене, чтоб сказать ей прямо:

– Милая Соня, я виноват перед тобой и не ищу никаких оправданий, но там все кончено, ты у меня одна, и я никогда более ничего не буду скрывать от тебя... Пойми и прости!

Соня поняла, поверила, простила.

... А в кабинете императора Николая начальник Главного штаба делал обзор недавно закончившихся военных действий в Персии. Император слушал молча, изредка заглядывая в разложенную перед ним карту и хмурясь. Дибич отлично понимал, в чем дело. В реляциях Паскевича, которые получал царь, все выставлялось несколько в ином свете: действия самого Паскевича и одерживаемые им победы значительно преувеличивались, похвальные действия других командиров замалчивались. Но в Главном штабе реляции дополнялись донесениями посылаемых в действующую армию чиновников и иными сведениями, в которых события излагались более точно. Императору неприятно было убеждаться, как далеки от истины реляции фаворита, а Дибич, не любивший надменного этого выскочку, напротив, с тайным удовольствием подчеркивал то, о чем Паскевич предпочитал не сообщать.

– Решительное значение для исхода всей кампании имел захват Тавриза отрядом генерала Эриванского, – говорил Дибич. – Тавризская операция заслуживает особого разбора; ваше величество, она свидетельствует, как при умелом использовании местных условий и обстоятельств можно с небольшими силами добиться блистательных военных успехов...

– Позволь, Иван Иванович, – перебил император, – ты же сам только что утверждал, будто Эриванский для самостоятельных действий совершенно негоден.

– Так точно. Поэтому граф Иван Федорович направил в отряд Эриванского помощника начальника корпусного штаба полковника Муравьева, коим разработана и проведена вся операция...

– Однако ж, я думаю, успеху ее немало способствовало и отвлечение неприятеля действиями наших главных сил под Аббас-Абадом и Эриванью?

– Несомненно, ваше величество. Но если б полковник Муравьев не решился на быстрый захват Тавриза, куда спешили войска Аббаса-Мирзы, то мы принуждены бы были к долговременной осаде его столицы...

– Ты считаешь, что крепостные сооружения Аббас-Абада и Эривани менее сильны, чем в Тавризе?

– Не подлежит никакому сомнению, государь. Граф Иван Федорович особым предписанием даже запретил движение к Тавризу малозначительного отряда Эриванского, но предписание сие запоздало и получено было в отряде уже после занятия города...

– Гм... Видимо, ему не все было ясно... А Муравьев молодец, ничего не скажешь, – похвалил царь. – Если б не был он в близких отношениях с нашими друзьями четырнадцатого декабря и с Ермоловым... Ты, помнится, говорил, что Иван Федорович с Муравьевым не ладят?

– К сожалению, так, государь. И Муравьев просит меня о переводе из войск Кавказского корпуса...

– Вот что! Что же ты полагаешь?

– Просьба несвоевременна. Если весной начнутся военные действия против Турции, я не могу назвать другого командира, государь, более полезного и нужного в войсках корпуса, чем полковник Муравьев. Он в совершенстве владеет турецким языком, ему известны все

порядки и боевые средства турецких войск. Я полагаю, что Муравьева должно повысить в чине за взятие Тавриза и оставить на Кавказе.

– Хорошо, не буду возражать, – кивнул головой император. – Только придется написать Ивану Федоровичу, какие причины и соображения побуждают Главный штаб оставить Муравьева под его начальством. А надзор за ним все же продолжать. Меня беспокоит, что посылаемые туда разжалованные бунтовщики и к ним прикосновенные могут найти покровительство у чиновных лиц и способ для нежелательных общений...

Дибич почтительно наклонил голову:

– Мною из внимания сие не упущено, государь!

...15 марта 1828 года Муравьев был произведен в генерал-майоры и назначен командиром гренадерской бригады Кавказского корпуса.

6

Турецкий султан Махмуд II был давним непримиримым врагом России. С помощью англичан он перестраивал крепости и перевооружал свои войска, открыто нарушая мирные договоры, чинил препятствия русскому судоходству в Черном море, все сильнее притеснял славянские народы на Балканах и христианское население Закавказья, призывая мусульман к священной войне против «неверных».

В апреле 1828 года император Николай объявил войну Турции. Стотысячная русская армия под начальством престарелого фельдмаршала Витгенштейна заняла дунайские княжества, но, перейдя Дунай, встретила сильное сопротивление турок и вынуждена была надолго остановиться под Силистрией и Шумлой.

А в середине июня открылись боевые действия против турок в Закавказье. Передовой одиннадцатитысячный отряд кавказских войск под начальством Паскевича перешел близ Гумр пограничную реку Арпачай и двинулся на Карс. Крепость эта, построенная с помощью английских инженеров, считалась неприступной. Цепь Согоанлугских гор, отделяющая Карс от Эрзерума, спускается отрогами, и оконечность их под самым Карсом образует довольно крутую каменистую гору Карадат, на вершине которой турки построили сильный редут и соединили хорошо защищенным лагерем с крепостью. Предместья были укреплены каменным валом, город окружен высокими стенами с воротами и башнями. С Эрзерумской стороны под стенами города протекала река Карс. Цитадель, из многочисленных бойниц которой грозно выглядывали дула орудий, устроена была на хребте горы и спускалась к городу несколькими ярусами толстых стен. Из цитадели потайные ходы, высеченные в камне, вели к воде.

Гарнизон Карса насчитывал пять тысяч пехоты и почти пять тысяч конницы, среди которых выделялись отважные делибаши и крутинцы. А из Эрзерума, как донесли лазутчики, следовал двадцатитысячный корпус сераскира Кёссе-Магмед-паши.

Кавказские войска, не дойдя нескольких верст до Карса, свернули влево, обошли фланговым движением Карадаг и крепость и вышли на большую Эрзерумскую дорогу, лишив таким образом осажденных сообщения с Эрзерумом.

Увидя подходившие в строевом порядке к стенам крепости русские войска, турки открыли по ним сильнейший орудийный огонь, а вслед за тем турецкая конница, выйдя из крепости,

яростно атаковала правый фланг, стремясь прорваться в тыл и уничтожить армейские обозы. Однако новый начальник корпусного штаба генерал Сакен, предвидя такую возможность, заблаговременно выдвинул полевые орудия, турки были встречены убийственным градом картечи, смешались, повернули назад. А уланы и казаки довершили их разгром. Более из крепости кавалерии не высылали, осажденные отделялись пушечной и ружейной перестрелкой, вылазками небольших пехотных подразделений да фланкерскими сшибками.

Но, производя рекогносцировку крепости, Паскевич пришел к выводу, что штурмом взять ее нельзя, а осада может затянуться на долгие месяцы, и упал духом, не зная, что предпринять. Окружавшие его любимцы, занимавшие важные посты в корпусе, состояли из верноподданных, угодничающих гвардейских парадиров, знавших назубок военные уставы и правила, а в практической деятельности оказавшихся совершенно бездарными командирами. Приближение войск сераскира к Карсу настраивало их панически, они советовали главнокомандующему снять осаду крепости.

20 июня Паскевич приехал на левый берег реки, где начальствовал над войсками Муравьев. На этот раз Паскевич был вежлив и любезен.

– Я хочу попросить вас, Николай Николаевич, осмотреть батареи и редуты, которые приказал возвести начальнику инженерной части полковнику Эспехо. Я хочу знать ваше мнение на сей счет.

Муравьев осмотрел и убедился, что батареи заложены необдуманно – слишком далеко от крепости и плохо укрыты.

Батарейные орудия едва добрасывали гранаты до неприятельского лагеря, тогда как ядра турецкой крепостной артиллерии легко достигали наших батарей. Необходимо было закладывать их по-иному и в иных местах.

Вечером Муравьев пригласил к себе в палатку Бурцова, состоявшего дежурным офицером при штабе, и Михаила Пущина, произведенного недавно в прапорщики, а позднее к ним присоединился обер-квартирмейстер корпуса полковник Владимир Вольховский. Всех собравшихся связывала старинная дружба, все состояли членами первых тайных обществ и продолжали находиться под надзором. Все были офицерами суворовской военной школы, противниками бесплодных прусских доктрин, приверженцем которых являлся император Николай и окружавший его генералитет. И говорили обо всем старые приятели откровенно.

Когда Муравьев рассказал о негодном состоянии наших батарей, Пущин заметил:

– Я пытался полковнику Эспехо втолковать, что ставить батареи в столь дальнем расстоянии от крепости бесполезно, а он оскорбился: «Ваше дело, говорит, не учить старших, а выполнять что прикажут». Ну и черт с ним, пусть теперь отдувается!

Бурцов, раскрыв принесенную с собой сделанную им самим съемку крепости и почесывая по привычке нос, спросил:

– А ты, Михаил Иванович, где бы считал необходимым заложить батареи первой параллели?

– На левом берегу реки, думается, можно поставить три батареи, примерно вот здесь, – указал Пущин на съемке, – а на правом берегу нет более подходящего места для главной батареи, как против бастионов предместья Ортакапи...

– А турки что же, по-твоему, молча наблюдать будут, как под носом у них редуты возводят? – задал вопрос Вольховский.

– Нужно тихо и быстро, в одну ночь управиться, чтоб турки и глазом моргнуть не успели, –

сказал Пущин. – Я не утверждаю, что это легкое предприятие, но при доброй воле и отважности исполнителей вполне возможное.

– В особенности, если при этом произвести отвлекающее ложное нападение с других сторон, – добавил Бурцов. – И само собой, требуется сильное прикрытие...

Выслушав разумные доводы приятелей и согласившись с ними, Муравьев доложил Паскевичу обо всем. Тот сделал соответствующее приказание.

22 июня вечером Нижегородский драгунский и Донской казачий полки под командой полковника Николая Раевского произвели ложное нападение на правом фланге со стороны Карадага, одновременно Ширванский пехотный полк атаковал крепостное предместье на левом фланге. Турки всполошились, ответили сильным пушечным огнем, крепость окуталась пороховым дымом.

Пользуясь этим, прапорщик Михаил Пущин с пятью пионерами, прикрываясь за каменными утесами крутого правого берега, пробрался отважно к месту, назначенному для главной батареи, в 215 саженьях от крепости, обозначив кольями всю трассировку ретраншемента и направление амбразур.[34] И как только совсем стемнело, сюда подошли под сильным прикрытием отряды, выделенные для строительных работ. Левобережные траншеи и батареи были поручены Бурцову. Постройку и прикрытие главной батареи, что требовало особой осторожности и спешности, взял на себя Муравьев. Надо было все успеть сделать в короткую летнюю ночь под носом у неприятеля!

Работы производились в труднейших условиях. Не было ни леса, ни машин, ни туров, камни ломали кирками и насыпали в холщовые мешки. Зная по опыту, как важен личный пример начальника, Муравьев, сняв генеральский мундир, работал наряду с солдатами, офицеры последовали его примеру.

Перед рассветом, когда траншеи были почти готовы и можно было уже укрыться за брустверами, турки, услышав, очевидно, стук топоров и кирок, открыли наугад ружейную стрельбу, но им не отвечали, и они успокоились. Зато утром, увидев воздвигнутые близ крепостных стен русские батареи, турки пришли в неопишумую ярость. Они обрушили на батареи ураганный огонь из всех крепостных орудий. Все кругом загрохотало и потонуло в густых пороховых тучах.

Муравьев отвечал из 16 орудий и мортир, которые удалось установить на батарее. Жестокая артиллерийская канонада не смолкала четыре часа. Бруствер и амбразуры в нескольких местах вскоре были совершенно разрушены ядрами, замолкли три подбитые пушки, взлетали на воздух ящики со снарядами, в траншеях все больше становилось убитых и раненых. Изнемогая от усталости, полуоглохший от непрерывной стрельбы и взрывов, с лицом, покрытым копотью и грязью, Муравьев отдавал распоряжения и ободрял людей спокойным голосом, хотя видел, что долго главная батарея не продержится.

А тем временем Бурцов, находившийся на батареях левого берега, более отдаленных от крепости и потому подвергавшихся менее сильному обстрелу, догадавшись, в каком незавидном положении оказалась главная батарея, решил несколько отвлечь внимание турок, выманить их из крепости и послал две роты егерей занять кладбище, бывшее неподалеку от неприятельского лагеря. Егеря, овладев кладбищем и не видя никакого сопротивления, ворвались в самый лагерь и взяли там два орудия, перебив пушкарей. Тогда из крепости турки сделали вылазку, послав против смельчаков-егерей две тысячи пехотинцев. В предместье завязался рукопашный бой. Силы были неравны, егерей оттеснили на кладбище. Но им на помощь подоспел еще батальон пехоты. Кровопролитное сражение продолжалось.. Наконец турок смяли, погнали в предместье. Бурцов с ротой егерей овладел одной из самых высоких крепостных башен, установил там два орудия, открыл огонь по

смешавшейся неприятельской пехоте, заставив часть гарнизона перебраться на Карадаг. Генерал Сакен, видя, что завязанный бой приобретает благоприятный оборот, прорвался с полком карабинеров в предместье Ортакапи, а затем в крепость. Полковник Вольховский с ротой гренадер взял самый грозный турецкий бастион Юсуф-паши, орудия которого были тут же обращены против соседних крепостных башен.

В полдень, когда огонь на главной батарее затих, сюда приехал Паскевич. Изумленный и ошеломленный тем, что творилось без его ведома в предместьях и в крепости, главнокомандующий был сильно рассержен. Увидев Муравьева, он обрушился на него:

– Что это значит, генерал? Кто начал самовольный штурм крепости? С какого повода сие сделалось без моего приказанья? Как смели!

Муравьев, вытирая грязный пот с лица, пожал плечами:

– Не могу ничего сказать. Я не отлучался с батареи в течение четырех часов, находясь под жесточайшим огнем...

Паскевич окинул сердитым взглядом полуразрушенную батарею и, сообразив, что здесь во всяком случае виноватых искать нечего, смягчился:

– Наши егеря ворвались в крепость, кто-то подстрекал их на такое самовольство! Безобразное дело! Их могут там совершенно истребить, а я за всех в ответе!

Он навел подозрительную трубу на Карадаг, увидел, как турки карабкаются на гору и как толпятся они под знаменами на стене, примыкавшей к горе, и, не разобрав, в чем дело, произнес встревоженно:

– Вот, пожалуйста! Я этого опасался... Турки, по всей вероятности, получили подкрепление. Возможно, подошли войска сераскира... Как вы полагаете, чем это может кончиться?

Муравьев, еле удерживаясь от неподобающей иронической усмешки, отчеканил:

– Взятием Карса нашими доблестными войсками, ваше высокопревосходительство!

Паскевич от такого неожиданного ответа выпучил глаза:

– Как? Вы полагаете... вы считаете это возможным? Из каких соображений вы исходите, генерал?

– Большая часть орудий противника подавлена, иначе мы бы не разговаривали с вами в тишине. Карадагский редут – последнее убежище для пришедших в смятение турок. И дабы воспользоваться сими успехами, необходимо поддержать удачный натиск наших смельчаков всеми силами и средствами...

– Разумеется, если все обстоит так, как вы говорите, – сразу повеселев, согласился Паскевич и, глядя опять в подозрительную трубу на Карадаг, спросил: – А как вы считаете... возможно ли занять этот редут на горе?

– Невозможного для русских войск не существует, ваше высокопревосходительство. И если вы прикажете?..

Дальнейшее в реляции, посланной императору, описывается так:

«Корпусной командир отправил для взятия Карадага генерал-майора Муравьева с ротой Грузинского гренадерского и батальоном Эриванского карабинерного полков. Для обеспечения сего смелого движения, которое должно было производиться на открытом

пространстве под картечными выстрелами всей крепости и отдельного укрепления горы Карадаг, велено было вывести из траншей всю батарейную артиллерию, из двенадцати орудий состоявшую, и поставить правее занятого предместья Ортакапи, дабы отвечать неприятелю. Рота Грузинского гренадерного полка с отважностью бросилась на предместье Байрам-паша и овладела оным, взяв одно знамя; другая же рота сего полка и батальон Эриванского карабинерного полка под начальством геперал-майора Муравьева почти по неприступным тропинкам взошли на высокую скалистую гору Карадаг и, несмотря на перекрестный огонь построенного по оной редута, шанцов и крепостных бастионов, вытеснили неприятеля, причем взято четыре орудия и два знамени».

В то время как Муравьев штурмовал Карадаг, армяне, населявшие Карс и ненавидевшие турецких угнетателей, пробрались на крепостные стены и передали стоявшим под ними русским гренадерам веревочные лестницы, указав места, где безопасней всего было воспользоваться ими. Гренадеры быстро оказались в крепости, разобрали тяжелые камни, которыми турки заваливали ворота, и впустили своих товарищей. Карс был взят. Неприятельский огонь подавлен. Карский паша, укрывавшийся с двумя тысячами турок в цитадели, сдался. Победителям досталось сто пятьдесят пушек и мортир, тридцать знамен, большие склады с артиллерийскими снарядами, военным имуществом, продовольствием.

Корпус Кёссе-Магмед-паши, подошедший в тот день к Карсу, опоздал всего на несколько часов и вынужден был повернуть к Ахалцыху.

Капитан Андреев, участвовавший во взятии Карса, засвидетельствовал: «Все это сделалось вдруг, без предварительных распоряжений и без приказаний Паскевича. Услыхав сильную канонаду, он поехал из лагеря к передним линиям, рассерженный своевольным распоряжением, грозя наказать виновных, вступивших без спроса в бой... Более всего способствовали счастливому, невероятно быстрому исходу дела под Карсом начальники траншей генерал Муравьев и полковник Бурцов».[35]

Паскевич, обрадованный нечаянной победой и втайне завидуя талантливому командиру, находившемуся под его начальством, вынужден был представить их к награждению. Муравьев за боевые подвиги при взятии Карса получил Георгиевский крест четвертой степени.

7

Простояв три недели под Карсом, войска Кавказского корпуса двинулись дальше и обложили крепость Ахалкалаки, которая после сильного артиллерийского обстрела сдалась на милость победителей. Но в турецком гарнизоне была обнаружена чума, и русские войска, не входя в крепость, расположились лагерем близ нее.

Вечером 25 июля Муравьев, зайдя по каким-то делам в палатку Паскевича, неожиданно среди других собравшихся у него лиц встретил Грибоедова.

Александр Сергеевич возвратился недавно из Петербурга, куда ездил с донесением Паскевича о заключении мира с Персией. Он был принят императором, получил чин статского советника, орден Анны с бриллиантами, четыре тысячи червонцев и назначение полномочным послом в Персию. Он таким образом вмиг сделался знатен и богат и заехал из Тифлиса к Паскевичу, чтобы повидаться с ним и принять дипломатические приказания.

Грибоедов в новом посольском мундире со звездой выглядел празднично, был необыкновенно оживлен, увидев Муравьева, поднялся ему навстречу и, отведя его в сторону, радостно улыбаясь, произнес:

– Как мне приятно вас видеть, дорогой Николай Николаевич! Я привез вам из Тифлиса тысячу самых нежных приветствий и пожеланий. И вы можете меня поздравить...

Муравьев, слышавший о назначении Грибоедова, пожимая ему руку, не замедлил отозваться дружески:

– От всей души, Александр Сергеевич! Я уверен, что государь не мог сделать лучшего выбора на место нашего посла в Персии. Кто же лучше вас может поддержать в сей первобытной стороне честь и славу нашего отечества!

– Благодарю за лестное ваше мнение, – сказал Грибоедов. – Однако ж я имел в виду сообщить вам нечто другое... Я женюсь!

Такого сообщения Муравьев никак не ожидал. И удивился чрезвычайно. Ведь Грибоедов сам не так давно, рассказывая о своих сердечных увлечениях, признавался ему, что не помышляет о женитьбе.

– На ком же остановили вы свой выбор, Александр Сергеевич?

– Разве вы не догадываетесь? Я сделал предложение Нине Александровне Чавчавадзе. Предложение принято, и мы помолвлены.

Муравьева словно огнем опалило, он помрачнел, прикусил губы.

– Как же это так вдруг вы решились? – отводя взгляд, проговорил он приглушенным голосом.

– Все произошло у вас в доме, – пояснил Грибоедов. – Нина нравилась мне давно, и я приехал из столицы в Тифлис с мыслями о ней. Новое положение, давая средства к жизни, позволяло мне обзавестись семьей. Первый визит мой был к милой и доброй Прасковье Николаевне, я открыл ей свое намерение. Она приняла в моем деле самое горячее участие. Я объяснился с Ниной, мы получили согласие на брак от ее матушки и бабушки, известили находившегося в Эривани князя Александра Герсевановича. Его ответ нагнал меня в Гумрах: он благословляет нас и радуется нашей любви...

– В согласии ее родителей можно было не сомневаться, такому зятю кто не рад, – сказал Муравьев, – но возможно ли, чтобы Нина, не имеющая того образования, которое может занять вас, сделалась единомышленным, близким другом вашим?

– Нина умница, а о занятиях для нее и дальнейшем образовании я позабочусь, – промолвил Грибоедов, и вдруг лицо его приняло печальное выражение: – Нет, признаюсь, меня беспокоит не это, а нечто другое... Вы знаете персиян и можете представить, в каком положении я окажусь, когда начну требовать выполнения договорных обязательств и взыскивать контрибуцию. Известный вам Алаяр-хан, зять шаха, лютей мой враг, да и англичане, окружающие шаха, готовы на любое подстрекательство... Меня томят какие-то темные предчувствия!

Муравьев понимал, что Грибоедов прав, почетная должность не обещала ему покойной и легкой жизни. И в душе Николая Николаевича невольно шевельнулось к нему сочувствие. Он произнес успокоительно:

– Ну, вы напрасно себя так настраиваете... Бог не выдаст, свинья не съест!

– Да, будем надеяться, – попытался улыбнуться Грибоедов и взял его за руку: – Знаете, чего бы я желал, дорогой Николай Николаевич? Чтобы родство Ахвердовых и Чавчавадзе еще более сблизило нас...

Муравьев пожал плечами и ничего не ответил. Расстались они как старые знакомые, но не

как близкие друзья.

На другой день, ранним утром, Муравьев, выйдя из своей походной палатки, увидел, как по дороге из лагеря, проходившей в полуверсте от него, закружилась пыль и запряженная тройкой коляска с поднятым верхом, сопровождаемая конным конвоем, стала подниматься в гору. Это уезжал Грибоедов. Муравьев долго и грустно смотрел ему вслед, обвиняя себя, что не мог вчера перебороть вызванного ревностью неприязненного чувства к Александру Сергеевичу, не мог найти для него теплых прощальных слов, и на душе у него было скверно.

... Ахалцых считался одной из сильнейших турецких крепостей. Турки суеверно думали, что русским никогда не удастся завладеть Ахалцыхом, ибо предание гласило, что прежде надобно снять месяц с неба, а потом уже сделанную из легкого металла позлащенную луну с ахалцыхского минарета.

4 августа, переправившись с авангардными частями через реку Куру, Муравьев стоял на каменистой горе близ крепости, разглядывая в подзорную трубу лежавшую перед ним турецкую твердыню, имевшую и в самом деле грозный вид.

Крепость была построена в долине реки Поцхо, на левом берегу ее, на скалистой горной возвышенности, окруженной рвом и каменными башнями, впереди которых шла еще каменная стена. На гребне скалы находилась цитадель, доступ в которую преграждался многими бойницами. Входы к воде были сделаны закрытые, с блокгаузами при реке и оборонительными стенками, составляющими цепь укреплений на покатости горы. А в крепости, возвышаясь над всеми другими зданиями, виднелась каменная громада мечети и величественный минарет, над которыми поблескивала в солнечных лучах знаменитая луна. К мечети примыкали строения, где помещалась славившаяся у мусульман академия и библиотека с редкими восточными книгами и манускриптами.

Обширное предместье, населенное турками, армянами и грузинами, окружали высокие и толстые сосновые палисады с прорубленными в них бойницами для орудий и ружей. Крепостная артиллерия была мощной и снарядами снабжена в избытке. А холмы близ Ахалцыха занимали густые колонны турецкой пехоты и кавалерии корпуса Кёссе-Магмед-паши, подошедшего сюда ранее русских.

Муравьев, обозрев крепостные сооружения и окрестность, поехал к Паскевичу. Тот находился невдалеке, в походном шатре, устроенном на пиках, покрытых казачьими бурками. Он уже знал, что корпус Кёссе-Магмед-паши стоит у стен Ахалцыха, и это известие его сильно расстроило. Турецкие войска численно более чем вдвое превосходили русских.

Паскевич с начальником штаба генералом Сакеном обсуждали план военных действий. Главнокомандующий не скрывал тревожного настроения. Он склонялся даже к мысли об отступлении от Ахалцыха. Генерал Сакен почтительно доказывал возможность атаковать турецкий вспомогательный корпус.

– Вот Николай Николаевич, – увидев входившего Муравьева, сказал Паскевич, – он, вероятно, с передовых позиций и поведает нам о своих наблюдениях.

– Крепость, по всей видимости, хорошо приготовилась к защите, – произнес Муравьев, – и войска сераскира Кёссе-Магмед-паши занимают весьма удобные и выгодные для себя позиции...

– Слышите? – обратился Паскевич к начальнику штаба. – Я же говорил, что преимущества неприятеля не позволяют нам наступательных действий... И кроме того, у нас продовольствия имеется не более как на две недели, а наши фуражировки требуют больших воинских прикрытий...

– Разрешите заметить, ваше высокопревосходительство, – вставил Сакен, – что наши преимущества в боевом духе доблестных кавказских войск, одушевленных великой целью освобождения христианских народов, стонущих под турецким игом, а также в лучшем устройстве боевых порядков. Кроме того, на помощь к нам подходит из Грузии Херсонский гренадерский полк и Донской казачий. Я по-прежнему позволю себе, ваше высокопревосходительство, высказаться за действия наступательные...

Доводы были убедительными. Муравьев с уважением посмотрел на начальника штаба и поддержал его:

– Мне кажется, что задача, выдвинутая перед нами сложившимися обстоятельствами, заключается в том, чтобы прежде всего разбить вспомогательный турецкий корпус сераскира, дабы затем беспрепятственно заняться осадой самой крепости.

Паскевич сердито на него покосился и перебил:

– А если наше нападение будет отбито и нас принудят к отступлению по единственной оставшейся у нас дороге через боржомские теснины под выстрелами ацхурских крепостных орудий? Вы представляете, господа, что нас ожидает?

Сакен сказал твердо и уверенно:

– Именно потому, ваше высокопревосходительство, что каждый офицер и солдат Кавказского корпуса понимает, в какое тяжелое положение мы попадем в случае отступления, именно потому они будут сражаться с еще большей отвагой...

Паскевич возражать не стал и, ни на что не решаясь, несколько секунд сидел молча, сжимая и разжимая пальцы рук, потом произнес:

– Все это так, но слишком велик риск... Можно потерять армию... Я предчувствовал, что этот проклятый Ахалцах меня уходит! Впрочем, я подумаю...

Сакену в конце концов удалось склонить главнокомандующего к наступлению. В ночь на 9 августа войска правого фланга под начальством самого Паскевича, пройдя скрытыми местами несколько верст и обогнув крепость, внезапно атаковали корпус Кёссе-Магмед-паши. Муравьеву было приказано отвлекать внимание турок на противоположной стороне Ахалцыха орудийной и ружейной перестрелкой, не ввязываясь в бой. Но прямо перед ним находилась сильно укрепленная неприятелем, господствовавшая над всей местностью высота, и Муравьев, понимая, какое огромное значение она имеет, просил у Сакена позволения, в случае если представится благоприятная возможность, завладеть ею. Сакен, зная, что Паскевич не терпит никаких хотя бы и полезных для дела, но самовольных действий, ответил несколько уклончиво:

– Я не полагаю, чтобы завладение сею высотой было противно видам главнокомандующего. А что касается моего мнения, то вам оно известно, я более всего полагаюсь на предприимчивость наших командиров...

Муравьев, ведя со своих батарей орудийный обстрел неприятельских бастионов, в то же время стал готовить свою бригаду к атаке высоты.

Наступило утро. За Ахалцыхом слышались частые пушечные выстрелы и ружейная стрельба. Наши войска вступили в сражение. И вскоре на батарею к Муравьеву прискакал от Паскевича казачий офицер, сообщил, что там дело завязалось жаркое и у них много уже убитых и раненых, а турки стоят твердо, главнокомандующий приказал отнюдь никаких наступательных движений не предпринимать, а усилить отвлечение на себя неприятеля.

Прошел час, другой. Не получая более никаких указаний и догадываясь по усиливающейся далекой канонаде, что Паскевич оказался в затруднительном положении, Муравьев решил на свой страх и риск овладеть высотой. Две колонны карабинеров и находившиеся в голове солдаты конно-саперного батальона стали подниматься в гору оврагами. С правого фланга шли на приступ егеря, с левого – столь некогда любимый Ермоловым храбрый Ширванский полк.

В это время небо вдруг потемнело, поднялась буря, разразилась сильнейшая гроза. Бесперерывно сверкала молния, грохотал гром, неслись по горе бешеные дождевые потоки, ноги скользили по глинистой почве, подъем был невыносимо тяжок, но русские солдаты, все преодолевая, продолжали взбираться наверх. Не остановил их и открытый вскоре турками жесточайший орудийный и ружейный огонь. На высоте, окутанной пороховым дымом, закипел страшный рукопашный бой. Турки дрались с невероятной яростью, даже раненые, поднявшись с земли, вновь кидались на карабинеров и егерей с ятаганами и кинжалами.

Муравьев только что успел вслед за карабинерами въехать на высоту, как лошадь под ним была убита, он пересел на другую, продолжая в огне хладнокровно управлять боевыми действиями своих войск.

Прошло еще полчаса. Гроза прекратилась. Турок сбили. Они в беспорядке стали отступать, преследуемые ширванцами и карабинерами. Муравьев приказал все свои и взятые турецкие орудия повернуть на открывшуюся прямо под горой крепость и на ближние турецкие позиции. Загремели орудийные залпы. Турки не ожидали отсюда столь адского огня, их охватила паника.

Паскевич, видя смятение в неприятельских рядах, двинул в штыковую атаку находившиеся при нем войска правого фланга. Казаки и грузинская конница проникли в турецкие лагеря. Нижегородские драгуны под командой Николая Раевского захватили селение Суклис, перерезав последнюю дорогу к крепости. Рассеянные толпы турок бежали в горы.

Корпус Кёссе-Магмед-паши был разбит наголову. Сам сераскир с небольшой частью своих войск укрылся в крепости, приняв начальство над ее обороною. Паскевич послал к нему парламентаров с предложением сдаться на почетных условиях. Сераскир, опытный воин, служивший некогда мамелюком, в Египте и сражавшийся там против Наполеона, ответил так:

– Спор между нами может решить только один меч, и в бою этом будет один Аллах судьбою!

Тогда Паскевич решился на штурм Ахалцыха. 15 августа вечером после сильнейшего артиллерийского обстрела Ширванскому полку удалось ворваться через бреши, пробитые в палисадах ядрами, в предместье города. Следом за ширванцами вошел туда Бурцов с пионерным батальоном, затем гренадеры Херсонского палка и карабинеры. Турки сопротивлялись отчаянно. Их приходилось выбивать из каждого дома. Пощады они не просили, женщины защищались кинжалами. Бой не утихал всю ночь. Начались пожары. Свет луны еле проникал сквозь дымную завесу. Тесные улицы и переулки были завалены горящими бревнами и трупами.

Перед рассветом, выломав ворота, русские войска с нескольких сторон вошли в город. Толпы армян и грузин со священниками во главе вышли встречать освободителей. С радостными слезами на глазах обнимали солдат, выносили из домов угощение. Древний старик в нищенском одеянии стоял на коленях у порога своей лачуги и шептал:

– Благодарю тебя, создатель, что избавил от турецкой неволи, что сподобил дожить до светлого дня!

А крепость, где оставался четырехтысячный гарнизон, продолжала еще держаться.

Капитан Андреев о дальнейших событиях рассказывает так: «16 августа поутру войска подступили к стенам крепости, генералы Муравьев и Сакен потребовали сдачи, со стен завязались переговоры, показывающие согласие, но когда, уверенные в покорности, вошли наши генералы в ворота крепости, то их затворили, и турки уже заговорили высокомерным тоном. Несмотря на критическое свое положение, генералы, однако, не смутились и стояли на своих требованиях безусловной сдачи гарнизона. Видя солдат у самых стен крепости и боясь гибели в случае предательства, турецкие паши согласились на все требования наших смелых парламентаров».

Муравьев в своих «Записках» описывает этот случай более красочно и подробно:

«Я и генерал Сакен и сопровождавшие нас адъютанты вошли в крепость, в коей двойные ворота за нами немедленно заперлись железными запорами. Толпа разноцветно одетых турок со свирепыми и удивленными взглядами окружила нас. Между ними слышен был ропот неудовольствия. Все толпилось, двигалось. Мы повернули направо ко двору большой мечети. У ворот ограды встретил нас сам Кёссе-Магмед-паша. Он имел гораздо более сорока лет, осанку благородную, простую, наружность приятную, одет был в шитой шнурками куртке и бархатных шароварах, с небольшой чалмою на голове. Он был вежлив и приветлив.

Сакен сказал несколько коротких приветствий, которые были мною переведены. Паша отвечал скромно и повел нас во двор мечети, вмиг наполнившийся толпою, за нами шедшею. Паша и Сакен сели рядом на одну из скамей, более места не было, и я сел против них на камне. Пришедшие с нами офицеры остановились за скамьей, но так как теснота все увеличивалась, то их совсем почти прижали к нам, невзирая на пашу и на повторенное его приказание толпе отдалиться. Надобно сказать, что Ахалцых был почти всегда в независимости от турецкого султана. Народ здесь хотя и считался подданным Порты, но состоял из горцев, людей буйных, не привыкших никому повиноваться. Присутствие паши не устрашало их.

Против нас были явно настроены некоторые из старшин Ахалцыха, и особенно Фет-Улла, человек заметный по безобразной величине головы своей, грубым чертам лица, высокому росту, нахмуренному и свирепому взгляду и громкому голосу.

Разговор был общий и самый живой. На статьи о сдаче, которые мы изложили, турки соглашались. Пашу со всем войском мы выпускали из крепости, куда они хотят, со всем их имуществом, жители должны были разойтись по своим домам. Мы ручались за неприкосновенность их. Все это было изложено на бумаге, но как только паша взял ее в руки, бешеный Фет-Улла вдруг вскочил и, подбежав к нему, вырвал у него бумагу из рук, закричав, что он сего не допустит. Толпа начала волноваться, турки закричали, что не хотят крепости сдавать русским, и по первому отголоску из толпы нас могли вмиг разорвать на части.

Видя смятение сие, которое могло дурно кончиться, я вскочил и, обратившись к паше, воскликнул:

– Паша! И ты позволяешь сим старшинам, сим жителям, за коих войско твое проливало столь храбро кровь свою в жарких битвах, ты позволяешь им толикую дерзость пред тобою? Разве такая неблагодарность со стороны их заслуживает твое снисхождение?

Паша встал, не говоря ни слова, и, раздвинув толпу, почти вбежал по каменным ступеням на крепостную стену, близ коей это действие происходило, и, опершись на стоявшее там орудие, несколько минут смотрел неподвижно на наш лагерь, из коего вышли грозные колонны наши, покорившие Ахалцых и поглотившие всю предшествовавшую его славу. Все действия и движения паши обнаруживали человека, сильно чувствующего срам побежденного и непокорность подчиненных ему и опасавшегося еще неволи в руках победителей. Казалось мне, что он был готов в эту минуту на все решиться, и если б он нас связанных выставил на

стене, то мог бы надеяться получить какие ему угодно условия. Хотя Паскевич после говорил, что он на сие бы не посмотрел, оставил бы нас на жертву туркам и начал бы крепость снова бомбить...

Мы с Сакеном звали пашу сойти к нам, но паша даже не оглядывался. Мы находились среди разъяренной толпы. Но вот наконец паша повернулся и, спустившись несколько по лестнице, остановился, позвал какого-то человека, одетого в красный кафтан, и что-то сказал ему на ухо. Человек сей взглянул на нас и, кивнув головою, как бы в знак того, что он понял отданное ему приказание, стал пробираться к стороне, где стоял Сакен с офицерами, Я не мог слышать приказания паши, но мне показалось оно подозрительным, тем более, что получивший оное человек имел совершенный вид палача: смуглое и свирепое лицо его выражало какое-то кровожадное и зверское существо. И я, схватившись крепко за эфес своей шашки, дабы защищаться в случае надобности, закричал своим:

– Messieurs, garre l'Homme en rouge, qui vous approche!{15}

Сакен и офицеры остереглись. Между тем свирепый Фет-Улла, посоветовавшись со своими, со списком в руках пошел к воротам, толпа раздалась, и мы поспешили за Фет-Уллою. Мы подошли к воротам, их отперли, и мы хлынули из крепости, будучи весьма довольны, что так отделались.

Фет-Улла сам поехал договариваться о сдаче к корпусному командиру на главную батарею. Через час он возвратился с подписанной Паскевичем бумагой. Он вошел в крепость, ворота за ним заперлись, а мы около часа дожидались окончательного ответа у ворот. Наконец они отперлись настежь, и началось шествие. Паша ехал на богато убранном коне и тотчас повернул налево к селению Суклис, где стоял с отрядом Раевский, нисколько не спрашивая о Паскевиче, которого он и не видел, а тот позабыл и спросить о нем. За пашою ехал отряд богато одетых молодцеватых турок, а за ними человек четыреста пеших воинов с ружьями и среди них несколько женщин, закрытых чадрами, верхом или на носилках, А затем двинулась толпа жителей.

Как скоро шествие кончилось, мы вступили в крепость. Я занялся немедленно устройством везде постов, ибо был начальником вступивших в крепость войск и в эту ночь ночевал близ мечети.

Меня занимало видеть учебные заведения ахалцыхской мечети, и я в следующие дни осмотрел библиотеку, в которой было большое число редких восточных книг, которым я сделал опись. Я рассматривал книги с помощью одного ученого и умного муллы. При осмотре произошел такой случай: на полу лежало ядро, пущенное нами из орудия, которое пролетело в окно во время осады и, разбив угол в комнате, закатилось под стол. Подняв ядро сие, я подал его мулле и спросил в шутку:

– К какому разряду должно занести в опись вещь сию, найденную в библиотеке?

Мулла, повертев несколько в руках ядро, вздохнув, ответил:

– Ядро сие принадлежит к разряду превратностей мира сего, ныне оно восторжествовало.

Ответ прекрасный, исполненный глубокомыслия о переменах судеб наших».

За боевые подвиги, проявленные в сражении под Ахалцыхом и при взятии крепости, Муравьев получил Георгиевский крест третьей степени.

Наступил 1829 год. Военных действий зимой не было. Войска Кавказского корпуса, расквартированные в занятых турецких городах и селениях, получили длительную передышку. Турки не осмеливались на них нападать.

Взяв отпуск, Муравьев отправился в Тифлис. Жена, с которой жил душа в душу, еще в конце лета родила дочь, Наташу. Эта темноволосая, с длинными черными ресницами малышка походила на мать, но в чертах лица улавливалось и что-то муравьевское, и он очень любил ее.

Однако сидеть дома без дела Николай Николаевич не мог. Давний интерес его к восточным странам не проходил. Он с увлечением занимался разбором старинных армянских и турецких рукописей, изучал арабский язык, мечтая когда-нибудь побывать в Египте. И, кроме того, он состоял в переписке со многими учеными, интересовавшимися его исследованиями, сделанными во время путешествия в Хиву и Туркмению. Книга его об этих путешествиях, переведенная на английский, немецкий и французский языки, была переиздана во многих зарубежных издательствах.

Профессор Казанского университета Э.Эхвальд, занимавшийся обследованием восточных берегов Каспия, писал ему:

«С большим удовольствием я читал ваше описание Бавканского залива; мне совсем ново было соленое озеро, которое вы к востоку-югу от горы Бавкана наблюдали, из коего два рукава реки Аму-Дарьи происходят. Какой величины должно быть озеро? Нашли ли вы воду в рукаве, который в море впадает, или он был сух? Я не нашел вашу карту о разваленных башнях около Серебряного бугра у полковника Коцебу. Могу ли я от вас достать маленький рисунок или описание этих башен, далеко ли они от берега? Вы меня очень обяжете, ежели потрудитесь написать о них несколько слов».

Не раз принимал у себя Муравьев приезжавших на Кавказ путешественников из Англии, Индии, Персии, Франции, и они не скрывали удивления, видя, какими глубокими, разносторонними познаниями обладает молодой русский генерал, говоривший на многих европейских и восточных языках.

В Тифлисе у него были норвежский профессор Ганстен и известный норвежский путешественник лейтенант Дуэ. Последний был особенно дорогим гостем. Незадолго перед тем в составе норвежской ученой кругосветной экспедиции лейтенант Дуэ побывал в Восточной Сибири. Там он познакомился и сблизился со многими ссыльными декабристами. Три дня гостил в Вилюйске у Матвея Муравьева-Апостола, а в Иркутске навещал Александра Николаевича Муравьева. По рассказам лейтенанта Дуэ, ссыльные декабристы, несмотря на тяжелые жизненные условия, не потеряли бодрости духа. Некоторые из них обратились к императору с просьбами о разрешении служить рядовыми в кавказских войсках, надеясь найти здесь сочувственное отношение старых своих товарищей, которым удалось счастливо избежать сибирской каторги и ссылки. Николаю Николаевичу было ясно, что эти надежды прежде всего возлагаются на него. Что ж, товарищи могут на него положиться! Он не из тех, которые ради собственной безопасности и выгод меняют убеждения и отказываются от прежних привязанностей.

Когда способности, заслуги Бурцова были наконец оценены по достоинству и он получил несколько наград и был назначен командиром Херсонского гренадерского полка, Муравьев записал в дневнике:

«Положение Бурцова было сначала неприятное. Всех участвовавших в несчастных происшествиях 1825 года принимали в корпусе дурно, боялись иметь с ними какую-либо связь. Никакие обстоятельства не могли бы меня склонить к тому, чтобы забыть Бурцова, и я,

вопреки дурных отзывов о нем Паскевича, не переставал выхвалять его, через что и вошел он в доверенность у начальства, коего расположение к нему стало мало-помалу усиливаться... Я могу радоваться тому, что старому другу своему дал ход и случай исправить дурные обстоятельства, в коих он находился».[36]

А не его ли старанием были выдвинуты по службе и представлены к награждению крестами и к производству в офицерские чины Михаил Пущин и прибывший два года назад на Кавказ разжалованный старый друг Евдоким Лачинов?

Покровительствовал разжалованным декабристам, чего так боялся император Николай, Муравьев постоянно, хотя это и было сопряжено с немалыми трудностями и опасностями.

Однажды поздним вечером в дом Ахвердовых кто-то постучал. Камердинер открыл дверь. В переднюю вошел худощавый и смуглолицый, обросший негустой темно-рыжеватой бородкой незнакомый человек в солдатской шинели и с вещевым мешком за плечами. Он спросил:

– Николай Николаевич Муравьев дома?

Камердинер окинул вошедшего подозрительным взглядом:

– А ты кто таков будешь?

– Солдат. Не видишь, что ли? – сняв вещевого мешок и сложив его в углу, ответил незнакомец.

– А по какой такой надобности?

– Ну, это уж тебя не касается, старина. Доложи Николаю Николаевичу, что некий служивый человек желает его видеть по наинужнейшему делу...

– Не вовремя явился, солдат, – проворчал камердинер. – Его превосходительство небось уже почивают. Завтра бы пришел.

Незнакомец расстегнул шинель, достал какое-то письмо, протянул камердинеру:

– А ты передай генералу вот это...

Муравьев между тем спать еще не ложился, Сидел в домашнем халате за письменным столом в кабинете. Взяв поданное камердинером письмо и сразу узнав знакомый почерк, он нетерпеливо вскрыл конверт и, прочитав первые строки, тут же обратясь к стоявшему у двери камердинеру, распорядился:

– Где же он? Проводи его сюда! Что же ты словно истукан стоишь?

Письмо было от брата Александра из Иркутска:

«Подателя сего письма ты давно знаешь, – писал брат. – Ты знал графа Захара Григорьевича Чернышова, когда он учился еще в Осташеве. Несчастье увлекло его в Сибирь, тебе и сие известно... Я уверен, что ты не возгордишься перед Чернышовым-солдатом и примешь его как человека, тебе близкого, что ты всеми силами будешь стараться всячески ему покровительствовать, что ты предложишь ему и знакомства, и услуги свои... Прошу тебя, любезный брат, окажи и оказывай всякое покровительство Захару Григорьевичу; ты знаешь, что сестра его замужем за Никитою Муравьевым, следовательно, он нам даже и родственник».[37]

Николай Николаевич хорошо знал, каким образом произошел необычайный поворот в судьбе блестящего кавалергарда графа Захара Григорьевича Чернышова, владельца одного из

крупнейших в России майоратных имений. Захар Чернышов состоял членом тайного общества, но не принадлежал к числу деятельных, и все полагали, что его наказание ограничится удалением из гвардии или высылкой. Но один из самых жестоких и подлых сатрапов императора, член Следственного комитета А.И.Чернышов, пользуясь весьма сомнительным отдаленным родством с графами Чернышовыми и зная, что в их семействе, кроме Захара, мужчин больше нет, замыслил прибрать к рукам их богатейший майорат. Когда арестованного Захара доставили в Следственный комитет, А.И.Чернышов, дабы показать всем свое якобы близкое родство с ним, воскликнул:

– Comment, cousin, vous ?tes coupable aussi?{16}

Захар поднял гордо голову и, с презрением взглянув в глаза гнусного инквизитора, произнес:

– Coupable – peut-?tre, mais cousin – jamais!{17}

А.И.Чернышов настоял на том, чтобы Захара лишили всех прав и осудили в каторгу. История эта получила широкую огласку.

Ермолов не преминул ядовито заметить:

– Что же тут удивительного? Одежда жертвы всегда поступала в собственность палача!

Незамедлительно А. И. Чернышов подал в Сенат прошение о признании его прав на майорат. Но незаконность притязаний была столь наглядной, что император не решился поддержать любимца. Майорат был передан старшей сестре Захара графине Софье Григорьевне Чернышовой-Кругликовой, а самого Захара император повелел определить рядовым в кавказские войска. И вот теперь солдат Чернышов прибыл сюда для отбывания тяжелой солдатской службы.

С теплым участием, как самого родного и близкого человека, принял его Муравьев. Брат Александр мог бы и не писать, как должно отнестись к шурина милого Никиты!

Захар, привыкший к тому, что многие прежние знакомые всячески уклонялись от каких бы то ни было общений с государственными преступниками, был ласковым обращением необычайно растроган. Он сидел у камина в глубоком кресле и благодарными глазами глядел на Муравьева; тот, расхаживая по кабинету, говорил:

– Очень хорошо ты сделал, Захар, что догадался прежде всего ко мне зайти. А то Паскевич загнал бы тебя в какой-нибудь глухой гарнизон, и не вот скоро оттуда удалось бы тебя выручить. Иван Федорович приказаний своих менять не любит.

– А каково вообще его отношение к разжалованным?

– Хуже быть некуда. И не любит он их не за политические убеждения, а более потому, что они всюду выказывают себя талантливими людьми, чего нельзя сказать про него самого и про его приспешников...

– Не помню, кто из наших сибирских узников, – вставил Захар, – кажется Михаила Лунин, сказал как-то, что у правительства нет принципов, а поэтому нет и способных людей...

– В этом все дело, – кивнул головой Муравьев. – Присылаемые к нам императором начальствующие лица и командиры, всякие Бенкендорфы, Сухтелены, Ламздорфы, будучи, по выражению Дениса Давыдова, «истыми любителями изящной ремешковой службы», оказываются неизменно в военной обстановке вполне бездарными людьми. Бестолковое их вмешательство всюду вызывает беспорядок, суету, противоречия, недоумения и вздор. Тавриз, Карс и Ахалцых, за покорение коих Паскевич и все эти господа столь щедро украсились орденами, взяты были кавказскими войсками без их участия и вопреки их

приказанием. А подлинными героями наших славных боевых действий показали себя разжалованные и высланные сюда лица, прикосновенные к событиям 1825 года.

– Но в таком случае Паскевич, кажется, должен был бы ценить их?

– Он и ценит, и награждает. Нельзя иначе. Ратные подвиги на глазах всего войска совершаются. Меня-то он более чем кого другого терпеть не может, да и то к двум Георгиям представил. Однако ж именно вынужденные сии награждения, признание чужих заслуг и собственной своей бездарности усиливают у него ненависть к тем, коих приходится награждать. Вот каков наш Цезарь!

– А на что же, по твоему мнению, я могу надеяться и что следует предпринять?

– Я полагаю, что тебя можно устроить к Раевскому в Нижегородский драгунский полк, который нуждается в пополнении...

– Это было бы славно, я с Раевским знаком и, признаться, думал о службе у него, но позволит ли Паскевич?

– Раевский сейчас в Тифлисе, я завтра ему скажу, как надлежит тебя выпрашивать, а Паскевич к нему пока более или менее благоволит. И потом у тебя, видишь ли, имеется некое благоприятное обстоятельство. Паскевич, завидуя близости к самодержцу твоего «кузена» Чернышова, люто его ненавидит, и мне известно, что, узнав о его мерзком поступке с тобой, Иван Федорович изволил открыто обозвать его подлецом. Следственно, отношение Паскевича к тебе не должно быть суровым. Так что, друг любезный Захар, у тебя есть все основания надеяться на устройство у Раевского, ну а случай отличиться всегда найдется...

– Поистине неисповедимы пути господни! – засмеялся Захар. – Я начинаю верить, что с помощью вашего превосходительства фортуна на сей раз не повернется ко мне задом!

И он бросился обнимать Муравьева.

А спустя несколько дней после того как Захар был устроен к Раевскому, стали прибывать в Тифлис и являться к Муравьеву с рекомендательными письмами брата Александра другие разжалованные декабристы.

Николаю Николаевичу приходилось не только устраивать их служебные дела, но и оказывать материальную помощь.

Брат Александр, рекомендуя декабриста Андрея Львовича Кожевникова как благороднейшего во всех отношениях человека, писал из Иркутска: «Прошу тебя принять его в свою дружбу и знакомство, открыть ему свой дом, как наш ему отвержен был, и тем заменить ему ту дружественную искренность, в которой он во все время пребывания в Иркутске с нами оставался... При сем я не лишним считаю известить тебя, что Кожевников совершенно ничего более не имеет, как токмо свое жалованье, и потому прошу тебя помогать ему во всем. Ты, конечно, познакомишь его с Бурцовым, к которому он от меня имеет письмо; покажи ему и сие и попроси, чтобы и он его принял в свою дружбу».

Любое из подобных писем, окажись оно в руках жандарма, грозило братьям Муравьевым самыми дурными последствиями. И все-таки они ни при каких обстоятельствах от помощи попавшим в беду товарищам не уклонялись.

Разжалованные декабристы, служившие в войсках Кавказского корпуса рядовыми, общались не только с Муравьевым, но и с Бурцовым, Раевским, Вольховским, Сакеном, Чавчавадзе. И в конце концов эта страшная для правительства связь командиров Кавказского корпуса с государственными преступниками не могла остаться незамеченной, и собиравшаяся над их

головами гроза разразилась. Но до этого было пока еще далеко.

... Где-то в середине февраля в Тифлис пришло неожиданное известие, что в Тегеране убит Грибоедов.

Темные предчувствия, высказанные Александром Сергеевичем перед отъездом в Персию, оправдались. Алаяр-хан, раздраженный твердостью и настойчивостью Грибоедова, взбудоражил народ. Фанатически настроенная толпа вломилась во двор русского посольства, перебила охрану и чиновников, растерзала и посла, обезображенный труп которого был выброшен на улицу. Шах и его правительство знали об умысле Алаяр-хана. Англичане, окружавшие шаха, из-под руки склоняли главных чиновников Персии к злодейской расправе.

В доме Ахвердовых и во флигеле, где жили Чавчавадзе, воцарилась скорбная тишина. Прасковья Николаевна, с материнской нежностью относившаяся к Грибоедову, слегла в постель. Мать Нины, княгиня Саломе, билась в истерических припадках. Соня укачивала в детской Наташу, а у самой из глаз катились слезы. Притихли голоса Катеньки Чавчавадзе и Дашеньки Ахвердовой. Мрачен был Муравьев. Тяжело переживая гибель Грибоедова, все находились в ужасной тревоге за судьбу несчастной Нины. Грибоедов оставил ее, беременную, в Тавризе, и с ней там был двоюродный брат Роман Чавчавадзе, но от них давно не получали никаких сообщений. Что там происходит, не сделались ли и они жертвами разъяренной толпы? И как воспримет Нина известие о трагической гибели мужа?

Впрочем, вскоре тревога стала затихать. Роман Чавчавадзе вывез Нину из Тавриза. Князь Александр Герсеванович, находившийся в Эривани, встретил дочь на границе и привез ее в Тифлис. Гибель мужа от Нины скрывали, но она чувствовала недоброе, была молчалива и, казалось, догадывалась обо всем. Прасковья Николаевна решилась наконец осторожно объявить ей о страшном происшествии. Нина перенесла удар мужественно. Она не билась в истерике, подобно матери, и не металась в отчаянии, а тихо плакала и скрывала печаль свою, хотя горе ее было безмерно. Ночью начались тяжелые преждевременные роды, недоношенный младенец скончался спустя несколько часов после рождения.

Оставаясь наедине с собой, Муравьев все чаще возвращался к мыслям о своих долголетних и странных отношениях с Грибоедовым. Он десять лет знал Александра Сергеевича, вращался с ним в одном кругу и одним из первых, когда молодой поэт и дипломат только начинал свою деятельность, оценил необыкновенный его талант, ум и способности. Он знал Грибоедова как превосходно образованного, свободомыслящего человека, ему более чем кому-либо иному было известно о его связях с декабристами, среди которых у них имелось столько общих близких друзей. Он, наконец, видел постоянно доброжелательное отношение к себе Грибоедова, не раз выручавшего его в самых разнообразных трудных обстоятельствах, и все-таки, несмотря на все это, от неприязненного чувства к нему отделаться не мог. Неужели все дело было только в слепой ревности? Да, отчасти это так... И ревновал он уже не Нину, хотя она продолжала ему нравиться, а жену Соню, которая как-то неосторожно призналась в своем увлечении Грибоедовым, и он именно поэтому не хотел родственного с ним сближения. А к ревности примешивалось и некое недоброжелательство, вызванное распространенным среди ермоловцев мнением, будто Грибоедов проявил черную неблагодарность к Ермолову, став приближенным Паскевича.

Но зависти к Грибоедову он не испытывал, нет, эту мысль он отвергал решительно. Он всегда отдавал должное высоким личным достоинствам Александра Сергеевича, его замечательному таланту, благородному мужеству, твердой воле, гордой независимости.

Кто-то из офицеров однажды при нем сказал:

– Везет Грибоедову! Поехал в Петербург надворным советником, а возвратился его превосходительством полномочным посланником!

Муравьев заметил:

– Это назначение Александра Сергеевича вполне им заслужено, он один в Персии стоит целой нашей дивизии.

И вот теперь, когда Грибоедова не было в живых, а вокруг его имени возникали самые нелепые, порочащие его слухи, Муравьев, возмущенный этой черной несправедливостью, записывал в дневник: «Иные утверждают, что Грибоедов сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персией. Другие соглашаются с мнением, что Грибоедов с редкими правилами и способностями был не на своем месте, и сие последнее мнение основано отчасти на словах самого Паскевича, который не много сожалел о несчастной гибели родственника своего, невзирая даже на важные услуги, ему Грибоедовым оказанные, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персией мира. Я же совершенно иного мнения. Не заблуждаясь насчет выхваленных добродетелей Грибоедова коих я никогда не находил увлекательными, я отдавая всегда полную справедливость способностям Грибоедова и остаюсь уверенным, что в Персии он был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, знал, как вести себя с англичанами... Он был бескорыстен и умел поработать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые втайне на нас злобствовали и готовы были сбросить с себя иго нашего влияния. Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед въездом своим одержав совершенную победу. И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!»

Шли дни, Нина медленно поправлялась и теперь почти все время проводила у Муравьевых. Она душевно отогревалась в их семействе, где все любили ее, жалели и ласкали и где маленькая Наташа, увидев ее, тянулась к ней пухленькими ручонками и что-то радостно лопотала.

О Грибоедове первое время Нина не говорила, слишком чувствительна была потеря, но затем беседы и воспоминания о нем стали насущной ее потребностью. Рассказав как-то Нине о своих встречах с Александром Сергеевичем, Николай Николаевич заметил:

– Что бы там теперь в высшем свете ни говорили, я держусь мнения, что ум и дела его были необыкновенными и не забудутся потомством...

Из темных бархатных глаз Нины выкатилась на щеку непрошенная слеза, она смахнула ее и медленно повторила:

– Ум и дела его были необыкновенны... – Потом, сделав небольшую паузу, добавила с тихим вздохом: – Да, все это так... Но зачем пережила его любовь моя?

Весной 1829 года военные действия Кавказского корпуса возобновились. Туркам удалось собрать значительные силы. Эрзерумский сераскир с тридцатитысячным корпусом снова двигался на Карс. Десятитысячный отряд турок и аджарцев занял Поцховский санджак, угрожая Ахалцыху, где стоял Бурцов с Херсонским полком. А близ Ардагана, как сообщили лазутчики, замечалось большое скопление турецкой конницы.

Паскевич, прибыв в Карс, созвал военный совет. Сакен, Муравьев и Вольховский высказались за то, чтоб не допускать соединения турецких войск и прежде всего разбить отряд, угрожавший Ахалцыху. Муравьева с карабинерным и Донским казачьим полками, с батальоном егерей и легкой конной артиллерией отрядили на помощь Бурцову. 2 июня у селения Квели в долине реки Поцхо Муравьев и Бурцов соединенными силами разгромили турок. Ахалцых и его округ были от неприятеля освобождены.

Михаил Пущин, остававшийся с Паскевичем в Карсе, записал:

«Муравьев прислал реляцию о своей победе вместе с Бурцовым: у турок отбиты знамена, вся артиллерия, множество пленных, так что под Ахалцыхом нет неприятеля, и что он с Бурцовым возвращаются в Карс. Кажется, следовало бы праздновать победу, но вместо того Паскевич разразился гневом на Сакена и Вольховского, упрекая их в том, что они свою интригу вырвали у него победу; а когда возвратились Муравьев и Бурцов, то вместо солдатского «спасибо» стал критиковать их маневры, выговаривать за значительную потерю людей, которая, напротив, была самая ничтожная».[38]

Паскевич приказал готовиться к переходу через Соганлугские горы, отделяющие Карс от Эрзерума. Кавказские войска сосредоточивались в лагере на реке Карс-чай, верстах в двадцати от крепости. Корпус сераскира стоял на большой Эрзерумской дороге, пересекавшей хребет Соганлу, а левее, в урочище Мелидюз, расположилась кавалерия Гака-паши.

13 июня Муравьев только что возвратился из утренней рекогносцировки и, зайдя в свою палатку, собрался писать донесение Паскевичу, как прискакал казак с запиской от Раевского: «Любезнейший Николай Николаевич, прошу покорнейше пожаловать к обеду. Шашлык готовится, шампанское остужается».

Записка не удивила. Раевский славился гостеприимством, любил хорошо поесть, в обозе у него постоянно имелся большой запас вин, и Муравьев не раз «проводил с ним время самым приятным образом».

В палатке у Раевского на этот раз собралось к обеду большое и разнообразное общество. Муравьев застал здесь Бурцова и офицеров Нижегородского драгунского полка Сакена, брата начальника штаба, и Семичева, декабриста, переведенного на Кавказ после полугодичного заключения в крепости, тут же были адъютанты Раевского штаб-ротмистр Юзефович и прапорщик Лев Пушкин, а также разжалованные Захар Чернышов и Валерьян Голицын – последнего тоже пришлось недавно «устраивать» Муравьеву. Сам богатырь-хозяин, в полотняной, с открытым воротом рубашке и синих очках, стоял и о чем-то оживленно разговаривал с невысоким, средних лет господином в щегольском черном сюртуке. Великолепные, большие и ясные глаза незнакомца, каштановые вьющиеся волосы и тщательно подстриженные бакенбарды создавали запоминающийся, неповторимый образ. Муравьев догадался, что это поэт Александр Сергеевич Пушкин, приезда которого в последние дни ожидал Раевский, близкий друг юных лет его.

И Муравьев, глядя с любопытством на знаменитого гостя, направился прямо к нему:

– С благополучным прибытием, Александр Сергеевич. Счастлив познакомиться с вами. Разрешите рекомендоваться: Муравьев Николай Николаевич.

Пушкин, хорошо осведомленный, кто этот молодой, спокойный, начавший полнеть и по первому взгляду несколько даже суровый генерал, дружески и крепко пожал ему руку:

– Вот вы какой! А знаете ли, когда я впервые о вас услышал? Еще будучи в лицее... И потом от общих знакомых, когда был на юге, много такого о вас узнавал, что меня к вам располагало, и отлично помню, как восхищало меня ваше смелое путешествие в Хиву...

– Дела давно минувших дней, – вздохнув, произнес Муравьев и улыбнулся, вспомнив тут же, что фраза эта из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Пушкин подхватил:

– В то время, когда писалась эта поэма, ваше имя было уже хорошо известно...

– А я могу свидетельствовать, – сказал Раевский, – что Николай Николаевич самый восторженный почитатель твоих творений, притом не только напечатанных...

Намек показался Муравьеву нескромным, он покосился на Раевского, а Пушкин ничуть не смутился.

– Я сему не дивлюсь, – проговорил он, – ибо цензурные опричники, кажется, задались целью сделать всю нашу литературу рукописною...

– Не всю, а лучшее, что в ней есть, – вставил Юзефович, сам писавший стихи и друживший со многими литераторами. – Комедия покойного Грибоедова «Горе от ума» в списках приобрела самую широкую известность...

При упоминании Грибоедова лицо Пушкина сразу сделалось необыкновенно серьезным и печальным.

– Да, я забыл рассказать вам, господа, о своей последней встрече с автором бессмертной комедии, – проговорил он медленно и тихо. – Это было по дороге сюда, близ крепости Гергеры. Два вола, впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тегерана». – «Что вы везете?» – «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис... – Пушкин чуть помолчал, а затем с легким вздохом продолжил: – Да, не думал я о такой встрече с нашим Грибоедовым. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить, он мне сказал: «Вы не знаете этих людей, вы увидите, что дело дойдет до ножей...»

Муравьеву с необыкновенной ясностью припомнилось последнее свидание с Грибоедовым, и он подтвердил:

– Я виделся с Александром Сергеевичем позднее вас, в лагере при Ахалкалаки, и, прощаясь со мной, он тоже говорил о мрачных предчувствиях, им овладевших. Он знал, какое страшное ратоборство предстоит ему, и не уклонился от исполнения долга своего.

Бурцов с присущей ему горячностью дополнил:

– Вот истинный подвиг во славу своего отечества! И не удивительно ли, господа, что до сей поры злодеяние, свершенное над нашим посланником, остается безнаказанным?

Раевский попытался пояснить:

– Насколько мне известно, правительство наше потребовало у шаха выдачи виновных, и нам обещали их выдать, но не выдали и, кажется, выдавать не собираются. А в наших высших сферах не особенно и настаивают...

Раевский не договорил. Вошел генерал Сакен. Разжалованные встали, вытянулись, Сакен добродушно кивнул им головой:

– Сидите, сидите, господа, не стесняйтесь...

Раевский представил генерала Пушкину:

– Начальник штаба нашего корпуса Дмитрий Ерофеевич Сакен.

Пушкин едва сдержал улыбку. «Ерофеичем» называлась широко известная водочная настойка. Вспомнился рассказанный Денисом Давыдовым анекдот. Будто Ермолов, когда прислали в корпус Сакена, сказал: «Я просил подкрепить меня войском, а меня подкрепили Ерофеичем».

Сакен тем не менее заслуживал большого уважения. Этот тщедушный, подвижной, некрасивый генерал был честен, храбр и справедлив, и хотя никогда ни в каких тайных обществах не участвовал, однако к высланным и разжалованным относился с душевным участием, принимал их у себя и не раз являлся ходатаем за них перед Паскевичем.

Пушкин знал об этом и спустя несколько минут после знакомства был уже с начальником штаба в самых лучших отношениях, как, впрочем, и со всеми остальными.

Между тем любезный хозяин пригласил всех к столу. Хлопнули пробки, зашипело в бокалах вино. Пушкин, делавший во время этой поездки дневниковые записи, отметил: «В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Эрзерумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как все прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю».[39]

На следующий день войска Кавказского корпуса, отеснив неприятельские пикеты и благополучно пройдя опасное ущелье, стали на высотах Соганлуг в десяти верстах от неприятельского лагеря. И в один из тихих вечеров в палатке Раевского опять собрались постоянные его гости, среди которых на этот раз были лицейский товарищ Пушкина полковник Вольховский и Михаил Пущин, брат бесценного его первого друга, томившегося на каторге.

Пушкин читал «Бориса Годунова». Император Николай печатать эту трагедию не позволял, усмотрев в ней намеки на события 14 декабря. Узнав, что Пушкин читал ее в рукописи московским своим приятелям, шеф жандармов Бенкендорф сделал ему строжайшее предупреждение. Повторить после этого чтение запрещенного произведения в действующей армии, да еще лицам, состоящим под надзором, было делом весьма рискованным. Пушкин согласился прочитать рукопись лишь самым близким друзьям, к которым питал полное доверие. Муравьев был среди этих избранных.

Пушкин читал тихим, приятным голосом, просто, без обычного для того времени декламационного пафоса, но с большим увлечением и все более разгораясь. Яркие картины смуты в государстве московском волновали слушателей, словно живые вставали перед ними преступный царь Борис, старый и мудрый летописец Пимен, молодой инок, ставший самозванцем, и гордая красавица Марина...

Муравьев с напряженным вниманием следил за развитием действия. На первых порах самозванец вызывал у него некое сочувствие, ведь он ополчился против самодержавного российского владыки, поступки и слова самозванца Муравьев рассматривал с пристрастием опытного конспиратора.

Пушкин читал сцену у фонтана. Влюбленный в Марину самозванец открывался ей:

Нет, полно мне притворствоваться! скажу
Всю истину: так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт – и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени,
Владеть конем и саблей научился;
Явился к вам; Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?
Что ж ты молчишь?

Это признание самозванца хотя и вполне оправдывалось психологически, выглядело столь неосторожным, что Муравьев не вытерпел, перебил Пушкина:

– Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?

– Подождите, увидите, что не выдаст, – ответил с легкой досадой Пушкин и продолжил чтение.

Трагедия произвела на Муравьева ошеломляющее впечатление. Он не обладал поэтическим дарованием, но чувствовал очарование пушкинских стихов, зрелую силу их, шекспировскую лепку образов, поражавших воображение. И с того дня почти все свободное время стал проводить в обществе Пушкина и окружавших его, не скрывавших своего свободолюбия лиц, собиравшихся у Раевского.

А военные действия тем временем продолжались... 19 июня на горах Соганлугских, у селения Менджергонд, произошло сражение с войсками сераскира. Пушкин, находившийся при Нижегородском драгунском полку, так описал это событие:

«Едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова,

который звал меня на левый фланг. «Что такое левый фланг?» – подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечьхватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением...

Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросились в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистела мимо моих ушей...

Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Настала ночь... Усталая лошадь отставала и спотыкалась на каждом шагу... Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Соганлу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках».

Спустя неделю войска Кавказского корпуса приблизились к Эрзеруму. Пушкин записал: «26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не переставая рассуждать с генералом Муравьевым...

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города...

27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в шесть часов вечера, русское знамя развилось над арзрумской цитаделью».

А что же произошло далее? Пушкин пробыл в Эрзеруме более трех недель. Он описал достопримечательности города, дворец сераскира, быт и нравы жителей, посещение гарема

Осман-паши и, наконец, появление чумы. Пушкин не забыл сделать запись о вечерах, проведенных с умным и любезным Сухоруковым, казачьим сотником, высланным на Кавказ за связи с декабристами. Однако о продолжавшихся в Эрзеруме встречах с бывшими деятелями тайных обществ, служившими в кавказских войсках и собиравшимися у Раевского, Пушкин упомянуть не считал возможным, что, разумеется, вполне понятно. Муравьев и Михаил Пущин, бывавшие на этих собраниях, в своих записках тоже о них не упомянули. И это понятно. Тем не менее подтверждение эрзерумских собраний у Раевского имеется.

Бурцов, постоянно посещавший эти собрания вместе с Муравьевым, был из Эрзерума послан с Херсонским полком и ротой карабинеров для осады крепости Бай-бурт. Прибыв сюда, Бурцов 7 июля, извещая об этом Муравьева в дружеском письме, сделал в конце его следующую характерную приписку: «Поклонись Раевскому и тем, кого ты часто навещаешь».

Бурцова обстоятельства научили крайней осторожности. Он не раскрыл того, чего не должно было раскрывать. Но приписка весьма ясно свидетельствует не только о продолжавшейся связи Муравьева с собиравшимся у Раевского обществом, в центре которого был Пушкин, но косвенно подтверждает и конспиративный характер происходивших здесь бесед.

Несколько дней спустя Бурцов был убит. Пушкин записал: «19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию...»

Пушкин успел выехать вовремя, ибо спустя несколько дней произошли такие события, которые могли иметь для него самые дурные и непредвиденные последствия...[40]

10

Военные действия против турок, происходившие одновременно в Европейской Турции, на Балканах и в Закавказье, представляли весьма странную картину.

Балканская русская сотысячная армия в течение года не одержала ни одной решительной победы, потерпела полную неудачу при блокаде турецких крепостей Шумлы и Силистрии и, вынужденная отступить от них, стала на зимние квартиры в совершенно дезорганизованном виде, потеряв половину своего состава при бессмысленных штурмах и от заразных заболеваний. А ведь армия состояла из лучших регулярных войск, численно превосходила противника, была лучше его вооружена. И управлял армией не престарелый фельдмаршал Витгенштейн, считавшийся главнокомандующим, а сам император Николай.

В то же самое время войска Кавказского корпуса, действовавшие против турок в Закавказье, насчитывали всего одиннадцать тысяч штыков, были во много раз слабее неприятеля и не могли похвалиться благоприятными условиями походной жизни, а сумели взять такие неприступные крепостные твердыни, как Ахалцых и Карс, разгромив несколько турецких корпусов.

В чем же тут дело? Почему действия маленького Кавказского корпуса оказались более успешными, чем действия большой Балканской армии? Военные наблюдатели, отечественные и иностранные, ломали головы над столь загадочным явлением. Сначала многие полагали, что кавказские победы одержаны благодаря выдающемуся военному

таланту графа Паскевича-Эриванского. Вскоре, однако, мнение это было опровергнуто достоверными известиями о том, что большая часть неприятельских городов и крепостей взята была по инициативе смелых и талантливых командиров Кавказского корпуса без участия Паскевича и зачастую даже вопреки его указаниям.

В петербургских великосветских салонах говорили об этом шепотом: неудобно конфузить любимца императора!

– Слышали подробности о взятии Карса и Ахалцыха? Только это между нами, господа!.: Оказывается, граф Эриванский, уstraшенный превосходством неприятеля в силах, готовился отступить, но Муравьев и Сакен и, кажется, Раевский и кто-то еще из его подначальных лиц настояли на наступательных действиях и на свой риск штурмовали крепости...

Старые сановники морщились и кряхтели:

– А какой это Муравьев? Родственник повешенного бунтовщика и тех, которые на каторге?

– Так точно. Но, по общим отзывам, Муравьев в кавказских войсках пользуется огромной популярностью...

– Гм... Положение графа Эриванского... Впрочем, прекратим этот разговор, господа, и не будем, как говорится, выносить сора из избы.

Иностранные корреспонденты были менее щепетильны. Парижская газета «Journal des D?bats» поместила статью, в которой Паскевич представлялся бездарным, пустейшим и взбалмошным царским фаворитом, всю славу загибающим руками талантливых генералов Муравьева, Сакена, Раевского, Панкратьева, Чавчавадзе.

Но суть дела была не только в этом. Муравьев оставил очень осторожную запись: «У нас людей не мучили бесполезною, насильственной и искусственною выправкою. Я застал однажды расставленную в поле лагерную цепь из рекрут, которым унтер-офицеры рассказывали все тонкости их обязанностей. Сие занимало рекрут, видевших пользу сего, и они вскоре получили настоящую выправку, ловкость и бдительность старого солдата и в самое короткое время их уже трудно было отличить. Рекруты сии, выступившие в поход еще с суконными ранцами и в рекрутской одежде, получив ружья во время походов и движений, скоро приняли бодрость старых солдат и нигде от них не отставали: таков был дух в войсках Кавказского корпуса. Духом сим не оживляются полки наши, в России стоящие, и дурные успехи нашей армии в Европейской Турции совершенно соответствовали сему расположению войск, тогда как у нас дух сей непрерывно поддерживался новыми победами. У нас не было места унынию, недоверчивости и несмелости, поражающих рекрут в других полках, что наводит робость и на старых солдат и, наконец, делает войско совершенно неспособным к какому-либо военному действию. Это уже доказано многими несчастными опытами, но все еще не исправило ложного понятия, вселенного в войсках, о воспитании солдат и офицеров. Войска наши были бодры, веселы и готовы на самые большие труды и подвиги, какими всегда и были войска Кавказского корпуса, неподражаемые в военных доблестях своих и не подражающие другим в смешных, странных и вредных обыкновениях, принятых в оных».

Итак, войска Кавказского корпуса, по свидетельству Муравьева, отличались от других русских войск тем, что не следовали принятым в оных «странным и вредным обыкновениям», а воспитывались совершенно в ином духе.

Под «странными и вредными обыкновениями» подразумевал Муравьев, как нетрудно догадаться, всю столь любезную императору Николаю систему военной подготовки, основанную на бессмысленной муштре и жестоких телесных наказаниях.

В войсках, стоявших в России, всякое проявление самостоятельности и находчивости

подавлялось. Дивизии и полки находились в большинстве случаев под начальством невежественных солдафонов, умевших лишь угождать царю.

А в кавказских войсках господствовали суворовские и ермоловские правила. Здесь разрешались разумные отступления от уставных правил, здесь относились к нижним чинам по-человечески, обучали их военному искусству по суворовскому методу, поощряли всякую инициативу. Большое значение для поднятия боевого духа кавказских войск имело появление в их рядах разжалованных декабристов. Солдаты были превосходно осведомлены, за что пострадали их новые товарищи, относились к ним с уважением, а эти, в свою очередь, охотно дружили с солдатами, объясняли им, что война идет за освобождение христианских народов из тяжелой турецкой неволи, а в сражениях разжалованные обычно бывали впереди и увлекали за собой товарищей. Да и начальствующий состав Кавказского корпуса, пополненный переведенными сюда за участие в тайных обществах такими командирами, как Раевский, Бурцов, Вольховский, Пущин, отличался глубокими знаниями и хорошей военной подготовкой.

На полях сражений в Европейской Турции и в Закавказье происходило как бы соревнование двух военных систем, и естественно, что в этом соревновании николаевская крепостническая система, основанная на устаревших прусских доктринах, потерпела позорное поражение.

Паскевич три года назад прибыл на Кавказ не только для того, чтоб сместить Ермолова, но и с намерением, подсказанным императором, подтянуть якобы распущенные кавказские войска. И Паскевич начал было муштровать их, заводить в полках николаевские порядки, но вскоре понял, как не нужна и вредна такая затея. Строгости и муштра приводили лишь к потере боевого духа в войсках. А Паскевичу нужны были не парады, а боевые успехи! Вынужден был Паскевич изменить и свое обращение с ермоловскими и поднадзорными командирами, ибо что он мог сделать без них, когда присылаемые из Петербурга вылощенные мастера парадомании неизменно выказывали полную военную бездарность?

Парижская газета «Journal des D?bats» со статьей о Паскевиче получена была в Тифлисе и прочитана им весной, когда войска Кавказского корпуса готовились к походу на Эрзерум. Статья больно ущемляла самолюбие главнокомандующего. И первой мыслью его было разделаться с ненавистными генералами, похищавшими его славу, изгнать их из Кавказского корпуса, доказать всем, что он может превосходно обойтись и без них, но после здравого размышления Паскевич вынужден был опять смирить себя и отказаться от замысла своего, потому что осознал, в каком беспомощном состоянии окажется без Муравьева и других талантливых командиров, коих прямо называла парижская газета.

Теперь же, когда Эрзерум был взят, а Дибичу, назначенному главнокомандующим Балканской армией, удалось, хотя и с большим трудом, дойти до Адрианополя, где начались мирные переговоры с Турцией, теперь, когда стало очевидно, что военные действия вот-вот прекратятся, Паскевич резко изменил поведение и дал волю злобной мстительности своей.

Прежде всех пострадал генерал Сакен. Придравшись к небольшому служебному упущению начальника штаба, Паскевич отрешил его от должности, арестовал, хотел отдать под суд.

Раевский и Вольховский попробовали защищать Сакена, но были Паскевичем обруганы последними словами и, взяв отпуску, уехали из армии в Тифлис. Еще ранее, не стерпев усиливавшихся придинок Паскевича, покинул армию Михаил Пущин.

Муравьева в Эрзеруме не было. Узнав о гибели Бурцова, он, взяв под команду 41-й егерский полк, три роты карабинеров и несколько полевых орудий, поспешил к Байбурту. Крепость стояла на главном караванном пути из Трапезунда в Персию, имела важное стратегическое значение и была хорошо укреплена. А на горах близ нее собралось огромное скопище лазов – воинственных турецких горцев, в битве с которыми был убит Бурцов.

Потеря старого Друга подействовала на Муравьева так сильно, что он не стал терять времени на создание системы траншей и редутов, а приказал штурмовать Байбурт с ходу. Офицеры и солдаты Херсонского полка просили дать им возможность идти на приступ первыми и отомстить за смерть любимого командира.

– Хорошо, братцы, и я пойду с вами, – сказал Муравьев, еле сдерживая слезы. – Отдадим в бою последнюю почесть достойному и храброму генералу!

Защищавший Байбурт гарнизон оказал жестокое сопротивление. Херсонцы и егеря под начальством Муравьева дрались с необычайной отвагой. Декабрист Александр Бестужев, недавно определенный рядовым в 41-й егерский полк и принимавший участие в этом кровопролитном сражении, писал оставшимся в Сибири братьям: «Завладев высотами, мы кинулись в город, ворвались туда через засеки, прошли его насквозь, преследуя бегущих, и наконец верст, пять далее вступили в дело с лазами, сбили их с горы, и пошла рукопашная».

Муравьев видел, с каким бесстрашием действовали штыками против вооруженных кривыми саблями бородатых здоровенных лазов Александр Бестужев и находившийся недалеко от него разжалованный Владимир Толстой.

Муравьев подскакал к ним, крикнул:

– Молодцы, товарищи егеря, спасибо за примерную службу!

– Справляем тризну по генералу Бурцову, – отозвался мрачно Толстой.

Байбурт был взят. Муравьев возвратился в Эрзерум. Узнав о том, что произошло без него, он понял, что ему тоже, надо ожидать больших неприятностей от неистового главнокомандующего. И случай убедиться в этом вскоре представился.

Муравьев получил от командира 41-го егерского полка такую записку: «Долгом считаю просить ваше превосходительство уведомить меня, могу ли я равным образом сделать представление за байбуртское дело о разжалованных Бестужеве и Толстом, отличной храбрости коих ваше превосходительство были очевидным свидетелем как начальник всей пехоты в день Байбуртского сражения».

До последнего времени в войсках Кавказского корпуса существовал особый порядок награждения нижних чинов Георгиевскими крестами. Солдаты после боя сами, без участия командиров, выбирали из своей среды наиболее отличившихся, а корпусной штаб обычно без особой проверки утверждал составленные в полках списки. И не удивительно, что большинство разжалованных декабристов оказались вскоре Георгиевскими кавалерами, что избавляло их по крайней мере от телесных наказаний. Сакен, Муравьев, Раевский и другие командиры, покровительствовавшие разжалованным, знали, каким образом производилось их награждение, но, разумеется, не считали нужным докладывать об этом главнокомандующему. Паскевич сам случайно узнал о том в Эрзеруме, разбушевался по обыкновению, заподозрил ненавистных генералов в заговоре и приказал строго, расследовать дело. Виновных, однако, не обнаружили, и Паскевич ограничился тем, что приказал строго-настрою впредь никаких наградений разжалованных не производить, а в исключительных случаях об особо отличившихся доносить лично ему.

Муравьев отправился к Паскевичу. Тот принял сухо и, едва только Муравьев изложил суть дела, сердито оборвал его:

– Никаких представлений о государственных преступниках, присылаемых для искупления вины своей, я более принимать не буду!

– Однако ж ваше сиятельство приказали доносить вам об особо отличившихся, – напомнил

Муравьев.

– Вы достаточно пользовались возможностью любыми способами добывать чины и кресты для ваших приятелей, – сказал с раздражением Паскевич.

– Может быть, ваше сиятельство соблаговолит указать мне, кто из моих товарищей, как вы изволите их называть, был награжден не по заслугам? – спросил Муравьев.

– Вы полагаете, вероятно, – уходя от ответа на вопрос, продолжил Паскевич, – что я забыл, кто мне выхвалял Пуцина, Лачинова, Кожевникова, Гангелова, Голицына, Чернышова и других разжалованных?

– Не отрицая того, я осмеливаюсь повторить вашему сиятельству прежний свой вопрос о наименовании тех, кои оказались недостойными похвалы.

Спокойный тон и убедительность, с которой говорил Муравьев, и прямой взгляд его серых пронзительных глаз выводили Паскевича из себя, щеки его начали багроветь и дергаться, он вспыхнул:

– Вы забываетесь! Я не обязан отчитываться перед вами... И вообще вы слишком много себе позволяете и злоупотребляете моим терпением. Я вижу, вы никак не желаете оставить прежних своих мыслей и связей и всяких этаких штук в ермоловском вкусе!

– Мне не совсем ясно, что под сими словами ваше высокопревосходительство подразумевает.

– Не прикидывайтесь простачком! Вы превосходно понимаете, о чем идет речь! Но повторяю еще раз, что дух сообщничества, существующий еще в корпусе, и покровительство государственным преступникам мною далее терпимы не будут. Советую вам хорошенько подумать об этом... Я все сказал!

После такого разговора Муравьев не сомневался, что Паскевич, никогда не скрывавший своей неприязни к нему, а теперь настроенный особенно злобно, не остановится ни перед чем, чтобы выжить его из Кавказского корпуса.

А война с Турцией закончилась. В октябре войска Кавказского корпуса, согласно условию Адрианопольского мирного договора, отошли от Эрзерума и стали располагаться на зимние квартиры. Паскевич и штаб корпуса перебрались в Тифлис. Воинские части, состоявшие под начальством Муравьева, тоже были расквартированы близ грузинской столицы.

Как и в прошлом году, Муравьев опять проводил время в кругу своего семейства. Соня родила мальчика, отцовской радости и гордости не было предела, он назвал сына в честь томившегося в сибирской каторге задушевного друга Никитой и не отрывал глаз от младенца. Соня даже упрекала его, что, сосредоточив всю любовь на сыне, он стал меньше заботиться о Наташе, которая уже ходила и начинала говорить, становясь день ото дня все более милым ребенком.

Испытывая ни с чем не сравнимое супружеское и отцовское счастье, Муравьев упрекал себя лишь в том, что не мог создать для Сони и для детей больших жизненных удобств. У него по-прежнему не было никаких средств к существованию, кроме скромного воинского жалованья, а что будет, если его уволят со службы? Тревожные мысли хотя и скрывались от семейных, не покидали Николая Николаевича, отравляя чувствительно радость бытия.

И вдруг случилось неожиданное. Из Петербурга примчался фельдъегерь, доставил Паскевичу какое-то секретное предписание. В тот же день был внезапно арестован и посажен на гауптвахту Николай Раевский, находившийся в Тифлисе, а затем схвачены и под конвоем

разосланы по разным линейным батальонам и дальним гарнизонам многие разжалованные декабристы.

Оказалось, дело было в следующем. Раевский, уезжая из армии в Тифлис, взял в свой отряд прикрытия разжалованных Захара Чернышова, Оржицкого, Ворцеля, Карвицкого. В Гумрах Раевского и его спутников задержали на несколько дней в карантине, и здесь догнал их штаб-ротмистр Бутурлин, адъютант начальника Главного штаба, возвращавшийся из армии в Петербург. Раевский обедал, как обычно, в компании разжалованных, с которыми проводил все время. Бутурлин, заметив это, не преминул по приезду в столицу донести о том императору.

Полученное Паскевичем предписание касалось этого дела. Император приказал строжайше расследовать поступок Раевского и донести ему, кто еще из корпусных начальников покровительствует государственным преступникам, Раевского строго наказать, а за разжалованными усилить надзор, разослав их в разные места.

Рассказывая о происшествии жене и осуждая допущенную Раевским неосторожность, Муравьев заметил:

– Как хорошо и счастливо для Пушкина, что он прежде сего случая от нас уехал. Ты представляешь, Сонечка, какая катастрофа угрожала Александру Сергеевичу, если б этот рыжий прохвост Бутурлин застал его у Раевского среди разжалованных.

– Представляю, – кивнула головой жена. – Маменька сказывала, что Пушкину и без того досталось от государя за самовольную поездку на Кавказ.

– А как велик чудесный талант его, – продолжил Муравьев. – Мне никогда не забыть, как он читал «Бориса Годунова»... И эти слова юродивого, в коих так и слышится приговор нашему самодержцу: «Нельзя молиться за царя Ирода, богородица не велит...» Прямо мороз по коже!.. Нет, не помиловал бы царь-ирод поэта, если б в связях политических уличил!

... Паскевич приказание императора ревностно исполнил и послал ему нижеследующее секретное донесение:

«Поступок генерал-майора Раевского сделался мне известен прежде получения повеления вашего императорского величества, и я не оставил его без внимания, но только предоставил окончательное решение оно до возвращения моего в Тифлис, чтобы самому более во всем удостовериться. Поступок этот хотя злоумышленности и не обнаруживает, но тем не менее есть признак, что дух сообщества существует, который по слабости своей не действует, но с помощью связей между собой живет. Сие с самого начала командования моего здесь не было упущено от наблюдений моих, и я тогда же просил графа Дибича снабдить меня хоть несколькими другого рода генералами, которые с добрыми правилами соединяли бы и способности; но, не получив их, я должен был действовать с теми, какие были... По множеству здесь людей сего рода, главное к наблюдению есть то, чтобы они не имели прибежища в лицах высшего звания и, так сказать, пункта соединения. В сем отношении удаление отсюда генерал-майора Сакена есть полезно; удаление генерал-майора Раевского также; весьма полезно удалить и генерал-майора Муравьева».[41]

Об этом донесении Муравьев не знал, но он хорошо изучил Паскевича и по тому, как тот теперь при встрече с ним отводил глаза и криво усмехался, безошибочно определил, что царский фаворит учинил ему какую-то подлость.

Муравьев обратился к Дибичу, только что произведенному в фельдмаршалы и получившему звание графа Забалканского, с просьбой о переводе в его войска. Но император перевод Муравьева запретил.

Казенная бумага из Главного штаба, полученная Муравьевым весной, гласила, что он «увольняется из войск Кавказского отдельного корпуса по личному желанию».

Удар этот был нанесен в тот момент, когда Муравьева постигло тяжелое семейное горе. Умер от скарлатины маленький Никита. Выезд из Грузии задерживался.

Лишь спустя несколько месяцев, летом 1830 года, Муравьев с женой и Наташей приехал к отцу в Осташево.

... А в далекой Сибири за военными действиями внимательно следили отбывавшие здесь каторгу и ссылку декабристы. Официальные реляции были скупы и лживы. Но родственники присылали заграничные газеты и журналы, сообщали всякие известия, цензурой к печати недозволенные. Декабристы были хорошо обо всем осведомлены. Военные люди и патриоты, влюбленные в Суворова и Кутузова, они гневно осуждали крепостническую казарменную николаевскую систему, считали пагубным для страны увлечение императора парадоманией, обличали невежественных и бездарных любимых императором военачальников, погубивших почти сотысячную русскую армию в Европейской Турции. Зато восторженно они отзывались о победоносных кавказских войсках, где служило столько их товарищей. Верные сыны отечества, их единомыслящие друзья, опытные в военном деле, мужественные люди вели кавказских гренадеров и егерей на штурм Карса и Ахалцыха, а не царский фаворит Паскевич!

В 1840 году Михаил Лунин и Никита Муравьев жили в поселке Урик, близ Иркутска. Двоюродные братья были неразлучны. В долгих беседах они обменивались мнениями о политических и военных делах, вспоминали о деятельности тайных обществ, делились своими замыслами.

Лунин работал тогда над статьей «Общественное движение в России». Касаясь походов кавказских войск в Персию и Азиатскую Турцию в 1827—1829 годах, Лунин писал:

«Эти походы являются мастерскими военными комбинациями, блестящими военными подвигами и в результате сопровождались приобретением областей Эриванской, Нахичеванской и Ахалцыхской. По единодушному свидетельству главнокомандующего, офицеров и солдат этой армии, три члена тайного общества, которым правительство доверило военное командование, сильно содействовали успеху этих походов».

Никита Муравьев, прочитав эти строки, заметил:

– Мы с тобой, Мишель, знаем, кто эти трое членов тайного общества, прославившие себя мастерскими военными комбинациями и блестящими подвигами, но для тех, кто когда-нибудь прочтет твою статью, для потомков и историков, нужна точность. В кавказских войсках хороших генералов было немало. Загадки тут неуместны.

– Так-то оно так, Никита, да я опасаясь, как бы уточнение имен не повредило тем, о коих речь идет.

– Ты же не думаешь, надеюсь, что твою статью разрешат напечатать? – возразил Никита. – Ну и потом не забывай, что одного из трех дорогих наших товарищей давно нет в живых, а оставшиеся в генеральских чинах и для правительства прошлое их секрета не представляет. Не беспокойся!

Лунин с доводами этими согласился. И сделал в рукописи собственноручное примечание, что членами тайного общества, о которых он в статье говорит, были генералы Николай Муравьев, Николай Раевский и Иван Бурцов.[42]

Получая ваши письма и отвечая на них, я чувствую не одно удовольствие, но и пользу, потому что принужден бываю лишней раз оглядеть себя со всех сторон и отдавать отчет даже в мыслях. Декабрист Евдоким Лачинов

Скажу без лести: вы достойны счастья! Поэт-партизан Денис Давыдов

1

Тринадцатого ноября 1830 года Николаем Муравьевым сделана такая дневниковая запись: «Сегодня ровно три года, как я возвратился из Тавриза в Тифлис, и сколь различно состояние мое! Наслаждение настоящего, предположения в будущем все содействовало меня счастливейшим из смертных. Три года я наслаждался счастьем своим. Бог даровал мне жену по сердцу и желанию моему. Я имел детей, ныне же одинок. Сын похоронен в Грузии, жена с другим ребенком в России, старшую дочь везу в Петербург, чтобы отдать ее родственникам и еще в течение жизни моей сделать ее сиротой. Боже, боже мой! Не оставь меня в дни скорби моей! Три года назад, в день сегодняшней, я обнял жену свою, которую ныне обнимаю только в страшных сновидениях. Она приняла меня тогда в кругу семейном; ныне никто не примет меня, и я не имею более семейства. Мы жили в приятном месте, в стране прелестной, под ясным небом. Ныне я в обширной пустыне, между людьми чужими, занятыми собственными заботами или расстройством семейными, поразившими отечество мое. Я одинок в дикой, свирепой стране сей!»

Как же это вдруг все получилось?

Никаких дневниковых записей ни в этом, ни в двух следующих годах он более не делал. Пораженный ужасным несчастьем, впервые изменил многолетней привычке. Но сохранились отысканные нами письма к нему разных лиц, позволяющие восстановить происшествия этого времени.

В Осташеве, куда он приехал с женой и дочкой, отец принял их с распростертыми объятиями. Соню старик полюбил как родную дочь, а во внучке души не чаял. С трогательной нежностью относился к ним и живший с отцом младший брат Андрей, чудаковатый увалень, поэт и мистик, возвратившийся недавно из путешествия в Иерусалим.

Соня, которая опять была в положении, чувствовала себя в Осташеве прекрасно. Да и служебные дела как будто улаживались. Дибичу удалось все-таки отстоять Николая Николаевича, добиться перевода его в свою армию. Сообщив об этом, Дибич предложил Муравьеву выехать в Петербург для получения нового назначения, и Николай Николаевич, хорошо отдохнув летом под родительским кровом, простился с семейством и отправился в столицу.

Был конец сентября. Неприятливо встретил Муравьева город, где прошли его юные годы. Дули пронизывающие насквозь северные ветры, моросили холодные дожди, толпы незнакомых людей с озабоченными лицами и невеселыми глазами куда-то спешили и жались сердито к подъездам, когда по улицам, разбрызгивая грязь, проносились модные коляски и

кареты с позолоченными гербами.

Фельдмаршал Дибич предложил Муравьеву взять под команду гренадерскую бригаду. Боевому, опытному генералу, награжденному за одну кампанию двумя офицерскими Георгиевскими крестами – случай небывалый, – могли бы дать и дивизию, но, зная о недоброжелательстве императора Николая, надеяться на лучшее не приходилось. Муравьев поблагодарил, согласился. И собирался ехать в Литву, где бригада была расквартирована. Но разве мог он покинуть столицу, не побывав в родственных семействах, пострадавших от событий 14 декабря?

Прежде всех навестил он, конечно, Екатерину Федоровну Муравьеву. Она очень ему обрадовалась.

– А я слышала от кого-то о вашем приезде и ждала вас, добрый мой Николенька, – говорила она, обнимая его. – Ведь теперь многие приятели милых моих Никиты и Сашеньки боятся даже зайти ко мне, ну а в неизменности ваших чувств я всегда была уверена...

Тяжелые испытания – ссылка на каторгу двух сыновей – неизменно изменили, сморщили и сгорбили недавно еще такую моложавую и жизнерадостную женщину, но не сломили душевной ее стойкости. Пользуясь связями в обществе и даже в дворцовых кругах, Екатерина Федоровна неумоимо делала все, что было в ее силах, для того чтобы облегчить участь сыновей и их товарищей. Ей удалось наладить пересылку писем и посылок, добиться снятия кандалов и некоторого ослабления в тюремном режиме. Но все же положение узников оставалось ужасным. Екатерина Федоровна, заливаясь слезами, жаловалась:

– Недавно Никиту и Сашу и всех их товарищей перевели из Читы в Петровский завод. Я добилась приема у императора, и он заверил меня, что там условия их жизни будут несравненно лучшими, и я так надеялась на это. Но Александрина сообщила, что тюрьма в Петровском стоит на болоте и стены сырые, от печек угар, а окон в казематах нет и проветривать нельзя... Их просто хотят уморить!

– Зачем же так мрачно смотреть в будущее, *ma tante*, – попробовал ободрить ее Муравьев. – Я слышал, напротив, будто готовится какая-то частичная амнистия...

– Ах, не успокаивайте меня, Николенька! – воскликнула Екатерина Федоровна. – Я добилась приема у вдовствующей государыни-матери, и она ко мне хорошо расположена, даже прослезилась, когда я рассказала ей о страданиях наших, но и она призналась, что вряд ли чем сможет помочь мне... Николай Павлович упрям и чужд сострадания, это человек без сердца, – добавила она по-французски.

Муравьев тяжело вздохнул. Что тут можно возразить! И Екатерина Федоровна перевела разговор на другое:

– Я благодарю бога, что он послал милому Никите такую любящую и преданную жену, как Александрина. Она и Нонушка, которая у них там два года назад родилась, его отрада и счастье. Не представляю, как бы Никита обходился без них!

– Захар Чернышов рассказывал мне на Кавказе о необычайной самоотверженности и безграничной любви своей сестры к Никите, – вспомнил Муравьев. – Кто-то из узников однажды в шутку спросил у Александры Григорьевны, кого она больше любит: бога или своего мужа? «Я надеюсь, – ответила она, – бог не взыщет за то, что Никитушку я люблю больше...»

– Оно так и есть, – подтвердила Екатерина Федоровна. – Когда Никиту арестовали, он упал перед ней на колени и просил простить, что скрыл свое участие в тайном обществе. Александрина бросилась к нему на шею и тут же, не раздумывая, заявила, что последует за

ним хоть на край света и разделит судьбу его...

Екатерина Федоровна остановилась, вытерла невольно набежавшие на глаза слезы, потом продолжила:

– Александрина и другие жены несчастных, следовавшие за ними в Сибирь, это святые подвижницы. Их почитают таковыми во всех слоях общества. А государю угодно, чтоб с ними обращались там, как с каторжанками, и не позволяли жить в человеческих условиях... Нет, это подло, подло, подло!

Муравьев пробыл у Екатерины Федоровны весь день, а на следующий посетил другого родственника – сенатора Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Этот визит был еще более грустным.

Страшная участь трех сыновей словно тяжелым камнем придавила старика. Узнать его было трудно. Он сидел у камина в халате и теплых домашних туфлях. Освещенное красным дрожащим пламенем высохшее лицо его с глубоко запавшими глазами и всклокоченными седыми волосами оставляло жуткое впечатление. Он неподвижно смотрел на огонь и что-то бормотал. Когда находившаяся с ним дочь назвала вошедшего в комнату Николая Николаевича, старик медленно повернул голову, молча протянул ему руку, тихим, усталым голосом осведомился о здоровье отца и семейства. И вдруг, несколько оживившись, произнес:

– Вот, послушай... Это я злегию написал... о себе, и об них, сынах моих...

Три юные лавра когда я садил,

Три радуги светлых надежд мне сияли.

Я в будущем счастлив судьбою их был...

И лавры мои разрослись, расцветали...

Была в них и свежесть, была и краса,

Верхи их, сплетаясь, неслись в небеса.

Никто не чинил им ни в чем укоризны,

Могучи корнями и силой полны,

Им только и быть бы утехой отчизны,

Любовью и славой родимой страны!..

Но горе мне!.. Грянул сам Зевс стрелометный

И огонь свой палящий на сад мой послал,

И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,

Низвергнул, разрушил, спалил и попрапал...

И те, кем могла бы родная обитель

Гордиться... повержены, мертвы, во прах;

А грустный тех лавров молодых насадитель

Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..

И не в силах более сдерживаться, обхватив лицо исхудалыми руками, старик затрясся в глухих, беззвучных рыданиях.

Муравьев возвратился к себе на квартиру с тяжелым чувством. Сколько всюду горя, сколько безмерных страданий, сколько семейных расстройств, вызванных жестокосердием и злобной мстительностью императора.

И тут Муравьев невольно подумал о том, как милостиво обошлась судьба с ним, укрыв его за Кавказскими хребтами от оловянных глаз самодержца, и напрасно иной раз ропщет он на судьбу за жизненные невзгоды и уколы самолюбию, ибо все могло сложиться для него значительно хуже, и об этом ему забывать не следует.

А на следующий день неожиданно получил он письмо от брата Андрея, извещавшего о неприятном случае с Соней: «Она со мной говорила весело до тех пор, пока имела неосторожность поднять Наташу и нести ее в комнату. Это открыло у нее кровотечение, она потребовала доктора. Тотчас за ним послали, доктор Зембицкий – опытный акушер – приехал ночью и будет жить у нас до самых родов, кроме домашнего доктора Феля. Я дождусь родов ее и тотчас поеду в Петербург с радостным для тебя известием. Соня теперь только слаба, и ей велено лежать в постели до родов, впрочем очень весела и все пришло в порядок».

Муравьева известие это сильно обеспокоило, и он решил поездку в Литву отложить и, выхлопотав отпуск, возвратиться в Осташево. Но было уже поздно, поздно...

Вот она, пожелтевшая от времени, с расплывшимися от слез чернильными кляксами, записка отца, перевернувшая в одно мгновение всю его жизнь: «Не знаю, как сообщить о постигшей горести... Нашей Сонюшки уже нет на свете...»

И приписка Андрея: «Батюшку слишком расстроило письмо, и я не дал ему кончить... Ни слова не скажу тебе в утешение, милый брат, потому что в подобных случаях нет утешения, слова покажутся холодными, и брат не может рассуждать о потере жены. Писать тебе больно и не хочу больше, скажу еще только, что Наташа здорова».

Соню и родившегося ребенка, прожившего несколько часов, похоронили в Осиповом монастыре, недалеко от Осташева. Наташу Муравьев отвез в Петербург и отдал на воспитание в семью двоюродного брата Мордвинова. А сам в конце ноября выехал в свою бригаду, получившую вскоре приказ выступить к границам царства Польского, где начиналось восстание.

... Каково было отношение Муравьева к польскому восстанию? Ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно. Муравьев буквально ни одним словом не обмолвился о том, не оставил никаких записей.

Главнокомандующим действующей против поляков армии являлся Дибич, но весной 1831 года он скончался от холеры, и на его место назначен был Паскевич. Судя по диспозициям и официальным реляциям обоим главнокомандующим, бригада Муравьева принимала участие в боевых действиях и во взятии Варшавы, но, выполняя приказы, сам Муравьев никакой инициативы не проявлял, ничем не отличился, никаких наградений за всю польскую кампанию не получил, хотя все ее участники за малейшие заслуги награждались с исключительной щедростью[43].

После окончания военных действий Паскевич, говоря с императором о Муравьеве, сделал такой нелестный отзыв:

– Я вам говорил, государь, что это педант, неспособный чем-либо управлять!

Может быть, этот отзыв подсказан старой неприязнью Паскевича к Муравьеву, но вернее другое. Паскевич знал Муравьева на Кавказе как смелого, находчивого, предприимчивого генерала, на педанта во всяком случае он не походил, а в Польше Паскевич увидел лишь обычного служаку, не проявлявшего никакого особого рвения, исполнителя предначертаний высшего начальства.

Чем же была вызвана столь необычная для Муравьева пассивность в военных действиях? Думается, не только подавленным состоянием, в котором находился он после смерти жены, но и тем, что ему трудно было разобраться в сложных причинах и противоречивых обстоятельствах польского восстания. Шляхта не думала о свободе польского народа, об уничтожении феодального гнета и революционных преобразованиях, она стремилась к разрыву с Россией, чтоб усилить свои права и привилегии, честолюбиво мечтая о расширении польских границ за счет украинских и белорусских земель. А европейские политиканы, воспользовавшись случаем, призывали свои правительства к крестовому походу на Россию под предлогом помощи восставшему польскому народу.

Свойственные Муравьеву, как и другим дворянским революционерам, сословные предрассудки и противоречия не позволяли, конечно, сделать верной оценки польскому восстанию. Однако, судя по некоторым его записям, произведенным три-четыре года спустя, в его отношении к польским мятежникам можно различить и нотки известного сочувствия. Так, в 1834 году он по поручению брата Александра ходатайствует об улучшении жизни сосланного в Сибирь участника польского восстания некоего графа Мошинского и добивается в конце концов перевода его на жительство из Сибири в Чернигов. Между тем жена Мошинского во время ссылки мужа вышла замуж за гусарского ротмистра Юрьевича и явилась к Муравьеву за каким-то советом. «Мне противно было видеть женщину, столь нагло поступившую с мужем своим, – с негодованием отмечает в «Записках» Муравьев. – Наши русские жены иначе поступали в бедственный год изгнания мужей их: они последовали за ними и, разделив участь их, сделались и жертвами преданности своим мужьям. Иное было поведение полек: ни одна не последовала за мужем своим; иные за других замуж вышли, а все почти ограничили действия свои одним ношением траура, который долее носили те, коим он к лицу шел».

С явным презрением относится Муравьев к такому поляку, как граф Ржеуцкий, который «служил в последнюю войну против соотчичей своих и делал сие с наглостью, служа более лазутчиком, чем военным человеком, и продавая, может быть, обе стороны».

Муравьев сторонился общества богатой и знатной шляхты, не имеющей никаких прочных убеждений, готовой служить кому угодно. Зато, когда в находившиеся под его командой войска присланы были рядовые польские повстанцы, он заботится о том, чтоб они «никем не были обижены», и приехавшему на смотр императору рапортует, что «люди сии вели себя примерно».

Есть основание полагать, что Муравьев, подробно описавший все войны, в которых он участвовал, не оставил никаких записок о польском восстании из осторожности, не желая высказывать того, что вновь грозило потерей службы.

В 1832 году правитель Египта умный и смелый Муххамед-Али-паша восстал против своего повелителя турецкого султана Махмуда. Укрепив с помощью французских инструкторов армию и флот, Муххамед-Али начал военные действия. Египетские войска под начальством его сына Ибрагима быстро овладели Сирией и, разбив наголову турок под Гомсом, стали продвигаться в Анатолию. А египетский флот блокировал турецкую эскадру адмирала Галиль-паши в заливе Мармарице. Султан Махмуд оказался в очень тяжелом положении.

Русские дипломаты смотрели на эти события с большой тревогой. Для России выгодно было иметь слабосильного соседа. А возможное свержение султана Махмуда с трона, создание вместо расстроенного турецкого государства мощной Оттоманской империи, к чему, видимо, стремился дальновидный египетский паша, угрожало русским интересам. Император Николай к тому же видел в египетском паше зараженного «возмутительным духом» бунтовщика, в действиях его – злодейский умысел против законного государя.

В середине октября император созвал в своем кабинете наиболее близких лиц, чтобы обсудить создавшееся положение. Вице-канцлер Нессельроде, военный министр Чернышов, граф Бенкендорф и граф Орлов согласно высказали мнение о необходимости решительных мер для того, чтобы остановить продвижение египетских войск и оказать помощь султану Махмуду. Но каким образом это осуществить? Послать в Турцию вспомогательные войска? А согласится ли недоверчивый султан Махмуд принять эту дружескую помощь, не заподозрит ли в ней неблаговидных и тайных целей? Да и осуществление такой экспедиции потребовало бы и времени и больших средств.

Старый, осторожный вице-канцлер предложил:

– А не благоразумнее ли будет для предприятия нашего посылка в Константинополь доверенного лица, коему было бы вменено в обязанности уверить султана в дружестве нашем, а затем ехать в Египет и постараться склонить пашу отказаться от преступных намерений его...

– Превосходная мысль, я сам думал об этом, – кивнул головой император. – Однако же я опасуюсь, Карл Васильевич, что наше дипломатическое вмешательство в восточные дела может вызвать сильнейшее раздражение и противодействие замыслам нашим со стороны Англии и Франции.

– Мне кажется, государь, нам не следует производить дипломатического вмешательства, – ответил вице-канцлер, – а секретную миссию сию возложить на лицо, к дипломатическому корпусу не причастное...

– Не представляю, – заметил Бенкендорф, – как наиважнейшее сие поручение, требующее сугубой осторожности, совершенного знания восточных дел и тончайшей дипломатической изворотливости, может быть исполнено не дипломатом?

– Почему же вы, Александр Христофорович, так полагаете? – возразил Чернышов. – Вот граф Алексей Федорович Орлов... Разве мы не видели блистательных успехов в его сношениях с другими иностранными дворами?

Орлов насторожился. Он знал, как ненавидит его Чернышов, и если вздумал похвально отозваться о нем, значит, следует ожидать подвоха. Ну да, ясно! Желает, чтобы на него, Орлова, было возложено столь трудное и сомнительное в успехе поручение! Попробуй-ка убедить султана в русском дружелюбии, а мятежного египетского пашу в необходимости прекратить победоносные военные действия!

А подсказка Чернышова, как он на то и рассчитывал, императору понравилась.

– А что бы ты сказал, Алексей Федорович, – обратился он к Орлову, – если б я предложил

тебе взяться за это дело?

– Вы знаете, государь, я всегда готов исполнить волю вашу, – спокойно проговорил Орлов, – но для сего посольства требуется, как справедливо указал Александр Христофорович, совершенное знание восточных дел и, я бы добавил, знание восточных обычаев и турецкого языка... Смогу ли я, государь, без знаний сих действовать успешно?

– А кого же ты считаешь более сведущим в восточных делах и способным с должным усердием исполнить столь важное поручение? – спросил император. – У тебя имеется кто-то на примете?

– Имеется, государь.

– Кто же?

– Генерал Муравьев.

Ответ вызвал общее удивление. На высоком покатом лбу императора собрались морщинки.

– Ты имеешь в виду того Муравьева, который был на Кавказе?

– Того самого, ваше величество, Николая Николаевича.

– Но тебе известно, полагаю, что он был удален из Кавказского корпуса за покровительство разжалованным и что Паскевич недавно корил его за бездеятельность в польской кампании?

– Я не оправдываю Муравьева, государь. Я говорю лишь о его глубоких знаниях и здравом понимании наших восточных интересов. В этом я убедился при случайной встрече с ним, он находится здесь в отпуску. И он знает не только турецкий язык, он говорит на персидском и арабском.

Тут неожиданно вмешался в разговор вице-канцлер:

– Муравьеву нельзя также отказать и в дипломатических способностях, ваше величество. Я припоминаю, как при покойном государе он совершил путешествие в Хиву, убедив своевольного хана завязать с нами сношения...

Император слушал молча и привычно барабанил пальцами по столу, что делал всегда, когда над чем-то раздумывал.

– Стало быть, ты, Карл Васильевич, полагаешь, что Муравьеву можно доверить исполнение нашего поручения?

– Полагаю, государь.

– Ну а ты какого мнения на сей счет, Александр Христофорович? – повернулся царь к Бенкендорфу.

– Если генерал Муравьев одарен такими талантами, о коих здесь говорят, то почему же его и не употребить для службы полезной?

– Хорошо, соглашусь с тобой, – промолвил царь. – А тебя, Карл Васильевич, прошу свидеться с ним и обо всем предварительно переговорить...

... Муравьев, командовавший пехотной дивизией, расквартированной в Тульчине, приехал в Петербург, чтобы повидаться с родственниками и взять с собой Наташу, по которой давно болело отцовское сердце. Он уже собирался в обратный путь, когда получил уведомление задержаться в Петербурге по служебной надобности и явиться в министерство иностранных

дел. Нессельроде принял его как хорошего старого знакомого.

– Государь имеет намерение сделать вам весьма лестное и важное поручение, – объявил вице-канцлер, – и я могу поздравить вас с высочайшим благоволением и доверенностью, кои государь в сем случае вам оказывает...

– А какого рода поручение, ваше высокопревосходительство? – спросил Муравьев. – По силам ли оно мне?..

Нессельроде в общих чертах раскрыл суть дела. И Муравьев без труда догадался, чем вызвано «высочайшее благоволение» императора, в недоброжелательстве которого никогда не сомневался. Среди царских приближенных не оказалось никого, кто бы взялся за это поручение! Любимцы государя привыкли к легким успехам, а тут предстояли трудности немалые, требовалось и напряжение умственных сил, и опытность в обращении с восточными владыками, а успех, кто знает, будет ли.

Вместе с тем Муравьев не мог не согласиться с Нессельроде, что предлагаемое ему поручение имеет существенно важное значение для России, а он всегда был верным сыном ее и службу отечеству считал первейшим долгом своим. Разъедающая горечь утраты, понесенной два года назад, стала понемногу проходить, жизнь брала свое, и давний интерес к восточным странам вновь пробуждался, а случай побывать в Турции и Египте когда еще представится?

Муравьев изъявил готовность принять возлагаемую на него важную миссию.

... Император Николай в конногвардейском мундире стоял в кабинете у окна и, глядя, как мимо дворца проходит гвардейская пехота, прислушивался к глухим звукам барабана, отбивая по привычке правой рукой такт на подоконнике. День был ненастный, осенний, столица утопала в промозглом тумане. На дворцовой площади горели фонари.

Муравьев, войдя в кабинет, остановился, почтительно поклонился.

Император повернул голову, окинул его величественным взглядом.

, – А, это ты, Муравьев? Здравствуй!

Он твердым солдатским шагом подошел к нему, с напускной любезностью взял под руку, подвел к стоявшим близ камина креслам.

– Садись сюда, здесь теплей и удобней... – Они уселись, царь продолжил: – Извини, что я употребляю тебя по своим делам, когда ты приезжаешь в отпуск для своих, но что делать мне? Случилась в тебе нужда!

«А без нужды, да еще без крайней, не стал бы со мной любезничать», – подумал Муравьев. И ответил с легким полупоклоном:

– Ваше поручение, мне объявленное, столь важно, что я без колебания готов отложить все личные дела, дабы отправиться туда, куда вы меня посылаете...

– Спасибо. И ты, надеюсь, хорошо ознакомлен с тем, что тебе предстоит совершить?

– Граф Нессельроде снабдил меня подробными наставлениями.

– У тебя имеются какие-нибудь возражения или пожелания?

Составленная в министерстве иностранных дел инструкция отличалась многими противоречиями, двусмысленностями и неопределенностями. Муравьеву поручалось

совместно с русским послом в Константинополе Бутеневым уверить султана в искреннем дружелюбии императора, а затем ехать в Александрию и потребовать от египетского пашы немедленного прекращения военных действий против турок. Но при этом министерство совершенно устранялось от участия в переговорах, не давая Муравьеву никаких доверительных грамот и предлагая не принимать на себя никаких обязательств для примирения пашы с султаном. Он должен был лишь силой слов и доводов, не подкрепляя их никакими угрозами, поразить пашу, внушить ему благие намерения и заставить покориться султану.

Муравьев попробовал добиться у императора большей ясности, но из этого ничего не вышло. Император от обстоятельного ответа на острые вопросы уклонялся так же, как и вице-канцлер, и лишь «с необыкновенною силой и красноречием повторил содержание инструкции». Муравьев понял, что достижение желаемой цели представляется его собственному разумению, опытности и твердости. Дальнейший разговор был бесцелен.

– Помни же, что тебе надлежит вселить султану доверие, а паше страх, – продолжал напутствовать император. – Я не хочу посылать войска свои, я желаю, чтоб распря их кончилась без этого. Будь прост в обхождении, избегай посредничества. Ты знаешь по-турецки, это тебе много поможет...

– Я постигаю мысль вашу, государь, и постараюсь исполнить ваше приказание, – сказал Муравьев, поднимаясь вслед за императором.

Разминаясь, царь сделал несколько шагов по кабинету, потом остановился против Муравьева и, глядя ему в глаза, словно стараясь отгадать его мысли, произнес строгим голосом:

– Надобно защитить Константинополь от нашествия Муххамеда-Али. Вся эта война не что иное, как последствия возмутительного духа, овладевшего ныне Европою, и в особенности Францией. Беспокойные головы, распространяя влияние свое, возбудили египетскую войну. Они ныне окружают египетского пашу, наполняют флот и армию его. Надобно низвергнуть этот новый зародыш зла и беспорядка, надо показать влияние мое в делах Востока...

Муравьев стоял, не опуская глаз, слушал молча, и на застывшем лице его не отражалось ничего, кроме должной почтительности. Император сделал небольшую передышку и вдруг, нахмурясь, вспомнив что-то недоброе, зашагал по кабинету, затем остановился, потер пальцем лоб и, подойдя опять к Муравьеву, как-то рывком протянул ему руку.

– Более говорить нечего, надеюсь на тебя, отправляйся с богом, любезный Муравьев!

3

Фрегат «Штандарт», на котором находился Муравьев, вошел в Босфорский пролив вечером 9 декабря и бросил якорь в верстах пяти от Беюг-Дерэ, где была резиденция русского посла Бутенева.

Осведомленный о прибытии Муравьева, посол принял его радушно, они быстро нашли общий язык и сблизились. Бутенев, много лет проживший в Константинополе, оказался скромным, образованным, здравомыслящим человеком. Прочитав привезенные Муравьевым министерские инструкции, он не удержался от усмешки:

– Узнаю манеру осторожнейшего нашего патрона Карла Васильевича! Много требовать, ничего не давая! Но, простите за любопытство, Николай Николаевич, неужели, кроме этих

велеречивых бумаг и письма к султану, вас не снабдили иными документами?

– Были еще столь же велеречивые напутствия и пожелания высокопоставленных лиц, – произнес иронически Муравьев. – А так как никакого вида от правительства я не получил, то вытребовал себе обычный заграничный паспорт...

Бутенев покачал головой:

– Да, трудненько придется вам, Николай Николаевич... Здесь, положим, обойдется моим представлением, но как посмотрят на вас без доверительных грамот в Египте?

– Что поделаешь, – пожал плечами Муравьев, – приходится надеяться на счастливые обстоятельства и хорошее расположение духа египетского паши... А вас, Аполлинарий Петрович, я попрошу все-таки побыстрее устроить аудиенцию у султана. Мне нечего задерживаться в Константинополе.

– Я имел предварительный разговор с рейс-эффенди{18}, султан ожидает вас с нетерпением, – сказал Бутенев. – А для большей доверенности султана к вам, я полагаю, можно будет сообщить, что в случае необходимости государь готов прислать в помощь ему эскадру Черноморского флота.

– Мне об этом не говорили, – удивился Муравьев. – Вы получили уведомление на сей счет?

– Секретное предписание. Вероятно, оно сделано после вашего отъезда из Петербурга, курьер обогнал вас в пути. Эскадра будет состоять из пяти кораблей и четырех фрегатов под общей командой контр-адмирала Лазарева.

і. – Вот это хорошо! Я познакомился с Лазаревым в Севастополе, он произвел на меня превосходное впечатление. Однако ж будем стараться, чтобы распря турок с египтянами кончилась без нашего вмешательства. Вы как полагаете, Аполлинарий Петрович, имеется у нас такая возможность?

– Признаться, не думаю. Дело, видите ли, в том, что египтяне продолжают успешное наступление и есть слух, будто войска великого визиря, посланные против мятежного египетского паши, совершенно разбиты под Конией и визирь взят в плен... Если слух подтвердится, сами понимаете, как это может неблагоприятно отразиться на ваших переговорах в Александрии. Счастливые победители к мирным целям склоняются редко. Впрочем, будем надеяться, что слух неверен!

Спустя два дня Муравьев и Бутенев на гребном катере фрегата отправились в Чараган, загородный дворец султана, построенный на европейском берегу Босфора, верстах в пятнадцати от Беюг-Дерэ.

«Мы плыли около двух часов между двумя рядами садов и загородных домов, украшающих прелестные берега Босфора, – записал Муравьев. – Виды Босфора изменялись на каждом шагу. Вид самого Царьграда, огромного купола святой Софии, мечети, легких минаретов, кипарисовых рощ, многочисленных судов под флагами всех наций, бесчисленного количества каиков, или тамошних остроконечных лодок, быстро перерезывающих во всех направлениях Босфор, наконец, стаи дельфинов, играющих на поверхности вод, – все сие переносит зрителя в какой-то мир очарования, где все предметы кажутся как бы осуществлением многих снов, виденных после рассказа о чудесах и странностях отдаленных земель. Все это прелестно!»[44]

Загородный дворец султана – Чараган – ничем не отличался от загородных домов турецких сановников, разве что был несколько обширней. При входе во двор заиграла военная музыка, выстроенный почетный караул отдал честь.

Любимец султана старый сераскир Хозрев и рейс-эффенди встретили Муравьева и сопровождающих его лиц на крыльце, почтительно проводили в приемную комнату, где всем подали кофе и трубки. По невеселым и беспокойным лицами турок Муравьев догадался, что слух о поражении великого визиря, вероятно, подтвердился, и, обратившись прямо к рейс-эффенди, спросил:

– А каковы последние известия из армии, надеюсь, там все благополучно, ваше превосходительство?

Рейс-эффенди совершенно смутился, ответил заикаясь:

– Я прошу избавить меня в настоящее время от ответа... Пока ничего не известно... Я не замедлю уведомить вас, когда получим достоверные сообщения...

В поражении турецких войск Муравьев более не сомневался. И это обстоятельство, Бутенев был прав, могло несомненно осложнить без того трудные переговоры с египетским пашой.

Но что же делать?

Между тем за окном вновь послышались звуки музыки, явился паша, управлявший канцелярией султана. Его величество приглашал к себе прибывшего из Петербурга русского генерала.

Муравьев ожидал этой встречи с вполне понятным любопытством. Султан Махмуд II в мусульманском мире почитался как человек, одаренный необыкновенным умом и твердостью, как грозный повелитель правоверных. Он уничтожил свирепых янычар, заводил в стране европейские порядки. Муравьев, будучи на Кавказе, не раз слышал, с каким почтением и страхом произносили имя султана Махмуда турецкие военачальники. И что же он теперь увидел?

Комната, где находился султан, убрана была по-европейски, со вкусом, но без всякого намека на восточную пышность. Махмуд, в синем суконном плаще, с красной феской на голове, сидел неподвижно на диване, опустив ноги. Борода его была подстрижена и выкрашена. Покрытое красноватыми пятнами лицо пятидесятилетнего, быстро стареющего султана ничего примечательного не представляло. Растерянный взгляд и какая-то робость в движениях никак не свидетельствовали о человеке с твердой волей, скорей наоборот.

Муравьев остановился, как полагалось, в нескольких шагах от султана и, сделав поклон, начал подготовленную речь по-русски:

– Мой государь послал меня к вашему величеству, чтобы уверить в искренней и неизменной дружбе своей...

Переводчики стали переводить, но султан прервал их и, улыбаясь, обратился к Муравьеву:

– Говори по-турецки, говори по-турецки, ты же знаешь по-турецки!

Муравьев продолжал по-турецки. Сказал, в чем заключалось данное ему поручение, подробно объяснил необходимость предстоящих переговоров с египетским пашой, однако заметил, что султан и стоявшие близ него турецкие сановники восприняли объяснение недоверчиво, явно подозревая какие-то иные, скрытые от них цели. Удивляться этому не приходилось. Россия и Турция столько лет находились во враждебных отношениях, столько лет воевали, что поверить в дружеские чувства русского царя туркам было трудно!

Султан, переглянувшись с сераскиром, хотел что-то ответить, но покраснел, смутился и, запинаясь, выговорил лишь несколько бессвязных слов.

Муравьев твердо и отчетливо произнес:

– Позволю повторить, ваше величество, что поручение мое к Муххамеду-Али заключается в нескольких словах, они просты и кратки; я объявлю ему, что русский император – враг мятежа и друг вашего величества, и если паша станет продолжать военные действия, то он будет иметь дело с Россией...

– Муххамед-Али много виноват передо мною, – как бы оправдываясь, заговорил султан, – а теперь он предлагает мириться, требуя себе Сирию и другие мои земли...

Муравьев счел необходимым эти объяснения прервать:

– Я не уполномочен и не собираюсь вмешиваться в существующие отношения Турции с Египтом, всякое вмешательство в дела вашего величества противно воле моего государя. Я собираюсь в Египет не для переговоров с пашою, а для того единственно, чтоб утратить его и остановить военные действия...

– Но знай, что Муххамед-Али хитер, лукав, лжив! – воскликнул султан. – Он будет жаловаться и склонять тебя на свою сторону!

– Меня уже предостерегли от этого, – сказал Муравьев. – Старания Муххамеда-Али будут напрасны. Я человек военный, а не дипломат. Я не буду распространяться в переговорах и не опасюсь никаких козней и коварства.

Аудиенция закончилась без видимого успеха. Препятствий для поездки в Александрию не было, но и доверия к дружеским чувствам русского императора внушить султану не удалось.

Потребовалось еще несколько дней, чтобы султан убедился в искренности русских и мнительность турецких сановников исчезла. Этому способствовали создавшиеся обстоятельства. В Константинополе всюду открыто говорили о поражении турецких войск, и рейс-эффенди вынужден был признать это. Положение создавалось угрожающее. Босфор и столица были почти беззащитны. Тогда Муравьев и Бутенев известили султана, что, если он сочтет нужным, русский флот готов оказать необходимую ему помощь. Одновременно в иностранных газетах появились сделанные в Петербурге сообщения о целях миссии генерала Муравьева и о том, что русский император стоит на стороне султана. Турки стали необыкновенно дружелюбными. А Муравьев думал о том, как странно меняются времена. Совсем недавно как будто штурмовал он Карс и Ахалцих, и турки яростно, с пылающей ненавистью в глазах кидались на русских солдат, а ныне все надежды султан возлагает на Россию, и он, Муравьев, призван заниматься тем, чтобы поддержать его на колеблющемся троне!

23 декабря фрегат «Штандарт», провожаемый салютами турецких орудий, при свежем попутном ветре отплыл в Египет.

Миновав Дарданелльские укрепления, защищавшие пролив, корабль на следующий день проследовал мимо острова Тенедоса и знаменитой Трояды. Муравьев с интересом смотрел в подзорную трубу на холмы, где, по преданию, находились гробницы Ахиллеса, Патрокла и Аякса. А потом во всей красоте открылась Аттика, показались великолепные мраморные колонны знаменитого некогда храма Минервы на мысе Суниум. Муравьев, знавший хорошо историю древней Греции, с благоговейным вниманием глядел на развалины храма, и мнилось ему, что вот-вот покажется из-за колонн философ Платон в белоснежном хитоне и сандалиях, окруженный верными учениками, с которыми занимался он некогда у подножия этого храма.

Вскоре фрегат бросил якорь в бухте острова Порос, близ которого стояла русская эскадра под начальством вице-адмирала Рикорда. Муравьев, которого Рикорд пригласил к себе на

обед, не упустил случая осмотреть греческий остров. «Нам открылся городок, построенный уступами на юго-западной покатости горы, составляющей весь остров. День был ясный. Вид городка, не заключающего, впрочем, порядочных строений, очень красив. Мимо нас быстро проносились лодки, верхом нагруженные апельсинами. Прелестная роща апельсиновых деревьев золотилась на берегу, везде видны сады. В глубине рейда стояла эскадра, а против нее на берегу виднелись строения, нами воздвигнутые для адмиралтейских работ и разных складов. Рикорд показывал мне вдали местоположение древней Трезены. Говорили, что с высот Пороса видны бывают в ясный день берега Аттики и место, занимаемое Афинами. Мы съехали на берег и прогуливались несколько времени в саду, довольно запущенном, в коем новый владелец украсил аллею двумя рядами древних мраморных колонн. День был очень теплый, и, невзирая на позднее время года, все цвело и зеленело в очаровательной стране, воспетой Байроном».

Плавание продолжалось еще несколько дней. В Александрийский порт фрегат «Штандарт» вошел 1 января 1833 года.

4

Египетский паша Муххамед-Али из сообщений иностранных газет знал, зачем едет в Александрию генерал Муравьев, но, как и турки, подозревал, что газетные известия лишь маскируют другие, подлинные, скрытые цели.

Узнав о прибытии Муравьева, паша тотчас же послал к нему преданных своих друзей – итальянского консула Розетти и англичанина Прессика, капитана египетского линейного корабля, поручив им разведать о тайных замыслах русского правительства. Муравьев, хотя и не считал себя дипломатом, однако, приняв неожиданных визитеров, провел беседу с ними так тонко, что они своего любопытства никак не удовлетворили, зато сам Муравьев выведал столько всяких интересных, нужных подробностей о состоянии египетских дел, что на лучшую информацию не мог и рассчитывать.

Он, в частности, убедился, что император Николай не имел истинного представления о подлинных причинах возникшего мятежа. А они являлись следствием глубоко продуманных закулисных действий английского и французского правительств, направленных к тому, чтобы возвести на турецкий трон вместо слабовольного султана сильного и вполне послушного им правителя, каким был честолюбивый Муххамед-Али. Англичане и французы помогли своему ставленнику перевооружить войска, участвовали в военных действиях паши против султана. А когда пришло известие о победе египетских войск, английский и французский консулы в Александрии устроили торжественный молебен, всячески превознося Муххамеда-Али, называя его вторым Александром Македонским, и не жалели средств, чтобы раздуть всюду его победы. Муравьев, узнав об этих происках иностранных держав, решил как можно скорей принудить Муххамеда-Али к повиновению султану.

Прием во дворце у паши состоялся на следующий день. Сопровождаемый адъютантами и переводчиками, а также несколькими иностранцами и приближенными паши, Муравьев в парадном мундире и при всех регалиях вошел в большую, светлую, просто убранную комнату, окна которой обращены были к пристани. Муххамед-Али с чалмой на голове и при сабле сидел на софе, поджав по-турецки ноги. Увидев Муравьева, паша поднялся, сделал несколько шагов навстречу, обменялся с гостем восточными приветствиями и усадил на софе рядом с собой. Муххамед-Али был небольшого роста, стар и лукав. Говорил он быстро и, может быть, не без умысла несвязными фразами, прерывая речь сухим, судорожным кашлем. Темные маленькие глазки сверкали из-под нависших бровей.

После первых обычных любезностей, трубок и кофе паша дал знак всем бывшим в комнате удалиться, и когда остались они наедине, Муравьев сказал:

– Русский император, желая сохранения мира на Востоке и прекращения кровопролития, послал меня к вам, чтоб объявить об этом. Государь выражает уверенность, что вы незамедлительно приступите к примирению с султаном.

– Я давно хочу мира. – ответил паша, – но все мои предложения султан неизменно отвергает...

– Я не судья в делах ваших, – перебил пашу Муравьев. – Ищите сами способа для мира. Я же буду надеяться, что желание моего государя исполнится.

– Хорошо. Сообщите мне письменно ваше предложение, – с притворным равнодушием произнес паша, – я подумаю и дам вам в ближайшие дни письменный ответ...

Подобный оборот в разговоре министерскими инструкциями не предусматривался, однако Муравьев сообразил, с какими неблагоприятными целями паша домогается письменного предложения – ведь оно могло служить явным доказательством русского вмешательства, – и, взглянув на лукавого старика, подумал: «Эка bestия продувная!» А сказал спокойно, с подобающей учтивостью:

– Не могу сего исполнить, ваше превосходительство, ибо государь просил, чтобы я сообщил вам о его желании устно...

На лице паши отразилось мгновенное неудовольствие, он захлебнулся в судорожном кашле, потом разговор продолжил:

– Я от подданства султану не отказывался, меня оклеветали в газетах, я покажу вам переписку с султаном, из коей вы можете об этом заключить...

– Повторяю, что я не собираюсь разбирать ваших дел, – продолжил Муравьев, – явите доказательство искренности вашей прекращением военных действий...

– Я понимаю вас, – кивнул головой паша. – Дайте время мне подумать. Поговорим о посторонних предметах.

И тут же, не сдержав кипевшего против султана раздражения, стал обвинять его в нарушении прежних договоров и в притеснении жителей.

– Вы разве не слышали, что сербы снова восстали против тиранического правления султана? – заметил язвительно паша. – Да и другие славянские народы, коим всегда вы, русские, покровительствовали, продолжают находиться в жестоком турецком угнетении... Странно, что ваше отношение к султану стало вдруг столь великодушным!

В словах умного и хитрого паши на этот раз было много справедливого, и спорить с ним было рискованно. Муравьев поднялся и, сославшись на дорожную усталость, поспешил откланяться.

Два следующих дня, ожидая обещанного пашой ответа, Муравьев посвятил осмотру Александрии. И как обычно, интересовался не только достопримечательностями и архитектурой древнего города, но и жизнью простого народа. «Я видел в Александрии несколько коптов, – записал он в дневнике, – которых называют потомками древних коренных жителей Египта. Их ныне очень мало. Народ сей тих, промыслен и, как все порабощенные издревле народы, не имеет понятия о каком-либо отечестве... Изображаемые обычно на видах Египта женщины, несущие на главах кувшины с водой и напоминающие нам изящные изображения художников древней Греции, представляются в действительности совсем

иными. Очарование исчезает, открываешь изнуренные лица покрытых рубищем рабынь... Мне случилось также видеть батальон египетской пехоты, высыпающей к ужину из каких-то полуразрушенных подземных казарм. Тощие и оборванные африканцы толпились около чаш со скудной пищей, поставленных на улице, но они казались бодры и веселы, как бы забыв родину и ужившись в неволе. К чему отнести радость их, как не к чувству утоляемого голода – единственному наслаждению, им еще представленному?»

Да, не таким-то уж райским местом был сказочный пышный Восток, если рассматривать его не с казовой стороны, как это делают иные путешественники!

А Муххамед-Али, заключив из разговора с Муравьевым, что миссия его ограничена одними словесными пожеланиями русского императора, решил всячески ответ свой оттягивать. Сын Ибрагим тем временем успеет подойти поближе к турецкой столице, и тогда султан станет более сговорчивым.

Но Муравьев разгадал эту хитрость. С помощью Розетти, вновь явившегося к нему с изъявлением услуг, Муравьев добился второй аудиенции у паши, и заявил решительно:

– Я не могу дольше ожидать вашего ответа. Черноморский флот, коему дано предписание оказать в случае необходимости помощь султану, готов к отплытию. Задержка вашего ответа может быть истолкована как намерение продолжать военные действия, а мой государь, я вам об этом уже говорил, не может оставаться к этому безучастным, воля его непоколебима.

Муххамед-Али догадался, что хитрость его разгадана, и не смог скрыть охватившей его тревоги:

– Что вы хотите, генерал? Я никогда не думал свергать султана! Я могу это доказать!

– Нужно доказать делами вашу искренность, паша, и прежде всего прекращением военных действий...

Паша явно колебался, попробовал перевести разговор на другую тему, но Муравьев сурово оборвал:

– Я ожидаю вашего ответа, паша...

Муххамед-Али схватил дрожащими руками звонок, лежавший на столике. Явился секретарь, молодой египтянин, с красной феской на голове и в синем чекмене с небольшим бриллиантовым якорем на груди. Паша приказал кратко:

– Напиши сыну Ибрагиму приказ о немедленном прекращении военных действий...

Секретарь поклонился, вышел. Паша в сильном волнении, держа саблю обеими руками за спиной, прошелся по комнате, потом обратился к Муравьеву:

– Я прошу только двадцати дней срока, чтобы приказ достиг всех отдельных частей моих войск. Лишь после этого срока я могу принять на себя ответственность за войска...

– Сообщите об этом сами султану, – сказал Муравьев. – Для меня важнее всего, что вы приступили к прекращению кровопролития.

– Я пошлю на днях султану доверенное лицо с изъявлением своей покорности, – добавил паша. – Уверяю, что мы с ним помиримся!

– Если так, то я буду считать поручение мое к вам оконченным и доложу государю о доброй вашей воле, с которой исполняется его желание. Могу ли я сделать это?

– Можете, можете, – подтвердил паша. – Мое слово свято, как и моя вера!

Полного доверия к паше Муравьев не питал и поэтому задержался еще некоторое время в Александрии, чтобы проверить, как выполняется обещание паша. И убедился, что приказ был отправлен в тот же день через Сирию, и, получив его, Ибрагим приостановил военные действия.

Следовательно, Муравьев мог считать трудную миссию свою исполненной успешно. «Хитрая изворотливость в речах Муххамеда-Али свидетельствовала, – записал он, – сколько ему было неприятно и тяжело покориться. Но, невзирая на то, дело было совершено, военные действия прекращены и он несколько раз клятвенно обещал замирился с султаном. Если бы он по непостоянству или каким-либо причинам отменил повеление, данное сыну, то уже временный перелом в делах имел свою пользу, ибо от того ослабевал победоносный порыв его войск, а Турция выигрывала время для собрания новых сил. Возобновление военных действий обнаружило бы вероломство паша перед всем светом».

В конце января Муравьев возвратился в Константинополь.

5

Султан и окружающие его сановники хотя и не сомневались более в дружелюбных намерениях русских, но на успешные переговоры Муравьева с египетским пашой возлагали мало надежды. Турецкие войска были разбиты, Ибрагим-паша продолжал двигаться к столице, не встречая сопротивления, и вот-вот на азиатском берегу Босфора могла показаться кавалерия бедуинов. А тайные агенты иностранных держав, опасавшихся возраставшего влияния России на дела Востока, усиленно распространяли всякие ложные сведения, создавая в турецкой столице панические настроения.

Султан растерялся. Не дождавшись возвращения Муравьева, он отправил в Александрию своего представителя, приказав во что бы то ни стало добиться мира с египетским пашой, уступить его требованиям. И в то же время султан объявил Бутеневу, что отдается под покровительство России и просит прислать обещанный флот и сухопутные десантные войска для защиты Константинополя.

Сообщение Муравьева об успешных переговорах в Александрии и подтвердившееся вслед за тем известие о прекращении наступательных действий египетских войск обрадовали и успокоили султана. Приняв Муравьева и поблагодарив его, султан изъявил желание, чтобы он оставался в Константинополе до совершенного окончания египетских дел.

Довольны были Муравьевым как будто и в Петербурге. «Остановлением армии Ибрагима-паша ознаменовали вы полный успех вверенного вам посольства, – писал ему Алексей Орлов, – отличные дарования ваши снискали доверенность государя, назначающего вас командовать десантными войсками».

Зато иностранные резиденты в Константинополе встревожились чрезвычайно:

– Непостижимо, как генералу Муравьеву удалось столь быстро переубедить пашу! – удивлялся французский консул в Александрии господин Мимо.

Прекращение военных действий и особенно обращение султана за военной поддержкой к России вывели из себя французского посла Руссена. Он явился к султану и иотребовал, чтобы тот отказался от русской помощи, угрожая в противном случае вызвать французскую

эскадру в помощь египетскому паше и возбудить его к новому наступлению. Султан опять заколебался и стал просить Бутенева, чтобы русская эскадра остановилась в Сизополе. Но было поздно. Военные корабли под начальством контр-адмирала Михаила Петровича Лазарева вошли в Босфор, а вскоре на азиатском его берегу, в долине Ункиар-Искелеси, близ летней резиденции султана, высадился десяти тысячный отряд сухопутных русских войск, поступивших под начальство Муравьева. При этом император Николай через посла Бутенева объявил, что эскадра и войска, посланные на помощь султану по его настоятельной просьбе, останутся в Босфоре до тех пор, пока Ибрагим не очистит Малой Азии, не уйдет обратно за Тавр и пока египетский паша не удовлетворит всем требованиям Порты...

Английским и французским дипломатам не оставалось ничего, как стараться поскорей примирить султана с пашой и устранить тем самым предлог для пребывания русских вооруженных сил в Константинополе.

А тем временем императору Николаю донесли, какую огромную популярность в петербургском обществе приобретает имя генерала Муравьева. Это было естественно. «Взоры всех устремлены на Константинополь, на Босфор и на успехи вашего предприятия», – писал военный министр Муравьеву. В европейских и отечественных газетах чуть не каждый день склонялось имя молодого генерала, заставившего смириться воинственного египетского пашу, и все отдавали должное его твердости, самообладанию и дипломатическому умению.

Император Николай не мог не признать того, что признавали все. Муравьев был произведен в геперал-лейтенанты, назначен командующим десантными сухопутными войсками. Но император не забывал, что Муравьев – близкий родственник бунтовщиков, подготовлявших свержение самодержавия, несомненно находившийся в связи с ними, продолжавший покровительствовать разжалованным своим друзьям на Кавказе. Следует ли оставлять ему нераздельную славу за успешное исполнение нужнейшего государственного дела? Не возникнут ли нежелательные толки и невольное сочувствие мятежным родственникам его, отбывающим каторжные работы и ссылку?

Император вызвал своего любимца Алексея Федоровича Орлова.

– Муравьев доносит из Константинополя, что хотя Муххамед-Али и прекратил военные действия, однако вполне полагаться на пашу нельзя. Я и сам так думаю. Возможно, еще придется пустить в ход наши пушки и штыки. А если все обойдется благополучно, то, прежде чем наши войска покинут турецкую столицу, следовало бы укрепить особым договором дружественные отношения наши с султаном. Ты меня понимаешь?

– Превосходно понимаю, государь. Бескорыстная помощь султану заслуживает того, чтобы впредь мы не опасались никаких нападений иностранных военных кораблей на черноморские наши берега.

– Ну, я вижу, тебе никакие инструкции не нужны, – улыбнулся император. – Поезжай в Константинополь. И не вздумай на этот раз отказываться. Я назначаю тебя полномочным посланником в Турцию и главнокомандующим всеми находящимися там сухопутными и морскими силами.

В конце апреля сераскир Хозрев навестил Муравьева и сообщил, что султан заключил с Муххамедом-Али договор, по которому паша признавал свою зависимость от султана, а тот уступал ему управление Сирией.

Миссия Муравьева, таким образом, была завершена. Коварные замыслы иностранных держав разрушены. Десантные российские войска и флот могли собираться в обратный путь.

И вдруг, как раз в то время, как сераскир находился у Муравьева, раздались орудийные выстрелы. Суда Черноморской эскадры, стоявшие на рейде в Босфоре, окутались пороховым

дымом. Сераскир, испуганный внезапной пальбой, вскочил с дивана.

– Что это такое, генерал, как вы думаете?

Муравьев поглядел в окно на корабли, пожал плечами.

– Похоже на то, что эскадра кому-то салютует, но не могу понять – кому?

Явившийся вскоре мичман, посланный контр-адмиралом Лазаревым, пояснил:

– Салют был, дан в честь прибывшего на корвете графа Орлова. Он остановился у его превосходительства господина Бутенева.

Причина нечаянного прибытия Орлова никому не была известна. Муравьев, проводив сераскира, поспешил к Бутеневу. Алексей Федорович Орлов, сияющий и надушенный, встретил его как старого приятеля, поблагодарил от имени императора за успешные переговоры с пашой, рассыпался в комплиментах.

Муравьева эти любезности не обманули. Возвратившись домой, он записал в дневник: «Случилось то, что я предвидел, что из Петербурга прибудет лицо, которое захочет взять себе славу сию, когда уже миновала вся опасность... Я останусь при одной ответственности и занятиях самых трудных в отряде, тогда как слава и честь поручения сего достанется графу Орлову. Итак, все труды мои пропадут, и другой воспользуется оными».

Однако, хотя самолюбие его было несколько ущемлено, он испытывал большое удовлетворение от успешно исполненного, столь полезного отечеству дела. Ведь он, соглашаясь взяться за трудную миссию, не тешил себя никакими тщеславными иллюзиями, он предвидел, что плодами его трудов воспользуется другой, как это уже было во время прошлых войн на Кавказе. Но как и тогда, он честно послужил отечеству своему, а это самое главное! И потом, так или иначе, а имя генерала Муравьева получило теперь широкую известность не только в России, но и за границей, и с этим злопамятному императору Николаю Павловичу считаться придется. И можно будет смелей возбуждать ходатайства перед ним о смягчении участи брата Александра и других пострадавших от самодержавия родственников и друзей, судьбы которых беспокоили и мучили постоянно, как незаживающие раны. Наконец, поездка в Египет и Турцию дала возможность познакомиться с этими восточными странами, давно занимавшими его воображение.

Граф Орлов, как этого и следовало ожидать, пользуясь благоприятными обстоятельствами и доброжелательным настроением султана Махмуда, подписал в Ункиар-Искелеси весьма выгодный для России оборонительный договор с Турцией. Недавно еще враждовавшие между собой страны согласились жить в дружбе, оказывать взаимную военную поддержку. Турция в особо секретной статье обязалась «закрыть Дарданелльский пролив, не позволять ни одному иностранному военному судну входить туда под каким бы то ни было предлогом». Английское и французское правительства, проведав об этом турецком обязательстве, пришли в ярость.

Лорд Пальмерстон, руководитель английской внешней политики, сказал:

– Единственным средством отделаться от этого трактата представляется мне потопление его в каком-либо общем договоре такого же рода.

... Проведя несколько парадов и смотров десантных войск, граф Орлов приказал готовиться им к возвращению в Россию. Муравьев в последние дни пребывания в Константинополе продолжал осматривать турецкую столицу и ее окрестности, пользуясь милостивым разрешением султана, побывал на заседании Дивана, как называют государственный совет Турции, посетил многие турецкие лагеря и казармы, изучая устройство турецких войск, что,

как он полагал, могло еще в будущем пригодиться.

Отличное знание турецкого языка позволяло ему общаться не только с турецкими сановниками, но и с простым народом, и он считал это общение главным для изучения страны, ибо, как он записал, «не болтовня сановника, а суждения низших сословий составляют общее мнение».

В конце июня Черноморская эскадра и десантные войска покинули турецкие берега. Дул легкий попутный ветерок. Море серебрилось. Солнце золотило купола бесчисленных мечетей и минаретов. Белели зубчатые башни древних замков, зеленели тополя и кипарисы в предместьях Стамбула. Муравьев стоял на борту фрегата «Штандарт» и неотрывно глядел в сторону гористого Босфорского мыса, где возвышался огромный монумент из двухтысячепудового обломка скалы, воздвигнутый по его распоряжению в память пребывания русских войск на Босфоре.

Перевертывалась еще одна знаменательная страница в его беспокойной жизни.

6

Как ни старались верноподданные редакторы субсидируемых правительством газет превозносить графа Орлова за успешное посольство, восстановление мира на Востоке и заключение русско-турецкого договора, замалчивая при этом деятельность генерала Муравьева, все же ввести в заблуждение общественность не удалось. Всем, кто следил за событиями, было ясно, чьими трудами устраивались восточные дела. Старый приятель Иван Шипов, один из основателей Союза Благоденствия, писал ему; «Узнав о возвращении вашем из Турции, поздравляю со столь блестящим и благополучным окончанием вашего поручения. Из журналов имею только некоторое понятие о действиях ваших в Турции, но весьма любопытен изустно услышать от вас о всем, что вы там делали, видели и заметили, уверен, что вы сделали самые примечательные наблюдения в странах, где провели столько времени. Нынешнюю зиму я располагаю провести в Москве и потому льщу себя надеждой увидеться с вами; если бы вы даже не посетили столицу, а проехали прямо к вашему батюшке и я бы узнал, что пребывание мое нескольких часов в его усадьбе не беспокоит его, то непременно приеду с вами повидаться».

Из своего сызранского имения отозвался Денис Давыдов: «Любезнейший Николай Николаевич! Недавно в газетах прочел я о приезде вашем в Петербург; спешу известить вас, что я жив и, следовательно, радуюсь от всей души возврату вашему... уверен, что вы не сомневаетесь в моей дружбе к вам и в том участии, которое я беру во всем, что до вас касается. Я давно хотел писать к вам, но не знал, куда адресовать письмо и через кого? Через пашу ли египетского или через султана? Рад, что можно это сделать прямо через сызранского почтмейстера. Это вернее.

Долго вы были в отсутствии! И далеко залетели! Как хочется мне с вами повидаться, поговорить о вашей Одиссее, но будет ли это?.. Боже мой! Что бы я дал с вами повидаться! Многое у вас расспросил бы, многое бы вам прочитал, ибо я с некоторого времени весь зарыт в описание нашей польской войны. Уверен, что описание это вам понравится. Оно пишется откровенно и не для печати, по крайней мере настоящего времени... Уведомьте, куда мне адресовать писания мои? Долго ли вы думаете пробыть в Петербурге? И, словом, напишите мне побольше о себе...»[45]

В салонах великосветских и даже во дворце интерес к Муравьеву, несмотря ни на какие ухищрения казенных газет, тоже не иссякал. Деятельность его в Египте и Турции занимала

всех куда больше, чем посольство графа Орлова. И это обстоятельство приходилось учитывать.

Вопрос о том, как быть дальше с Муравьевым, куда его определить, давно беспокоил императора. Еще летом, когда Муравьев находился в Турции, он, убедившись в незаурядных способностях генерала, решил приблизить его к себе, попытаться сделать из него покорного царедворца... Стали же верными его слугами Петр Граббе, Лев Перовский, брат самого Муравьева Михаил и другие бывшие либералисты, раскаявшиеся в своих заблуждениях!

Николай Николаевич неожиданно для всех был пожалован в генерал-адъютанты. И принял его царь необыкновенно ласково, обнял, расхвалил, пригласил к обеду.

Придворные спешили наперебой поздравить Муравьева с необыкновенным монаршим благоволением, а он, смущаясь и краснея, чувствовал себя, как птица, попавшая в силки. Для него, вольнолюбца с ранних лет, ненавидевшего монарха и презиравшего окружавшую его дворцовую челядь, почетная в глазах этой челяди должность генерал-адъютанта была невыносимо тяжелой. Он сделан царским лакеем! Приторные любезности сановников вызывали у него отвращение. А когда вздумал обнять его военный министр Чернышов, он невольно подался назад и едва скрыл чувство гадливости к этому румяному и подвитому царскому любимцу, посланному па виселицы и на каторгу стольких родных и близких его!

Мысль о том, чтобы любыми способами отделаться от адъютантства у царя, не покидала Муравьева. Но решить этот вопрос было чрезвычайно трудно. Он находился теперь всецело в распоряжении императора, и добровольный отказ от милостиво пожалованной почетной должности могли посчитать оскорблением его величества.

А дни проходили в бестолковой суете, в пустых и скучных разговорах с дворцовыми интриганами и невеждами, в дежурствах на парадах, маневрах и разводах. И притом приходилось все время быть настороже. Однажды на маневрах Муравьев оказался близ царицы, и она, глядя на марширующих солдат, спросила с невинным видом:

– Не правда ли, генерал, эти солдатики похожи на кукол?

Сравнение было довольно точное. В том и состоял порок николаевской системы, что из солдат выбивали человеческую душу, делали их «простым механизмом, артикулом предусмотренным». Муравьеву, как и другим военным суворовской школы, ненавистна была игра царя в солдатики, но вопрос царицей задан был умышленно («дабы изловить меня», – отметил он в дневнике). И он на хитрость эту не попался:

– Никак нет, ваше величество. Я нахожу, что у них вид очень воинственный.

Брат царя Михаил Павлович нарочно при нем ругал площадными словами «бунтовщиков» и притом не спускал глаз с него, стараясь отгадать, как он отнесется к этому. Муравьев стоял с окаменевшим лицом, не выражавшим никаких чувств, он выработал в себе этот защитительный способ поведения, казавшийся многим сановникам напыщенным тщеславием педанта.

Как-то раз он намекнул царю, что хотел бы еще послужить в армейских войсках. Царь обвел его тяжелым взглядом и ничего не ответил. Только одно полезное дело, пользуясь случаем, удалось за время адъютантства совершить Муравьеву. Встретился с Бенкендорфом и попросил его без всяких обиняков посодействовать переводу из Сибири в Европейскую Россию брата Александра, о чем тот давно всех умолял. Бенкендорф, к удивлению его, спустя несколько дней известил, что по его просьбе Александр переводится в Вятку. Может быть, эта «милость» тоже была своеобразной приманкой для вербовки в царедворцы? Но Муравьева ничто не соблазняло.

В первых числах января 1834 года в дневнике его появилась такая запись: «Я провожу время в самых несносных и беспокойных визитах. На днях был я у Бенкендорфа, дабы благодарить его за участие, которое он принял в переводе брата Александра в Вятку. После того он спросил меня, что я располагал делать? Я отвечал, что я нахожусь ныне здесь без дела; но он прервал речь мою, изъявив, сколько положение мое должно быть мне приятно, ибо первое лестное поручение, которое встретится, верно мне дадут, а между тем я провожу время свободно. Дав ему досказать ошибочное мнение его, основанное на его собственных понятиях, не постигающих других наслаждений, кроме праздной придворной жизни, я, к удивлению его, отвечал, что редко когда-либо находился в таком скучном и затруднительном положении, как ныне; что по привычке к деятельной жизни, которую вел в течение 23 лет, я не могу свыкнуться с настоящим положением моим и желал бы иметь назначение вне столицы, где и состояние мое позволило бы жить лучше, чем здесь, где я остаюсь в трактире, в ожидании ежеминутно поездки и не имея своего угла. «Хотите, чтобы я сие государю доложил?» – «Доложите, я бы и сам не скрыл от его величества, что мне здесь скучно, если бы имел на то случай».

Бенкендорф доложил.

Император сказал с раздражением:

– Так и чувствовал, что начнутся какие-нибудь муравьевские притворства... Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Скучно ему с нами! А дело, вернее всего, в том., что воли ему нет на глазах наших. Ты как смотришь, Александр Христофорович?

– Вполне возможно, ваше величество, – передернув плечами и звякнув шпорами, сказал Бенкендорф.

– Он просился в армейские войска, – произнес, как бы раздумывая, царь, – но мне прежде всего хотелось приглядеться, что он собой представляет и к чему способен.

– Тяжелый человек, государь. Держится от всех в стороне. Самолюбив, упрям, как буйвол, и скрытен. Может быть, его более займет служба в Генеральном штабе?

– Гм... Что ж, об этом можно подумать... Надо будет поговорить с военным министром...

А в это время как раз освободилось место генерал-квартирмейстера. Должность тихая, покойная. Хороший оклад, большая казенная квартира. Чего же лучшего и желать! Военный министр Чернышов не сомневался, что Муравьев, которого сам царь определил на это место, примет назначение с благодарностью.

Муравьев смотрел на дело иначе. Принять это назначение – значило бы остаться в столице, обречь себя на долгое пошрое и бесполезное существование вблизи императора, а именно этого он старался избежать.

Выслушав предложение вызвавшего его к себе военного министра, Муравьев сказал:

– Я не считаю себя вправе противиться воле государя, но я не признаю в себе сил соответствовать такому назначению.

Чернышов недоумевающе заморгал глазами:

– То есть... как вас прикажете понимать, генерал? Вы отказываетесь от столь лестного назначения? Зная, что вашего согласия желает сам государь?

– Я не могу дать согласия своего в деле, в коем не вправе отказывать.

. – Странно, весьма странно! Объясните же причины вашего нежелания более ясно.

- Я не постигаю цели и предназначения занятий, кои мне предлагаются, и не питаю никакой склонности к оным...
- Исполнение воли государя выше всех этих ваших рассуждений, – перебил сердито министр.
- Вы, верно, не отдаете себе отчета в последствиях такого рода суждений и поступков!
- Если изложенное мною мнение должно погубить службу мою и повергнуть меня в немилость, – глядя прямо в глаза министру, заявил хладнокровно и твердо Муравьев, – я сочту сие за судьбу свою, коей не мог избежать, смирюсь перед ней и перенесу с терпением...
- Как! Государь желает вас отличить, еще более приблизить к себе, а вы говорите мне какой-то вздор о судьбе... Признаюсь, – развел руками министр, – я ничего не понимаю из всего вами сказанного!
- Сие служит вам лучшим доказательством, – со скрытой усмешкой произнес Муравьев, – что я не могу занять важного места, мне предназначаемого.
- Но вы обязаны прежде всего повиноваться! – сдвинув брови и перейдя на угрожающий тон, произнес министр. – Вы думаете, что я не могу понудить вас к повиновению? Ошибаетесь, сударь! Я умею повелевать, у меня это в характере, я умел понудить иных, как вы, к повиновению!
- Я знаю об этом, ваше сиятельство, – с ледяным спокойствием произнес Муравьев, – однако ж ничего не могу изменить в своем мнении...

Чернышов встал из-за стола.

Явно подражая императору, заложив за борт мундира пальцы правой руки, он медленно прошелся по кабинету и, остановившись затем перед Муравьевым, строгим голосом спросил:

- Так чего же вы желаете в конце концов?
- Возвращения мне прежнего поприща в армейских войсках...
- А если государь не найдет возможности в настоящее время удовлетворить ваше желание?
- Я буду просить представить мне бессрочный отпуск.
- Хорошо. Я скажу о том его величеству. Прощайте!

Возвратившись домой, Муравьев записал: «Я пребывал в твердом намерении пожертвовать и службой своею с тем, чтобы не быть генерал-квартирмейстером... Я не просил ни о сохранении содержания своего, ни о каких-либо преимуществах, желая просто удалиться сначала на время, а впоследствии, глядя по обстоятельствам, может быть, и совсем».

Но, видимо, царь желал еще сохранить его для службы. Военный министр вскоре известил, что государь соглашается представить ему отпуск, не ограничивая сроком, и надеется, что он возвратится на службу при первом требовании.

20 февраля Муравьев сделал такую запись: «Завтра я оставляю Петербург и еду в Москву. Оставляю с удовольствием пребывание сие в столице, где я много претерпел мук и досады; оставляю с желанием более не возвращаться сюда».

... Николаю Николаевичу Муравьеву-старшему давно перевалило за шестьдесят. Он по-прежнему хозяйствовал в Осташеве. От жившего с ним сына Андрея помощи ждать не приходилось: собирался несуразный этот сын идти в монахи и кропал какие-то стишонки,

уверяя, будто сам Пушкин их одобряет.

Оправившись от потрясения, вызванного внезапной смертью Сони, старик опять стал мечтать, чтобы сын Николай женился, вышел в отставку и взял в свои руки управление имением.

Узнав, что сын приезжает в Москву с намерением приобрести здесь оседлость, старик Муравьев встретил его радостно и тайную надежду свою выдал сразу:

– А тут

у нас столько разговору о твоём путешествии в Египет и Турцию; теперь берегись, друг мой, от любопытствующих отбою не будет, да и свахи наши московские, надо полагать, тебя из своих рук не выпустят...

– Какой я жених, батюшка, сорок лет скоро стукнет, вдовец с ребенком на руках...

– Эка причины какие выдумал! – воскликнул отец. – Нет, дружок, дай только согласие твое, а в Москве за невестами дело не станет. Я тебе серьезно советую подумать. И себя от одиночества, и Наташеньку от сиротства горестного пора избавить.

Мысль о женитьбе Муравьева в последнее время часто посещала. Да и не только отец, но и Шипов Иван Павлович, приехавший свидеться с ним, и Алексей Петрович Ермолов, с которым теперь в Москве часто виделся, советовали не упускать времени для женитьбы. Муравьев тяжело вздыхал; не так просто найти жену по сердцу и склонностям ума!

Как-то на масленице в доме Муравьевых появился неожиданно гость – Захар Григорьевич Чернышов. Он продолжал служить в Кавказском корпусе, произведен был недавно в прапорщики и теперь находился в отпуске. Муравьев, любил Захара, и встреча для обоих была приятна. После взаимных приветствий и краткой беседы Захар поднялся и с дружеской прямотой объявил, улыбаясь:

– А теперь, ваше высокопревосходительство, изволь собираться... Сестрам не терпится с тобой познакомиться. Без тебя не велено мне домой показываться.

Муравьев, слышавший немало любопытного о сестрах Захара, принял приглашение с удовольствием.

Чернышovy жили на Садово-Самотечной, близ Каретного ряда, в большом старинном доме с мифологическими лепными фигурами на фасаде. После смерти стариков и скончавшейся в Сибири два года назад Александрины – жены Никиты Муравьева – семейство Чернышовых состояло из Захара и пяти сестер. Распоряжалась всеми делами старшая сестра, степенная и рассудительная Софья Григорьевна, утвержденная владельницей чернышовского майората.

7

Все сестры были необыкновенно хороши собой, образованны, умны, приветливы, веселы. Превосходно зная английский язык, они увлекались Байроном, читали его стихи в подлиннике, и навещавшие их сановные старики ворчали:

– У добрых людей висят в изголовьях кроватей иконы, а у графинь Чернышовых портреты лорда Байрона...

Молодые графини хорошо знали и любили поэтические творения Пушкина, с которым были знакомы и находились даже в небольшом родстве по жене его. Богатое имение Ярополец в Волоколамском уезде принадлежало совместно Чернышовым и Гончаровым. И Пушкин, бывая в Яропольце, с молодыми графинями охотно любезничал.

Но самое главное, все сестры, не исключая, Софьи Григорьевны, отличались большим вольнолюбием, сочувствовали декабристам. Они считали брата Захара, зятя Никиту Муравьева и сестру Александрина жертвами самодержавного произвола и старались избегать общества, где мучеников самодержавия называли бунтовщиками и государственными преступниками.[46]

Имя Николая Николаевича Муравьева сестрам Чернышовым было давно и хорошо известно. Они знали о близости его с Никитой, о политическом их единомыслии, знали и о героическом путешествии Муравьева в Хиву, и об участии в кавказских войнах, и о покровительстве разжалованным декабристам. А брат Захар о Муравьеве рассказывал так восторженно, что сестры представляли его не иначе, как в героическом ореоле...

В то время как Муравьев впервые появился в уютной гостиной Чернышовых, три сестры – Софья, Вера и Елизавета – состояли уже в замужестве, в девичестве оставались Наталья и Надежда.

Наталье шел двадцать седьмой год. Среднего роста, хорошего сложения, смуглолицая, с глубоко посаженными темными жгучими глазами, она отличалась от сестер особой нетерпимостью к деспотизму, строгими взглядами и остроумием. Она боготворила зятя Никиту Муравьева, под влиянием которого развивались ее общественные взгляды, и, когда присудили его к каторге, а сестра Александрина сказала, что отправляется к нему, Наталья бросилась к ней на шею и, заливаясь слезами, стала просить взять ее с собой, чтобы вместе с ней ухаживать там за милым Никитой и его несчастными товарищами. Александрина согласилась. Наталья подала прошение Бенкендерфу, но шеф жандармов решительно поездку в Сибирь ей запретил. Она простилась с Никитой и братом Захаром в Ярославле, куда выезжала тайком вместе со старшими сестрами.

Наталья очень чувствительно переживала эту трагедию и не хотела выходить замуж, хотя сватались за нее многие. Года два назад ей сделал предложение красавец флигель-адъютант его величества. Партия была блестящая, и сестры убеждали ее согласиться: она отвергла предложение решительно и резко:

– Меня царедворцы интересовать не могут. Я предпочту любому из них простого честного человека без пышных эполет и в самом скромном одеянии.

Ну а Надежде, самой младшей из сестер, только что исполнилось девятнадцать лет. Пушкин охарактеризовал ее в письме к жене кратко и точно: «Девка плотная, чернобровая и румяная». За нее сватался Дмитрий Гончаров, шурин Пушкина, но получил отказ, Надина жила беспечно и радостно и серьезными вопросами себя пока не обременяла.

Софья Григорьевна и муж ее Кругликов, скромный отставной полковник, относились к жившим вместе с ними молодым графиням с родственной нежностью. Впрочем, все сестры Чернышovy были очень привязаны друг к другу. Вера и Елизавета со своими мужьями редко какой день не бывали в родительском доме.

Николая Николаевича Муравьева приняли Чернышovy как самого близкого и дорогого человека. И он снова обрел тот привлекательный семейный круг, которого давно был лишен, и теперь часто проводил здесь время. Простота в обхождении, искренность чувств, свободолюбивые взгляды, непринужденный живой разговор – все эти так высоко ценимые Муравьевым человеческие качества отличали семейство Чернышовых и совершенно располагали к нему.

Суровый, державшийся бирюком и малоразговорчивый в чуждой ему среде, Николай Николаевич, бывая у Чернышовых, словно сбрасывал маску непроницаемости, открывался как человек с добрым сердцем, любезный и общительный, умный собеседник и увлекательный рассказчик.

Удивительно ли, что спустя некоторое время Наталья призналась старшей сестре в своей склонности к Муравьеву... Он нравился ей как свободолюбивый, талантливый, мужественный человек, и вместе с тем она женским чутьем угадывала некую его беспомощность в житейских вопросах и тягостную бесприютность, и в отзывчивом сердце ее все более пробуждалось желание соединить с ним свою судьбу.

Однако Николай Николаевич об этом не догадывался. Наталья Григорьевна понравилась ему с первого взгляда, и он не сомневался, что будет она хорошей, преданной женой, и породниться с полюбившимся семейством очень хотелось, но ему было известно, как резко отказалась она от предложения флигель-адъютанта... А ведь он, Муравьев, тоже, хотя и не по доброй воле, носил эполеты с вензелем ненавистного царя и являлся в какой-то степени придворным, да вдобавок был много старше ее, дочке шел уже седьмой год...

По природной стеснительности он, вероятно, и не решился бы на объяснение, если б Софья Григорьевна, оставшись с ним однажды наедине, сама не затеяла разговор о будущей его жизни. Он только что получил сообщение из Петербурга о возможном назначении его начальником штаба Первой армии и пришел сообщить об этом.

Софья Григорьевна спросила:

– А вам, я вижу, не хочется покидать Москвы! Что вас здесь удерживает?

Он признался:

– Многое. Я хотел писать книгу о путешествии в Египет и Турцию, и надо помогать в хозяйственных делах отцу. И не хочется расставаться с милым семейством вашим... я душевно приютился у вас...

– Ну, я думаю, вы не останетесь без друзей и на новом месте, – промолвила Софья Григорьевна. – И, может быть, мы скоро услышим, что в судьбе вашей произошли изменения и вы женились...

– Нет, я более никогда не женюсь, – возразил он, – не думаю, чтобы мог когда-нибудь жениться...

– Почему же? Ваши лета и обстоятельства должны бы, кажется, побудить к сему...

– Требования мои неумеренны в выборе супруги, дорогая Софья Григорьевна. Мне нужно совершенство во всех отношениях, женщина, достоинства коей сказывались бы в каждом движении и слове... Не скрою от вас, что я встретил женщину с такими качествами, но по летам ее и по красоте она может рассчитывать на союз с человеком, более отвечающим наклонностям ее сердца. И притом я не хотел бы обременять ее воспитанием ребенка, не ей принадлежащего.

– Кто же эта женщина, если не секрет?

– Сестра ваша Наталья Григорьевна. Я равнодушен к ней, но не приступлю к предложению по изложенным причинам и потому, что знаю нелестное мнение ее о тех, кто носит эполеты с царскими вензелями...

Софья Григорьевна не дала ему объяснение закончить, рассмеялась:

– Полноте, Николай Николаевич... Как можно себя равнять! Вы же генерал совсем иного рода. Вы не услугами во дворце, а заслугами перед отечеством генеральство и ордена добывали. И Наташа прекрасно знает об этом.

– И вы... вы полагаете, что Наталья Григорьевна может меня не отвергнуть? – спросил он взволнованно.

– Уверена в том, *mon cher*, – ласково дотронулась она до его руки. – И не вижу причин, почему бы вам не открыться ей. О дочери беспокоиться вам не следует, сестра, полюбив вас, несомненно, полюбит и ее.

– Вы делаете меня счастливым! Отныне я брат ваш! – воскликнул он, целуя ей руки.

Предложение было принято. Обручение состоялось. В первых числах мая Чернышovy уехали из Москвы в Ярополець, где обыкновенно проводили летнее время. Туда по их приглашению отправился погостить и Муравьев.

Чудесны были эти проведенные им в Яропольце майские дни! Сближение с невестой все более выявляло сходство их понятий и взглядов, он чувствовал, что приобретает в Наташе не только верную жену, но и надежного, единомыслящего друга, и это особенно радовало. Наташа сказала однажды, что Софья Григорьевна выделила ей из майората Скорняковское имение близ Задонска. И ему невольно припомнился тихий городок, через который некогда проезжал по дороге на Кавказ. Он отыскал дневниковые записи и прочитал Наташе сделанную в них почти двадцать лет назад отметку: «Из всех уездных городов понравился мне наиболее Задонск: он выстроен правильно и похож более на большую мызу богатого помещика. Он лежит на косогоре, с полверсты от реки Дона...» Наташа задумалась:

– Мне кажется, что в твоей записи есть что-то фатальное. Кто знает, не придется ли нам жить в Скорнякове и не станет ли Задонск нашим прибежищем?

– Чему я был бы безмерно рад, – вставил он, – ибо сельская жизнь – давняя мечта моя...

– И я не стану тебе перечить, друг мой, – сказала она, улыбаясь. – Для столичного общества, как видно, мы с тобой не созданы!

В Яропольце жила тогда Наталья Николаевна Пушкина с двумя детьми – Машей и Сашей. Муравьева познакомили с нею, но большого впечатления Наталья Николаевна на него не произвела, может быть, потому, что показалась холодной светской красавицей, а вернее потому, что в своей Наташе он видел теперь совершенство, не позволявшее ему допускать никаких сравнений.

Свадьба состоялась в Яропольце 26 августа. И вскоре Николай Николаевич с женой уехал в Киев. Там находилось управление Первой армии. Муравьев был назначен исполняющим должность начальника штаба. Но и на эту службу согласился он весьма неохотно, не желая лишний раз раздражать царя и считая назначение более или менее «сносным потому только, что оно не в Петербурге, а в Киеве». Муравьев не любил северной столицы, где был ненавистный императорский двор и где было столько отвратительной для него чиновной бюрократии и праздных людей, которые, как он записал, «живут вымргаемыми пособиями и покровительствами, и промысел сей вовсе не противен их образу мыслей, в коем сильно вкоренилось понятие о данничестве трудящегося класса людей, дышащих как бы для удовлетворения праздного сословия и прихотей столицы».

Командующему Первой армией фельдмаршалу Фабиану Вильгельмовичу Остен-Сакену шел восемьдесят третий год, он совсем одряхлел и подписывал лишь бумаги, а все управление армией находилось в руках начальника штаба генерала Красовского, старого кавказского знакомого и сослуживца Муравьева.

Однако Красовский, которого недавно перевели в армейские войска, к административным делам склонности не питал, они были запущены чрезвычайно, особенно интендантское управление, где творились страшные злоупотребления и чиновники наживали состояния на сделках с поставщиками. Муравьеву в военном министерстве предложили создать под своим председательством комиссию для ревизии интендантских дел как в Первой, так и в бывшей Второй армии. В Киеве среди интендантских чиновников поднялся переполох. Обычно в таких случаях они откупались от ревизоров взятками, но при Муравьеве, известном своими строгими правилами и честностью, об этом нельзя было и думать. Муравьев поступал так, как подсказывала совесть, не делая никакого снисхождения вора и взяточникам.

Впрочем, бывали и другого рода интендантские дела, справедливое решение которых требовало не только честности, но и большого гражданского мужества. Объезжая расквартированные в Подольской губернии войска, Муравьев остановился однажды в небольшом захолустном городишке, и сюда явился к нему незнакомый, средних лет, скромный по виду местный помещик Семен Петрович Юшневский.

– Я к вашему превосходительству, – сказал он, – по делу о запрещении, наложенном на имение брата моего Алексея Петровича Юшневого, бывшего генерал-интенданта Второй армии, присужденного к отбыванию каторжных работ за участие в тайном обществе...

Муравьев не был знаком с Алексеем Петровичем Юшпевским, одним из руководителей Южного тайного общества, но слышал о нем много хорошего и, выслушав сочувственно его брата, спросил:

– И вы до сей поры не пробовали хлопотать о снятии запрещения?

– Пытался неоднократно и всегда безуспешно, ваше превосходительство...

– Позвольте, почему же? Ведь, насколько мне известно, имущество осужденных участников происшествий 1825 года оставлено в распоряжении родных?

– Это так, – подтвердил Семен Петрович, – однако начальствующие лица, занимавшиеся разбором интендантских дел брата, затрудняются обычно вынесением окончательного определения...

– Каковы же, по вашему мнению, причины сего?

– Если б у брата были обнаружены какие-то просчеты, то решения, конечно, ждуть не пришлось бы, сами понимаете. Но, как мне сказал один из ревизоров, в делах полный порядок, и, следовательно, интендантская деятельность брата должна получить оправдание, а он государственным преступником числится... Вот-с почему все и уклоняются!

– Гм... И вы, стало быть, полагаете, что я настолько всемогущ, что мне ничего не стоит сделать то, чего вы ожидаете?

– Нет, я сего не полагаю, – тихо и почтительно произнес Семен Петрович, – я возлагаю надежды на другое...

– На что же?

– На честность, справедливость и благородство вашего превосходительства...

– Вы же меня совсем не знаете!

– Знаю. Я служил в Тульчине в канцелярии брата, и у него не раз виделся с Иваном Григорьевичем Бурцовым, был в приятельстве с Лачиновым и другими офицерами, приводившими всегда в пример другим правила жизни вашей...

– Ну хорошо, оставим этот разговор, – сдвинув брови, прервал Муравьев. – Я займусь в ближайшее время рассмотрением старых интендантских дел Второй армии, и в зависимости от этого... Вы бываете, вероятно, в Киеве?

– Весьма часто, ваше превосходительство.

– Так зайдите ко мне недели через три, я надеюсь, к тому времени что-то выяснится...

Да, не каждый взялся бы за решение этого дела! Тщательная проверка документов подтвердила безупречную деятельность бывшего генерал-интенданта Второй армии Юшневского. Но признание в официальном документе честнейшим человеком сосланного на каторгу государственного преступника могло вызвать сильнейшее неудовольствие и подозрение императора. Для Муравьева, который без того благоволением царя не пользовался, дело вообще могло окончиться удалением со службы. И все же он решился...

Советоваться в подобных делах Муравьев ни с кем не любил, а на этот раз жене обо всем счел нужным рассказать, ведь любые служебные неприятности коснулись бы и ее, он должен был подготовить Наташу на всякий случай.

Было это зимой. Наталья Григорьевна, сидя в кресле у жарко натопленной печки в уютной маленькой их гостиной, слушала мужа внимательно и спокойно. И только когда он прочитал оправдательное заключение ревизионной комиссии, она не сдержала нетерпеливого любопытства:

– И ты такую бумагу хочешь отправить в Петербург?

Муравьеву показалось, что восклицание жены вызвано недовольством, боязнь дурных последствий, он слегка пожал плечами, сказал мягко:

– Видишь ли, Наташа, я не собираюсь скрывать от тебя, что неприятности могут быть, но я не могу кривить совестью в таком деле...

В черных глазах жены заискрились слезы, она не дала мужу договорить, вскочила с кресла, схватила его руки, прижала их к пылающим щекам своим.

– Необыкновенный, странный, дорогой мой! Никогда, никогда не смей меня больше спрашивать, за что я люблю тебя! Слышишь?

Муравьев до глубины души был растроган. Невольно припомнилось ему первое супружество. Он нежно любил свою Соню, и она была искренне привязана к нему и любила его, но не было между ними той полной духовной близости, того единомыслия и глубокого взаимопонимания, которое все более выявлялось в отношениях с Наташей. И он возблагодарил судьбу, что наградила его таким чудесным другом, и теперь не страшили его никакие будущие бури и опасности, которые, он знал это, подкарауливали его на каждом шагу.

Муравьев не оставил никаких записей о том, как помогал декабристам, и о том, как удалось ему снять запрещение с имения Юшневского, но об этом рассказали другие. В Петровском остроге, где отбывал каторжные работы Юшневский, вместе с ним и с доброй женой его Марией Казимировной находился декабрист Андрей Евгеньевич Розен, и он

засвидетельствовал:

«Супруги Юшневские жили в Петровской тюрьме в стесненном положении оттого, что имение Юшневского было под запрещением; даже наследник его, родной брат, не мог оным вполне распоряжаться, пока не кончилась ревизия интендантских дел Второй армии. Это дело, долго тянувшееся, огорчало Юшневского в тюрьме потому, что если бы комиссия при ревизии обвинила его в чем-нибудь, то он был лишен возможности оправдаться. Можно себе представить радость и восторг старика, когда, по прошествии восьми лет, прислали ему копию с донесения комиссии высшему начальству, в коей было сказано, что бывший генерал-интендант Второй армии А.П.Юшневский не только не причинил ущерба казне, но, напротив того, благоразумными и своевременными мерами доставил казне значительные выгоды. Такое донесение делает честь не только почтенному товарищу, но и председателю названной комиссии генералу Николаю Николаевичу Муравьеву, правдивому и честному, впоследствии заслужившему народное прозвание Карского».[47]

... Шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф не упускал из виду Муравьева, знал о нем многое и не сомневался в его неприязни к императору и существующему порядку.

Бенкендорфу была известна связь Муравьева с членами тайных обществ и явное сочувствие им, полицейские агенты доносили, что Муравьев, будучи в столице, постоянно посещает Екатерину Федоровну Муравьеву и других родственников государственных преступников, что он продолжает состоять в близких отношениях с опальным Ермоловым и по-прежнему, как и на Кавказе, покровительствует лицам, прикосновенным к происшествиям 1825 года. Заняв должность начальника штаба Первой армии, Муравьев приглашает на вакантную должность дежурного генерала Ивана Павловича Шипова, старого своего приятеля, и настойчиво добивается перевода из Семеновского полка к себе в адъютанты младшего его брата. Не укрылся от Бенкендорфа и случай с оправданием интендантской деятельности Юшневского.

Но докладывать обо всем этом императору для Бенкендорфа не было никакого резона. Призванный охранять престол и самодержавие, жестокий и корыстолюбивый шеф жандармов, в преданности и усердии которого царь не сомневался, более всего заботился о своих личных интересах. Фавориты царя, враждующие между собой, жили в атмосфере сложных дворцовых интриг. Самым заклятым недругом Бенкендорфа был военный министр Чернышов. Они постоянно пикировались и подкалывали друг друга. Когда Муравьев женился на Наталье Григорьевне Чернышовой и она получила в приданое часть богатейшего майората, до которого подло и безуспешно добирался военный министр, Бенкендорф, намекая на это всем известное происшествие, сказал:

– Теперь министру остается объявить себя «кузеном» Муравьева.

Брачная связь Муравьева с Чернышовой, так или иначе, для министра была неприятна, он возненавидел и Муравьева не менее, чем Бенкендорфа. При таком положении действовать против Муравьева значило бы действовать на руку министру Чернышову, а этого шеф жандармов никак не хотел.

Были и другие не менее существенные соображения. В последнее время Бенкендорф приблизил к себе, сделал одним из своих помощников Александра Николаевича Мордвинова, двоюродного брата Муравьева. Николай Николаевич считал его «человеком самым равнодушным», однако Мордвинов, пользуясь расположением шефа, старался в пользу своих родственников, способствуя, в частности, переводу Александра Муравьева из Сибири. Мордвинов содействовал и хлопотам Екатерины Федоровны Муравьевой, устраивал ей приемы у Бенкендорфа, и тот – поговаривали, что не безвозмездно, – сделал кое-что для улучшения жизненных условий Никиты Муравьева и других сибирских узников.

Бенкендорф, несомненно, учитывал и репутацию Муравьева как мужественного, прямого,

талантливого генерала, ведь даже во дворце у него имелись сильные защитники и поклонники. Не было необходимости распалать застарелую неприязнь императора к генералу.

А Муравьев, ободренный тем, что через Бенкендорфа удалось выручить брата Александра из Сибири, и тем, что заключение по делу Юшневского благополучно миновало министерские дебри, решил, приехав в конце 1835 года в Петербург, обратиться к шефу жандармов с новым ходатайством.

Бенкендорф принял генерала без промедления. Высокий, подтянутый, в белых лосинах и высоких лаковых ботфортах, благоухая, как всегда, духами, Александр Христофорович встретил Муравьева на пороге своего кабинета с подчеркнутой любезностью.

– Рад видеть вас, Николай Николаевич. Мне Мордвинов уже говорил о вашем прибытии в столицу, и я еще вчера ожидал вас...

– Задержали в министерстве, Александр Христофорович, кажется, собираются перевести меня в армейские войска, чего я давно желаю, по крайней мере Чернышов уверил меня в том...

– Слышал, слышал! Только пусть это будет между нами, предложение о том исходит от государя, а Чернышов прочит на это место кого-то из своих... хотя мнение его для государя мало значит. Но довольно об этом! Как вы чувствуете себя в Киеве? Да, совсем забыл... кажется, вас нужно поздравить с прибавлением семейства?

– Так точно. Жена родила дочь. Антонину.

– Чудесное имя! Мягкое и поэтическое... Ну-с, а чем могу я вам служить?

– Имею небольшую просьбу к вам...

– Слушаю вас, Николай Николаевич.

– Дело, видите ли, в том, что жена моя, и сестры ее, и Екатерина Федоровна Муравьева просили меня высказать вам свое давнее желание...

– В чем оно заключается?

– В том, чтобы перевезти из Сибири и похоронить в семейном склепе прах Александры Григорьевны Муравьевой, скончавшейся три года назад в Петровском остроге...

– Понимаю, понимаю, – сочувственно закивал головой Бенкендорф, – и с моей стороны, прямо говорю, никаких препятствий к тому нет, но, сами понимаете, окончательное решение остается за государем. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах...

– Покорно благодарю, Александр Христофорович, за доброе расположение к родным моим...

Бенкендорф закурил сигару, пустил густую струю дыма и неожиданно вздохнул:

– Да, вот как печально сложилась судьба вашей свояченицы Александры Григорьевны. А ведь как я отговаривал ее от поездки в Сибирь, каких только доводов не приводил... Погибнуть во цвете лет, это ужасно! А супруга ваша Наталья Григорьевна с нею вместе собиралась ехать, скажите мне спасибо, что не разрешил ей тогда необдуманного сего поступка!..

Муравьев почувствовал внезапное отвращение к самоуверенному и лицемерному шефу жандармов и, тяжело вставая, едва нашел силу произнести сдержанно:

– Оно не удивительно, ежели рассудить по-человечески, ваше сиятельство, сестры с детских лет живут в необычайном согласии... Ну а затем разрешите еще раз поблагодарить за благосклонное отношение ко мне и откланяться. Буду надеяться, что государь решения не задержит.

– Так и я полагаю. Завтра же постараюсь его величеству о вашей просьбе доложить.

На этот раз Бенкендорф просчитался. Просьба Муравьева вызвала решительное возражение императора.

– Ни в коем случае позволять того нельзя, – сказал он. – Ты разве не представляешь, Александр Христофорович, какие могут возникнуть дурные последствия?

– Признаюсь, государь, мне не совсем ясна мысль ваша.

– А ты вникни хорошенько в суть! Кто такая скончавшаяся Муравьева?

– Жена государственного преступника, ваше величество. Однако ж, если мы, уважая ходатайство влиятельных родственников, разрешаем некоторые послабления отбывающим каторгу...

– Дело не в том, – перебил царь. – Тебе лучше, чем кому другому, известно, сколько у нас сочувствующих бунтовщикам лиц и скрытых либералистов. Они же скончавшуюся жену государственного преступника почитают мученицей и чуть ли не святой... Прибытие праха Муравьевой из Сибири может взбудоражить народ, создать незаслуженное поклонение, усилить дух возмущения... Мертвые бывают страшнее живых!

Спустя некоторое время в дневнике Муравьева появилась запись: «Я получил официальный отказ от Бенкендорфа, по воле государя, в просимом дозволении перевезти тело Муравьевой из Сибири в Россию».

9

В армейских войсках, сначала в должности исполняющего обязанности начальника штаба Первой армии, а затем командира Пятого пехотного корпуса, Муравьев пробыл около трех лет.

Он знал, что для императора Николая и для его братьев высшим удовольствием были смотры и парады, не раз с возмущением наблюдал, как вместо боевых учений войска изощрялись в равнении шеренг и вытягивании носков, как издевались над несчастными нижними чинами командиры-солдафоны, однако только теперь в полной мере он увидел, до какого жалкого состояния доведены военные силы страны губительной николаевской казарменно-крепостнической системой.

В полках и дивизиях, которые Муравьеву приходилось инспектировать, люди от непомерных требований начальства и плохого питания выглядели истощенными и унылыми, не прекращались побеги, среди солдат участились случаи самоубийств.

Муравьев принимал деятельные меры к тому, чтобы исправить положение, пробовал бороться с равнодушием ближайших начальников, которых благосостояние людей, им вверенных, мало интересовало, требовал от командиров человеческого отношения к нижним чинам, но все его усилия были тщетны. Командиры, ссылаясь на жестокие уставные правила, старых привычек изменять не собирались.

Муравьев отменил в одной из своих дивизий наказание шпицрутенами молодых солдат, повинных лишь в слабом знании строевой службы, но военный министр Чернышов, узнав об этом, сделал ему строгий выговор и предложил впредь «своими порядками войск не портить».

Изменить положение мог только император, но его интересовала лишь одна показная сторона дела. Будучи приглашен им в Калугу на смотр резервного драгунского корпуса, Муравьев сделал с горькой иронией запись: «Государь воображает, что изобрел драгунскую службу, и говорит, что если бы корпус сей существовал во время Наполеона, то он не возвысился бы до такой степени, ибо войско сие легко могло обойти его армию и ударить в самое неожиданное время в тыл и во фланг неприятелю. При сем не принимается в соображение ни продовольствие войска, ни обозы, ни лазареты, ни множество других надобностей, без коих войско не может двигаться. Не принимается в соображение, что надобно иметь весьма плохого неприятеля, чтобы скрыть от него движение целого корпуса; что целый корпус спешенный составляет только один полк пехоты с короткими ружьями и что с истреблением половины полка сего пропадает и половина корпуса. Не подумали, что, как кавалерия, войско сие очень слабо, ибо не имеет пик, а только саблю и ружье, которое бьется за плечами и замками о луку седла; что ядро, пущенное в коноводов, собьет целый полк и люди останутся пешие, без ранцев и сухарей. Но государь думал, что уже отвратил все неудобства сии переменою цвета воротников, частыми разменами лошадей по шерстям из одного полка в другой, поделанием драгунам цветных поясков... Все преобразование драгун состояло в этом, и государь, видя себя изобретателем нового оружия, ожидает от сего покорения царств».

Что же оставалось делать Муравьеву? Закрывать глаза на горестную действительность? Превратиться самому в исправного фрунтового генерала? Нет, совесть его противилась такому решению вопроса...

Войска Пятого корпуса были расположены в нескольких южных губерниях. Большую часть времени Муравьев проводил в поездках и всякий раз возвращался домой все более мрачным. Наталья Григорьевна достаточно изучила характер мужа, знала, что он не любит прежде времени, пока сам не продумал и не решил того или иного вопроса, говорить об этом, но, видя, что сильное внутреннее беспокойство, охватившее мужа, не проходит, однажды, не выдержав, спросила встревоженно:

– Чем ты так расстроен, друг мой? Опять служебные неприятности?

– Они кажутся мне бесконечными, Наташа, – подойдя к жене и обняв ее, признался Муравьев. – Тяжело служить в войсках, где все делается не так, как должно, а ты видишь это и не в состоянии противодействовать...

– Почему же, что за странные такие причины тебе мешают?

– Застарелая язва отечества нашего, – вздохнул Муравьев. – Отжившая свой век система, за которую с наследственным пристрастием продолжает держаться ныне царствующий. Парадомания, бессмысленная муштра, напрасные истязания нижних чинов. Больно смотреть на все это! А в дивизиях начальники, царем подобранные, такие же, как он, парадоманы, попробуй убедить их в разумном. Стена глухая!

– Ну и что же ты думаешь, мой друг?

– Попробую послать императору докладную записку с изложением мнения своего об улучшении положения в армейских войсках, – сказал Муравьев и тут же с тяжелым вздохом добавил: – Хотя, признаюсь, зная характер и склонности Николая Павловича, надежды на него питать не могу. Но бремя, лежащее у меня на совести, сложить должно. Не могу иначе!

Больше к разговору на эту тему они не возвращались. А вскоре Муравьев был вытребован в Петербург. И Наталья Григорьевна, которой он доверял в свое отсутствие прибирать письменный стол и разбирать частную корреспонденцию, случайно из дневниковых черновиков его узнала о характере посланной государю докладной записки.

«Я исполнил священную обязанность свою, – прочитала она, – изложив все неудобства и бедствия, коим подвержены несчастные нижние чины, на коих обрываются все взыскания начальства, и меры, оным предпринимаемые для избежания ответственности в непомерных требованиях, наложенных на войска службою. Наконец, я коснулся самых любимых занятий государя и предложил умерить их или отложить на некоторое время, дабы дать время войску опериться, восстановить в оном дух, упавший от непомерных трудов и частых перемен, делаемых в армии, и множества таких предметов, в конце коих я излагал средства к исправлению всего этого... Государю, может быть, не случалось слышать таких объяснений, совершенно противных его образу мыслей, но мне необходимо было сие, ибо я считал обязанностью места, мною занимаемого, выразить мысли мои о всем виденном мною... Дабы он не заблуждался насчет мнимых сил его и принял бы какие-либо меры для сбережения несчастных солдат, толпами погибающих...»

Наталья Григорьевна долго сидела задумавшись. Она, может быть, более мужа ненавидела императора Николая, погубившего любимую сестру ее и причинившего столько мук и страданий близким и родным. Она видела царя в Москве, когда он приезжал сюда короноваться, и с душевным содроганием вспоминала болезненно пухлое, неприятное лицо с рыжими бакенбардами, жестоким чувственным ртом и тяжелым взглядом выпуклых глаз. Он не терпел никаких противоречий, он любил, чтобы все перед ним склонялось, сгибалось и трепетало. Какое же мужество нужно было иметь, чтобы, зная о неприязни к себе этого страшного человека, коронованного палача, осмелиться высказать ему в глаза неприятную правду?

В тот же вечер Наталья Григорьевна писала сестре Вере:

«Помнишь, дорогая моя сестра, наш разговор в Яропольце перед моей свадьбой? Твои опасения не оправдались. Николай Николаевич принадлежит к тем редким людям, возраста которых не замечаешь и которых чем больше узнаешь, тем больше любишь. Его благородство необыкновенно, его прямота и мужество изумительны, его отношение ко мне и к детям полно самых сердечных и нежных чувств, и я счастлива!»

... Возвратившись домой, Муравьев сказал жене:

– Представь, Наташа, царь прочитал мою записку и даже поблагодарил, что я столь откровенно высказался о состоянии армейских войск...

– Да что ты? – удивилась Наталья Григорьевна. – Вот уж чего никак не ожидала!

– Но все это, разумеется, чистейшее лицемерие. Мне не трудно было увидеть, что записка моя крайне ему неприятна. И я ни в чем его не уверил! – Муравьев достал из портфеля возвращенную ему записку с размашистыми пометками на полях, сделанными императором, и, передавая жене, продолжил: – Можешь познакомиться с его суждениями и убедиться... Он не имеет понятия в военном деле и утешает себя мнимыми совершенствами войск, упуская из виду то, что составляет самое важное. И до чего нестерпимо глупы его замечания. Ты вчитайся в них... Это же курам на смех!

– Я вижу, однако, здесь, – взглянув в бумагу, сказала жена, – и более сердитые пометки: «Вздор» и «Не подлежит суждению твоему!»

– А что же ему остается, кроме этих окриков, – усмехнулся Муравьев. – Я не раз при разговоре с ним пытался возвратиться к вопросам, затронутым в записке моей, и всякий раз

он уклонялся от сего...

– О чем же вы говорили?

– О всяких малозначащих пустяках. Его интересы, как обычно, ограничены смотрами и маневрами, служебными перемещениями и сплетнями...

– Зачем же тебя, друг мой, все-таки вызывали в столицу? Неужели только для того, чтобы вернуть записку?

– Самому причины вызова неясны. Положим, при нашей бестолковщине подобные бессмысленные гонки из конца в конец страны – явление довольно заурядное, но в отношении меня, весьма вероятно, имелся какой-то неосуществленный замысел...

– У тебя есть основания так думать? – с возникшим беспокойством спросила Наталья Григорьевна.

– Да. Что-то странным показалось сделанное мне государем неожиданное приглашение на предстоящие летние красносельские маневры... Зачем это я ему понадобился? И министр Чернышов, присутствовавший при этом, как мне показалось, изволил загадочно ухмыляться...

– А если тебе сказаться больными на красносельские маневры не поехать?

– Смысла нет. Подлость царь, если пожелает, везде найдет случай учинить, да и не люблю я голову под крыло прятать. Важней мне всего, Наташа, что долг свой перед отечеством и войсками я, как мог, выполнил, а царя не страшусь и милостей его не ищу!

Наталья Григорьевна прекрасно понимала, что мужу с его правилами и душевным благородством оставаться на тягостной военной службе недолго, и ей давно хотелось, чтоб он оставил ее. Она сказала:

– Может быть, тебе, друг мой, уйти в отставку? Покой дороже всего. Не забывай, что у нас есть Скорняково...

Николай Николаевич нахмурился:

– Скорняково принадлежит тебе и детям, а я, пока не выгонят, служить обязан, ибо никакого состояния не имею, а в нахлебниках ни у кого быть не хочу!

А как же он поступит, если его уволят с военной службы? Вопрос этот возникал сам собой и волновал Наталью Григорьевну, но она промолчала, не желая прежде времени вновь задевать болезненной чувствительности мужа. Может быть, все обойдется!

... Записка Муравьева, словно острая заноза в теле, долгое время мучила императора Николая. Он мнил себя создателем первоклассной, сильной боевым духом армии, все окружающие восхищались его необыкновенными глубокими военными познаниями, и вдруг этот ненавистный, строптивый, подозрительный по связям с бунтовщиками генерал осмеливается утверждать, будто войска находятся в самом бедственном состоянии! И, считая губительным для дела заведенный им, императором, порядок образования войск, предлагает изменить его, сократить учения и смотры и заниматься благосостоянием нижних чинов!

Император злобно морщился, выискивая возражения против доводов Муравьева, и вместе с тем сознавал, что это не так-то просто сделать. Невольно вспоминалась ему последняя война с Турцией, когда стотысячная русская армия на Балканах, которой он сам управлял, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, оказалась в боевой обстановке малоприспособленной,

потерпела немало позорных поражений... А если эта история повторится?

Отвергать все неприятные истины, высказанные генералом, нельзя. Но кто дал ему право всех критиковать и всех поучать? Как он смеет осуждать военную деятельность императора?

Сгоряча Николай хотел, вызвав Муравьева, проучить его при всех, как дерзкого зазнавшегося либералиста, и отрешить от должности, но затем отказался от этого замысла. Записка Муравьева более всего задевала самолюбие его императорского величества. Рождалось неодолимое желание посрамить, унижить ненавистного генерала, коего многие считают умным и талантливым военачальником, доказать всем, что на самом деле он обычный педант, неспособный ничем управлять, как недавно характеризовал его граф Паскевич.

Министр Чернышов подсказал императору возможность осуществить такое желание.

... В Петербург Муравьев прибыл за несколько дней до назначенных маневров. Император принял его необыкновенно приветливо. Позвал к обеду и на вечерний бал во дворец, сказал, что давно желал видеть его на маневрах.

А на следующий день министр Чернышов, вызвав Муравьева, объявил, что государь назначает его начальствовать на маневрах Петербургским корпусом.

Муравьев сразу заподозрил недоброе, насторожился, сказал:

– Благодарю государя за оказанную честь, однако опасаясь, что буду ошибаться, я никогда прежде на маневрах не был...

– Ну, на этот раз маневры никакой сложности не представляют, – проговорил министр и пояснил: – Суть дела сводится к следующему. Собранный в Гатчине условно называемый Белорусский корпус под командой генерала Ушакова, в коем государь начальником штаба, идет на Петербург. Войска Петербургского корпуса, собранные в Льгове, должны соединиться с идущим на подкрепление к ним Лифляндским корпусом под командой генерала Шильдера. Белорусский корпус имеет целью воспрепятствовать сему соединению и отбросить противника к морю.

– Насколько я понимаю, поражение вверяемого мне Петербургского корпуса предрешено и мне остается лишь погибнуть со славой?

– Ничего подобного, генерал. Вы получаете полную самостоятельность в действиях, составляете свой операционный план, используете все возможности, которые сочтете необходимыми для того, чтобы избежать поражения.

– Следовательно, я могу добиться и победы в маневрах? – недоумевая, спросил Муравьев.

– Разумеется, если вам удастся соединиться с Лифляндским корпусом где бы то ни было, но, конечно, в пределах, ограничивающих район общих военных действий. Вот вам высочайшее повеление, диспозиция и карта. Время имеется, можете осмотреть места предполагаемых действий и ознакомиться с вверяемыми вам войсками.

Муравьев никак такого оборота дела не ожидал. Что такое они задумали? Однако, узнав обо всех подробностях подготовки к предстоящим маневрам, понял, какую коварную игру и для чего затевал император.

Белорусский корпус, где всем распоряжался царь, был численно вдвое сильнее и шел на Петербург, обеспеченный от внезапного нападения. Стоявший в селе Кипень небольшой Лифляндский корпус, с которым Муравьеву нужно было соединиться, в первые же часы маневров неминуемо окружался превосходящими силами неприятельской кавалерии. Были предусмотрены и десятки всяких иных препятствий, исключавших возможность успешных

действий Петербургского корпуса.

Император не сомневался, что Муравьев будет побежден, и предполагал на третий день маневров окончательно разгромить его войска близ Петергофа, куда заранее для лицезрения красочного сего зрелища и военного триумфа его императорского величества приглашался весь двор и дипломатический корпус.

Предвкушая предстоящую победу и желая с наиболее выгодной стороны выставить свое военное искусство, император говорил о Муравьеве окружавшим его иностранцам как о сильном противнике и накануне маневров, представляя его каким-то прибывшим немецким принцам, сказал со злорадной ухмылкой:

– Этот генерал причинит нам много трудностей...

Итак, Муравьев обрекался на бесславное поражение, потерю военной репутации и вероятное смещение с должности командира корпуса за неспособность управлять им. Не в лучшем положении оказался бы он, впрочем, и в том случае, если б, преодолев все препятствия, вышел победителем. Существовали неписанные дворцовые правила, воспрещавшие обыгрывать императора на маневрах. Командиры противоборствующих войск, если даже они находились в выгоднейшем положении, обычно в последний момент «поддавались», обеспечивая царю успешное завершение маневров.

Муравьеву приходилось выбирать из двух зол меньшее. Он решил нарушить традиции, употребить все усилия, чтобы добиться победы, хотя и отдавал себе отчет в том, что после того нельзя будет и надеяться на продолжение службы: оскорбленный, озлобленный, мстительный император никогда не простит ему невиданного дерзкого поступка. А иначе поступить Муравьев не мог: нестерпимо противны были ему дворцовые порядки, нравы, интриги и ясно представляемая картина военного торжества мнящего себя полководцем невежественного царя-парадомана.

На маневрах назначались обычно посредники из старейших генералов, наблюдавшие за точным исполнением утвержденных царем правил и определявшие во время столкновения войск, которая сторона слабей и должна отступить. Посредником к Муравьеву назначили генерала Депрерадовича, бывшего начальника гвардейской дивизии, опытного царедворца, известного ограниченными способностями и совершенно глухого. Депрерадович и другие придворные, в том числе военный министр Чернышов и граф А.Ф.Орлов, встречаясь перед маневрами с Муравьевым, советовали ему с первого дня отступить через село Копорское к Бабьему Гону, близ моря, укрепиться там и удовольствоваться отбитием нескольких атак противника. Муравьев кивал головой и соглашался:

– Так, вероятно, и придется поступить. Позиция у Бабьего Гона кажется мне весьма выгодной.

Муравьев не сомневался, что все его слова, планы и намерения без промедления становятся известными императору, поэтому говорил только о том, чего делать не собирался. Математический ум, сообразительность, быстрая ориентировка в местности и в дислокациях своих и неприятельских войск позволили Муравьеву составить такой план действия, которого никак не предусматривали окружавшие царя штабные мастера парадомании...

В первый день маневров, оставив главные свои силы на Стреленском шоссе и заняв сильными пехотными частями нагорный берег, Муравьев привел авангард в Копорское. Император с легкой кавалерийской дивизией стоял против в селе Хейдемяки. После нескольких кавалерийских стычек Муравьев, чтобы подтвердить распространяемый слух о намерении отойти к Бабьему Гону, отправил по дороге туда четыре эскадрона драгун с двумя орудиями. Небольшие отвлекающие отряды были посланы туда же по другим дорогам. Расчет оказался верен. Император сейчас же послал кавалерию преследовать эти отряды. А

в сумерках Муравьев» проехав на ближайшую скрытую в мелколесье высоту увидел, как и ожидал того, что вся пехота Белорусского корпуса и артиллерия потянулись в сторону Бабьего Гона. При этом не соблюдалось никакой осторожности. Разъезды производились до такой степени оплошно, что казаки, посылаемые Муравьевым, без труда добывали необходимые сведения о движении неприятельских колонн.

Когда совсем стемнело, Муравьев, оставив в Копорском небольшой кавалерийский отряд, со всем остальным войском совершил внезапно отход назад, перебрался близ Красного Села через большую дорогу и на рассвете дислоцировал свой корпус на удобной позиции за Дудергофской горой.

Тут только генерал Депрерадович, которого возили в карете полусонного, сообразил, что Муравьев, говоривший о движении к Бабьему Гону, изменил план, и стал с раздражением обвинять его:

– Вы нарушили диспозицию, данную государем. Вам велено стараться соединиться с Шильдером, так зачем же вы ушли от него в другую сторону?

– Напротив, ваше высокопревосходительство, – спокойно отвечал Муравьев, – я не отдаляюсь от генерала Шильдера, а иду на соединение с ним.

– Где же вы с ним соединитесь, когда он теперь близ Петергофа?

– Разве вы о том имеете известие? Я же полагаю, что войска Шильдера вблизи нас...

– Вам все равно надобно идти к Петергофу, – упрямо твердил Депрерадович. – Государь сосредоточивает свои войска там, а здесь он вас не найдет, и вы этим нарушаете диспозицию.

– Никак нет, ваше высокопревосходительство. Государь сам предоставил мне право двигаться куда угодно, даже до Царского Села, и подтвердил, что я в любом месте могу соединиться с Шильдером...

– Ничего не понимаю, – развел руками Депрерадович. – Пятнадцать лет должность посредника исполняю и никогда не видел подобных маневров. Ведь в Петергофе готовится праздничное зрелище, а вы этим своим движением разрушаете все предположения государя. Не постигаю!

Между тем в Лифляндском корпусе, окруженном, что и предвиделось, неприятельской кавалерией, происходили следующие события. Перед самыми маневрами Муравьев, вызвав Шильдера, согласовал с ним точный план действий, приказав распускать слух, что войска Лифляндского корпуса якобы намерены прорваться через Гостилицу в Петергоф. В полночь Шильдер, как было условлено, приказал эскадрону гусар внезапно напасть на лагерь противника, там поднялась тревога, гусары поскакали к Гостилице, за ними направилась и неприятельская кавалерия, очистив Шильдеру нужную дорогу к Дудергофу, куда он благополучно ранним утром и прибыл. Цель была достигнута, маневры закончились полной победой Муравьева.

А в штабе Белорусского корпуса, где с большим опозданием сообразили, что произошло, царил страшный переполох. В одни сутки вместо трех предполагаемых маневры были закончены, и чем же? Случай невиданный и неслыханный! Император, проявивший непростительную беспечность и позорно упустивший из окружения целый корпус, обрушился с площадной руганью на своих командиров, обвиняя их во всех свершенных и несвершенных прегрешениях. Но, так или иначе, нужно было немедленно как-то поправить дело и продолжать маневры. К Муравьеву прискакал военный министр Чернышов. С трудом скрывая под маской светской любезности озлобление, он поздравил Муравьева с удачным

соединением войск, сказал, что государь искусным маневром доволен, и тут же добавил:

– Но теперь, мой дорогой генерал, нужно, как вы, надеюсь, сами понимаете, показать все же ожидаемое сражение больших масс войск для прибывших иностранных гостей и дипломатов...

– Что надлежит для того сделать, ваше сиятельство? – спросил Муравьев. – Оставить избранную мною позицию при Дудергофе?

– В этом необходимости нет, – сказал Чернышов, – государь решил направить сюда войска Белорусского корпуса, однако хотелось бы, чтобы вы уступили для них свою позицию, а вверенные вам войска дислоцировали на равнине, где государь будет атаковать их...

– Понимаю, ваше сиятельство, – усмехнулся Муравьев, – вы опасаетесь, что иначе сражению будет препятствовать государев сад, в сем месте находящийся?

– Вот именно, вот именно, дорогой мой генерал, – уцепился за подсказанную мысль Чернышов, чтобы скрыть неловкость просьбы об уступке удобной позиции царю. – Соединившись с генералом Шильдером, вы, согласно условию, можете считать себя победителем на маневрах, а дальнейшие действия и ожидаемое сражение – это уже статья особая...

– Судя по обстоятельствам, я так и понимаю, ваше сиятельство. Сейчас же прикажу войскам занимать указанную вами позицию.

Чернышов стал прощаться и с кислой миной на лице припомнил:

– А вы говорили мне, будто собирались отступить со своим корпусом к Бабьему Гону... Вы хитрец, генерал!

– Фельдмаршал Кутузов говаривал, ваше сиятельство, что в походе он своих мыслей не доверяет даже собственной подушке. Я был сдержан в разговорах, это диктовалось необходимостью.

– Что ж, это ваше право. Всего хорошего, генерал!

Муравьев только что успел перевести войска из-за Дудергофской горы на равнину и построить их на худшей позиции, как подоспела кавалерия Белорусского корпуса и по приказу царя с ходу яростно атаковала правый фланг.

Муравьев верхом на коне, сопровождаемый адъютантами, стоял на избранной им высоте и наблюдал в подзорную трубу за происходившим сражением. Войска вверенного ему корпуса действовали из рук вон плохо. Ведь это была все та же лишенная боевой инициативы, малоподвижная, воспитанная для парадов николаевская армия. Жалонеры занимали неправильные линии. Пехота без толку сгрудилась у переправ. Генералы суетились, приказывали стрелять из пушек куда попало. В свою очередь, не было порядка и в неприятельских войсках. Опытным глазом окинув местность, Муравьев невольно подумал о том, что достаточно было бы несколько эскадронов, чтобы внезапной контратакой откинуть и прижать к переправам неприятельскую легкую кавалерию и кирасир, теснивших правый фланг. И в конце концов, видя, что войска его корпуса смешались и вот-вот начнется паническое бегство, он не выдержал. «Я взял тогда четыре эскадрона из отряда Шильдера, оставшегося в резерве, – записал он, – и атаковал кавалерию, которую погнал назад, припирая к речке и переправе, причем сделался у них такой беспорядок, что все перемешалось: кирасиры с легкою кавалерией и с артиллерией. Я, забывши в эту минуту цель, для которой вывел войска с Дудергофской горы, едва не вогнал их всех в болото». Видя начавшийся разгром, император приказал ударить отбой. С красными пятнами на лице, едва

сдерживая злобу, выехал он вперед и приказал подзвать Муравьева. Императора окружали иностранцы, и при них обуревавшие его чувства приходилось сдерживать и говорить совсем не то, что хотелось.

– Я благодарю тебя за успешные действия, – отводя взгляд, сквозь зубы произнес он глухим голосом, – маневры считаю законченными, прошу войска отослать в лагерь для отдохновения...

Предположенные петергофские увеселения не состоялись. Гвардия возвратилась в Петербург. Толкам самым разноречивым не было конца. Император, потрясенный неудачей, неделю не показывался на разводах. Штабные генералы, по обыкновению, старались сваливать вину на подчиненных. Молодые офицеры, участвовавшие в маневрах, восторженно говорили о смелости и стратегическом искусстве Муравьева.

А он стремился как можно быстрее выбраться из столицы.

Отпуская его к месту службы, император сказал сдержанно и многозначительно:

– Ну что ж, Муравьев, поезжай с богом... На маневрах ты показал себя хорошим командиром, и меня, и всех перехитрил, а как в корпусе своем управляешься, на будущий год посмотрим... Готовься!

... Никаких иллюзий Муравьев не питал. Затаенная неприязнь императора была совершенно очевидной. И все дальнейшее произошло так, как можно было предвидеть.

Смотр войск Пятого пехотного корпуса состоялся на юге, близ Вознесенска. Муравьев уже при первой встрече с приехавшим царем отметил, как трудно скрывать ему свои неприязненные чувства, а по злорадным ухмылкам придворных догадался, что расправа с ним предрешена.

Император заметил, что в Минском полку «люди топают слишком крепкою ногою, а при становлении ружья к ноге стучат» и, проходя церемониальным маршем, в некоторых батальонах «солдаты потеряли равнение». Царь воспользовался для сведения личных счетов этими ничтожными причинами. Не дождавшись окончания смотра, он в раздраженном состоянии удалился в отведенную для него квартиру. И сейчас же вызвал к себе Муравьева.

– Полк ваш не дурен, – сказал царь и, сделав короткую передышку, возвысил голос, – нет, полк не дурен, а гадок, скверен, я в жизни моей такого не видел, хуже самого последнего гарнизонного... Какие отличия полк имеет? – задал он неожиданный вопрос.

– Георгиевские знамена и трубы за войну Отечественную, – промолвил Муравьев.

– Вот видишь! Значит, был когда-то неплох, а у тебя потерял всякий вид. Скоты, шагать разучились!

– Осмелюсь заметить, ваше величество...

Но царь слушать оправданий не стал. И, сам себя распаляя, продолжал гневно:

– Ты губишь мне корпус! Твоя голова, видно, набита чем-то другим, а не служебными интересами! Ты много пишешь, говоришь, поучаешь, а ничего не делаешь!

Гнев его с каждой фразой усиливался. Черты лица исказились. Губы дрожали. Вся столько времени скрываемая неприязнь нашла наконец-то выход. А Муравьев стоял молча, с окаменевшим лицом и не спуская глаз с царя, и эта выдержка, за которой чувствовалась непреклонная твердая воля, возбуждала еще больше бешенство императора.

– Я из тебя выблю мятежный дух, я тебе докажу, что я твой государь! – брызгая слюной и сверкая глазами, кричал царь. – Не думай, что я не могу без тебя обойтись, я не посмотрю на прежние твои военные заслуги, не посмотрю на данное мною тебе звание генерал-адъютанта...

Муравьев понимал, что возражать бесполезно, и не собирался этого делать, но тут как-то непроизвольно правая рука потянулась к золотой бахrome эполет, и, не узнавая собственного голоса, он промолвил:

– Я не домогался сего лестного звания и, если вам угодно...

Еще одно мгновение, одно судорожное движение руки, и тяжелые эполеты с царскими вензелями полетят к ногам взбешенного императора. Взгляды их скрестились в безмолвном, жестоком, смертельном поединке. Еще одно мгновение! И царь прохрипел:

– Ступай! Не хочу тебя больше видеть!

Муравьев был отрешен от должности командира корпуса, лишен звания генерал-адъютанта и удален со службы.[48]

10

Вопрос, который недавно еще так волновал Наталью Григорьевну, разрешился весьма просто. После удаления со службы Муравьев пробыл с семейством некоторое время у отца в Осташеве и, тяготясь непривычной бездеятельной жизнью, сказал однажды жене:

– Доходами с твоей скорняковской отчины, ты знаешь, пользоваться для себя не считаю возможным, однако я охотно бы туда переехал при некоторых условиях...

– Какие же это условия, друг мой? – заинтересовалась жена. – Я что-то должна сделать?

– Выдать мне полную доверенность на управление имением. Я не буду в таком случае даром есть хлеб и превращусь, по примеру батюшки, в добросовестного и образцового сельского хозяина...

– Так я буду очень рада, делай, пожалуйста, все, что найдешь нужным, я заранее соглашаюсь на все твои условия...

– Подожди, подожди, Наташа, выслушай с начала до конца, есть еще одно щепетильное дело, – проговорил он. – Тебе известно, что я всегда был противником деспотизма и рабства, и не мне на старости лет поступать против своих убеждений... Батюшка предлагал мне не разхозяйствоваться в Осташеве, но я отвергал сие, так как высвободить мужиков из крепостного состояния, чего я желаю, он опасается...

– Боже мой! – не сдержав переполнявших ее чувств, воскликнула Наталья Григорьевна. – И ты мог думать, что я буду тебе возражать в таком благородном деле? Неужели я похожа на помещицу? Право, ты меня обижаешь, дорогой...

Муравьев подошел к жене, молча благодарно обнял ее и крепко поцеловал.

Переезд в Скорняково вынуждался и некоторыми другими, неожиданно возникшими причинами. Появление в Москве попавшего в царскую опалу всем известного талантливого генерала вызвало у людей невольно сочувственное к нему отношение. Разговорам, сплетням

и слухам не было конца. И каждое неверно растолкованное или даже не сказанное им слово, дошедшее до тайной полиции, могло иметь для него дурные последствия.

Обер-полицмейстер Цинский, хорошо знавший Муравьева-старшего, встретив его, сказал прямо:

– Сына вашего, Николая Николаевича, многие полагают принадлежащим к оппозиции. Надо бы как-то рассеять невыгодные для него слухи.

Встревоженный отец передал этот разговор сыну и посоветовал:

– Сочини письмо ко мне, выразив в нем верноподданнические чувства... Я буду везде, где нужно, опровергать твоей эпистолой всякие превратные толки...

– Средство, вами предложенное, батюшка, не из новых, но я поступлю по совету вашему, многим легковверным письмо поможет связать языки, – согласился Муравьев. – Замечу, однако ж, что для правящих лиц образ мыслей моих, в письме высказанный, вряд ли будет свидетельством искренности моей, ибо они знают, что наружные уверения, мною им показываемые, – нисколько не означают душевного уважения к ним, чего они и не заслужили. [49]

Письмо, в котором Муравьев объяснял отцу, что удалился с военной службы лишь потому, что «не мог перенести мысли о потере доверенности государя» и что, «оставив военное поприще, он остался верноподданным его», было написано, но большого значения не имело. Не очень-то верил народ в преданность самодержцу опального генерала. В общественных собраниях показывался он редко и ничего предосудительного не говорил, зато часто видели москвичи, как и куда ездил он на оставшевской паре рослых гнедых рысаков, примечали и судачили:

– В Сокольниках в загородном доме Екатерины Федоровны Муравьевой, матери бунтовщиков, целый месяц гостил со всем семейством. И шурин Захар Чернышов с ними вместе, который на каторге был.

– Третьего дня генерала с братом Александром, коего недавно из ссылки возвратили, близ Донского монастыря видели, к Михаилу Федоровичу Орлову на свидание ездили...

– А вчера опять до поздней ночи на Пречистенке у генерала Ермолова пробыл, обсуждали, видимо, тайности какие-то...

Чиновник тайной полиции Кашинцев, которому поручен был строжайший надзор за Муравьевым, с ног сбился, отыскивая против него улики, и наконец, приехав к Муравьеву-старшему, прикинулся поклонником его сына, стал окольными путями выпытывать всякие подробности. «Батюшка был завлечен словами Кашинцева и Цинского, – записал Муравьев, – которые, действуя по приказанию своего начальства, льстили ему, не надеясь другим путем выманить меня для узнания моего образа мыслей. И такое изворотливое средство не давало ли мне повод думать, что под сим скрывалось другое намерение еще более погубить меня?»

Вся эта грязная полицейская возня так или иначе действовала удручающе, и невольно все чаще и чаще грезился Муравьеву зеленый, чистенький и тихий донской городок и где-то близ него, за синеватыми лесистыми холмами, привольно раскинувшееся родовое село жены.

В конце мая 1839 года Николай Николаевич с женой и детьми переселился на жительство в Скорняково.

... Царь Петр Первый некогда пожаловал за особое усердие сенаторскому обер-прокурору

Скорнякову-Писареву, одному из птенцов своих, пустопорожнюю землю и лесные угодья в верховьях Дона. Обер-прокурор перевел сюда мужиков из малоземельной тверской деревеньки, завел смолокурню и доходную по тем временам парусную фабрику, поставил деревянную церквушку на видном речном берегу. Так в сорока верстах выше Тешевой слободы, где проходила государева столбовая дорога из Москвы на Воронеж, возникло село Скорняково. Шестьдесят лет спустя Тешев переименовали в уездный город Задонск, а Скорняково перешло по наследству в руки известного екатерининского генерала Захара Чернышова.

К тому времени как скорняковская отчина выделена была из чернышовского майората Наталье Григорьевне, здесь числилось свыше пятисот душ крепостных, существовала небольшая ткацкая фабрика, рыбные промыслы, но главным источником дохода было хлебопашество. Господа сюда не ездили, всем бесконтрольно распоряжался управляющий из вольноотпущенных крестьян Мокей Гапарин, жестокий человек и хапуга, радевший только о своем хозяйстве и вконец разорявший крестьян. Село имело самый мрачный вид. Кособокие рубленые избенки, крытые гнилой соломой, утопали в непролазной грязи. Кое-как огороженные, плетнями дворы и огороды, замазанные глиной катухи, чахлые лозины, под которыми играли одетые в тряпье босоногие ребятишки, – всюду проглядывала неприкрытая бедность. Выделялись лишь недавно построенная каменная церковь да несколько кирпичных пятистенков, принадлежавших зажиточным мужикам.

Барская усадьба и сад находились в невероятном запустении. Небольшой деревянный дом хотя и был Гапариним к приезду господ отремонтирован, но низкие, тесные, полутемные комнатки с плохо оштукатуренными стенами действовали угнетающе.

Наталья Григорьевна, готовая к тому, что в деревне придется мириться со многими неудобствами, и мужественно, переносившая дорожные невзгоды, заколебалась:

– А может быть, друг мой, нам зимой оставаться здесь не стоит? Поедем к Захару в Тагин, он усиленно приглашает нас и так рад будет...

– Оставим пока этот разговор, Наташа, – промолвил Муравьев, – проживем лето, а там будет видно, как сложатся обстоятельства...

А на деревню между тем надвигалось грозное стихийное бедствие... Второй год центральные губернии поражала страшная засуха. В конце мая поля были сожжены солнцем. Предстоял опять голод. Помещики оставляли своих крестьян на произвол судьбы, заставляли кормиться мирским подаванием, но могли ли Муравьевы поступить так бесчеловечно и уехать из деревни, оставив людей в беде?

Вот первые записи, сделанные Муравьевым в Скорнякове:

«Скудная жатва, показавшаяся на полях, страшила уже поселян, как вдруг пожар в селе поразил всех ужасом. Это случилось ночью в конце июля месяца, когда весь народ был в поле. Надобно было выстроиться к осени, переселить несколько дворов, а всего, более поддержать упавший дух в народе. Я купил лесу, возил его в самую рабочую пору, и удалось мне к осени выстроить 33 двора, что сопряжено, однако, было с чувствительным уроном доходов моих и в состоянии крестьян, пострадавших от огня. Я выбрал несколько семейств самых малонадежных к исправлению, перенес их ближе к полям и снабдил лошадьми и орудиями для работ. Место, где я поселил их, представляло большие выгоды в том отношении, что им не надобно было далеко ездить на работу, как здешним, у коих поля в восьми верстах от селения. Но там не было воды. Первые усилия мои для добывания оной были тщетны, вода в колодцах не показывалась, но мы наконец нашли ее. Я еще усилил воду построением плотины, и поселение, названное мною Пружинскими Колодцами, сбылось...

Едва успели несколько укрыть погорелых в новых домах, как скотский падеж истребил в

несколько дней почти всех коров в селе. Лето было жаркое, все в полях засохло, и к тому присоединился смрад, распространившийся в воздухе от множества падали, которую небрежно зарывали.

А потом настала зима, зима холодная и без снега. Мы уже страшились лишиться семян, брошенных в землю осенью, и не имели достаточно продовольствия на зиму. Народ голодал. Надобно было выдавать хлеб в пособие. Толпы крестьян наполняли ежедневно контору; раздача производилась небольшими долями, чтобы была возможность продовольствовать их до новой жатвы. Помимо того, жена моя, руководимая одним движением сердца своего, раздавала ежедневно печеный хлеб крестьянам.

В течение всей зимы нас посетило новое бедствие: лошади, главное орудие крестьян, сталидохнуть; падеж продолжался с полгода и совершенно лишил нас сил к работе. Многие семейства обедняли до крайности, так что они не могут даже обрабатывать собственных полей. А с началом весны появилась горячка, и после того распространилась цинготная болезнь, от которой погибло много народа. Трудно было помогать людям по нерадению их в приеме лекарств. Я учредил два временных лазарета, в коих с пользой лечили больных и поставили на ноги многих изнеможенных до крайности болезнью. С появлением хорошей погоды болезни стали исчезать после больших опустошений, сделанных в отчине. Изнуренные, тощие люди на полуживых лошадях выходили в поле, где нужно было обращать более внимания на их собственные работы, чем на мои; не менее того лишь небольшая часть крестьянских полей осталась незасеянной... Я раздавал купленных лошадей крестьянам и при сем случае объяснял им, что они должны содействовать трудами своими предпринимаемым мною мерам для улучшения состояния их. Хотя они и сильно упали духом, но не могу сказать, чтобы в них нашел я какое-либо закоренелое упрямство. Уныние велико между ними, ибо смертность в народе не прекращается».[50]

При таких обстоятельствах задуманное освобождение крестьян пришлось на время отложить. Необходимо было прежде всего быстрее поставить их на ноги.

Мокей Гапарин, к общей радости, был уволен и заменен уважаемым крестьянами бурмистром. Ткацкая фабрика полностью переведена на вольнонаемный труд. Введена небольшая денежная оплата за барские работы. На Лебедянской ярмарке закуплено более ста лошадей и сорок коров, их раздали беднейшим крестьянам.

Все эти меры требовали средств, и на какой-либо доход с имения в первые годы не приходилось рассчитывать. Мало того, тратились последние скромные сбережения и деньги, приготовленные на постройку нового дома. Материальное положение Муравьевых неуклонно ухудшалось.

И все же подготовка к освобождению крестьян, что также требовало дополнительных затрат, продолжалась непрерывно. Дело было нелегкое. Особо учрежденный комитет, разрешая помещикам частичное освобождение крестьян, ставил при этом множество всяких препятствий. А крестьяне к господским планам об освобождении относились недоверчиво. Кто знает, не готовится ли им еще худшая участь? Приходилось долго и терпеливо разъяснять условия и договариваться о всяких подробностях.

В дворянско-помещичьей же среде всякая попытка дать волю мужикам вызывала яростное возмущение.

Ксизовский помещик Савельев, крупнейший землевладелец Задонского уезда, узнав стороной, будто Муравьев намеревается освободить своих крестьян, приехал в Скорняково. Савельев был вежлив, дипломатичен и, приглашенный в гостиную, начал разговор с жалоб на своих крестьян, избивших недавно приказчика и разграбивших амбар с господским хлебом.

– Да, случай, что и говорить, неприятный, – согласился Муравьев, – но, возможно, приказчик сам какими-то грубостями подтолкнул крестьян к бесчинству?

– Никак нет, почтеннейший Николай Николаевич. Зачинщики, схваченные полицией, признались, что они просто давно не ели чистого хлеба. Просто! Экие каналы, право!

Наталья Григорьевна, слышавшая разговор, не сдержалась:

– А можно ли строго обвинять голодных людей?

– Ах, дорогая Наталья Григорьевна, все это философия, и поверьте, я в молодости тоже либеральствовал, а в жизни все иначе. Начинается дело-то господской жалостью да поощрением мужиков, а кончается тем, что в один прекрасный день облагодетельствованные эти мужички с топорами и вилами на вас обрушатся! Вот-с, как оно в жизни бывает!

– Ну, а если с другой стороны вопрос рассмотреть? – сказал Муравьев. – Вам, кажется, в поощрении крестьян упрекать себя не приходится, и что же? Разве не может статься, что крестьянский бунт прежде всего вспыхнет именно у вас?

И Муравьев таким суровым взглядом окинул помещика, что тот невольно вздрогнул и заерзал в кресле.

– Помилуй бог! Страшно представить...

– Генерал Бенкендорф при мне однажды говорил, что крестьянские волнения более всего вызываются жестокосердием владельцев, – продолжал отчитывать Муравьев. – И даже в самых высших сферах, – поднял он для пущей убедительности палец, – раздаются благоразумные голоса, что лучше самим постепенно освобождать крепостных, чем дожидаться новой пугачевщины.

– Помилуйте, ваше превосходительство, как же это так получается? Отказаться от древних дворянских прав!

– Повторяю, попробуйте взглянуть на дело с другой стороны, – наставительно и строго произнес Муравьев. – Пора бы нашему дворянству отказаться от дедовских понятий и научиться мыслить в духе времени...

– Значит... простите, ваше превосходительство, за откровенный вопрос... слух, будто вы имеете намерение дать волю своим крестьянам, имеет основание?

– Это уж мое дело, я никому отчетом не обязан, – холодно отозвался Муравьев. – Но вам, как земляку и соседу, советовал бы собственного благополучия ради впредь быть более осмотрительным в отношениях со своими крестьянами...

– Да, видно, придется теперь с мужичонками ухо держать остро, – заключил, вставая, Савельев, – И если в высших сферах... оно, конечно, там виднее... хотя странно, весьма странно!

Наталья Григорьевна, проводив гостя, вздохнула с облегчением:

– Боже мой, какой дурак, да еще и подлый!

... В августе 1840 года скончался отец. Сыновья собрались в Осташеве. Имение по общей договоренности отходило к Александру, который обязывался выплачивать известные суммы младшим братьям. Николай Николаевич от наследства отказался.

– Зачем мне формуляр портить? – сказал он с легкой иронической усмешкой. – Движимого и

недвижимого имущества я никогда не имел, существовал на то, что получал за труды свои, так и дожить желаю.

Тогда Александр предложил:

– Возьми в таком случае, как драгоценную память о покойном батюшке, его библиотеку...

От такого дара Николай Николаевич отказаться не мог. Библиотека отца, которая с любовью собиралась им всю жизнь, состояла из редчайших изданий старинных русских книг и сочинений французских энциклопедистов, тщательно подобранных произведений художественной, военной, социально-экономической; политической, философской литературы. Этой библиотекой пользовались некогда воспитанники созданной отцом московской школы колонновожатых, из среды которых вышло столько известных деятелей тайных обществ. Книги были перевезены Муравьевым в Скорняково и присоединены к тем, что собирались им самим, составив одну из лучших частных библиотек того времени, насчитывавшую около десяти тысяч томов.

Приятны были для Николая Николаевича беседы в Осташеве с братом Александром. Хотя тюрьма и сибирская ссылка, а более того воздействие жены заставили Александра отойти от политической деятельности и больше заниматься нравственным самоусовершенствованием, ничто не могло изменить его антикрепостнических взглядов.

Весной 1841 года Александр Муравьев освободил от крепостной зависимости первую партию осташевских крестьян, сто душ, щедро наградив их земельными наделами без всякого выкупа. В то же время Николай Муравьев составил первый список на освобождаемых скорняковских крестьян, переселенных перед тем на удобные земли, где возникло таким образом два новых поселка – Ивовское и Пружинское.

Вручение отпускных бумаг происходило в Ивовском поселке, куда собрались и крестьяне из Пружинок. Был конец августа, теплый и мягкий. Урожай в том году выдался хороший, и уборка закончилась, воздух был пропитан запахом свежеспеченного хлеба и поспевавших антоновских яблок.

Муравьев приехал сюда вместе с женой. Крестьяне, без шапок, в новых рубахах и лаптях, в полосатых холстиновых портах, толпились у избы старосты, с молчаливым любопытством наблюдая за тем, что навсегда должно было изменить их жизнь. Тут же находились старый скорняковский священник отец Елисей, межевые и земские чиновники и становой пристав. На крыльце помещался накрытый скатертью стол, лежали стопкой на подносе отпускные свидетельства.

Муравьев обратился к собравшимся крестьянам с краткой речью, поблагодарил их от имени владельцев за долгие годы безропотного труда, пожелал, чтоб в новом своем состоянии они стали жить более счастливо. Потом отец Елисей отслужил благодарственный молебен. Староста в легкой синей поддевке и скрипучих сапогах, разгладив бородку, вышел вперед, стал вызывать освобождаемых по списку.

Глядя, как вчерашние рабы становились свободными гражданами, Муравьев переносился мыслями во времена своей бурной молодости. Виделись ему вечера в доме генеральши Христовской, собрания членов Священной артели, и, словно в тумане, вырисовывались лица Никиты Муравьева, Бурцова, Якушкина, Трубецкого, Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов... Сколько жарких речей, сколько гневных слов высказано было против самодержавного произвола и позорного крепостного рабства, и как верилось тогда в возможность быстрого изменения существующего порядка вещей! Нет, не сбылись надежды, самодержавие жестоко расправилось с теми, кто дерзнул посягнуть на его вековые устои, но не исчезли бесследно их труды и страдания, жизнь все более подтверждала необходимость выдвинутых тайными обществами преобразований, прежде всего безотлагательность

уничтожения крепостного права, и правительство вынуждено было в какой-то степени считаться с этим...

И ему, Муравьеву, одному из создателей первых тайных обществ, случайно среди немногих уцелевших от царской расправы, приятно было сознавать, что он, несмотря ни на что, остался верен нравственным правилам, существовавшим в Священной артели, и принимал теперь, пусть в ограниченной сфере, прямое участие в великом деле освобождения несчастных своих соотечественников...

Когда возвращались домой, он сказал жене:

– Пусть нам будет тяжелей в материальном отношении, пусть негодуют на нас соседи-помещики – все это ничто, Наташа, по сравнению с душевным теплом, согревающим нас при совестливом исполнении долга!

Она взяла его руку и, нежно пожав, прижала к сердцу. Они были довольны и тем, что свершилось, и тем, что испытывали одни и те же ощущения, и тем, что любят друг друга. И ставшие влажными глаза их светились радостным блеском.[51]

Часть V

Ты великий пример для мыслящего человека, восхищаюсь тобой, любезный брат. Ты честь приносишь человеку! Ты, друг мой, служишь мне примером, лишь бы исполнить по совести долг свой, а там что будет, то будет... Скажу, как и ты: ведь мы порождение 1812 года. Теперь этого не понимают. Чувство любви к Отечеству погасло. А вот опять оно пробудится, ибо в летаргии не навсегда останется. Мы не увидим того, что потомки, что дети наши увидят. Россия будет опять славна! Декабрист Александр Муравьев.

1

Сороковые и пятидесятые годы прошлого века справедливо называют самой глухой порой николаевской реакции. Профессор Московского университета известный историк С.М.Соловьев засвидетельствовал:

«По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугой, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале; Россия предана была в жертву преторианцам; военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять, и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, ум, все, что мы называем дарами божьими, не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарились невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки. Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Все делалось напоказ, для того чтобы державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Все в порядке!» Отсюда все потянулось напоказ, во внешность, внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах – и здесь было все хорошо, все в порядке; а что было дальше, туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно,

воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Больше ничего не спрашивалось. Терпелись эти заведения, скрепя сердце, для формы, напоказ, чтобы-де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы – народ образованный»[52].

Действительное положение дел в стране как будто никого не интересовало. Придворные раболепствовали перед императором. Казенные писаки прославляли его как великого монарха. Чиновники, холопствуя перед начальством, рисовали все в розовом свете. Тайная полиция, словно чудовищный спрут, распустила всюду свои щупальца, жандармы хватили всех подозрительных критиков и либералистов, искореняя «бесплодные и пагубные мудрствования» в народе. Крепостные казематы и тюрьмы были переполнены.

Но к чему приводило сохранение самодержавно-крепостнического строя? Производство хлеба и сельскохозяйственной продукции крепостным трудом из года в год уменьшалось, развитие промышленности задерживалось, вывоз обычных экспортных товаров за границу сокращался, финансы приходили в расстройство. А жестокие меры, принимаемые для сохранения существующих порядков, вызывали озлобление народа, нарастание протеста против произвола и насилия, создание в среде передовой дворянской и студенческой молодежи политических кружков, готовившихся к борьбе с самодержавием.

Шеф жандармов Бенкендорф провозглашал с пафосом:

– Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается будущего, оно выше всего, что только может представить себе самое пылкое воображение!

Но сам-то шеф жандармов превосходно знал, как далек он от истины. В 1840 году в секретном отчете царю о политическом состоянии империи Бенкендорф писал:

«Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим... Весь дух народа направлен к одной цели, к освобождению... Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же и что ныне составилась огромная масса беспоместных дворян из чиновников, которые, будучи воспалены честолюбием и не имея ничего терять, рады всякому расстройству... Мнение людей здравомыслящих таково: не объявляя свободы крестьянам, которая могла бы от внезапности произвести беспорядки, можно бы начать действовать в этом духе. Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в том все согласны».

Император Николай, боясь потрясений в государстве, издал указ, предоставляющий право помещикам, «которые сами сего пожелают», частичного освобождения своих крестьян. Указ этот, однако, оказался бездейственным. Таких гуманных помещиков, как братья Александр и Николай Муравьевы, было немного. За все тридцатилетнее царствование Николая из 10 миллионов крепостных получили волю лишь 24 тысячи.

Меры, направляемые на развитие отечественной промышленности, тоже не оправдывали надежд, труд крепостных рабочих отличался такой низкой производительностью, что все планы неизменно рушились.

А тем временем в Западной Европе, прежде всего в Англии и Франции, бурно развивавшийся капитализм резко усиливал создание материальных ресурсов, и это обстоятельство все более изменяло международную обстановку. Борясь за новые рынки сбыта, английское правительство стремилось всячески упрочить свое влияние в Турции и на Балканах, в Средней Азии и на Кавказе, всюду сталкиваясь с русскими интересами. В 1839 году возобновилась распря между турецким султаном Махмудом и египетским пашой Муххамедом-Али.

Старик Нессельроде осмелился предложить императору:

– Может быть, ваше величество, сочтете возможным опять сию затруднительную миссию примирения возложить на генерала Муравьева?

Император побагровел и вспылил:

– Не смей мне напоминать об этом своевольце и крамольнике! Слышишь?

Турецкие войска были египтянами разбиты. Султан Махмуд внезапно от неизвестных причин скончался, а его сын Абдул-Меджид, по внушению окружавших его англичан, обратился за помощью не к России, как обязывал его Ункиар-Искелесский договор, а к представителям всех великих держав в Стамбуле. Император Николай вынужден был согласиться на «коллективную защиту Турции» и отказаться таким образом от преимуществ, достигнутых в Ункиар-Искелеси семь лет назад после успешной миссии Муравьева. Лондонской конвенцией права черноморских держав были ограничены, русский военный флот заперт в Черном море. Турция фактически оказалась в зависимости от Англии. Император Николай потерпел крупнейшее дипломатическое поражение.

Неудача постигла его и при попытках утвердить свое влияние в Средней Азии, для чего задумано было завоевание Хивы. Посланный туда экспедиционный пятитысячный корпус попал в снеговой буран и вынужден был возвратиться, потеряв большую часть людей.

Тревожное положение складывалось на Кавказе. У горцев появился предводитель, имам Шамиль, которому удалось, используя остальные горские народы, разжигая их религиозный фанатизм, создать боеспособные отряды и укрепиться в Дагестане и Чечне. Шамиль объявил «газават» – священную войну против неверных, его последователи – мюриды сеяли ненависть к русским, зверски расправлялись с горцами, вступавшими с ними в сношение или не желавшими подчиняться Шамилю.

Английские агенты не замедлили использовать Шамиля и его мюридов в своих корыстных целях: может быть, удастся с помощью мюридов прибрать к рукам каспийские нефтеносные берега. Англичане, выказывая себя друзьями мюридов, стали тайно снабжать Шамиля оружием и боевыми припасами, заставили его признать верховным повелителем находившегося под их влиянием турецкого султана.

Борьба с Шамилем превращалась в войну за целостность отечественных границ. А войска Кавказского корпуса, состоявшие под начальством ставленников императора – бездарных и невежественных фрунтоманов с немецкими фамилиями, – все более теряли боевой дух, вынуждены были отступить под натиском Шамиля.

Алексей Петрович Ермолов, живо интересовавшийся кавказскими делами, писал в ноябре 1844 года из Москвы Муравьеву:

«О Кавказе здесь различные слухи, но все не весьма хорошие... На место вождя, по известиям из Петербурга, назначают Герштейцвега, которого ты лучше знаешь и который скорее, может быть, познакомится с солдатами делами своими, нежели именем. Есть молва и о генерал-квартирмейстере Берге, которого я совершенно не знаю. Но сему назначению многие не верят. Нет ли неизвестного нам пророчества, что Кавказ должен пасть пред именем немецким? Надобно попасть на него!.. У нас, старожилков Кавказа, на уме ты, любезный Николай Николаевич; но, видно, мы глупо рассуждаем, ибо не сбывается по-нашему. Впрочем, когда говорят мне о происшествиях на Кавказе, говорят о стране неизвестной, до того все изменилось там».[53]

Муравьев проживал в Скорнякове и о возможности продолжать службу на Кавказе не думал. Но когда он в конце того же года по обыкновению навестил в Москве Алексея Петровича, тот

сказал ему:

– Я за верное знаю, что Николай Павлович приходит в отчаяние, получая горькие вести с Кавказа, и озабочен тем, кого бы послать туда, а я продолжаю думать, как, впрочем, и многие другие, что лишь ты один мог бы выправить там положение...

– Мне кажется, почтеннейший Алексей Петрович, – возразил Муравьев, – что у вас опыта в кавказских делах куда больше, чем у меня!

– Меня поминать не стоит, – махнул рукой Ермолов, – мне, братец, седьмой десяток доходит, сил прежних нет, я и сам не согласился бы, да и царю назначить меня немислимо...

– Но вам же известно, за что я восьмой год в опале?

– Известно, – кивнул головой Ермолов и вдруг захлебнулся в неудержимом смехе. – Нет, ей-богу, у меня прямо колики делаются, как только представлю себе сию картину... как ты его величество в болото загнал... Надо же додуматься!

– Позвольте заметить, Алексей Петрович, – вставил Муравьев, – что не одно сие действие вызвало ненависть государя, не менее того повредила мне поданная записка, в коей я, противореча всем склонностям и образу мыслей его, доложил о причинах дурного состояния российских войск.

– Знаю, знаю об этом, любезный Николай, – подтвердил Ермолов. – Однако ж и царям иной раз приходится при назначениях считаться с достоинствами назначаемых, а не с личным отношением к ним. Покойный Александр Павлович меня за колкости и противоречия терпеть не мог, а полным генералом сделал и огромные дела доверял! Взгляни-ка попробуй на всех бывших в последнее время главнокомандующих кавказских и на тех, кои имеются в виду на сию должность... Разве ты не чувствуешь себя способней их!

– Что в том толку, хотя бы и так, – вздохнул Муравьев.

– Так ведь твои неоспоримые достоинства не только нам, но и высоким особам ведомы. – подчеркивая последние слова, сказал Ермолов. – Ты же кроме дарований своих над всеми этими Герштейцвегами и Нейдгардтами еще одно великое преимущество имеешь: железную волю и непреборимое терпение, против которых ничто устоять не может. Я знаю, что ты в походе ведешь жизнь солдатскую, а с сухарем в руке и луковицею, коими ты довольствуешься, наделаешь таких чудес, какие им и не снятся. Никто из них самоотвержением, подобным твоему, не обладает.[54]

– Так чего же вы от меня ожидаете?

– Ожидаю, что, как верный россиянин, ты от службы, полезной отечеству, уклоняться не станешь, ежели случай к тому представится.

Муравьев, недоумевая, посмотрел на Ермолова, пожал плечами:

– Простите, почтеннейший Алексей Петрович, в моем положении я не усматриваю возможности для подобного случая.

– Открою тебе маленький дворцовый секрет, – прищурился привычно Ермолов. – На днях не кто иной, как Алексей Федорович Орлов, заменивший ныне недавно скончавшегося графа Бенкендорфа, высказался за твое назначение на Кавказ... Как на сие государь посмотрит, судить не берусь, но ходатай за тебя могущественный! Понял?

– Ну и пусть сами вопрос решают, – с упрямой ноткой в голосе произнес Муравьев, – я от полезной службы не откажусь, а навязываться ни царю, ни богу не собираюсь...

– Того я не мыслю, любезный Николай, чтобы тебе навязываться, характер твой, слава богу, мне известен, а будучи в столице, я бы на твоём месте Орлова повидал... Ерепениться не надо, дело сие небесполезное! Вот мой сказ.

Муравьев ермоловским советом не пренебрег, навестил нового шефа жандармов в Петербурге. Орлов принял его как старого приятеля и после первых взаимных приветствий подтвердил:

– Я говорил государю, что, по моему мнению, тебя следовало бы назначить командующим на Кавказе, но государь о тебе и слышать не захотел...

Муравьев вздохнул и промолчал. Орлов добавил:

– А виноват ты сам. Нечего умничать. Тебе давно надо бы подать прошение о службе...

– Помилуйте, Алексей Федорович, мог ли я поступить таким образом, зная, что исключением из генерал-адъютантов лишен доверия царского, – возразил Муравьев. – Могу ли я благоразумно переломить нынешний род жизни моей и приняться за службу, находясь на подозрении у государя?

– Да ведь тебя просить не будут, этого не ожидай! – с неожиданной резкостью перебил Орлов. – У тебя имелось достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение, изъявить государю чувства покорности, и все бы устроилось...

Муравьеву стало ясно, чего от него хотели. Полной покорности! Отказа от свободомыслия! Превращения в придворного холопа! Невольно представилась ему виденная недавно в Задонске стайка воробьев, которым ребята из озорства подрезали крылья. Воробьи не летали, а, чуть приподнявшись в воздух, падали и кувыркались в пыли. Страшная картина! И Муравьев тогда еще подумал, что император Николай, ненавидевший всякое проявление свободомыслия в людях, вероятно, желал бы, чтобы его верноподданные жили с подрезанными крыльями, кувыркались подобным образом, и пресмыкались перед ним... Нет, от него того не дождутся! И, облакая свой отказ служить в тонкую дипломатическую форму, он проговорил:

– Коль скоро я не увижу знака доверенности ко мне от государя, я в службу вступать не располагаю!

На холеном лице Орлова собралась надменная и презрительная гримаса.

– Как вам угодно. Но повторяю: приглашений не будет, не ждите!

Муравьев откланялся. Наместником на Кавказе был вскоре назначен Воронцов. А Муравьев, закончив свои дела, поехал опять в Скорняково, где ждали его жена и дети, и скромные семейные радости, и ставшие привычными занятия, столь далекие от казенных служебных интересов.

... Однако на обратном этом пути в Москве, где он предполагал пробыть один день, произошло нечаянное событие, которое задержало его здесь и вывело из душевного равновесия. Муравьев случайно познакомился с князем Львовым, мужем Наташи Мордвиновой, и тот любезно пригласил его посетить их. Муравьев двадцать пять лет не видел Наташу, потускневший образ ее хотя и всплывал иной раз в памяти, но представлялся каким-то далеким воздушным видением, никаких волнений и желаний не вызывая. Муравьев был счастлив в семейной жизни, душевная умиротворенность его ничем не расстраивалась, прошлое с каждым годом все более затягивалось туманной дымкой, не оставляя сожаления.

И вдруг это приглашение... Он необычайно смутился. Словно раскаленной иглой дотронулись

до зажившей давно раны, и она чувствительно отозвалась и заныла. Снова нахлынули откуда-то из небытия и захватили его сладостные и грустные воспоминания. Наташа! Она представлялась такой, какой была тогда... на Лебедином острове, на танцах у Мордвиновых, в полутемной передней, где впервые обменялись они несмелым поцелуем... И эти тени прошлого неотступно преследовали его и бередили душу. Он пробовал благоразумными доводами убедить себя, что не стоит воскрешать прошлого, что встреча с Наташей ничего не принесет, кроме горечи разочарования. Ведь ей, как и ему, пятьдесят лет! Однако никакие самовнушения не подействовали, с неудержимой силой захотелось ему увидеться с той, которой отданы были мечты и чувства всех юных лет...

И вот он в гостиной у Львовых. Князя не было дома, обещала принять княгиня. Но она что-то задерживалась. Муравьев, с трудом сдерживая волнение, заложив руки за спину, ходил по комнате. Сейчас она войдет... Какой она стала? Узнает ли он ее?

Уловив какой-то неясный легкий шорох, он вздрогнул и повернулся к прикрытым тяжелыми бархатными портьерами дверям во внутренние комнаты. У порога стояла и с любопытством смотрела на него Наташа, прежняя, юная, синеглазая...

Он совершенно растерялся от неожиданности и мучительно покраснел. Возможно ли, чтобы она так сохранилась? Что за наваждение? И только когда она заговорила, догадался, кто перед ним.

– Мама просила извинить ее... Она почувствовала внезапную дурноту и легла в постель...

– Что с ней такое? – пробормотал он, приходя в себя. – Может быть, нужен доктор?

– Не беспокойтесь, я дала сердечные капли, которые она в таком случае принимает. Ей надо лишь денек полежать. Но она просила передать, чтобы вы не уезжали из Москвы, не повидав ее, она будет послезавтра вас ждать. Непременно, непременно приезжайте!

Последние слова произнесла она с такой милой непосредственностью, что стала еще более похожа на мать, и Муравьев невольно улыбнулся:

– А вас как зовут, прелестная барышня?

– Верой.

– Вы удивительно похожи на свою мать... Прямо вылитая она в молодые свои годы!

– Мне все об этом говорят, – улыбнулась Вера, – хотя мама утверждает, что в семнадцать лет она была немного полней и ниже ростом...

– Пожалуй, с этим можно согласиться... Так скажите маме, милая Вера, чтоб она быстрее поправлялась, я не премину навесить ее, питая надежду в следующий раз найти ее в добром здравье...

Приехав к Львовым вторично, он встречен был самой Натальей Николаевной. Годы, разумеется, не прошли для нее бесследно, она располнела, под глазами легли морщины, засеребрились волосы... Но черты лица ее, улыбка, мягкий грудной голос оставались прежними, и он, забыв все на свете, глядел на нее чуть повлажневшими глазами и не мог наглядеться. И Наталья Николаевна не скрыла, как приятно ей это свидание, она призналась, что прошлый раз, увидев, как он поднимался по лестнице, так сильно взволновалась, что упала и ушибла голову.

– Я просто до слез расстроилась, – добавила она, – что не смогла принять вас...

– Печальный случай с вами доставил мне, однако ж, счастливое знакомство с

очаровательной дочкой вашей. Я видел в ней вас, и это было невыразимо приятно.

– Я понимаю вас, добрый друг мой, – с легкой грустью промолвила она. – И мне давно хотелось встретиться с вами, дружески поболтать. Ведь чувства, связывавшие нас в молодости, не забываются. Правда... Николенька?

Она почти шепотом произнесла его имя, которым прежде называла, и он, не удержавшись, схватил ее руки и покрыл их поцелуями. Потом сказал взволнованным глухим голосом:

– Все-таки... было что-то неестественное, чудовищное в том, что мы не могли соединиться...

– Не будем гневить бога, – вздохнула она, – прошлого не вернешь, рассказывайте, как живете, счастливы ли в семействе своем?

В Москве пробыл Муравьев две недели и Львовых посещал не раз. Он рассказал об этом в одной из черновых записей. Видно, всколыхнувшееся старое чувство давало себя знать ощутительно. Но в «Записках», подготовленных для печати, не желая вызывать напрасных подозрений у ближних, он укрыл истину под нарочито сухими и туманными строками: «В бытность мою в Москве я увиделся после 25 лет с Натальей Николаевной... Все приемы ее, черты лица, все тут было и напоминало ее в образе молодых лет. В сих сотрясениях поверяется неизмеримость и мгновенность времени, таинственность наших душевных влечений».

2

Судя по дневниковым записям и переписке с родными и друзьями, долголетняя, почти безвыездная жизнь в Скорнякове была для Муравьева самым счастливым временем в жизни.

Построенный им из тесаного камня новый двухэтажный дом стоял на взгорье, и с балкона открывался чудесный вид на неширокую в этих местах, но быструю и чистую реку с золотыми отмелями и на полевые просторы Придонья. А с другой стороны терраса, обвитая густым диким виноградом, выходила из дома прямо в сад, за которым начинался сосновый лес. Библиотека помещалась в особом каменном флигеле. Там же Муравьев устроил и свой кабинет, где всюду со стен смотрели лица близких его сердцу людей, и среди них видное место занимали писанные масляной краской портреты Никиты Муравьева и А.С.Пушкина. А в углу, у стены, стояла самая драгоценная реликвия – старинное бюро из красного дерева, некогда принадлежавшее сочинителю и поэту Михаилу Никитовичу Муравьеву, а затем его сыну Никите, который за этим бюро писал революционный катехизис и первую российскую конституцию декабристов. Никита скончался в сибирском изгнании, и мать его, Екатерина Федоровна, подарила бюро Николаю Николаевичу, как лучшему и верному другу сына.[55]

Муравьев любил уединяться в кабинете, здесь готовил он книгу о путешествии в Турцию и Египет, приводил в порядок дневниковые записи и, говоря на десяти языках, продолжал изучать еще латинский и еврейский.

Но большая часть его времени уходила на дела по управлению жениным имением и на всякие изыскательские и опытные работы, которыми он увлекался. Николай Николаевич производил археологические раскопки близ Скорнякова, устраивал искусственное орошение, сажал леса, помогал крестьянам разводить домашние сады.

Брат Александр, приезжавший в Скорняково, восхищался его неутомимой энергией,

хозяйственными успехами и полным семейным согласием.

«Ты прекрасно делаешь, любезный брат, – писал Александр в одном из писем, – что сажаешь деревья, чрезвычайно приятно производить хорошее во всех родах. Это входит в цель нашего бытия на земле».

Сельскую тихую и размеренную жизнь Муравьев всегда предпочитал беспокойной жизни в шумных городах. Ему полюбились привольные придонские места, он безотчетно наслаждался природой, легким утренним туманом над рекой, грибной свежестью в лесу, нежными летними закатами и золотым осенним листопадом.

И все же жизнь Муравьева в Скорнякове не была безоблачной идиллией. Демократический сентиментализм в духе Жан-Жака Руссо, свойственный Муравьеву, пленивший его еще в юные годы, в соприкосновении с действительностью дал небольшую трещинку. Муравьев не мог не заметить, что гуманизм и благожелательнее отношение отдельных лиц к крестьянам насущных вопросов их жизни решить не могли. Муравьева радовало, что, сделавшись вольными землепашцами, скорняковцы жили теперь несколько лучше; и вид села становился более приглядным, и отношения с крестьянами у него налаживались добрые, но старосты и приказчики продолжали, если не открыто, то тайно притеснять мужиков незаконными поборами, крепкие хозяева гнули в бараний рог маломощных, и каждый даже небольшой недород, который случался почти ежегодно, отражался на деревне самым бедственным образом. А о соседних селах и деревнях нечего и говорить, там по-прежнему царили ужасающие рабские порядки и удручающая неизбывная нищета. Деревенский дневник Муравьева полон горькими заметками: «Бедные крестьяне изнемогают под бременем несчастий... Появившаяся от плохого питания цинготная болезнь свирепствует во всех окрестностях, производя страшные опустошения. У нас в марте умерло 25 душ, а в одном из соседних казенных селений жители семи дворов вымерли до последнего. Ужасны страдания народа. Пособия, делаемые мною больным, недостаточны».

Требовалась не частная помощь, а широкие государственные преобразовательные реформы, на что надеяться не приходилось. Правительство хотя и было обеспокоено крестьянским вопросом, однако от проведения коренных мер для его разрешения явно уклонялось. Правящие лица, следуя примеру императора, старались не замечать неприятных явлений и морщились при любом намеке на них.

Когда после трех неурожайных лет в Воронежскую губернию, пострадавшую особенно сильно, прибыл обследовать положение генерал Исленьев, он, посетив лишь несколько богатых поместий, составил обо всем совершенно превратное мнение. На обратном пути Исленьев остановился в Задонске. Муравьев, знавший его, приехал сюда повидаться с ним и высказать правду. Но что из этого получилось? Муравьев записал: «Исленьев восхищался богатством и благоустройством сельской земледельческой промышленности нашей губерний. Я говорил ему, сколько она пострадала от трех годов неурожая, но он не находил сего и, вероятно, в таком виде передаст и в Петербург ошибочные понятия свои. И в самом деле, что могут видеть и о чем могут судить темные люди сии, никогда не выезжавшие из столиц, проскакавшие по большим дорогам и проспавшие большую часть пути, ими сделанного? Что они знают о богатстве края, о земледелии? А между тем мнения их будут служить руководством правящим в столице властям».

Такого правдивого и чувствительного человека, каким был Муравьев, все это, конечно, не могло не волновать. Рассказывая о встрече с Исленьевым жене, Муравьев негодовал:

– В нашем уезде крестьяне едят хлеб из мякины с лебедой, вымирают от болезней, скотоводство в три раза сократилось, половина хат без крыш стоит, от нищих отбою нет, я ему обо всем этом говорю, а он и ухом не ведет! Потом глубокомысленно изрек: «Печальные явления сии, полагаю, не от чего иного происходят, как от лености и распущенности народа,

но, слава богу, на цветущем состоянии губернии они не отразились». Чего же, спрашивается, доброго можно ожидать, если подобные доверенные особы правды видеть не хотят?

– Что же ты удивляешься? – заметила Наталья Григорьевна. – Ведь мы живем в стране бесправия и рабства... Не ты ли сам утверждал, что там, где власть правителя ничем не обуздана и где одни пороки его управляют царством, там ничего доброго быть не может, каждый гражданин там раб...

– Это когда же и где я утверждал? – удивился Муравьев.

– В своей книге о путешествии в Хиву. Могу достать, если запомятовал.

Николай Николаевич качнул головой, улыбнулся:

– А ведь в самом деле, Наташа, высказанные тогда крамольные мысли не так уж далеки от истины?

– Я о том и говорю, – подтвердила жена. – Мне в той книге еще одно наблюдение твое запомнилось... Что введенная в стране жестокостями и всякого рода неистовствами тишина не означает довольства народа...

– Да, у нас, к сожалению, как раз нечто схожее: народ безмолвствует, по выражению покойного Александра Сергеевича Пушкина, а подобное безмолвие всегда чревато бунтами... Вот чего Николай Павлович и челядь его придворная не желают понять!

Освобождение Муравьевым крестьян и постоянная хозяйственная помощь им, переход на вольнонаемный труд, приведение в порядок имения – все это требовало значительных расходов, которые даже в хороший год никогда не покрывались доходами с имения. Трудно представить, что владельцы 3500 десятин земли не имели средств выехать на зимнее время из деревни, но положение было таково. В дневнике Муравьева есть следующее признание, сделанное в те годы: «Мучают недостатки в деньгах, обстоятельство, коего я в семейном быту еще никогда не подвергался. Доходов от имения почти никаких нет. Осталась только одна аренда на два года, и той недостает на уплату процентов за заложенное имение. Я задолжал до сорока тысяч в капитал, принадлежащий старшей дочери моей. По сим причинам должен я отказываться от поездок в столицы... Желал бы я свидеться с людьми образованными, с родными, взглянуть на свет, от коего так долго отлучен, и во всем этом встречаю почти непреодолимое препятствие».

Как и чем можно поправить расстроенные дела? Решить этот вопрос никак не удавалось... Наиболее верным способом являлось возвращение на военную службу. В этом случае можно было рассчитывать и на продление аренды, которая давалась как прибавка к жалованью, и на получение в ближайшие годы чина полного генерала, что при выходе в отставку обеспечивало восьмидесятилетней годовой пенсией. Но, вспоминая, какие условия поставлены для его возвращения на службу, Муравьев содрогался от омерзения. Нет, вымалывать службу ценой унижительных покаяний перед ненавистным самодержцем он не станет!

А тогда что же? Он питал некоторую надежду на возможность напечатать почти подготовленную книгу о миссии в Турцию и Египет. Но когда, будучи в Москве, прочитал несколько глав из этой книги Ермолову, тот, пожав богатырскими плечами, усмехнулся:

– Право, любезный Николай, ты, кажется, запомятовал, какой пост занимает ныне сей граф Орлов, коему приписана была вся честь заключения выгодного договора, подготовленного трудами твоими в Турции и Египте. Сообрази-ка теперь, кто из подвластных Орлову цензоров осмелится допустить выпуск книги, правдивым изложением событий умаляющей деятельность патрона?

Ермолов оказался прав, так оно и получилось. Муравьев попробовал внести в текст некоторые исправления, решился даже приукрасить способности царя и заслуги Орлова, и все же в цензурном комитете книгу к печати не дозволили. Не удалось, разумеется, добиться и переиздания «Путешествия в Хиву».

А отягощать крестьян, уменьшать их и без того скудные заработки, как делали все помещики, Николай Николаевич не мог. Приходилось волей-неволей сокращать расходы, жить стесненно.

Муравьев продолжал заниматься археологическими раскопками и поисками каменного угля. В губернии распространялся упорный слух, будто он ищет какой-то клад, И кто знает, может быть, впрямь он не чуждался мыслей о счастливой фортуне? На что же еще можно было надеяться?

... А годы шли. Для императора Николая международная обстановка складывалась все более неблагоприятно. Смертельно боявшийся всяких смут и освободительных движений, император Николай в союзе с монархическими правительствами Австрии и Пруссии пытался создать надежный оплот против «пагубного разлива безначалия», но все усилия оказались тщетными. Нараставшего революционного подъема в европейских странах остановить не удалось.

В феврале 1848 года французский народ сверг с престола короля Людовика-Филиппа. Начались восстания против австрийского владычества в Италии и Венгрии. В Германии открылся парламент для разработки конституции. На Балканах кипела ожесточенная борьба сербов, болгар и румын против турецких угнетателей. Вот-вот мог вспыхнуть мятеж в Польше. А из Тифлиса приходили нерадостные вести от Воронцова: англичане продолжали тайно вооружать Шамиля, подстрекать к наступательным действиям, кавказские войска таяли в кровопролитных стычках с мюридами.

Император Николай находился в страшной тревоге. Был объявлен новый рекрутский набор, мобилизована четырехсоттысячная армия, которую двинули в Прибалтику и Польшу. Император собирался выступить на подавление французской революции, однако не решился. Международные события чувствительно отозвались в России. Приходилось оглядываться. Чуть не ежедневно то из одной, то из другой губернии приходили вести о народных волнениях. Даже в Петербурге создалось тревожное настроение после того, как здесь узнали о происшествиях в Париже.

Во дворце поговаривали, будто чиновники перестали снимать шляпы перед особами императорской фамилии. Слухи, впрочем, были неверными. Императрица, возвратившись как-то с прогулки и встретив мужа, радостно воскликнула:

– Кланяются, кланяются вам, мой друг!

Император злобно фыркнул:

– Еще бы осмелились не кланяться! Я бы им... – И, не договорив, ушел к себе в кабинет.

День начинался теперь у императора докладом шефа жандармов Орлова, и, как ни старался при этом Алексей Федорович скрашивать политическую обстановку в стране, все же она никаких радостных надежд внушить не могла. Вот и сегодня жандармские донесения были не из приятных:

– Крестьяне помещика Рязанской губернии князя Голицына, жалуясь на невыносимо тяжелую жизнь, произвели беспорядки, убили сельских старост и оказали сопротивление местному начальству. В Богучарском уезде Воронежской губернии крестьяне помещика Бедряги, негодуя на излишние работы и притеснения управляющего, жестоко избили его, а на

присланных казаков бросились с кольями и камнями, ранив трех офицеров и 28 нижних чинов. Воронежский губернатор подверг телесному наказанию тысячу человек и тем прекратил возмущение. На Алапаевских горных заводах взбунтовались мастеровые...

Император слушал молча. Мускулы на пожелтевшем и осунувшемся лице слегка подрагивали, пальцы правой руки привычно барабанили по столу.

– А что сообщают твои армейские агенты? – перебил он неожиданно Орлова. – Каков дух в наших войсках?

– В армейских частях, расквартированных в губерниях польских, особых происшествий не произошло, кроме тех, о коих вчера вашему величеству имел честь докладывать, – отрапортовал Орлов. – Но поступило донесение от жандармского подполковника Прянишникова, посланного в войска Кавказского корпуса.

– Что там у них случилось? – нетерпеливо произнес царь. – Опять Шамиль спустился с гор?

– Никак нет, государь. Подполковник Прянишников известил, что на сторону горцев перешли на днях двенадцать нижних чинов из линейных войск...

– Черт знает пакость какая, второй случай в этом месяце! – воскликнул император и, выйдя из-за стола, зашагал по кабинету. – Признаюсь, начинаю терять надежду на Воронцова. Окружил себя толпой тунеядцев, устраивает балы, требует непрерывно воинских подкреплений и денежных средств, а дела идут все хуже и хуже... Ты был прав, Алексей Федорович, высказываясь против назначения Воронцова! Если у нас дойдет до разрыва с Турцией, на что ее постоянно настраивают наши «верные» английские союзники, Воронцов будет явно не у места... А заменить некем! – Он остановился против Орлова, что-то припоминая, потер лоб: – Ты кого тогда прочил вместо Воронцова?

– Я полагал, государь, что, возможно, более твердым командующим оказался бы там генерал Муравьев...

Император поморщился и махнул рукой.

– Дело невозможное! Он скрытый якобинец и по-прежнему душой с нашими друзьями четырнадцатого. Доверия к нему питать не могу... Кстати, чтобы не забыть. Австрийский посланник мне говорил, что в их владениях объявился бежавший от нас бунтовщик Михаил Бакунин, которого они считают одним из зачинщиков происходящих у них беспорядков. А тебе известно, кем сей бунтовщик Бакунин доводится Муравьеву?

– Известно, ваше величество. Племянником с материнской стороны.

– Вот то-то оно! А представь себе, что Муравьев оказался бы начальником корпуса, посланного на помощь австрийскому императору? Кто поручится, что дядя с племянником там о чем-нибудь преступном не договорятся? А, каково положение?

– Не могу того представить, государь, никакой связи у Муравьева с Бакуниным не было и нет. [56]

– А ты в том уверен?

– Уверен. Надзор за Муравьевым ведется постоянно. И осмеливаюсь высказать мнение, ваше величество, что образ мыслей даже у самых близких родных бывает зачастую совершенно различным...

Сжатые губы царя тронула ехидная усмешка. Вспомнил, что в тайном обществе видное место занимал родной брат Орлова, вот чем мнение-то его вызвано! Возражать, однако, не стал.

Муравьев не по родству с бунтовщиками подозрителен и ненавистен был, а сам по себе, чувствовал в нем царь упорную враждебную силу, которую не в состоянии был сломить. И, в упор глядя на Орлова, сказал:

– Стало быть, Алексей Федорович, в образе мыслей Муравьева ты ничего дурного не усматриваешь?

– Напротив. В образе мыслей его и в поведении мне многое не нравится. Но, будучи с ним в Константинополе, я имел возможность убедиться, что слава отечества для него не пустой звук, а твердость, отличные знания и дарования таковы, что не следует ими пренебрегать в случае необходимости...

– Ну, слава богу, пока надобности такой нет, – сердито отозвался император и, чуть помедлив, спросил: – Он по-прежнему живет в своей деревне?

– Так точно, государь. Занимается сельским хозяйством и ни в чем предосудительном не замечен...

– Гм... Может быть, он за десять лет несколько переменился? В уме и знаниях ему не откажешь, что и говорить... Впрочем, посмотрим, как дальше сложатся обстоятельства...

... Спустя некоторое время Муравьев получил неожиданное известие от Орлова, что «государю благоугодно, чтобы он находился в его распоряжении».

Муравьева сообщение это не могло не порадовать. По всей видимости, ему готовилось какое-то назначение, и это могло быть выходом из того тяжелого материального положения, в котором он находился. А еще приятней было сознание, что он до конца остался верен себе, не им сделан первый шаг к возвращению, на службу, а самим царем. Несмотря на предупреждения Орлова, что приглашений не будет! Значит, он был нужен. Но зачем? Для прямой военной службы или каких-то особых поручений, или, все может стать, только для того, чтобы снова подвергнуться унижающим человеческое достоинство испытаниям? «Без сомнения, – записал он, – не надобно заблуждаться и полагать, как говорил Алексей Петрович, чтобы ко мне была какая-либо нежность; не думаю, чтобы в сем случае руководствовались и желанием вознаградить прежний поступок со мною. Не имею повода ожидать такого великодушия и потому не решаюсь признать основательными те мысли, которые могут возродиться, хотя, однако ж, и не чужд опасений...».[57]

3

В Петербург приехал Муравьев в январе 1849 года. Столица была полна слухов о крестьянских волнениях и избиениях помещиков, и о каких-то якобы раскрытых заговорах и о военных приготовлениях. Всюду обсуждались с жаром заграничные новости.

Во Франции генералу Кавеньяку удалось подавить революцию, но в австрийских владениях восстания продолжались. По-прежнему беспокойно было в Польше. Общее внимание занимали события в Венгрии, где народной армии под начальством Гергея удалось изгнать австрийских захватчиков из своей страны. Император Николай на помощь теснимым австрийским войскам отправил шесть тысяч русских солдат, но такая помощь была явно недостаточна. На галицийской границе под начальством фельдмаршала Паскевича собиралась большая русская армия для вторжения в Венгрию и водворения там старых порядков.

Муравьев явился в военное министерство, где сказали, что он вновь зачислен в действующую службу с чином генерал-лейтенанта, но его назначение на должность зависит от императора. Муравьев побывал и у Орлова, который принял его любезно, однако о предстоящем назначении ничего определенного не сказал, заявив лишь несколько загадочно, что он сам «многого в действиях императора не понимает».

Муравьев после посещения Орлова сделал такую любопытную запись: «Он показался мне человеком, видящим всеобщее расслабление, бессилие, расстройство и разрушение, к коему ведут неуместные меры, предпринимаемые государем по всем частям управления; видит и то, может быть, что нет и средств к исправлению всего этого».

А во дворце приняли Муравьева очень сухо. Император, как по всему было видно, старой неприязни не поборол, спросил кратко о здоровье, о каком-либо назначении и о возвращении генерал-адъютантского звания ни словом не обмолвился, велел лишь присутствовать на разводах и смотрах.

Опасения Муравьева подтверждались. Опять началась бессмысленная и пошлая жизнь среди чуждых по своему духовному складу людей. И так же, как прежде, ближние царя старались подленько докопаться до сокровенных его мыслей. «Брат царя Михаил Павлович перебрал родных моих, говорил с сердцем о Никите Муравьеве, о Сергее и других. Великому князю заметно хотелось видеть впечатление, которое на меня произведет напоминание о родных моих, участвовавших в происшествиях 1825 года, и он, конечно, делал это по поручению государя... У всех во взгляде приметна была недоверчивость и как бы желание проникнуть в неразгаданное для них лицо. Кто знает, что у них на мыслях?»

Прошел месяц, другой. Муравьев стал уже подумывать, как бы ему уехать из столицы. «Не желая войны, желаю удалиться от неуместной для меня службы и сближения с гвардией и двором... Срам считаться в рядах войска, содержимого только для парадов».

Лишь поздней весной получил он пехотный резервный корпус, стоявший в западных губерниях. В это время русская стосорокатысячная армия Паскевича вторглась в Венгрию. И Муравьев тем хотя был доволен, что не пришлось участвовать ему в «постыдном вмешательстве в чужие дела».[58]

Но вскоре военные действия закончились. Корпус Муравьева перевели в Польшу, и сам он, третий раз в жизни, вновь попал в подчинение Паскевича, бывшего наместником польским.

Теперь Иван Федорович Паскевич, граф Эриванский и князь Варшавский, не был уже прежним самодовольным и бравым генералом. Он к семидесяти годам заметно сдал, обрюзг, поседел, оплешивел. Варшавяне чаще всего видели наместника в театре, он обожал молоденьких танцовщиц и наслаждался целованием их ручек.

Встречи с Муравьевым не были для Паскевича приятными. Страдая старческой болтливостью, Иван Федорович особенно любил в обществе хвастаться своими кавказскими подвигами. В кабинете у него на видном месте висели аляповатые картины, изображавшие его самого в победоносном виде у стен Карса и Эривани, и посетителям представлялось возможным убеждаться, какой он великий полководец. А тут вдруг появился участник тех войн, суровый и нелюбезный очевидец всех далеко не столь благовидных действий главнокомандующего. Паскевич терялся в присутствии Муравьева, поневоле удерживался от бахвальства и, хотя на людях хвалил корпусного командира, втайне продолжал люто его ненавидеть. Впрочем, Муравьев старался видаться с царским фаворитом как можно реже.

Время проходило в служебной суете, в бесполезных и дорогостоящих парадах, устраиваемых для высокого начальства. По-прежнему безотраднa была картина николаевской парадомании!

После летних смотров 1851 года, проведенных царем в войсках, расположенных в польских губерниях, Муравьев записал:

«Экипажи для государя, наследника и всей свиты во время пребывания их в Бресте были собраны с помещиков окрест лежащих деревень, откуда и были высланы лучшие экипажи и лошади. В них и разъезжали. Не нахожу сего приличным, особливо в стране, где на владельцев и веру их гонение, где ненависть к правительству нашему ежедневно усиливается от предпринимаемых нами мер. Самая поездка государя оставляет на себе следы разрушения; на всех станциях загнанные до смерти лошади, не говоря о большом количестве испорченных от усиленной гоньбы. Придворная прислуга настоящая опричнина, забирает и грабит все, что под руку попадетя...

Государь смотрел новую дивизию, составленную из рекрут, и похвалил начальство за выправку... Государь не знает или не хочет знать, что у рекрут пятьсот больных и в течение лета сорок человек бежало, а десять повесилось или застрелилось вследствие усиленных занятий. Много было лжи, обмана на этом смотре... Рекрутов обирают и морят».

Все чаще видел теперь Муравьев на смотре сына царя великого князя Александра Николаевича. И внимательно к нему приглядывался. Каков он, этот будущий самодержец, воспитанник сентиментального и меланхолического Жуковского? Наследнику перевалила за тридцать лет. Плотный, румяный, с пушистыми темно-русыми бакенбардами, с выпяченной, как у отца, грудью и заметным брюшком, он быстро предал забвению наставления своего воспитателя и вместе с другом юных лет князем Барятинским предавался безудержно светским удовольствиям и амурным шалостям.

Отец, не терпевший шалопая Барятинского, отослал его на Кавказ к Воронцову, а сына пробовал приохотить к какому-нибудь занятию, но из этого ничего не вышло. Наследник питал лишь наследственное тяготение к парадам, совершенно не интересовался никакими иными делами и положением в стране. После первой с ним встречи Муравьев очень точно отметил: «Он к делу не привык и, кажется, не охотник им заниматься, но страсть к фрунтовой службе велика».

Наследник шефствовал над гренадерами, и Муравьев, в корпусе которого была гренадерская дивизия, обратился к нему с просьбой улучшить их содержание, но не получил никакого ответа. «Наследник проводил меня до дверей, пожал руку и выговорил лишь обычное свое изречение:

– Я надеюсь, что если гренадерам достанется поработать штыками, то они по-прежнему отличатся.

Я поклонился, не дав ответа, и вышел.

Либо он видит и не может помочь при бестолковых распоряжениях отца своего, либо ничего сам не смыслит. Полагаю, что и того и другого вдоволь».

? однажды летом великий князь проездом в столицу остановился на день у Муравьева. Тот, зная о гастрономических пристрастиях высокого гостя, устроил обильный обед по его вкусу. Дам за столом не было, наследник, сняв мундир, остался в одной шелковой рубашке и, заправив салфетку за ворот, принялся за дело. Муравьеву обед этот запомнился надолго. Наследник с какой-то неодолимой жадностью и не совсем опрятно поглощал кушанья, закапал соусом скатерть, куски любимой им жареной индейки брал руками, причмокивая жирными губами, обсасывал косточки и запивал все таким количеством вина, что это начало внушать опасения. И вдруг наследник сделал какое-то судорожное глотательное движение, лицо его сразу побагровело, глаза в страхе выпучились, он прохрипел:

– Кость в горле...

Муравьева в холодный пот бросило. Еще бы! Наследник у него в гостях, случись с ним несчастье... попробуй тогда доказывать, что никакой преднамеренности в этом не было!

Муравьев в сильнейшем волнении вбежал в соседнюю комнату, где находились дежурные адъютанты и ординарцы, приказал:

– Немедля лекаря сюда... Его высочество подавился!

Адъютанты вскочили, недоумевая. Муравьев, не помня сам себя, крикнул:

– Его высочество подавился! Костью! Живо за лекарем!

Происшествие окончилось благополучно. Лекаря быстро доставили, и кость из горла наследника была извлечена. Но случилось нечто неожиданное. Сам ли наследник слышал, как Муравьев вызывал лекаря, или кто-то подсказал ему, только он счел нужным недовольным тоном заметить хозяину:

– Нужно говорить поперхнулся, а не подавился...

И простился холодно, даже не поблагодарив за гостеприимство.

Конечно, слова были неточны и резали грубо ухо, Муравьев не мог не согласиться с этим, но произносились они впопыхах, не до выбора слов было, зачем же придавать им какое-то значение?

Так неудачно начали складываться его отношения с наследником.

... А международная обстановка все ухудшалась. В 1853 году усилились осложнения с Турцией, которая продолжала нарушать старые договоры и при поддержке Англии и Франции явно готовилась к военным действиям. Весной английская и французская военные эскадры с согласия турецкого правительства подошли к Дарданелльскому проливу и стали в Безикской бухте, а затем вошли в Босфор. Попытки русских дипломатов договориться с Турцией о соблюдении старых договоров успеха не имели. Тогда по приказу императора Николая русские войска под начальством князе Горчакова заняли находившиеся во власти турок Молдавию и Валахию. В ответ на это турецкие войска перешли в наступление на азиатской границе и на кавказском побережье.

Внимательно следил Муравьев за развитием событий. Он понимал, что его назначение на должность командира корпуса имеет временной характер и, вполне вероятно, его опыт и знания потребуются в военных действиях против турок. В конце года, будучи в Петербурге, он еще более убедился в правильности предположений. На Кавказе дела обстояли из рук вон плохо. В военных кругах прямо говорили, что туда следовало послать Муравьева. Но каждый раз, как только произносилось это имя, император сердито морщился, трудно было ему совладать со своими неприязненными и мстительными чувствами, хотя печальное положение дел и принуждало к этому.

6 января 1854 года, встретив императора, возвращавшегося с крещенского парада, Муравьев записал:

«Государь имел вид мрачный: ни красоты, ни величия во взгляде его и чертах лица; напротив того, выражение смущенное, черты лица вытянутые и неприятные, каковыми я их никогда не видел. Ужасно должно быть то, что у него на сердце происходит. Он 28 лет убежденный в совершенном исполнении воли своей, разочаровывается. И турки, коими он повелевать надеялся, наказывают его, мир осуждает безрассудность; христианские племена, коих он называл себя защитником, не хотят владычества; его англичане и французы, коих он полагал устрешенными народами своими, дают ему законы, ставят над ним опеку. Он сам без денег, с

двумя миллионами войск, но без сил. Урок жестокий!»

Муравьев превосходно понимал, что сама по себе численность войск в надвигающейся войне с европейскими странами большого значения иметь не будет. Следя по иностранным журналам и газетам за достижениями военной техники, он не раз указывал военному министру и близким царя на необходимость более совершенного вооружения войск:

– Кремневые ружья, коими располагают солдаты моего корпуса, бьют лишь на триста шагов, а в английской армии дальнобойные винтовки. Артиллерия наша во многом уступает французской...

, – Позвольте не согласиться с вами, Николай Николаевич, – возражали ему, – наша артиллерия, слава богу, всему миру доказала несомненное свое преимущество и силу...

– Так было, господа, но время не стоит на месте, – пояснил Муравьев. – Снаряды французских орудий новейшего образца ложатся в полтора раза дальше наших...

Впрочем, все эти предупреждения ни к чему не приводили. «В Петербурге, как всегда, – записал он, – военные мало чем занимаются, а о деле никто не хочет и знать. Посмотрят летом равнение, brave порядки и по тому будут судить о состоянии войска, а в управление и упрочение оно не заглянет. Было бы чем потешиться!».

Горько было Муравьеву, страстно любившему свое отечество, видеть военную отсталость его, и он отдавал себе отчет, что главная причина этого явления в самодержавном крепостническом строе и в губительной самонадеянности невежественного императора. Нерадостны были его размышления: «Средства, конечно, велики в России для противоборствования хотя бы и против всей Европы, возбудится и дух народный; но в чьих руках силы сии и какое поручительство за успех, когда правитель во всем видит только свою личность и когда нет около него ни одного человека, который действовал бы самоотверженно. Виды всех столь ограничены, уважения ни к лицу ни к месту, и везде губительное самонадеяние невежи... Бедная Россия, в чьих руках находятся ныне судьбы твои!»

Весной 1854 года, когда император Николай отверг требования союзников очистить дунайские княжества, Англия и Франция объявили войну России. Австрия и Пруссия согласились с Англией и Францией отстаивать неприкосновенность Турции. Россия оказывалась в полном одиночестве!

В первых числах сентября союзники, не встречая сопротивления, высадили шестьдесят тысяч войск в Крыму близ Евпатории и двинулись на Севастополь. Командующий русскими войсками в Крыму князь Меншиков попытался остановить неприятеля на реке Альме, но вынужден был отступить. Потерпел поражение Меншиков также на Инкерманских высотах. Севастополь был предоставлен собственной участи. Союзники подвергли город сокрушительной бомбардировке с моря и с суши, однако захватить его в несколько дней, как они рассчитывали, не удалось. Черноморские моряки и небольшой гарнизон под начальством адмиралов Корнилова и Нахимова с помощью всех жителей города сумели быстро создать мощные оборонительные сооружения. Вход в бухту для союзного флота преградили затопленные на рейде корабли. Необычайный героизм защитников Севастополя принудил союзные войска к длительной осаде города.

А на Кавказском побережье тем временем союзники заняли Анапу и строили планы, пользуясь ослаблением военных сил России, захватить весь Кавказ. Подготавливалась для вторжения в Грузию экспедиционная армия Омер-паши, инструктируемая английскими и французскими офицерами. К совместным действиям с союзниками готовился грозный имам Шамиль, получивший от турецкого султана титул генералиссимуса черкесских и грузинских войск. Превосходно вооруженные союзниками мюриды все более нагнали. Летом Шамиль,

неожиданно прорвав русские кордоны, спустился в Алазанскую долину и, разгромив несколько богатейших имений, пленил не успевших скрыться знатных грузинских княгинь Орбелиани и Чавчавадзе – внучек последнего грузинского царя.

Одряхлевший наместник Воронцов и ставший к тому времени начальником его штаба князь Барятинский, привыкшие к праздной жизни, проводившие время в непрерывных пирах и забавах, растерялись, требовали дополнительных средств, присылки новых полков и дивизий, составляли планы отступления из Дагестана.

Терпеть дальше такое положение на Кавказе было невозможно.

4

В середине ноября 1854 года Муравьева вызвал сменивший Чернышова военный министр князь Долгорукий.

– Кавказский наместник Воронцов уходит по болезни в отставку, – объявил он. – Государю угодно назначить вас на его место, и его величество повелел мне узнать, позволяет ли здоровье вашего превосходительства принять сие звание.

– Передайте государю мою благодарность за доверие, – сдержанно ответил Муравьев. – Силы мои исправны, и я, не отвлекаясь честолюбием, готов в настоящее трудное время служить отечеству в любом звании. Что же касается до моих способностей исполнить возлагаемые на меня обязанности, об этом ближе всего судить государю.

Министр кивнул головой, ответ вполне его удовлетворил.

– В таком случае, генерал, прошу завтра быть во дворце. Государь будет сам говорить с вами о положении дел. А сегодня вечером вас просит пожаловать к себе его высочество великий князь Александр Николаевич.

«Этому еще зачем я понадобился? – подумал, настораживаясь, Муравьев, – Кажется, доброго расположения ко мне он никогда не питал, надо ухо держать востро!» И настороженность в самом деле оказалась не лишней. В ту же ночь, возвратившись от наследника, Муравьев сделал такую запись: «Разговор наш не продолжался более получаса. Наследник говорил несколько о политических делах, но более о дурном состоянии дел под Севастополем и тамошних недостатках всякого рода, коснулся и внутренних беспорядков империи. Я молчал и слушал, он не казался мне озабоченным, и потому я удивился, когда среди разговора он, тяжело вздохнув, сказал:

– Нет, Николай Николаевич, тридцать лет сряду разрушалась империя эта, все в ней гнило, все кончено, и никакие силы ее не восстановят!..

Наследник не показывал ко мне никогда такого доверия, чтобы со мною так искренно разговаривать, он не казался задумчивым или огорченным, да и не в правилах его было пересушивать поступков отца своего, и я уверен, что он по малому знанию состояния России не мог полагать ее в таком положении; напротив того, я в нем замечал более человека преданного наслаждениям, и военные действия, происходившие далеко от столицы, не могли иметь влияния на его обычный род жизни; трудно было полагать поэтому, чтобы он мог знать бедственное положение России и огорчаться этим. Я могу думать, что если слова его не были пущены неосторожно, по слабости его или по легкомыслию, то он выразил их по приказанию отца своего для испытания меня. Оно и было на то похоже, ибо вздох его был

искусственный, выражение лица не изменило своего веселого вида в течение разговора».

Во всяком случае для Муравьева стало ясно, что если император решается назначить его на высокий пост, то делает это скрепя сердце, под давлением тяжелых чрезвычайных обстоятельств. Отправляясь на другой день во дворец, Муравьев обычного своего твердого поведения изменять не собирался.

Император приготовился к этому вынужденному приему и встретил Муравьева с Нарочито-веселым видом, что, однако, ничуть его не обмануло. «Могло ли быть у царя на сердце веселье, – записал он, – когда срам положения его со дня на день увеличивался, когда союзники ежедневно усиливались в Крыму, а наши войска безотчетно исчезали под Севастополем, конечно, от неблагоустройства своего, в котором государю трудно было сознаться. Скоро исчезло и на лице и в речах его это притворное веселье, которое он мне показывал.

– Итак, ты будешь наместником моим на Кавказе, – после нескольких обычных фраз сказал император. – Мне оттуда пишут, что опасаются вторжения турок, просят войск, да где же я их возьму, я их все послал в Крым, и там их еще недостает... А на Кавказе, кажется, войск достаточно, надобно изворотиться местными средствами при ожидаемом вторжении неприятеля с сухой границы и с моря, надобно обеспечить Кавказ от нападения Шамиля, словом, удержать край. Тебе поручаю это дело, полагаюсь на тебя, прошу о том...»

Муравьев стоял с невозмутимым видом, слушал молча, не опуская глаз. А императора спокойная выдержка генерала заметно волновала.

– О наступательных действиях против неприятеля говорить нечего, – продолжал царь, – постарайся хотя бы о надежной обороне Грузии и главнейших наших прибрежных фортеций... Впрочем, поступай по своему разумению, ничем связывать тебя не буду...

Император замолк, сдерживая тяжелое дыхание, и передернул шеей, словно жал ее тугой ворот мундира. На отливавшем желтизной покатом лбу выступила испарина. Никогда в жизни не испытывал он с такой глубиной своего позора! Против его воли делалось это назначение Муравьева, и приходилось, так или иначе, сознаваться перед этим чужим и ненавистным для него человеком, нераскаившимся либералистом, другом бунтовщиков, в своих ошибках, в порочности своей военной системы и в своем бессилии. Не менее мучительна была мысль, что среди близких, безусловно преданных самодержавию людей, составлявших опору трона, не нашлось ни одного, кому можно было бы в тяжкую для государства минуту доверить защиту его. Самодержавие было бесплодным! Паскевич, Воронцов, Меншиков, Горчаков... Все они были более царедворцами, чем военачальниками, никто не отличался необходимой широтой военных знаний, спартанской твердостью, умением воодушевить войска. Умный и честный полковник Генерального штаба А.Е.Попов, коему поручено было подготовить характеристики генералов, способных, по его мнению, управлять действующими армиями в Крыму и на Кавказе, доложил без обиняков: «Из всех генералов, известных мне лично или по репутации их, по глубокому моему убеждению, один только соответствует потребностям нашим – это Николай Николаевич Муравьев... Раз что он остановится на каком-либо решении, то ни окружающие его, ни неприятель своими демонстрациями не в силах даже малейше уклонить его от предпринятых им действий, и он умеет подчинить действия других своей воле».[59]

Император вытер надушенным платком лоб и посмотрел исподлобья на Муравьева. Тот по-прежнему стоял с застывшим лицом и пристально глядел на него, как бы стараясь разгадать меру его искренности. И, чувствуя под этим взглядом невероятное смущение, император прерывистым глуховатым голосом произнес:

– Знаю, что мы во многом расходимся.. И не из любви ко мне, а из преданности твоей к

отечеству я прошу тебя...

«Когда государь так убедительно просил меня помочь ему, устраняя лицо свое и призывая единственно любовь мою к отечеству, – записал Муравьев, – я признал в обороте речей его тяжкое для него сознание в несправедливости ко мне и оскорблениях, прежде им нанесенных, больше чего нельзя было ожидать от царя, ни перед кем никогда не преклонявшегося, полагавшего себя свыше всего рода человеческого и с войском своим сильнее всех в мире. Он видел уже, может быть, заблуждения свои, признавал слабость свою и если не по совести, то по нужде преклонялся».

И Муравьев, внутренне удовлетворенный тем, что царь сдавал свои позиции, сказал решительно:

– Я не возвращусь с Кавказа, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в границах вверяемого мне края...

– Отлично! – с легким вздохом облегчения промолвил император. – Я рад, что ты так уверенно берешься за исполнение своих обязанностей. Я не скрываю от тебя, что состояние дел на Кавказе считаю мрачным. Прошу тебя прежде всего заняться в военном министерстве чтением секретной переписки с кавказским начальством и побывать также в министерстве иностранных дел, где имеются сведения о военных приготовлениях турок. А потом приезжай ко мне, мы с тобой все подробно обсудим...

... Назначение Муравьева наместником на Кавказ с одновременным производством в полные генералы и возвращением звания генерала-адъютанта произвело в столичном обществе впечатление разорвавшейся бомбы. Всем было известно отношение к нему императора и вдруг...

Интерес к новому наместнику возбудился невероятно. Двери дворцов и великосветских салонов снова, как двадцать два года назад, когда он возвратился из Турции и Египта, широко распахнулись перед ним. От приглашений не было отбоя. Царедворцы, министры и сановники искали встреч с новым наместником. Но Муравьев оставался верен себе, он презирал всех этих надменных и важных господ, избегая по возможности какого-либо сближения с ними.

Сестра царя в знак расположения подарила Муравьеву свой портрет. И он позднее в «Записках» отметил: «Портрет сей вставил я в рамку и повесил в уборной комнате, как в одном из уединенных и красивейших покоев Скорнякова». Императрица любезно просила его привезти во дворец жену и старших дочерей. Он отговаривался их нездоровьем, а в дневнике указал иную причину нежелательности этого общения: «Жена моя по вольнодумному образу мыслей своих всегда готова проговориться и отпустить колкое рассуждение, для дочерей же я всячески буду стараться удаления от двора, где обычаи и обхождения вообще пошлы и грубы».

Сама Наталья Григорьевна, впрочем, знакомиться с высокими особами никак не стремилась. Сановную знать презирала она не менее мужа. И острый язычок ее с чинами и званиями не считался. В Варшаве, незадолго до отъезда оттуда, Муравьевых посетил Паскевич. В разговоре, восторгаясь приехавшими на гастроли итальянскими танцовщицами, Иван Федорович пригласил Наталью Григорьевну и старших взрослых дочерей в театр, где у него имелась ложа.

– Благодарю за любезность, ваше сиятельство, – сказала Наталья Григорьевна, – но, право, в настоящее время, когда все мысли обращены к истекающему кровью защитникам Севастополю, кому же на ум пойдет веселиться и развлекаться посещением театра?

– Какой патриотизм, какие спартанские чувства – слегка скривив губы, воскликнул Паскевич.

– Да, ваше сиятельство, – сейчас же отозвалась Наталья Григорьевна, – вы имеете возможность свой долг перед отечеством и свою доблесть показать на поле битвы, а как же нам, женщинам, выразить свои чувства в теперешних обстоятельствах?

Муравьев пробыл в столице более месяца, усиленно занимаясь делами, касавшимися управления Кавказом. Положение там действительно представлялось мрачным, как выразился царь. В Кавказском корпусе числилось 260 тысяч человек, но войско это было раздроблено и разбросано на огромной территории. Солдаты и казаки в большей части отвыкли от походов, жили оседло, занимаясь хозяйством, и лишь выставляли дозоры для охраны своих станиц и селений. Значительное количество нижних чинов использовалось на всяких строительствах, заготовках камня и леса и на обслуживании хозяйственных заведений своих командиров.

При дворе наместника толпилось множество всяких флигель-адъютантов и гвардейских офицеров, приехавших искать под покровительством любезного Михаила Семеновича лавров, награждений и отличий. Участие этих господ в военных экспедициях причиняло большой вред. Они ехали в своих колясках, с поварами и лакеями, затрудняя движение отрядов. Солдаты обременялись непрерывным вытаскиванием экипажей и обозов начальников и всякими иными дорожными услугами им. Если при Ермолове пехотные батальоны делали по тридцать верст в сутки, то при Воронцове они с трудом осиливали десять верст. Безнаказанность летнего набега Шамиля в Грузию в значительной степени объяснялась утерей подвижности кавказских войск.

Особенно возмущали Муравьева настоятельные ходатайства Барятинского о присылке новых войск из России в Грузию «для охранения края и войск, им вверенных», как он сам выражался. Надо же до этого додуматься! Просить о присылке войск для охранения войск!

... Явившись к императору во второй раз, Муравьев застал у него в кабинете наследника.

Поднявшись навстречу Муравьеву, император дружелюбно протянул ему руку и, обратившись к наследнику, сказал:

– Александр, подвинь кресло генералу...

Наследник отца боялся, послушаться не посмел, кресло Муравьеву подвинул, но при этом окинул его таким злобным взглядом, что у того невольно в мозгу промелькнуло: «Припомнит он когда-нибудь мне это кресло!»

А тут еще как нарочно император подлил масла в огонь, приказав вскоре наследнику оставить их наедине.

– Не хотелось мне при нем обсуждать действия приятеля его Барятинского, – пояснил царь. – Ты видел, что он оттуда пишет? Человек самый пустой, и я бы давно его выгнал, да не хочу и здесь видеть каналью... Впрочем, если ты на его место подыщешь дельного генерала, то не церемонься...

– Опасаюсь, государь, – сказал Муравьев, – что мне придется просить вас о переводе из Кавказского корпуса многих начальствующих лиц, пригретых Воронцовым, коих беспечный и бесполезный образ жизни, по моему разумению, служит дурным примером для войск...

– Действуй, как найдешь нужным, – кивнул головой царь, – не проси лишь у меня войск и денег... Что тебя еще беспокоит?

– Мне необходимо знать, ваше величество, какого рода сношения вы готовы допустить с Шамилем. Сочтете ли вы возможным согласиться с моим мнением желательности переговоров с ним о временном прекращении военных действий?

Император подобного вопроса, видимо, не ожидал и, недоумевая, пожал плечами:

– Ты полагаешь, Шамиль пойдет на это?

– Можно предпринять для того некоторые меры...

– Какие же? Ведь эти головорезы мюриды ни с чем не считаются... Для них каждый русский смертельный враг!

– Мюриды, государь, составляют лишь малую часть войска Шамиля. А чеченцы, лезгины и другие горцы, коих они насильем и жестокостью подчинили своей власти и заставляют сражаться против нас, думают, как и всякий простой народ, более о мире, нежели о войне...

– Гм... Признаюсь, для меня твое толкование ново... Хотя ты старый кавказец, спорить с тобой не буду! Поступай по своему усмотрению!.. Я же прошу тебя постараться прежде всего выручить захваченных Шамилем несчастных грузинских княгинь. Тебе известны условия выкупа, которые он нам предложил?

– Известны, государь. Шамиль требует возвращения своего сына Джемал-Эддина, некогда взятого нами в аманаты, нынче поручика Владимирского уланского полка, и миллион рублей звонкой монетой.

– Что касается денег, – заметил царь, – сумма запрошена Шамилем несуразная, о том и говорить нечего, а возвратить в обмен на княгинь ему сына можно... Вызови Джемал-Эддина, поговори с ним и, если он противничать не будет, возьми с собой...

– Не премину воспользоваться вашим позволением. Возвращение к отцу Джемал-Эддина вполне, как мне говорили, преданного нам, само по себе весьма полезно. Джемал-Эддин может повлиять на отца в желательном для нас смысле. Я считаю, государь, первойшей задачей своей не допустить Шамиля к соединению с турками!

– Что ж, задумано хорошо, согласен, одобряю, – проговорил император, поднимаясь из-за стола. – Ты когда же собираешься туда отправляться? Жену и детей берешь с собой?

– Отправляюсь в ближайшие дни. А жена пока останется у брата в Москве, чтобы я мог всецело заняться военными делами.

– Ну, дай бог тебе удачи, Николай Николаевич. Надеюсь на твой опыт и твердую волю. Чаще пиши мне обо всем.

Когда, выйдя из кабинета царя, Муравьев спускался по лестнице, его неожиданно окликнул наследник. С притворной любезностью он взял Муравьева под руку и сказал по-французски:

– Я хотел узнать, дорогой Николай Николаевич... Извините, это не простое любопытство... Что вам государь говорил про Барятинского?

– Ничего особенного, ваше высочество, – промолвил Муравьев. – Мы обсуждали дела, касающиеся отношений с Шамилем...

Наследник недоверчиво покосился и, слегка покраснев, продолжил:

– Отец Барятинского не любит, но мне он близок и дорог... Я прошу вас отнестись к нему снисходительно и

с добрым чувством... Вы меня очень одолжите!

Муравьев с подобающей почтительностью молча поклонился.

... Итак, он, недавно еще опальный генерал, деревенский отшельник, стал в силу сложившихся обстоятельств наместником и главнокомандующим кавказскими войсками. Муравьев несомненно думал о том, что будущие историки могут сделать из этого неверное заключение о якобы изменившихся общественных взглядах его, позволивших добиться высокого поста. Он не желал неверных и оскорбительных для себя суждений. 4 января 1855 года в Москве, перед самым отправлением на Кавказ, он сделал следующую запись:

«Не милостью царской было мне вверено управление Кавказом, а к тому государь был побужден всеобщим разрушением, там водворившимся от правления предместника моего... Находясь в столице близ государя и первенствующих лиц, я видел ничтожность многих. Еще раз убедился в общем упадке духа в высшем кругу правления, в слабости, ничтожестве правящих. Я видел своими глазами то состояние разрушения, в которое приведены нравственные и материальные силы России тридцатилетним безрассудным царствованием человека необразованного, хотя, может быть, от природы и не без дарований, надменного, слабого, робкого, вместе с тем мстительного и преданного всего более удовлетворению своих страстей, наконец, достигшего, как в своем царстве, так и за границу, высшей степени неуважения, скажу, презрения, и опирающегося, еще без сознательности, на священную якобы преданность народа русского духовному обладателю своему, – сила, которой он не понимает и готов пользоваться для себя лично в уверенности, что безусловная преданность сия относится к лицу его, нисколько не заботясь о разрушаемом им государстве».

5

В Тифлисе было тревожно. Воронцов, подав в отставку, несколько месяцев назад уехал лечиться за границу. Военная и гражданская власть находилась в руках бездарного генерала Реада, дряхлого Реута и чопорного немца коменданта Рота, не внушавших населению никакого доверия. Служивший в канцелярии наместника известный поэт и балагур граф Соллогуб острил:

Пускай враги стекутся,

Не бойся их, народ.

О Грузии пекутся

Реад, Реут и Рот.

В городе, как свидетельствовали очевидцы, распространялись страшные слухи о высадке на Кавказском побережье турецких войск и о подготавливаемом Шамилем новом набеге на Грузию. Население по распоряжению начальства было вооружено ружьями, обучалось военным приемам. Ночью по улицам разъезжали конные патрули, а на окружающих Тифлис горах разжигались пылавшие до утра огромные костры, чтобы не прозевать внезапного нападения. По Головинскому проспекту с утра до ночи тянулись по направлению к Военно-Грузийской дороге кареты, коляски, тарантасы и подводы – многие военные и служащие отправляли свои семейства из грузинской столицы.

Но в крепости Грозной, некогда заложенной Ермоловым и превратившейся за сорок лет в небольшой красивый городок, царило иное настроение. Крепость Грозная была любимым

местом пребывания начальника штаба князя Александра Ивановича Барятинского. Здесь он построил для себя дворец и, окруженный столь же разгульными, как и сам, гвардейскими офицерами, не жалел средств на угощения и всякие веселые выдумки.

Один из восторженных лизоблюдов и панегиристов князя Барятинского некий поручик Дагестанского полка А.Зиссерман довольно верно и красочно описал шумную и веселую жизнь в Грозной:

«По всякому поводу здесь давали обеды, затевались кутежи; танцевальные вечера были очень часты, а азартная картежная игра, и довольно крупных размеров, процветала; дамское общество было очень милое, вполне соответствовавшее военно-походному тону и сопряженным с ним нравам, не имеющим, само собою, и тени чего-нибудь пуританского... Жили, одним словом, легко, без особых забот о материях важных. Если от текущих мелких дневных приключений и развлечений случалось отвлечься, то разве для разговоров о минувших и будущих экспедициях, о том, кто будет назначен новым главнокомандующим на место князя Воронцова, и о разных неизбежных переменах, так или иначе отзывавшихся и на нас, мелких сопричастниках деятельности; гораздо реже говорилось о ходе дел под Севастополем; вообще о тогдашнем положении России: отсутствие гласности, газет, представленных одним «Русским инвалидом», отсутствие в большинстве общества, особенно военного, всякого интереса к делам общественным, выходящим из ближайшего тесного круга его служебной деятельности, делало нас невольными индифферентными ко всему, даже к такой великой злобе дня, какова была тогда борьба с коалицией, сопровождавшаяся неудачами».

[60]

16 декабря утром Барятинского разбудил только что возвратившийся из Тифлиса ближайший друг его подполковник князь Святополк-Мирский.

– Новость потрясающая, Александр! Воронцов получил окончательное увольнение от должности наместника, а на его место назначен...

Барятинский вскочил с постели.

– Кто? Не томи, ради бога, Митя!

– Нет, ты попробуй отгадать. Держу пари, тебе и в голову не придет...

– Кто же все-таки?

– Генерал Муравьев... тот, который в последние годы корпусным в Польше был, а перед тем много лет в опале находился.

Барятинский наморщил лоб и, что-то припоминая, задумчиво проговорил:

– Я его не знаю, но граф Михаил Семенович мне как-то говорил, что он человек тяжелый и неприятный. Родственник и друг многих бунтовщиков, держится странно, светского общества избегает и ненавидит аристократию...

– Я слышал, – добавил Мирский, – что из армии его уволили за дерзкие выходки против государя...

– Во всяком случае, хорошего не ожидаю, – как бы продолжая рассуждать с самим собой, сказал Барятинский, – надо вам, господа офицеры, подтянуться. Судя по всему, с нашим милейшим и любезнейшим Михаилом Семеновичем новый наместник ничего общего не имеет.

–: А может быть, нам удастся его высокопревосходительство обломать, как иных пуританствующих особ обламывали?

– Не думаю, не из таких он, кажется: об упрямстве его анекдоты ходят, – сказал Барятинский и заключил со вздохом: – Надо в Тифлис ехать... Невесело мне стало от твоего сообщения, друг Митя!

Еще большее беспокойство вызвало известие о назначении Муравьева среди служащих канцелярии наместника, гражданских властей и интендантских чиновников. Многие из них знали Муравьева, и никто ничего предосудительного против него не высказывал. Напротив. Директор канцелярии Щербинин, встречавшийся прежде с Муравьевым, говорил своим сослуживцам, что новый наместник принадлежит к числу замечательных личностей, что он «прям и справедлив, изумляет разнородными своими познаниями, вселяя к себе чувства не только уважения, но и привязанности суждениями, обличающими самую высокую нравственность, твердость правил, безукоризненную честность, пламенную любовь к отечеству, стремление к содействию всему, могущему служить к его преуспеванию».

Почему же сам Щербинин и его товарищи, как они впоследствии признавались, ожидали Муравьева «со страхом и трепетом»? Да потому, что при Воронцове они привыкли к почти бесконтрольной деятельности, к жизни легкой и веселой. Большой барин и сибарит, Михаил Семенович Воронцов не привык обременять себя трудом. Было известно, что даже деловые бумаги и приказы подписывала за него жена Елизавета Ксаверьевна. Снисходительно относился Воронцов и к своим подчиненным, располагая их к себе очаровательными улыбками и щедрыми награждениями. Теперь привычному беспечному существованию чиновников приходил конец, они знали это и заранее почувствовали неприязнь к новому наместнику.[61]

В предположениях своих они не ошиблись. Во второй половине января Муравьев прибыл в Ставрополь и, не теряя времени, начал знакомиться с положением дел в гражданских учреждениях и в войсках Кавказского корпуса. Собравшимся командирам и чиновникам он прямо и откровенно объявил:

– Я не Воронцов, любезностей говорить не собираюсь, я службу с вас потребую... И службу честную, помните, как император Петр Великий говаривал: «Служить, так не картавить!» И еще, господа, предупреждаю, что я не потерплю расточительства денег, собранных с народа и политых кровавым потом его.

Введя твердые цены на продовольствие и фураж, Муравьев прекратил безудержную спекуляцию интендантских поставщиков, расторг незаконные сделки с подрядчиками, запретил использование нижних чинов на частных работах, строго следил за неукоснительным исполнением своих распоряжений. Как тут было не роптать местному начальству и чиновному люду!

Зато войска Кавказского корпуса нового наместника встречали восторженно. Даже А.Зиссерман вынужден был это признать: «Генерал Муравьев пользовался большою военною репутациею и популярностью. Все помнили его замечательное, самоотверженное путешествие в Хиву, его пребывание в Константинополе со вспомогательным русским корпусом султану против египетского паши, его долговременную опалу, придававшую ему, без сомнения, своего рода известность. Его считали обломком славной памяти времен отечественной войны, преемником Кутузова и Ермолова, он слыл начальником требовательным, но справедливым».

Солдаты знали, что Муравьев, друг и единомышленник Ермолова, относится к ним по-человечески, не изнуряет фрунтовой службой и не побоялся самому царю замолвить за них доброе слово, знали, что он боевой и храбрый генерал, прославившийся некогда взятием Ахалцыха и Карса.

Появляясь в воинских частях и казармах, Муравьев запросто беседовал с нижними чинами, и

они говорили, что «с таким отцом-командиром они в огонь полезут».

Муравьев превосходно понимал, что строгие действия его, направленные на устранение допущенных Воронцовым безобразий, на приведение в боевой порядок войск, озлобят многих начальствующих лиц, но кривить душой не привык и не собирался.

Объезжая линейные войска, он невольно возвращался мыслью к ермоловским временам. Тогда все было проще, войска выглядели бодрей, командиры от солдат не отделялись, зачастую питались из одного котла, ну и не удивительно, что кавказцы такими геройскими подвигами ознаменовали себя в войнах с персиянами и турками.

В крепости Грозной Муравьев отыскал землянку Алексея Петровича Ермолова, находившуюся недалеко от дворца Барятинского, и, спустившись в это скромное жилище, долго и молча стоял с обнаженной головой, погруженный в невеселые думы: «Отсюда некогда человек с высоким дарованием прилагал совестливый труд свой к совершению дела, полезного отечеству, и за десять лет образовал боевую армию, не знавшую преград... А далеко ли продвинулись мы с тех пор?»

Выйдя из землянки, Муравьев взглянул на пышный дворец Барятинского.. «Все, что было перед глазами, указывало причины неудач последних лет, утрат и язв, постоянно и без пользы истощавших силы отечества: роскошь, корысть и лицепрятие...»

Повернувшись к окружавшим его генералам и офицерам и указав на землянку, он сказал:

– Вот убедительный пример, господа, что не от количества людей и не от больших средств зависит успех, но от разумной воли и доблести начальников...

А с Ермоловым Муравьев поделился размышлениями более подробно:

«Милостивый государь Алексей Петрович! В углу двора обширного и пышного дворца, в коем сегодня ночью, стоит уединенная скромная землянка ваша как укоризна нынешнему времени. Из землянки этой, при малых средствах, исходила сила, положившая основание крепости Грозной и покорению Чечни. Ныне средства утроились, учетверились, а все мало да мало! Деятельность вашего времени заменилась бездействием. Тратящаяся ныне огромная казна не могла заменить бескорыстного усердия, внушенного, вами подчиненным. Казна сия обратила грозные крепости ваши в города, куда роскошь и удобства жизни привлекли людей сторонних, все переменялось, обстроилось; с настойчивостью и убеждением в правоте своей требуют ныне войск для защиты войск. Такое состояние дел, конечно, подало повод и к частным злоупотреблениям начальников; хоть солдата не грабят, но пользуются трудами его, как работою тяглового крестьянина... Посудите, каково мое положение: исправить в короткое время беспорядки, вкоренившиеся многими годами беспечного управления, а в последнее время и совершенным отсутствием всякой власти и управления! В землянку вашу послал бы их учиться, но академия эта выше их понятий. Не скажу, чтобы здесь не было покорности, напротив того, здесь все покорны; но покорность эта не приводит их к изучению своих обязанностей, а только к исполнению того, что прикажут. Надобно пока этим довольствоваться с надеждою на время, которое выкажет сотрудников, ибо дарований здесь встречается более чем в России, но все погрязло в лени и усыплении».[62]

Побывав на правом и на левом флангах кавказской линии, Муравьев в последних числах февраля направился в Тифлис. Знакомая дорога, знакомые места! Он не любил карет и ехал в открытой коляске, сопровождаемый небольшим казачьим конвоем. Он неотрывно глядел на синеющие вдаль горы и полной грудью дышал свежим весенним воздухом. Приятные и грустные воспоминания о проведенных здесь молодых годах волновали его, и порой в серых, начавших тускнеть глазах искрились слезы. Чувствительность и в пожилые годы его не покидала!

Близ Душета его настиг мчавшийся на взмыленной тройке фельдъегерь из Петербурга. Передавая казенный пакет, он не удержался от тяжелого вздоха:

– Горе, ваше высокопревосходительство! Государь император скончался.

Муравьев совершенно растерялся:

– Как., скончался? Ты что такое говоришь?

Фельдъегерь молча и скорбно указал глазами на пакет. Муравьев дрожащей рукой разорвал его. Сомнений не оставалось. Император Николай 18 февраля умер. На престол вступил наследник Александр Николаевич.

Выйдя из коляски, Муравьев долго оставался в задумчивости. Тревожные мысли возникали одна за другой. Судьба его опять должна была круто измениться. Смерть жестокого, невежественного и мстительного деспота, которого ненавидел всю жизнь, жалости не вызывала, но разве можно надеяться на что-то лучшее при его наследнике?

Натянутые отношения с новым императором не позволяли Муравьеву сомневаться, что оставаться в наместниках ему недолго. И, по всей вероятности, его место уже предназначено Бярятинскому. Это было грустно, и не потому, что жалко оставлять место, не свершив того, что намеревался свершить. Муравьев думал не о себе, а об интересах отечества, на службе которого считал себя находящимся. Знакомясь с состоянием кавказских войск, он наглядно убедился, что не кто иной, как Бярятинский более всего способствовал разложению их; разве сумеет этот не привыкший к серьезному делу фаворит нового императора в сложившихся тяжелых обстоятельствах отстоять от неприятеля край, столь обильно политый русской кровью?

А Бярятинский, ничего не знавший еще о смерти императора Николая, выехал встречать наместника. В Душете, где князь уже ожидал, Муравьев пригласил его в свою коляску. «До сего дня, – записал он тогда же, – я его видел только один раз в Киеве молодым хорошеньким кирасирским поручиком. Здесь не мог бы его узнать; он показался мне ростом выше прежнего, сложения был довольно плотного и немного с брюшком. Суживающаяся к макушке голова его с редкими волосами как-то не предупреждала в пользу его природных дарований; рыльце было у него красноватое, в чем признавали последствия разгульной жизни. Объяснялся он с некоторым замедлением и повторением слов, похожим на заикание, и гнул. Вся наружность вообще не выражала того приличия, которое я ожидал найти в князе Бярятинском, приятеле государя, хотя он и был, что называется, видным мужчиной, вежливым, разговорчивым... Хотя о нем вообще судят как о человеке ограниченном и невежественном в познаниях, но я с этим не согласен. Он, много занимаясь чтением, образовал себя, ни одного раза не проговорился со мною каким-нибудь неосновательным суждением в делах, недоступных невежде, напротив того, он охотно пускался в суждения о предметах отвлеченных военного искусства, с которыми, вероятно, незадолго перед тем познакомился чтением. И в разговоре с ним нашел бы я приятного собеседника, если б было у меня время слушать его празднословие...

Сидя в коляске, я объявил Бярятинскому о смерти государя. Ни в лице, ни в словах его не произошло ни малейшего изменения. Ни удивления, ни печали, ни радости не показал он, как бы ничего не случилось. Но как измерить то, что у него в то время в душе происходило, – надежды, в один миг его объявшие, и в тот же миг начертанный им план действий своих?»

Муравьев отдавал отчет, что затруднительное положение, в каком он оказался, могло быть в значительной степени поправлено, если бы он попробовал приблизить к себе Бярятинского и, оставив на должности начальника штаба, позволить ему жить по-прежнему, как при Воронцове. Так, вероятно, поступили бы другие, ведь все понимали, какая блестящая карьера и могущество ожидают приятеля нового императора!

Не таков был Николай Николаевич Муравьев. Он со свойственной прямою высказал князю свое недовольство состоянием кавказских войск. Заставил его трудиться над исправлением допущенных ошибок. А из канцелярии наместника и гражданских учреждений уволил, несмотря на заступничество Барятинского всех бездельничавших чиновников, принятых по протекциям и ходатайствам высоких особ.

Не избежал изгнания и граф В.А.Соллогуб, приспешник и веселый собутыльник Барятинского. Впрочем, неприязненное отношение к Соллогубу сложилось у Муравьева задолго до этого. Муравьев знал, что Соллогуб являлся автором не только известной повести «Тарантас», но и гнусного пасквиля на Лермонтова, получившего одобрение в императорской семье. А Муравьев, как и Ермолов, благоговел перед Лермонтовым, особенно ценя его поэтические описания Кавказа. Когда Лермонтов погиб, а убийцу его, Мартынова, оставили на воле, Ермолов гневно сказал:

– Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а таких людей, каков Лермонтов, не скоро дождешься!

Муравьев полностью разделял взгляд Алексея Петровича. Заметив среди представлявшихся чиновников румяное и фатоватое лицо светского щеголя и узнав, что это граф Соллогуб, Муравьев, обратившись к нему, спросил сурово:

– Вы тот самый... автор «Тарантаса»?

– Так точно, ваше высокопревосходительство!

– Ну, так можете сесть в ваш тарантас и уехать!

Стоит ли удивляться, что все обиженные и оскорбленные искали защиты у Барятинского? Он представлялся всем таким столпом непоколебимым. Еще бы! Друг юности ныне царствующего! Посмеет ли недавно еще опальный генерал вступить в конфликт с фаворитом!

Как-то поздно вечером к Барятинскому пришли подполковник Святополк-Мирский и поручик, Ростислав Фадеев, отсидевший недавно десять дней на гауптвахте по распоряжению Муравьева за избиение солдата и переводимый теперь в захолустный гарнизон.

Святополк-Мирский, пользуясь дружбой одного из адъютантов наместника, сумел скопировать письмо Муравьева к Ермолову и теперь, прочитав его Барятинскому, воскликнул:

– Нет, это просто возмутительно! Обвинять нас в позорном бездействии, лени и усыплении! Доколе еще терпеть нам оскорбительные придирки и выходки этого самодура?

– Надо дать почувствовать ему, господа, – вставил Фадеев, – что мы не молчаливые покорные рабы и впредь сносить унижения не намерены!

– Следует все-таки считаться с высоким положением генерала Муравьева, – осторожно заметил Барятинский. – Я согласен, что многие его поступки носят характер личной неприязни и предубеждения против нас, однако мы на военной службе, где существуют дисциплина и чинопочитание, господа!

Фадеев, пылавший негодованием против наместника и жаждавший мщения, не сдержался:

– Существует еще и офицерская честь, князь. Нам брошена перчатка, и мы должны поднять ее перед судом России и потомства!

– Я с Ростиславом вполне согласен, – кивнул головой Мирский. – Мы не должны оставаться лишь безропотными подчиненными.

– Чего же вы хотите? – спросил Барятинский. – Мне понятны ваши чувства, но я не представляю возможностей для публичного выявления их...

– Надо ответить на его обвинения, – решительным тоном произнес Мирский. – В виде частного письма кавказского офицера какому-нибудь генералу. И я не побоюсь подписать. Вот послушай, что мы с Ростиславом в черновом виде набросали...

И он прочитал:

«Не один русский, думающий о судьбах своей Родины, прочитав письмо генерала Муравьева, задаст себе страшный вопрос: не на краю ли гибели эта Родина, когда те из ее сынов, которых он привык считать самыми деятельными, воинственными и сильными, стали немощными и погрязли в лени и усыплении? Но неужели мы, кавказские служивые, должны безропотно покориться этому приговору и со стыдом преклонить перед ним голову? Нет! Наша совесть слишком чиста для такого унижения! Мы не обманывали России в течение четверти века, она может гордиться нами и сказать, что нет армии на свете, которая переносила бы столько трудов и лишений, сколько кавказская! Кавказский солдат работает много, но он не «тягловый крестьянин», потому что он трудится не для частных лиц, а для общей пользы... Мы ожидали, что генерал Муравьев едет сюда с чувством уважения к кавказскому войску, уважения, которого мы вправе требовать по нашим заслугам и чувствам, нас оживляющим; в добром деле здесь все почти сотрудники. Мы с истинною скромностью, свойственной людям, испытавшим свои силы, ожидали, что нам укажут наши ошибки и недостатки, поспособят их исправить и усовершенствовать, по мере сил и способностей, но мы не ждали оскорблений...»

Барятинский отлично понимал, что Мирский совершает грубейшую передержку. Обвинения Муравьева, высказанные в письме к Ермолову, были направлены не против кавказских войск, а против погрязших в роскоши, лени и усыплении начальников, прежде всего против Воронцова и против него, Барятинского, ведь это он требовал «присылки войск для защиты войск». Но возражать Барятинский не стал. Ответ Муравьеву несомненно произведет большое впечатление в дворцовых кругах, где генерала не очень-то любят, и Барятинского этот ответ устраивал. Может быть, более чем кого другого сжигала князя ненависть к Муравьеву, только он заставлял себя сдерживаться, подбирая материал против ненавистного генерала и выжидая удобного случая, чтобы уехать в Петербург и там свалить его, не брезгуя никакими средствами.

Вскоре письмо Святополк-Мирского пошло в переписку и не миновало Муравьева.

Догадаться, что написано оно не без ведома Барятинского, не представляло труда. Муравьев вызвал начальника штаба.

– Я хотел спросить вас, князь, – сказал он прямо. – Читали ли вы письмо, подписанное Мирским?

– Читал и содержание его тем более меня огорчило, что человек, дерзнувший написать это письмо, очень мне близок.

– В таком случае оставим этот разговор.

– Почему же? – возразил князь. – Несмотря на близкие мои отношения с Мирским, я могу судить о его поступке беспристрастно и не одобряю его.

– А что вы скажете, если я предам Мирского суду? Какого вы мнения об этом?

– Конечно, вы можете предать его суду, и он того заслуживает, но вряд ли это удобно и для вас, так как вы сами подали ему повод и пример вашим письмом к Ермолову.

– Это вопрос другой. Изложенное в письме к Ермолову я готов повторить где угодно. И не мне бояться пасквильства вашего близкого друга и тех, кто за ним. Прошу посоветовать Святополк-Мирскому просить перевода из Кавказского корпуса, я отпущу, тем и кончим.

Барятинский еле сдерживал готовое прорваться озлобление. Щеки его покрылись багровыми пятнами, губы дрожали.

– При сложившихся обстоятельствах, – произнес он, – моя служба в должности начальника штаба корпуса делается весьма затруднительной. Может быть, ваше высокопревосходительство, сочтете возможным отпустить и меня?

Муравьев взглянул ему прямо в глаза и с полной невозмутимостью проговорил:

– Причин для задержки с моей стороны вы не встретите, князь.

Муравьев знал, какого страшного врага имеет он в лице Барятинского, и не сомневался, что, возвратившись в Петербург, князь будет всемерно ему вредить и вскоре сменит его на посту наместника. Уезжая с Кавказа, Барятинский произвел распродажу своего имущества, в том числе фортепьяно, купить которое пожелал Муравьев.

– Только я совершенно запомню, ваше высокопревосходительство, за какую цену оно было куплено, – сказал Барятинский.

– За ту же цену, которую вы назначите, я вам и возвращу это фортепьяно, когда вы приедете на мое место, что, конечно, не замедлится, – ответил с легкой усмешкой Муравьев.

– В таком случае, – любезно ответил князь, – я желаю, чтобы фортепьяно потеряло от времени как можно большую ценность, чтобы мне пришлось платить дешевле.

Фраза эта, впрочем, никого в заблуждение не ввела.

Приехав в Петербург, Барятинский начал всячески порочить Муравьева, выставляя его в глазах царя и высшего начальства невежественным, грубым педантом и настойчиво добиваясь своего назначения на его место. Против Муравьева действовали также уволенные им из канцелярии бездельники, вроде графа Соллогуба, которыми был окружен Воронцов. «Теперь выезжающие из Грузии, поди, тобою не удерживаемые, – писал Муравьеву из Москвы Ермолов, – конечно, не хвалят тебя, лишась жизни без всякого труда и даром получаемого хорошего содержания. Есть и другого рода нерасположенные, которые хотя и служат с тобою, но с ними не то обращение, которое издавна приучило их мечтать, что они люди превосходные и, может быть, трудно заменяемые».

Муравьев, отлично осведомленный обо всех кознях против него, относился к ним с философским спокойствием. Ему шел шестьдесят третий год. Он служил не императору, а своему отечеству. Было, бы оно довольно его совестливым трудом, а все остальное не так уж важно!

... Муравьев вел суровую спартанскую жизнь. Пользовавшийся его врач И.И.Европеус засвидетельствовал: «Он избегал всякой роскоши, спал обыкновенно в своем кабинете, на соломенном тюфяке, накрываясь шинелью. Вставая довольно рано, он выходил к утреннему чаю в той же шинели внакидку; так принимал и у себя в кабинете не только своих адъютантов, но и штаб-офицеров, являвшихся к нему по службе. Стол его был русский, сытный и несложный, к обеду подавали, и то не всегда, по бутылке белого и красного вина, но сам Николай Николаевич почти ничего не пил, утоляя жажду простым квасом. Он любил

русскую баню, был страстный охотник попариться, но умел переносить и жесточайший холод. В самые трескучие морозы он прогуливался в одном сюртуке и не любил изнеженных маменькиных сынков, увидев на ком-нибудь из офицеров шинель с бобровым воротником, делал замечание, что-де такая шинель – роскошь для солдата, что он сам шинели с бобровыми воротниками никогда не нашивал. Сколько я мог заметить, Николай Николаевич не проводил даже часу без дела и мало заботился о собственных своих удобствах. Он был строг к самому себе и взыскателен с подчиненными. Но солдаты его любили: он мало налегал на фрунтовую службу, заботясь более о их удобствах, довольствии, помещении, даже о развлечениях».[63]

Управление огромным запущенным краем и подготовка войск к предстоящим боевым действиям требовали отдачи всех сил. Для личных дел времени у Муравьева не оставалось. Лишь один раз в неделю он сообщал Наталье Григорьевне и дочерям о своем житье. И все же произошло здесь одно событие, которое с неожиданной властью вторглось в душевный мир его и заставило невольно отвлечься от обычных занятий...

Среди других посетителей в приемной Муравьева появилась однажды скромно одетая женщина средних лет, с тонкими восточными чертами лица и милой застенчивой улыбкой. Вручив дежурному адъютанту небольшую закрытую записку, она попросила передать ее заместнику. Адъютант просьбу исполнил, и каково было его удивление, когда он увидел, как обычно спокойный генерал, прочитав записку, невероятно смутился, покраснел и приказал посетительницу немедленно просить, а более никого к нему не впускать.

В записке стояло всего пять слов: «Очень хочу вас видеть. Соня». Да, это была его дочь, оставленная четверть века назад пятилетней девочкой в Кутаисе с матерью. Он знал, что она замужем, а мать скончалась от тифа, через Бебутова посылал ей не раз деньги к именинам, но прямая связь между ними давно порвалась, и он как-то не думал о возможности такой встречи в Тифлисе.

Она вошла в кабинет и остановилась у порога. Взглянув на пылающее ярким румянцем лицо, он сразу признал ее. Соня унаследовала отцовскую угловатость и материнские чудесные темные бархатные глаза.

Он не ощутил пробуждения особой родственной нежности, но что-то теплое в душе все-таки шевельнулось.

– Ну, здравствуй, Сонюшка... Подойди ко мне, – пригласил Муравьев, и, когда она, все еще стесняясь и робея, приблизилась, он ласково обнял ее и поцеловал в лоб. – Вот ты какая стала! А я все же, пожалуй, тебя узнал бы!

– И я вас тоже, – несмело призналась она. – Мама оставила мне ваш портрет, и вы таким мне всегда и представлялись...

– А ты разве живешь теперь в Тифлисе?

– Нет, я с детьми гощу здесь у матери мужа...

– У тебя сколько же детей?

– Двое. Дочь Нина, ей уже восьмой год, и сын на два года моложе ее... он в честь вашу Николаем назван... И он, знаете ли, чем-то на вас похож...

Муравьев почувствовал, как защемило сердце. Он страстно желал иметь мужское потомство, но неласковая судьба не утешила в этом, мальчишки, рожденные первой и второй женами, умирали в младенчестве. И вот, оказывается, у него есть внук! Да еще, как говорит Соня, похожий на него! Преодолевая охватившее его волнение, Муравьев сказал:

– Ты приведи завтра внучат ко мне.. Только днем я занят, лучше вечером, как смеркнется, и прямо со двора в занимаемую мною квартиру, там у крыльца стоит караул, я сделаю распоряжение, чтоб вас пропустили...

Она светло и радостно улыбнулась:

– А я как раз и хотела просить вас о том... Коленька прямо проходу не дает, чтобы я повела его к бабушке...

– Прошу лишь, Соня, чтобы посторонние люди не узнали о наших отношениях, иначе тебе покоя не дадут всякими ходатайствами и просьбами...

– Что вы, не беспокойтесь, я разве не понимаю!! Я так вам благодарна, что вы отнеслись ко мне с такой лаской и захотели повидать детей...

– Ну и прекрасно! Приходите, буду ждать...

Соня с детьми была у него не один раз. Муравьев отметил в дневнике эти встречи. Внук был скромным умным мальчиком и притягивал к себе особенно сильно, он освоился скоро в непривычной обстановке, подружился с дедом. И как-то раз, расхрабрившись, с неподражаемой детской убежденностью заявил:

– Я, когда вырасту, тоже буду генералом, бабушка!

– Тебе что же, мой мундир и погоны понравились? – спросил, улыбаясь, Муравьев.

– Нет, мне нравится, как вас все боятся...

Муравьев вздохнул и, поглаживая кудрявую голову внука, сказал:

– В этом не много радости, дружок. Лучше, чтоб тебя не боялись, а любили!

– А как это сделать, бабушка?

– Не быть баринком и белоручкой, иметь совесть, любить труд и жить с пользой для родины...

Потом, обратившись к Соне, поинтересовался:

– Ты какое же образование намереваешься дать сыну?

– Не знаю... Может быть, впрямь... если вы поможете... в военную школу или в корпус определить?

– Устроить это дело, я думаю, можно, да стоит ли? Чему там полезному научат? Наружному блеску, правилам парадомании! Нет, если хочешь послушать совета, отдавай в гимназию, где науками занимаются с большей серьезностью.

– Туда не принимают на казенный счет, – сказала застенчиво Соня, – а за обучение дорого платить, нам не по средствам...

– Об этом тебе беспокоиться не придется, я приму образование Коленьки на свой счет. Пусть добрым словом меня вспоминает!

Соня с детьми вскоре уехала домой. И присылала коротенькие трогательные записки: «Дети постоянно о вас говорят. Коленька, ложась спать, всякий раз просит: «Мама, подними меня, я хочу поцеловать портрет бабушки».

Николай Николаевич долго потом скучал без них и, когда случались охи в Кутаис, не

забывал порадовать внучат гостинцами.

6

24 мая 1855 года константинопольская газета «Echo de l'Orient» в статье «Что нужно сделать в Анатолии?» писала: «Многие занимаются событиями в Крыму, и на это имеются веские основания: там находится узел восточных вопросов, и союзники стараются его разрубить... Но есть другая страна, которая не лишена значения: речь идет об армянском плоскогорье. Кампания прошлого года принесла Оттоманской империи тяжелые испытания, но текущий год обещает быть еще более грозным, так как предприимчивый генерал Муравьев намеревается от системы обороны перейти к наступлению. А между тем оттоманская армия находится теперь в более невыгодных условиях, чем в минувшем году... Есть только один выход – сконцентрировать весь армейский батумский корпус в Мингрелии, подкрепить его регулярными войсками, особенно кавалерийскими полками, привлечь в него черкесских добровольцев и создать угрозу Тифлису».

Предприимчивый генерал Муравьев, однако, и не читая газеты, превосходно разгадал неприятельский замысел, направляя все усилия, чтобы его разрушить.

Прежде всего, как он и говорил об этом императору Николаю, приняты были меры, чтобы не допустить соединения Шамиля с турками. Муравьев был последовательным противником жестокого истребления свободолюбивых горцев. Будучи на Кавказе при Ермолове и любя его, он не раз ссорился с ним и открыто осуждал карательные экспедиции, и сам за всю свою долголетнюю кавказскую службу с горцами не воевал, не разорил ни одного аула. Вместе с тем, понимая, что иностранные державы, прежде всего Англия, в своих корыстных интересах стремились использовать воинственных горцев и подстрекали их против русских, Муравьев считал необходимым и возможным мирное присоединение их к России.

План Муравьева заключался в том, чтоб начать немедленно мирные сношения с Шамилем, добиться на первый раз хотя бы временного, на определенный срок, прекращения военных действий. Затем убедить Шамиля в преимуществах и выгодах русского покровительства и, в конце концов признав Шамиля властителем горцев, возможно, создать в Дагестане некий протекторат во главе с ним. Муравьев намечал широкую программу действий, включавшую всяческое поощрение соседских дружеских отношений русских и грузин с горцами, учреждение на пограничной черте базарных пунктов, куда бы горцы могли приезжать для размена своих товаров и для торговли с русскими промышленниками.

Возвращение к отцу Джемал-Эддина, которого Муравьев привез с собой, могло в сильнейшей степени способствовать осуществлению его замысла. Убедить молодого сына Шамиля, поручика русской службы, что новый наместник, всегда доброжелательно относившийся к горцам, не собирается воевать с ними и разорять их аулы, если они первые не подадут к тому повода, убедить в том, как необходимо для всех, и прежде всего для Шамиля, прекращение военных действий, было нетрудно. Джемал-Эддин всей душой был на стороне Муравьева и со слезами на глазах поклялся, что будет постоянно воздействовать на отца в нужном направлении. В искренности его можно было не сомневаться.

И Джемал-Эддин сдержал слово, данное Муравьеву. Через генерала Николаи, находившегося с вехом Шамиля в переписке с Джемал-Эддином, посылавшим ему газеты и кое-какие вещи, Муравьев знал, что Джемал-Эддин по-прежнему предан русским, и внушения, которые делал отцу, не остались без последствий. Шамиль военные действия прекратил.

Открытые на пограничной черте обменные пункты и базары, где горцы беспрепятственно

встречались с русскими, укрепляли дружеские их отношения. Действовали и листовки, направленные против турецких и англо-французских захватчиков. Грозный имам Шамиль думал о сближении с русскими, одобряя в душе план Муравьева, которому послал «с прибывшим для переговоров об обмене пленного чиновником изъявление своего почтения».

[64]

И в то время как Омер-паша, готовившийся к вторжению в Мингрелию, подсчитывал силы Шамиля, которые, по его мнению, должны были действовать вместе с ним, Муравьев находился в полной уверенности, что он соединения их не допустит, и в письме к Ермолову сообщал: «Я надеюсь, что народы сии не пошевелиятся при теперешних военных обстоятельствах и не прельстятся воззваниями неприятеля, разве увидят среди себя иностранные войска, чему не предвижу возможности даже на правом фланге нашем».[65]

Вторым вопросом, требовавшим немедленного разрешения, была подготовка в Грузии и Мингрелии народного сопротивления турецким войскам. Мингрелия в то время не лишена, была автономии и управлялась владетельными князьями Дадиани по старым феодальным обычаям. Последний правитель князь Давид был женат на Екатерине Александровне Чавчавадзе, той самой воспитывавшейся у Ахвердовых красивой и осанистой Катеньке, которой некогда Муравьев в шутку предсказывал быть царицей. Князь Давид незадолго перед тем скончался. И впредь до совершеннолетия его сына правительницей Мингрелии стала Екатерина Александровна. Надо же быть такому совпадению!

А положение в Мингрелии было скверное. Спесивые мингрельские князья и дворяне, жестокие крепостники, выжимали из народа последние соки. Правительница, боясь восстания, советовала князьям обращаться с народом мягче. И в то же время угрожала народу всякими карами за непослушание господам. Народ, видя слабость правительницы, все чаще выходил из повиновения, и столкновения крестьян с феодалами учащались. Такое положение в стране, где рыскали иностранные агенты, грозило дурными последствиями. Надо было заставить правительницу действовать в нужном направлении, утихомирить князей и успокоить народ. Но существовала и еще более грозная опасность. Простой народ и феодальное дворянство относились к ожидаемому вторжению турецких войск в Мингрелию по-разному. Турки были заклятыми врагами мингрельцев, они грабили, захватывали красивых женщин, мальчиков и девочек, которыми торговали на невольничьих рынках в Константинополе. Мингрельцы ненавидели турецких захватчиков и готовы были к беспощадной борьбе с ними, а грузинские и мингрельские феодалы смотрели на дело иначе. Омер-паша и европейские его советники призывали их сбросить с себя ненавистное иго русского владычества, обещая полную независимость и поддержку в усмирении народа. И князья под влиянием этих лживых обещаний начали раздумывать: не лучше ли для них стать на сторону интервентов?

Подобные настроения представляли прямую опасность, с ними необходимо было во что бы то ни стало и быстро покончить. Муравьев поехал в Квашихоры – тогдашнюю резиденцию правительницы.

Весна была в разгаре. Все кругом зеленело, цвело и благоухало. Дворец правительницы, расположенный в гористой местности, выходил большим балконом к парадному подъезду, около которого уже стоял почетный караул из мингрельских князей и дворян. Сама Екатерина Александровна с гостившей у нее сестрой Ниной Грибоедовой и с дамским обществом ожидали наместника на балконе и с радостными лицами приветствовали его.

Сопровождаемый приближенными правительницы, Муравьев вошел в дом и у дверей залы увидел свою Катеньку, располневшую и с мелкими морщинками под глазами, но столь же красивую и важную. Поцеловав ей руку, Муравьев сказал:

– Вам в молодости, если не забыли, предвещали венец!

И они невольно улыбнулись при мысли о комедии, которую приходилось им сейчас разыгрывать. А за правительницей стояла Нина Грибоедова с большим букетом алых роз, и Муравьеву невыразимо приятно было глядеть на ее нежное, смугловатое, кроткое и чуть взволнованное лицо.

После общих приветствий, оставив Нину и всех встречавших в зале, правительница провела Николая Николаевича в небольшую гостиную. И там, без свидетелей, вновь превратилась в прежнюю Катеньку. Она с детских лет почитала Николая Николаевича как старшего брата и преданного друга и, поцеловав руку, призналась:

– Я, как узнала, что вас назначают сюда наместником, сразу приободрилась. И так рада вашему приезду. Трудно, милый Николай Николаевич...

Выслушав откровенный ее рассказ о беспорядках и неурядицах в княжестве и волнениях среди мингрельцев, Муравьев сказал:

– Похоже по всему, что МингRELией управлять не легче, чем любым немецким княжеством. Но в чем корень зла? Не обижайтесь, Катенька, а искать его следует в собственном поведении вашем...

Щеки правительницы зарделись:

– В чем же вы находите вину мою?

Муравьев подслащать горькую пилюлю не стал:

– Вы слишком потворствуете князьям и слишком строги в обхождении с простыми людьми, тем самым первых отучая от повинования, а вторых ожесточая. Я видел, в каком беспорядке и нищете живут мингрельцы. Разве можно вам ожидать от них чего-то доброго? А пренебрегать народом нельзя. Время тревожное. Неприятельские передовые отряды в границах ваших.

– Так что же, по вашему мнению, я должна сделать?

– Заставить князей повиноваться вам, а народ уважать вас за твердость и справедливость.

– Не представляю, каким образом можно этого достигнуть.

– Надо, во-первых, изменить отношения с подданными, приказать помещикам прекратить мучительство крепостных, а во-вторых, следует немедленно объявить МингRELию в опасности от турецкого нашествия, призвать весь народ к сопротивлению и выразить свою непоколебимую верность России.

На лице правительницы отразилось легкое смущение, и это от пронизательных глаз Муравьева не укрылось и встревожило его. Неужели она подпала под влияние неприятельских воззваний? Он сдвинул брови, голос его сразу посуровел:

– Мне известно, что союзники, лстя себя напрасной надеждой отторгнуть от нас край сей, пытаются соблазнить к измене всякими посулами мингрельское дворянство, а посему вам и надлежит занять твердую позицию, не допускающую никаких кривотолков.

– Князья могут и не внять моим обращениям и увещаниям, – тихо промолвила правительница, – я все-таки женщина...

– Важно, что вас поддержит народ, ненавидящий насильников-оттоманов, ну а что касается именитых ваших... я затем и приехал, чтобы помочь вам вразумить их. Прикажите, пусть завтра здесь соберутся, надеюсь, мы договоримся.

И мингрельское дворянство, встретившись на следующий день с Муравьевым, выслушав спокойную, убедительную, твердую речь его, поняло, что новый проконсул Кавказа сумеет охранить вверенный ему край от любых посягательств союзников. Всяким колебаниям был положен конец. Обращение правительницы с призывом к сопротивлению захватчикам и предложение наместника о создании мингрельских конных дружин и партизанских отрядов было единодушно поддержано.

Большую надежду возлагал Муравьев на помощь Нины Грибоедовой. И не ошибся. С горячим сочувствием отнеслась она ко всем его мероприятиям, направленным к организации народного сопротивления турецким войскам. И когда, оставшись с ней наедине, он попросил, чтоб она старалась умерять порывы сестры в отношениях с подданными и поддерживала твердость ее духа и патриотическую настроенность, Нина Александровна с обычной милой улыбкой просто и решительно обещала:

– Все мои слабые силы отныне я отдаю на великое дело защиты родного своего края! Не сомневайтесь в вашей Ниночке, добрый Николай Николаевич![66]

... Нина Грибоедова принимала живое участие в защите своей родины. Она была постоянным добрым советчиком сестры, вместе с нею посещала мингрельских воинов на бивуаках и в лагерях, заботилась о лучшем медицинском обслуживании госпиталей. И при этом, конечно, не забывала обычных своих ходатайств о всех тех, кто нуждался в ее помощи. 17 октября 1855 года она пишет Муравьеву:

«Вы так много заняты, что мне не следовало бы в настоящее время беспокоить Вас моим письмом, но дело идет о бедной девочке, мать которой не раз убедительно просила моего о ней ходатайства; а как я уверена во всегдашней Вашей готовности делать добро, то и взялась исполнить просьбу матери, надеясь притом и на Ваше снисхождение к

Вашей Ниночке {19}. Это девица лет девяти, дочь полковника Добринского{20}. Он состоит на службе сорок лет и содержит одним жалованием большое семейство. Одна из его дочерей воспитывается в Тифлисском институте, за которую он платит сам, а чтоб платить за другую, не имеет более никаких средств. Зная, что Вы имеете право назначать четырех воспитанниц, я прибегаю к Вам с покорнейшей просьбою назначить в счет этих воспитанниц девицу Добринскую.

С чувством высокого к Вам уважения остаюсь покорная и готовая к услугам Вашим Нина Грибоедова».

Подобных писем и записок она писала Николаю Муравьеву много. И нечего говорить о том, что просьбы ее не оставались тщетными. Муравьев относился к своей Ниночке, как звал ее с детских лет, с чувством неизменной любви и уважения и отказывать ей ни в чем не мог.

Дружеская переписка их продолжалась и после выезда Муравьева с Кавказа. 13 июня 1857 года Нина пишет ему из Тифлиса:

«Вы вполне вправе полагать, что мне никогда не приходило и на мысль сердиться на то, что Вы задержали ответ на письмо мое. Я была уверена, что только особенные занятия могли лишить меня этого удовольствия. Тем приятнее было мне теперь получить письмо Ваше, которое доказывает, что Вы всегда были и остаетесь благосклонным к нашему семейству, которое, достойнейший Николай Николаевич, питает к Вам искреннее уважение.

За присланные мне прелестные вещицы примите мою искреннюю благодарность; они будут всегда стоять на моем туалете и останутся драгоценной памятью Вашей особы. Сестра Катенька уже давно уехала в Мингрелию, куда и я собираюсь скоро ехать...»

Но в Мингрелию к сестре на этот раз она не поехала. В Тифлисе появилась холера. Нина

осталась здесь, чтобы ухаживать за кем-то из заболевших родственников.

? спустя некоторое время Екатерина Александровна Дадиани писала Муравьеву:

«Дорогой и многоутешающей сестры моей Нины уже нет. Я лишилась моего ангела. 29 июня в Тифлисе холера у меня похитила ее и тем лишила единственного моего друга».

Муравьев получил это неожиданное печальное сообщение в Риме, где находился с семьей с конца 1857 года, после того как вышел в отставку. Прочитав, он не сдержал слез: ушел из жизни прекрасной души человек, любимый и близкий!

Муравьев скорбел долго, искренне. И в дневнике сделал такую запись:

«Я не знал в жизни женщины более кроткой, добродетельной и самоотверженной, чем Нина Грибоедова...»

7

В середине мая 1855 года, ночью, Муравьев приехал в Гумры. Пограничное селение это, где он не раз бывал прежде, превратилось в укрепленный городок и было переименовано в Александрополь. Там встретил его командовавший войсками действующего корпуса, стягивавшимися сюда, старый сослуживец и душевный друг генерал-лейтенант Василий Осипович Бебутов. Между ними секретов не было. И они до самого рассвета просидели над военными картами, планами и диспозициями.

Предстояло вторгнуться в пределы азиатской Турции, овладеть Ардаганом и Карсом и развить наступление на Эрзерум, в глубь Анатолии. Двадцать семь лет назад Муравьев брал уже Карс и Эрзерум, путь туда был ему хорошо известен.

Военные действия, таким образом, должны были развернуться в турецких границах против анатолийской армии и на Кавказе против начавших высаживаться близ Сухуми экспедиционных турецких войск. Муравьев принимал главное начальство над действующим корпусом. Бебутову поручалось управление Кавказским краем, организация народного сопротивления и защита Грузии, Мингрелии и Гурии.

– Лучше тебя, любезный друг Василий, местных условий никто не знает, – сказал Муравьев, – и я отныне за край тот спокоен. У народа доверием ты пользуешься, а это главное, и для партизанской войны Мингрелия и Гурия словно созданы. Регулярных войск у нас мало, я более всего рассчитываю на войну народную...

– Меня, признаюсь, несколько беспокоит, – отозвался Бебутов, – полученное на днях известие, будто англичане направили своего агента Лонгворта к Шамилю с целью руководить его действиями против нас. Как бы этот агент не ввел в искушение имама!

– Да, я хотя того и не ожидаю, а кто знает, англичане на подстрекательство великие мастера, – проговорил Муравьев. – Лезгинскую кордонную линию во всяком случае оголять не следует, придется все одиннадцать батальонов пехоты и артиллерию там оставить... И хорошо бы захватить этих агентов, пробирающихся к Шамилю.

– Меры к тому приняты будут, – ответил Бебутов. – А ты вот что еще скажи: как мне держаться с Екатериной Александровной Дадиани, если агенты Омер-паши и союзников сумеют снова ее поколебать?

– Гм... Не думаю, право, чтобы до того дошло, – возразил Муравьев, – однако вполне вероятно, что неприятели будут одолевать правительницу всякими соблазнительными посланиями, и в этом случае необходимо давать решительный отпор подобным проискам...

– Я понимаю, но правительница может мне этих посланий и не показать.

– Ты узнаешь о них от Нины Александровны Грибоедовой, она обещала мне поддерживать патриотическое настроение сестры и тебе во всем будет хорошей помощницей... Ну а как господам иностранцам ответить и всяким прочим дипломатическим тонкостям тебя наставлять нечего... Действуй, как найдешь нужным!

Прощаясь, старые друзья крепко обнялись и расцеловались.

А на следующий день в войсках действующего корпуса читали приказ главнокомандующего:

«Принимая главное начальство над действующим корпусом, приветствую вас, воины Кавказа! Более полвека с гордостью и изумлением Россия внимает подвигам вашим; весть о них давно вышла и за пределы обширного нашего отечества.

Уже 25 лет прошло с той поры, когда я считал себя в рядах ваших. Из бывших боевых сподвижников и товарищей только немногих нахожу теперь среди вас – их сменило новое поколение, но и в нем встречаю прежний дух доблести и геройства.

Славные предания прошедшего всегда будут перед вами. Их изучайте, им следуйте... Для России настала година испытания. Уже многие сотни тысяч ратников ополчаются на защиту родного края, воскрешая в памяти народа бессмертное время войны отечественной. Встанем же и мы, полные рвения и готовности, за святое дело... Командующего действующим корпусом князя В. О. Бебутова, сослуживца молодых лет моих, прошу принять выражения душевного моего уважения к подвигам его, охранившим край».

Действующий корпус имел 16 тысяч пехоты, 5 тысяч конницы и 9 артиллерийских батарей с 76 орудиями. Кроме того, к нему должен был присоединиться дислоцированный в Ахалцыхе десятитысячный отряд генерала Ковалевского, которому Муравьев поручил прежде завладеть небольшой, но стратегически важной крепостью Ардаган, откуда неприятель сообщался с Батумом и Аджарией. А близ Эривани находился пятитысячный отряд генерала Суслова, он обязывался действовать против двенадцатитысячного корпуса Вели-паши, занимавшего дорогу от Баязида к Эрзеруму и угрожавшего левому флангу и тылу главных сил Кавказского действующего корпуса.

Анатолийская турецкая армия, которой командовал мушир Васиф-Мегмед-паша, численно была сильнее. В Карской крепости и в укрепленных по обоим берегам Карс-чая лагерях насчитывалось 28 тысяч пехоты и кавалерии, артиллерия состояла из 150 орудий. В состав армии входили также корпус Вели-паши и войска, собранные в Эрзеруме.

28 мая основные силы Кавказского корпуса во главе с Муравьевым перешли границу и сосредоточились в селении Агджа-Кала, несколько севернее Карса. Спустя пять дней сюда подошел и отряд генерала Ковалевского, успевшего без сопротивления взять Ардаган.

Произведенные Муравьевым рекогносцировки Карса убедили, что на этот раз овладеть грозной турецкой твердыней будет трудно. Долго смотрел Муравьев в подзорную трубу на высоты Карадага, вспоминая, как штурмовал некогда эту гору и с каким трудом добрался до вершины, где тогда был лишь небольшой редут с четырьмя пушками, а теперь из-за каменных бойниц выглядывали дула крупнокалиберных орудий, державших под прицелом всю окрестлежащую равнину и соседние форты.

Карс и Эрзерум имели особо важное значение не только для турецкого, но и для британского

правительства. Карл Маркс, внимательно следивший за развитием военных действий в Малой Азии, писал:

«Если Карс является ключом к Эрзеруму, то Эрзерум представляет ключ к Константинополю и центральный пункт стратегических и торговых путей Анатолии. Лишь только Карс и Эрзерум попадут в руки русских, как сухопутная торговля Англии с Персией через Трапезунд сейчас же прекратится».[67]

Укреплением Карса последние годы занимались английские инженеры, создав по последнему слову техники такие мощные оборонительные сооружения, что крепость, как хвалились английские газеты, стала «совершенно недосыгаемым местом для русских!».

Обороной Карса ведал энергичный английский генерал Вильямс. Английский инженер полковник Лекк неустанно совершенствовал крепостные укрепления. Артиллерию и стрелковые войска инспектировали английские офицеры.

Среди командиров было немало венгерских и польских политических эмигрантов, выдачи которых тщетно добивался когда-то император Николай. Венгры Кмети и Кольман, деятельные участники венгерского восстания 1849 года, приговоренные австрийским правительством заочно к смертной казни, имели генеральские чины, начальствовали над крупными турецкими воинскими частями. Снарядами крепостная артиллерия была обеспечена достаточно. Войска находились в бодром расположении духа, были хорошо обучены, обмундированы, в продовольствии не нуждались.

На удачный штурм крепости надеяться не приходилось. Правильной осады предпринять тоже было нельзя, отсутствовала осадная артиллерия, не хватало знающих саперное дело командиров, – Муравьев вздыхал, вспоминая Бурцова и Пущина! – да и необходимо было избегать изнурительных для войск трудов, сопряженных с осадой. Ведь неприятель мог неожиданно появиться с любой стороны и даже в тылу.

Муравьев решил блокировать Карс. Все прямые дороги и кружные пути, связывавшие Карс с Эрзерумом и другими турецкими крепостями и городами, были перехвачены. Продовольственные запасы, заготовленные интендантами анатолийской армии в разных местах, захвачены. Корпус Вели-паши отброшен к Эрзеруму.

Муравьев с главными силами, совершив обходное движение, появился в виду Карса с южной стороны, расположив лагерь близ селения Чифтлигая на обеих сторонах реки Карс-чай. Палатка главнокомандующего стояла на возвышении, откуда в подзорные трубы хорошо проглядывались внутренние укрепления Карса, цитадель, имевшие особо важное значение Шорахские редуты и часть долины впереди них. Карадаг не был виден, но за тем, что делалось там и на северной стороне крепости, зорко следил храбрый и неутомимый казачий генерал Бакланов. Раскинув свою палатку на высоком кургане, расставив всюду пикеты, Бакланов не позволял туркам выглянуть из своих окопов.

Казачьи Бакланова гарцевали под самыми стенами крепости. Ни одна команда фуражиров не могла безнаказанно прорваться из крепости или в крепость. Турки вынуждены были прикрывать фуражиров значительными отрядами регулярной пехоты и конницы, но Бакланов подстерегал их, нападавал врасплох и громил в самых неожиданных местах.

Положение осажденных с каждым днем ухудшалось. Адъютант сераскира, оставивший Карс 5 августа, сообщил в Константинополе, что «ко времени отъезда склады заключали внутри города Карса запасы на 4, максимум 5 недель, боевыми припасами гарнизон тоже был снабжен более чем недостаточно. Последнее, однако, не имеет большого значения, так как Муравьев заявил своей, после полученных подкреплений насчитывающей около 50 тысяч человек, армии, что он хочет взять Карс измором и захватить его, не сделав ни одного выстрела... Русские заставили жителей уничтожить на расстоянии восьми часов ходьбы (28

милль) в окружности все, что даже по виду похоже на предметы питания».[68]

Количество русских войск адъютант несколько преувеличил, но намерение Муравьева изложил довольно верно. Однако вскоре произошли события, это намерение совершенно изменившие.

В начале сентября в Батум прибыл генералиссимус Омер-паша, окруженный многочисленными английскими и французскими советниками. На Кавказском побережье скопилось к тому времени свыше тридцати тысяч десантных турецких войск. Лазутчики доносили, что Омер-паша собирается идти на выручку Карса. В то же время корпус Вели-паши, усиленный в Эрзеруме новобранцами, мог внезапно появиться на вершинах Соганлуга и напасть с тыла.

А погода резко изменилась. Пошли дожди, ночи стали холодными, горы покрылись первым снегом. Вопрос о том, чтобы как-то ускорить взятие крепости, поневоле не выходил из головы.

11 сентября утром загремели неожиданно орудия Карской цитадели, крепость окуталась клубами белого дыма. Казачьи пикеты расслышали, как в турецком лагере, доселе погруженном в уныние, раздались радостные крики, все там ожило и пришло в движение.

Казак, присланный Баклановым, доложил главнокомандующему, что турки празднуют взятие союзными войсками Севастополя. Муравьев хотя и ожидал горестного этого известия – глухие слухи о падении героической русской крепости в лагере уже носились, – однако почувствовал, как болезненно сжалось сердце и на глаза невольно навернулись слезы. Национальная гордость его и высокое чувство патриотизма были жестоко уязвлены. Честь отечества требовала от него каких-то решительных мер! «При подобных обстоятельствах главному начальнику не следовало уклоняться от гнета ответственности, ему предстоявшей. Видимое изнеможение неприятеля, бодрое состояние войск наших, дух, оживлявший их, негодование, возрожденное падением Севастополя, желание отомстить врагу и всеобщий порыв к бою служили в то время лучшим ручательством за успех – и штурм Карса был решен в мыслях генерала Муравьева».[69]

17 сентября задолго до рассвета войска Кавказского корпуса четырьмя отдельными колоннами пошли на приступ.

... Было 9 часов утра. Густой туман, обволакивавший с утра крепость и всю долину реки Карс-чай, рассеялся. Выглянуло солнце. Муравьев находился на Столовой горе и, сохраняя обычные твердость и спокойствие, в подзорную трубу следил за ходом сражения. Адъютанты и ординарцы стояли несколько поодаль в почтительном безмолвии.

Бой кипел уже пять часов. Орудийная канонада ни на минуту не затихала. И хотя войскам генералов Базина и Бакланова удалось овладеть Чакмакскими редутами, взяв при этом 15 орудий и два знамени, а колонна генерала Майделя выбила турок с левого крыла Шорахских укреплений, Муравьев видел, что приступ успеха не имел.

Большая часть старших начальников была убита или ранена, потери в войсках ежеминутно увеличивались. В общем резерве оставалось только пять батальонов. Кавалерия, не понесшая никакого урона, стояла в боевых порядках, но при штурме употребить ее с пользой не представлялось возможным.

Особенно упорное сопротивление турки оказывали на правом крыле Шорахских позиций, тянувшихся вдоль крутой и каменистой высоты. Все приступы войск генерала Ковалевского турки отбили. Сам Ковалевский был смертельно поражен штуцерной пулей, вскоре выбыли из строя все штаб-офицеры.

Муравьев вызвал полковника Дондукова-Корсакова, командовавшего конной артиллерией первой колонны.

– Каково ваше мнение, полковник, о возможности успешного завершения приступа?

– Трудно еще что-то определенное сказать, ваше высокопревосходительство. На Чакмакских высотах наши как будто продвигаются вперед...

Муравьев покачал головой, возразил спокойно:

– Нет, полковник, я много видел сражений в своей жизни. Штурм совершенно неудачен. Мы проигрываем. Все резервы наши почти исчерпаны.

– Позвольте, однако, заметить, – сказал полковник, – что отбитый штурм не есть еще проигранное сражение. Мы сохраняем все наши позиции для продолжения блокады.

– А это совсем другое дело, – вздохнул Муравьев. – Тут вы правы. Мы не сумели взять крепость, но мы не разбиты. – И, чуть помедлив, приказал: – Соберите остатки войск первой колонны и, приняв начальство над ними, не теряя боевого порядка, при соответствующем прикрытии отступайте на исходные позиции.

– Разрешите узнать, как при этом обратном движении поступить с блокадными постами около крепости?

– Все сии посты снова занять и держать крепче прежнего. Вам все ясно?

– Так точно, ваше высокопревосходительство. Будет исполнено!

Одновременно Муравьев приказал отступать в свои лагеря и остальным войскам. Турки не преследовали. Пехота их хотя отбила приступ, но понесла сильнейший урон, а кавалерии не оказалось: всех лошадей осажденные к тому времени уже истребили. Последнее обстоятельство не укрылось от Муравьева и несколько отвлекло его от мрачных размышлений о причинах первой за всю военную службу неудачи.

Причин было много. Оборонительные укрепления, возведенные англичанами, оказались более мощными, чем предполагалось. Штурмующим войскам не досталось лестниц и фашин, начальники плохо знали местность. Сказывалась, несомненно, и техническая отсталость вооружения кавказских войск, таких дальнобойных штуцеров, как у турок, они не имели, на что не раз раньше тщательно указывал Муравьев военному министру. В походной канцелярии, составляя официальное донесение в Петербург, указали, как обычно в таких случаях делалось, и на просчеты отдельных командиров, чтобы как можно более выгородить главнокомандующего.

Муравьев, прочитав это донесение, порвал его.

– Если б штурм имел успех, – сказал он, – то вся слава досталась бы мне, а посему и вся тяжесть ответственности за неудачу по справедливости должна быть принята мною одним!
[70]

... А в Карсе торжествовали и ликовали. Генерал Вильямс был убежден, что теперь Муравьеву ничего не остается, как снять блокаду и поспешить для защиты Грузии, у границ которой стояли войска Омер-паши.

Англичане, по свидетельству доктора Сандвита, ежедневно собирались на рассвете с подзорными трубами на каком-нибудь возвышении, дабы высмотреть, что делается в русском лагере, и, видя движение транспортов с ранеными, они принимали их за передовые отряды отступающих русских войск, Главнокомандующий Васиф-Мегмед-паша писал в Эрзерум, что

зиму проведет там и чтобы для его стола позаботились заготовить всякие припасы и лакомства.

Один Керим-паша думал иначе и никаких радужных планов не строил. Кто-то из англичан поинтересовался:

– Ваше превосходительство, кажется, не уверены в скором освобождении от блокады?

– До приступа русских я еще полагал это возможным, – ответил Керим-паша, – а теперь надежд не имею...

– Как же так, ваше превосходительство? Муравьев потерпел поражение, армия его ослаблена, на подкрепление рассчитывать ему нельзя...

– Вы не знаете генерала Муравьева, – перебивая, сказал Керим-паша. – А я, будучи подполковником, служил под его начальством в Константинополе, когда он командовал там присланным султану вспомогательным корпусом... Неудача не разрушит, а укрепит его намерение. Муравьев теперь не отступит и своего добьется. Нам останется надеяться лишь на чудо, если Аллах ниспошлет его!

8

На Кавказе тем временем происходило следующее. Омер-паша из Батума уведомил генерала Вильямса, что «через двадцать дней он придет на выручку гарнизона Карса», однако дороги туда оказались совершенно непроходимыми, и турецкий генералиссимус принял другой план, подсказанный английскими и французскими советниками: сосредоточив основные силы экспедиционной армии в Сухуме, он решил покорить Грузию и занять Тифлис, двинувшись туда через Гурию и Мингрелию.[71]

Муравьев с действующим корпусом стоял под Карсом, серьезного отпора интервенты не ожидали. Омер-паша в Сухуме хвалился:

– Я пройду без выстрела до самого Кутаиса, и, может быть, только близ Тифлиса русские осмелятся вступить со мной в бой.

Омер-паша и его советники возлагали при этом большие надежды на помощь Шамиля и местного населения, которому обещали всякие блага. В воззвании к гурийцам сообщалось: «Находясь под нашим владычеством, вы будете торжествовать. Жители Гурии никакой подати не будут платить и никем притесняемы не будут. Одним словом, защищаем вас, жен и детей ваших от всяких обид, притеснений, разорений, зажигательств, если покоритесь все милостивейшему султану».

Но кавказцы хорошо знали цену лживым обещаниям турецких поработителей.

В начале октября войска Омер-паши из Абхазии двинулись к границам Мингрелии. А из Кобулет выступил отряд турецкой пехоты и башибузуков, завязавших сражение на границах Гурии с местной милицией и ополченцами, которыми командовал храбрый Малакий Гуриели. Местное население встречало непрошенных гостей враждебно. Завидев приближение неприятеля, жители угоняли скот в леса, укрывали продовольствие, а мужчины, способные носить оружие, создавали партизанские отряды, которые сжигали мосты, портили дороги, смело нападали на вражеские колонны.

20 октября армия Омер-паши стала на правом берегу широкой и быстрой реки Ингури.

Генерал Багратион-Мухранский, оборонявший Мингрелию, имел под начальством всего 5700 человек регулярных войск при 12 орудиях и около 4 тысяч конных и пеших имеретинских и мингрельских дружинников. Силы были неравные, но Багратион-Мухранский решил без боя неприятеля в Мингрелию не пускать и задержать, насколько возможно, на переправах через Ингури. Сражение продолжалось целый день. Густые колонны турецкой пехоты пытались перейти Ингури вброд, но замаскированная на левом лесистом берегу батарея легких орудий под начальством поручика Симонова открыла картечный огонь по наступающим, а спешенная дружина имеретинцев, предводительствуемая восьмидесятипятилетним Симоном Церетели, метким ружейным огнем поражала турок на середине реки. Эта атака, как и многие другие, была отбита. Вместе с русскими егерями и гренадерами отважно сражались абхазские, мингрельские, карталинские и гурийские добровольцы. К вечеру берег Ингури всюду покрылся неприятельскими трупами.

Однако превосходство сил неприятеля давало себя знать. Багратион-Мухранский вынужден был отступить, отведя свой отряд к селению Хета. Омер-паша занял Зугдиди – столицу Мингрелии, поселившись в великолепном дворце князей Дадиани. Правительница укрылась среди неприступных гор в замке Горди. Бебутов предлагал ей с детьми переехать на время в Тифлис, но она отказалась:

– Я не оставлю своего народа в беде...

Екатерина Александровна Дадиани следовала советам Муравьева. Она изменила отношение к народу, принимала деятельное участие в создании мингрельского ополчения, посещала действующие отряды мингрельцев в лагерях и на биваках. Вместе с сестрой Ниной Грибоедовой заботилась о лучшем обслуживании госпиталей.

Интервенты пытались, как и предполагал Муравьев, склонить правительницу на свою сторону. Французский агент полковник Мефре писал ей: «Я понимаю колебание вашей светлости, но это колебание, весьма извинительное женщине, может, продолжаясь, серьезно повредить интересам вашим и ваших детей. Русские разбиты на Дунае, в Крыму и на Ингури, наконец, везде, где только могли с ними сойтись. Ваша светлость поймет хорошо, что они не в состоянии удержать свои завоевания на Кавказе».

Все подобные обращения с презрением отвергались. Изменников среди мингрельцев не оказалось. Шамиль хранил молчание. Партизанские отряды не давали туркам покоя ни днем ни ночью.

Английский советник Олифант однажды утром навестил Омер-пашу. Генералиссимус был совершенно удручен.

– Мы ошиблись в своих расчетах, – признался он. – Местные жители относятся к русским добросердечно и поддерживают их с оружием в руках. Наши попытки возбудить к действию Шамиля тщетны. Генерал Муравьев успел чем-то соблазнить горцев и настроить их против нас.

– Что же все-таки, ваше высокопревосходительство, вы намерены предпринять?

– Самым разумным мне кажется отступление... Кампания развивается несчастливо, фортуна окончательно от меня отвернулась!..

... Муравьев, вопреки ожиданиям осажденных и вопреки мнению почти всех своих генералов, отступать от Карса не собирался. Полковник Дондуков-Корсаков так описал состояние дел после штурма в действующем корпусе:

«Войска заняли прежние свои позиции. Дух солдат несколько не упал, они готовы были вновь идти на приступ. Совсем другое, к сожалению, должно сказать о начальниках. Озабоченные

расстройством частей своих, они не допускали продолжения блокады. Суровость зимы, недостаток фуража, значительная убыль людей служили, по мнению их, достаточным доказательством невозможности дальнейшего пребывания под Карсом.

Один главнокомандующий оставался непоколебим. Здесь начиналась упорная борьба его против общего мнения, против этого равнодушия к делу, характер которого определить можно только французским выражением *opposition d'inertie*. Главнокомандующий вышел победителем из этой борьбы; но сколько трудов, сколько душевных испытаний... стоило ему это тяжкое время!

Самые строгие меры были приняты для бдительного надзора за блокированными. Наши цепи были усилены, и ночью почти вся кавалерия расходилась на заставы. В первые дни после штурма перебежчиков не было; в Карсе уверяли, что русские готовятся снять блокаду; но скоро гарнизон крепости утратил эти надежды.

С укреплений Карса было видно, как палатки в наших лагерях редели, а на месте их воздвигались землянки и зимние помещения для войск. До турок должны были доходить звуки почтовых колокольчиков по устроенному тракту из Чифтлигая в Александрополь; тройки следовали без всякого конвоя, транспорты свободно подвозили фураж и сено с Арпачая в виду неприятельских укреплений. Лошадей у турок уже не было; как тело без движения, так неприятельская армия без кавалерии ожидала безропотно окончания своих бедствий. Но эта мера испытаний скоро переполнилась. Томимая голодом, ослабленная смертностью и болезнями, турецкая армия постепенно уничтожалась, а число перебежчиков значительно увеличилось. Из моего отряда ежедневно толпами препровождались в главный лагерь пленные турки. В последнее время вид этих людей был ужасен; впалые глаза, опухшие руки и ноги свидетельствовали о разрушении, произведенном голодом.

Относительно бедствий гарнизона все показания пленных были единогласны. Распускаемым слухам о скором подкреплении из Эрзерума никто не верил.

12 ноября вечером я получил записку начальника походной канцелярии полковника Кауфмана с требованием поспешнее явиться к главнокомандующему. Уже носились слухи о прибытии какого-то английского офицера в главную квартиру. С радостной надеждой проскакал я расстояние, отделявшее меня от Чифтлигая. Главнокомандующий объявил мне о приезде за несколько часов перед тем капитана Тисделя, адъютанта Вильямса, с письмом, в котором генерал просил свидания. Оно было назначено на другой день.

Сомнения никакого не было, что целью предстоящего посещения будет предложение о сдаче Карса. Главнокомандующий поручил полковнику Кауфману и мне составить наперед проект условий, а впоследствии, по утверждению их, вести переговоры с генералом Вильямсом».[72]

13 ноября генерал Вильямс, сопровождаемый адъютантом Тисделем и секретарем Черчиллем, прибыл в русский лагерь. При высоком росте, крупных и резких чертах лица и гордой осанке Вильямс производил внушительное впечатление. Муравьев принял его в своем недавно построенном домике. Вильямс, не знавший по-русски, имел переводчика, но Муравьев отклонил его услуги и заговорил с генералом на чистейшем английском языке.

Первая встреча была недолгой. Вильямс заявил:

– Я человек прямой и не хочу скрывать от вас бедственного положения, в котором ныне находится гарнизон Карса. Я исполнял обязанность свою до последней возможности, теперь недостает у меня к тому более способов. Гарнизон изнурен до крайности, мы теряем сто пятьдесят человек в сутки от нужды и лишений, городские обыватели гибнут от голода и болезней. Нам неоткуда более ожидать помощи. Я прибыл к вам с согласия нашего главнокомандующего, чтобы предложить сдачу Карса.

– Вы первый, генерал, искали свидания со мной, – сказал Муравьев, – и я ожидаю от вас условий, на которых вы предлагаете сдачу крепости.

– Вам известно наше бедственное положение, – ответил Вильямс. – Я предоставляю условия на ваше великодушие... Но я просил бы, если сочтете возможным, уважить три мои просьбы.

– Какие же, генерал?

– Я просил бы, во-первых, чтобы плен распространялся лишь на регулярные войска, а нестроевые люди и полки редифа, сформированные из запасных и более других истощенные голодом и болезнями, были отпущены. И во-вторых, чтобы офицерам на время плена было оставлено оружие.

– Хорошо, – кивнул головой Муравьев. – Я возражать не буду. А что еще?

Вильямс несколько замялся:

– Эта просьба будет не совсем обычна... Я полагаюсь на человеколюбие вашего высокопревосходительства... В рядах турецкой армии находятся иностранные выходцы, осужденные в своем отечестве за политические выступления. Плен для них может стать предвестником казни...

Вильямс знал, как упорно домогался царь Николай выдачи этих политических эмигрантов, венгерских и польских мятежников, и теперь, когда они пленены, трудно было надеяться, чтоб царский генерал на свою ответственность согласился выпустить их из Карса. И его отказ не потребовал бы даже объяснений. Ведь самовольное освобождение политических преступников, узнай об этом император, могло бы дорого Муравьеву обойтись!

Вильямс, волнуясь, взглянул на него. Муравьев оставался совершенно спокойным, словно дело касалось незначительных обстоятельств. Потом проговорил:

– Я вас понимаю, генерал, и вполне с вами согласен. Все иностранные выходцы, по списку, вами представленному, будут беспрепятственно мною пропущены.[73]

Вильямс с удивлением и благодарно посмотрел на него. А Муравьев, встав из-за стола, заключил:

– Что касается подробных условий капитуляции, предлагаю обсудить их с назначенными мною для сего лицами!

... Полковник Дондуков-Корсаков продолжает: «16 ноября погода была сырая, мрачные тучи висели над укреплениями, небо Карса как бы сочувствовало грустной участи, постигающей турецкую армию. С восьми часов утра войска наши заняли указанные места около Карс-чая, в окрестностях разоренного селения Гюмбет. С вверенным мне отрядом я занимал левый фас расположения наших войск. Кавалерия моя примыкала к ближним отрогам Шорахских высот. Около десяти часов дня показались выходящие из Карса густые массы войск; к двум часам пополудни стянулся карский гарнизон к сборному пункту посреди наших войск. Минута была вполне торжественная. Остатки недавно еще грозной тридцатитысячной Анатолийской армии стояли обезоруженными перед нами. Корпус Кавказский платил союзной армии Карсом за взятие Севастополя. В эту минуту каждый из присутствующих при этом торжестве нашего оружия приносил дань уважения и благодарности главнокомандующему за услугу, оказанную России настойчивою его твердостью.

Генерал Вильямс со всем своим штабом, мушир турецкой армии Васиф-паша и известный своей храбростью Керим-паша впереди Анатолийского корпуса подъехали к главнокомандующему. Затем переданы были ключи города и знамена двенадцати турецких

полков. Громкие крики «ура» в рядах наших приветствовали сдачу этих трофеев. Вся плененная турецкая армия прошла мимо главнокомандующего. Редифы и милиция, назначенные к отпуску на родину, составили отдельную команду; пленные, назначенные к отправлению в Россию, отведены к мосту у Чифтлигая, где для них был приготовлен обед».
[74]

Над цитаделью грозной Карской крепости взвился русский флаг. Победителям досталось сто тридцать крепостных орудий, большое количество оружия и снарядов, интендантские склады с военным имуществом.

Омер-паша, узнав о падении Карса, тотчас же приказал начать общее отступление. Народные партизанские дружины дожимали турок где только и чем только было можно. Среди турок началась паника. «Это отступление совершается в полном беспорядке, – записал в дневник Олифант, – все бегут взапуски к морскому берегу, причем паши оказали такую резвость, какой до того никто в них не подозревал».

Англо-турецкие замыслы об отторжении Кавказа от России потерпели полное крушение.

9

Известие о падении Карса, а вскоре, затем о разгроме экспедиционной армии Омер-паши вызвали оживленные отклики европейской печати. До последнего времени газетчики, особенно английские, до небес превозносили «блестящие победы» союзных войск в Крыму и взятие Севастополя, предрекая скорую потерю Россией всего юга. Взятие Карса Муравьевым охладило горячие головы, всем более или менее объективным наблюдателям стало ясно, что победы, одержанные Муравьевым в Малой Азии и на Кавказе, свели на нет крымские успехи союзников и бахвалиться их трубадурам, собственно говоря, нечем. Именно так оценили положение Карл Маркс и Фридрих Энгельс.[75]

Статьи о действиях Муравьева появились не только в европейских, но и в американских газетах и журналах. Все отдавали должное талантливому русскому генералу.

А как весть о взятии Карса встретили в России? Поток писем, полученных Муравьевым со всех концов страны, свидетельствовал о безграничной радости и восхищении русского народа.

Брат Александр, живший в подмосковном имении жены Белая Колпь, писал: «Ты славно скушал тридцатитысячную Анатолийскую армию. Это событие произвело и продолжает производить чрезвычайное влияние в Европе и особенно огорчает англичан. В России же не перестают восхвалять твои подвиги и прославлять тебя; в Москве уже продаются на Каменном мосту твои портреты и на коне, и грудные, и в разных положениях с чудными надписями и описаниями».

Горячо поздравляя с победой старого сослуживца и друга, Ермолов сообщал из Москвы:

«Читая иностранные журналы, ты, конечно, удивляешься, что английские тебя не раздирают, хотя не скрывают, что взятием Карса прямо попал им в жилу. Не порадует их и бедственное положение Омер-паши, спасающегося постыдным бегством. Одно утешение могут находить англичане в прочности союза с Наполеоном, который, обнаруживши их бессилие, не обращая внимания на успехи оружия нашего в Азиатской Турции, высказывает нежное чувство участия, с сожалением, что падение Карса должно быть им очень неприятно и вредит их выгодам. Это слышали в его разговорах. Приветствия и уверения в дружбе взаимны, но

хитрые англичане не в крови корсиканской могут отыскивать забвение Ватерлоо и Св. Елены».

Либеральный чиновник П.В.Зиновьев, близкий приятель декабристов Ивана Пущина и Ивана Якушкина, писал из Красноярска:

«Из дебрей сибирских примите искреннее душевное поздравление мое с покорением Карса. Вы первый в текущую войну склонили чужеземные знамена, взяли ключи их крепости и шпаги их генералов. Победа ваша, заканчивая кампанию 1855 года, дает возможность России вздохнуть свободно и с большим терпением вынести тяжелые дни, с большею осмотрительностью приготовиться к будущей борьбе. Здесь победа ваша произвела восторг всеобщий. Ваше имя с чувством живой благодарности передавалось друг другу во всех слоях общества. Сибирские жители – горячие патриоты и между тем умные судьи – восхищены вашими действиями».

Врач и общественный деятель С.Аренский откликнулся из Новгорода: «С какою любовью перечитывают всюду ваше донесение о взятии Карса! Надобно видеть, чтобы понять общую народную любовь к вам, доходящую до сердечной восторженности».[76]

Таковы все поздравительные послания. Муравьева признание его заслуг соотечественниками трогало до глубины души.

– Это лучшая мне награда, о которой я мог лишь мечтать, – говорил он жене, приехавшей осенью в Тифлис со старшими дочерьми.

Совсем иное отношение к Муравьеву проявили император Александр, окружающие его царедворцы, сановники, правящие лица. Взятие Карса было, конечно, и для них важным, радостным событием, позволяющим надеяться на скорый мирный договор с союзниками, на более мягкие их условия. И можно не сомневаться: если б Карс взял угодный им генерал, он был бы щедро награжден и возвеличен. Но Карс покорил человек, которого император Александр, как и покойный отец его, принужден был терпеть на посту кавказского наместника...

Император послал Муравьеву Георгиевский крест второй степени. И только. Кто-то из близких императора заметил, что взятие Карса заслуживает большей награды.

Александр сердито оборвал:

– Мы обязаны этой победой более помощи всевышнего, нежели деятельности Муравьева!

Неприятнь к наместнику постоянно подогревал у императора князь Барятинский, пускавший в ход любую подлость, чтобы ошельмовать Муравьева. Чиновник В.А.Инсарский, ближайший сотрудник Барятинского, свидетельствует: «Князь Александр Иванович старался, по мере сил и возможностей, ускорить падение Муравьева. В Петербурге князь нашел значительного по этой части сотрудника в Буткове, управлявшем делами Кавказского комитета. С обычной ловкостью Бутков мгновенно угадал восходящее величие и тотчас примкнул к нему. Совокупные их действия были оскорбительны и вредны для Муравьева».[77]

Но пока положение на Кавказе оставалось тревожным, домогательства Барятинского успеха не имели, император Александр не мог решиться на замену старого, опытного генерала своим взбалмошным приятелем, обещая ему сделать это, когда военная обстановка на Кавказе улучшится.

Теперь, когда экспедиционная армия Омер-паши была разгромлена, Барятинский усилил свои грязные происки против Муравьева. Добившись того, что император велел передавать ему все кавказские вопросы из военного министерства, Барятинский стал решать их

наперекор и во вред Муравьеву. А случаев к тому представлялось много.

Генерал Багратион-Мухранский, защищавший Мингрелию, предполагал, что Омер-паша после сражения при Ингури будет продолжать наступление в глубь страны, и преждевременно сжег там большие запасы хлеба, заготовленные для кавказских войск. Муравьев любил и ценил храброго генерала, но истребление им хлебных складов признал преждевременным и ненужным и сделал выговор. Багратион-Мухранский оскорбился, приехал жаловаться в Петербург и попал в объятия Барятинского, обещавшего ему полное содействие. «Мы сочинили и представили просторный и красноречивый доклад с приложением разных чертежей, – пишет Инсарский, – в котором доказывалось, что если бы Мухранский не сжег известных складов, то Омер-паша, найдя здесь продовольствие для своих войск, пошел бы далее и забрал бы весь Кавказ, и что поэтому Мухранский заслуживает не выговора, а награды, как спаситель страны. Это дело и этот доклад едва ли не были окончательными выстрелами, которыми князю надо было во что бы то ни стало повалить Муравьева. Когда я близко узнал Кавказ, тотчас обнаружилось, что Багратион-Мухранский действительно не заслуживал награды».

...18 марта 1856 года после длительных переговоров в Париже был подписан мирный договор с союзниками. Севастополь и другие города в Крыму и на Кавказском побережье, взятые союзными войсками, были возвращены России в обмен на Карс и малоазиатские турецкие владения, завоеванные Муравьевым. Николай Николаевич имел полное право сказать, что он честно послужил своему отечеству. Без воинских подкреплений и без правительственных субсидий он в короткое время сумел собрать сильный действующий корпус, воодушевить войска, подготовить оборону Мингрелии и, удержав Шамиля от нападений, вторгнуться в турецкие владения, завладев Ардаганом и Карсом. Кавказ и Крым были освобождены!

А из Петербурга чуть ли не ежедневно приходили всякие нелепые предписания, сыпались незаслуженно-оскорбительные выговоры, и он ясно понимал, кто и почему устраивает на него гонение... Что ж, иного отношения к себе от нового владыки он не ожидал! Впрочем, это и не особенно его огорчало. На службе оставаться все равно не было смысла, военные действия окончились, а стрелять в свободолюбивых горцев и разорять аулы он не собирался.

– Мавр сделал свое дело, мавр может уйти, – процитировал он в письме жене строки из шекспировской трагедии.

Прошение об отставке было им написано и послано в Петербург без колебаний. Отставка была принята, наместником назначен Барятинский. И вскоре Муравьев навсегда простился с Кавказом. Жалел он лишь о том, что не смог облегчить положение крепостных крестьян Кавказского края, находившихся в особенно тяжелых условиях.

«Здесь нет старых родовых помещиков, – записал он в дневнике, – а которые здесь находятся, составились из отставных или выслужившихся чиновников и офицеров или же из армян и грузин, достигнувших через офицерское звание дворянского права промыслять русским народом. Владельцы эти, приобретая земли на Кавказе, покупают в России людей и селят в своих поместьях. Естественно, что взаимные отношения владельцев с подвластными становятся самыми враждебными. С одной стороны, притеснения всякого рода для извлечения больших выгод, с другой – отчаяние... Крайность, бедность и угнетение всякого рода заставляют несчастных рабов всюду искать покровительства, которое при двусмысленности наших законов трудно им оказать. В просьбах свои люди эти выставляют одну причину, весьма законную для извлечения их из рабства, – это приобретение их без земли, но дела такого рода не могли решаться одною властью наместника, без справок, а должны были вестись законным порядком через присутственные места. Справки же в отдаленных губерниях России оставались долгое время без ответа или получались в неясных выражениях, дела не кончались, и страдальцы подвергались вящим истязаниям... При всем

участии моем к своим несчастным соотечественникам, я хотя и принимался за несколько подобных дел, но не могу похвалиться успехом, ибо коротко было управление мое краем».

Есаул Кавказского линейного казачьего войска И.С.Кравцов, оставивший описание трогательных проводов Муравьева из Ставрополя и устроенного ему представителями всех сословий прощального обеда, отметил: «На Северном Кавказе любили Муравьева за его правду и прямоту характера, чисто русские, тогда как в Закавказском крае лица, облагодетельствованные его предместником разными широкими милостями, напротив, отнеслись к нему холодно по той простой причине, что Муравьев на подобные милости был очень скуп. А был он скуп потому, что с народными деньгами, именуемыми казенными, он обходился так же, как Петр Великий, который говаривал, что он за каждый рубль, взятый с народа на нужды государственные, обязан дать отчет богу».[78]

Полковник Дондуков-Корсаков дополнил: «Под суровою оболочкою его скрывалось самое теплое и сострадательное сердце. В мерах взыскания он всегда отклонял все, что могло уничтожить будущность виновного. В командование свое на Кавказе он не решился подписать ни одного смертного приговора, не сделал никого несчастным».

10

В конце 1856 года у Николая Николаевича, проживавшего в Скорнякове, опасно заболела дочь Антонина. Врачи советовали на зиму отправить ее в Италию. Наталья Григорьевна предложила мужу:

– Поедьте всем семейством. Тебе, друг мой, тоже отдохнуть нужно, а я давно мечтаю побывать за границей!

Ехать решили пароходом из Петербурга, и, будучи в столице, Муравьев не мог не представиться императору Александру. Новый владыка произвел на него самое отталкивающее впечатление. Покойный император еще сдерживал дурные наклонности сына, принуждая его к занятиям, а теперь, став самодержцем, Александр предавался безудержно увеселениям и наслаждениям, сопровождавшимся зачастую настоящими вакханалиями. Муравьеву всегда ненавистны были цари и окружавшая их раболепствующая дворцовая челядь, но то, что увидел он теперь, превзошло все его ожидания. Делами во дворце никто не интересовался. Убеждений ни у кого не было. Истинные заслуги не ценились. Совесть труд осмеивался. Подобострастие, интриганство и лицемерие доведены были до высшей степени.

«Что можно было ожидать от людей, – с негодованием записал Муравьев, – коих личные страсти брали верх над чуждым для них теплым чувством любви к славе своего отечества! Одного мира домогались они, какой бы он ни был постыдный, и когда достигли его, тогда последовали прежним порядком происки и развилась ненасытность их к приобретению и властвованию, к наслаждениям всякого рода... И вот личности, окружающие престол, обладающие всеми силами государства, исправляющие нравственность служащих, избирающие правителей народа! От такой среды честный человек должен бежать, если он сам не чувствует в силах изменить губительный порядок вещей!»

Император Александр, с опухшим лицом и тяжелым взглядом, принял Муравьева не приветливо и, слегка кивнув головой, не пригласив сесть, проговорил сердито:

– Вы почему, генерал, нарушаете существующие правила ношения головных уборов?

Муравьев от такого неожиданного вопроса смутился:

– Я не понимаю, ваше величество...

– Нет, вы отлично понимаете! – перебил царь. – Вам присвоено носить каску, а вы, как мне говорили, продолжаете ходить в папахе, присвоенной лишь лицам, состоящим на службе в Кавказском корпусе...

Едва сдерживая клокотавшее в груди возмущение, стиснув зубы, Муравьев стоял и молча слушал царское поучение. И по какому ничтожному поводу! Это вместо того, чтобы поблагодарить за полезную отечеству службу или хотя бы поинтересоваться подробностями военных действий!

– Извините, государь, – промолвил Муравьев, – что, забыв сменить папаху, я вызвал тем самым гнев вашего величества...

– Раз правила существуют, значит, надо их выполнять, – назидательно заключил царь и, чуть помедлив, видимо не находя других тем для разговора, спросил: – Вы долго думаете пробить за границей?

– Всю зиму и весну, как рекомендуют врачи для здоровья дочери...

– Что ж, поезжайте... Надеюсь, вы останетесь вояжем своим довольны!

Муравьев и прежде был невысокого мнения об Александре, а теперь окончательно убедился, какой ничтожный, подлый и пошлый человечиска уселся на троне.

... Прожив зиму в Риме, а весну в Швейцарии, Муравьевы летом возвратились в Скорняково. Николай Николаевич писал книгу «Война за Кавказом» и не предполагал в ближайшее время оставлять деревенского уединения, где ему так хорошо работалось.

Между тем интерес к покорителю Карса в народе не иссякал. И хотя цензорам и издателям было сделано сверху внушение «излишних похвал действиям генерала Муравьева не допускать», это обстоятельство народной славы его не преуменьшило. Правительство ни чинов, ни званий за взятие Карса Муравьеву не присвоило, а соотечественники благодарно прозвали его Карским. И многие простые люди, не искушенные в дворцовых интригах, недоумевали: почему генерал, которому Россия обязана освобождением Кавказа от интервентов и возвращением Крыма, вынужден жить деревенским отшельником? Нежелательные для правительства нарекания слышались всюду. Александр II с этим не мог не считаться.

Муравьев неожиданно получил приказание незамедлительно по распоряжению государя явиться в Петербург. Ничего доброго от этого вызова ожидать не приходилось. И он отправился в столицу неохотно, с тяжелым чувством.

Император Александр принял на этот раз более вежливо, спросил о здоровье и семейными делами поинтересовался, но тут же разъярился и неблагоприятный его умысел:

– Я вызвал вас, Николай Николаевич, затем, – сказал он, – чтобы предложить весьма важное по нынешним временам место председателя в генерал-аудиториате...

Муравьев хорошо знал, какая дурная слава установилась за генерал-аудиториатом, с каким презрением и ненавистью отзываются всюду об этом высшем военном карательном органе. И тут же вспомнил: император Николай, желая подорвать любовь и уважение военных людей к Ермолову, сделал ему точь-в-точь такое же предложение, от которого Алексей Петрович решительно отказался. Цель императора Александра, следовавшего по стопам «незабвенного родителя», новизной не отличалась. Нет, он, Муравьев, тоже своего имени

пятна не будет!

И, стараясь держаться как можно спокойней, глядя в глаза царю, он произнес:

– Я надеялся, государь, отдохнуть от трудов и волнений, понесенных в прошедшую войну, и в мои годы не смогу братья за то, к чему не сроден...

Император нахмурился, глаза у него сделались злыми.

– Так вы что же, хотите отказаться от моего предложения?

– Да, ваше величество, – твердо и прямо сказал Муравьев. – Я свыше сорока лет нахожусь на поприще военном, и вы не раз изволили удостоивать меня своим одобрением. Не возлагайте же на меня при исходе жизни моей звания палача. Оставьте мне лучшее приобретение мое в жизни – честное имя и душевное спокойствие, не подвергайте меня укорам, которые будут преследовать память обо мне за пределами жизни...

Император не дослушал, пухлые щеки его побагровели и затряслись, он, копируя отца, заложил правую руку за борт мундира и, приняв грозный вид повелителя, проговорил:

– Когда государь вам приказывает, то рассуждать нечего, а должно повиноваться, исполнять волю его. Я даю вам три дня времени, подумайте и передайте ответ свой военному министру, который мне о том доложит... Прощайте!

Грозный вид царя Муравьева не испугал. Сделка с совестью была для него немислима. Явившись к военному министру, он заявил, что должность, предложенную государем, он принять не может.

– Это ваше право, Николай Николаевич, уговаривать вас не буду, – ответил министр, – но, мне думается, вы могли бы несколько смягчить ваш ответ государю...

– Не понимаю, как именно? – удивился Муравьев.

– Вы, вероятно, слышали о подготовляющемся судебном процессе над главным интендантом Крымской армии Затлером?

– Да, в Петербурге только и разговора о том. Дело, судя по всему, грязное.

– Совершенно верно. И мне помнится, вы в свое время с корыстолюбивыми интендантами, обкрадывавшими войска, расправлялись сурово, не считая сего для себя зазорным. Так, может быть, вы, отказываясь от постоянного председательства в генерал-аудиториате, согласились бы участвовать в суде над Затлером?

– Мне такого предложения никто не делал.

– А что бы вы ответили, если бы оно было сделано?

– Пожалуй, согласился бы... Обкрадывать героических защитников Севастополя могли только самые гнусные подлецы, и суровый суд над ними я считаю актом справедливости.

– Хорошо, отлично, – сказал министр. – Я государю так о нашем разговоре и доложу.

Судебный процесс по делу Затлера привлекал внимание всей страны. Дело состояло в том, что возглавляемое Затлером интендантское управление Крымской армии систематически поставляло войскам недоброкачественные продукты, снабжало негодной обувью и одеждой, задерживало доставку военного снаряжения.

Муравьев, утвержденный членом судебной коллегии, видел по ходу дела, что нити всех этих

преступлений не обрывались на Затлере, а тянулись дальше. Затлер был своим человеком у главнокомандующего князя Горчакова. Армейские интенданты и поставщики были связаны со многими видными чиновниками из других ведомств и высокопоставленными лицами. Муравьев негодовал и требовал, чтобы все эти попустительствовавшие ворами «знатные персоны» были дополнительно привлечены к ответственности. В высших сферах смотрели на дело иначе, приказали «знатных персон» не затрагивать.

При определении наказания Муравьев требовал, чтобы Затлер и главные его помощники были разжалованы в солдаты и сосланы на каторгу.

Суд решился только на разжалование.

Муравьев записал: «Участие к разжалованным в солдаты понятно тогда, когда они пострадали за малость, за поединок, за политические проступки, даже за буйство, но к людям, постоянно промышляющим разгромлением казны в невероятных размерах, с погублением корыстолюбивыми оборотами своими тысячей служивых, и без того обреченных на смерть от неприятельского оружия, приговор к разжалованию в солдаты казался мне недостаточным».[79]

Но за спиной Затлера стояли могущественные покровители. Император еще более смягчил приговор, чиновные воры и мошенники отделались удалением со службы.

Муравьев чувствовал себя одураченным. Он высказал неудовольствие военному министру и, получив полное увольнение, уехал в Скорняково, дав себе слово впредь всеми способами избегать поездки в столицу и встречи с царем и правящими лицами.

... Шли месяцы, шли годы. Крепостной строй продолжал тормозить развитие сельского хозяйства и промышленности. Положение в стране становилось все более напряженным. Император Александр вынужден был создать комитет по крестьянским делам, поручив ему заняться подготовкой реформы.

– Лучше освободить крестьян сверху, – заявил царь московскому дворянству, – нежели ждать, когда они сами освободят себя снизу!

Министром внутренних дел стал С.С.Ланской, некогда состоявший членом Союза Благоденствия, ратовавший за либеральные реформы и освобождение крестьян от рабства. Александр Муравьев, старинный приятель Ланского, по его рекомендации был назначен нижегородским губернатором. Известие это многих изумило, да оно и понятно. Основатель первого в России тайного общества, декабрист, первым поставивший вопрос о цареубийстве, приговоренный некогда к каторжным работам, занял один из важнейших постов в государстве!

Прибыв в Нижний Новгород, Александр Муравьев с неукротимой энергией начал борьбу с корыстолюбием, взяточничеством, злоупотреблениями администрации, смело выступая против крепостников, не желавших освобождения крестьян.

Александр Муравьев находился в постоянной переписке с братом Николаем, которому 27 февраля 1857 года писал из Нижнего Новгорода:

«Пользуюсь только шестью часами сна в сутки (и то не всегда), а весь день напролет занят делами управления весьма сложного и разнородного, ибо я вместе военный и гражданский губернатор над 1 250 000 жителями, которые, найдя во мне человека доступного всякому, заваливают меня своими просьбами после долгого угнетения, в котором они были. Кроме того, обыкновенные текущие дела по военному, гражданскому и торговому ведомствам и еще много дел, выходящих из обыкновенного разряда. Все это в такой губернии, где на все привыкли смотреть равнодушно, обратило меня и в распорядителя и в исполнителя, что

продолжаться будет дотоле, доколе я не разбужу спящих над своим долгом и не пекущихся об исполнении своих обязанностей и доколе не сотру главы Гидры злоупотреблений, взяток и неимоверного корыстолюбия...»

Главной заботой нижегородского губернатора была в то время подготовка к предстоящей реформе – освобождению крестьян. Опираясь на либеральное дворянство, пославшее в Петербург постановление о желании уничтожить крепостное право и получив «высочайший рескрипт», одобрявший это желание, Александр Николаевич Муравьев стал добиваться, чтобы в созданном губернском комитете был принят проект о немедленном освобождении крестьян с наделением помещичьей землей без выкупа. Крепостническое дворянство сразу почувствовало в губернаторе-каторжнике, как за глаза называли Муравьева, смертельного врага. Борьба с крепостниками требовала от Александра Николаевича большого напряжения сил, твердости, осторожности.

«Теперь комитеты об освобождении крестьян, – сообщает он брату 11 февраля 1858 года, – весьма затруднительны, тем более, что мне высочайше вверено наблюдение и направление всего этого дела в губернии, где владельцами суть магнаты, занимающие высшие должности в государстве. Дай я промах – то и пропал!»

Партию нижегородских крепостников возглавлял крупнейший магнат и землевладелец губернии Сергей Васильевич Шереметев, имевший огромные связи с высокопоставленными лицами. Для своих крестьян он выработал такой «план добровольного выкупа», что тот разорил бы их всех, и, понятно, они этот «план» подписать отказались. Шереметев пришел в ярость, стал лично избивать упрямцев и сажать в тюрьмы.

Муравьев выступил против властного и жестокого крепостника. Борьба, за исходом которой нижегородцы следили с захватывающим вниманием, продолжалась более полугода. На предложение губернатора прекратить бесчинства Шереметев презрительно усмехнулся и стал писать в Петербург письма, обвиняя Муравьева в подстрекательстве к бунту и ядовито намекая на его прошлое.

Но в конце концов Муравьеву удалось с помощью Ланского обуздать всемогущего крепостника.

«Могу сказать, что две сильные партии борются, – писал Александр Муравьев из Нижнего Новгорода брату Николаю 5 января 1860 года, – одна за освобождение крестьян с землею, как старинным и естественным достоянием их, другая же не хотела бы освобождать крестьян, но как это сделалось уже невозможно, то придирается к земле, считая ее неотъемлемую собственностью владельца, как будто бы до дарования крестьян с землями помещикам они жили только воздухом и водою! Эта последняя партия чрезвычайно сильна, и лица, ее составляющие, суть первые магнаты в государстве и правительстве. Не могу предугадать, чем все это кончится?»

В другом письме, посланном брату 28 мая того же года, Александр Муравьев сообщал:

«Поездка моя по губернии весьма, была полезна. Крестьяне нетерпеливо ждут лучшего. Как бы то ни было, хотя в материальном отношении некоторым будет и похуже, а все-таки будет лучше, потому, что человек вступит в человеческие права и достоинства. Почти верно, что в конце текущего года свобода будет объявлена, говорят иные, что с землею, а другие, что без земли. Вот это будет беда, ежели без земли!»

А 27 февраля 1861 года посылает брату такое письмо:

«Очень жаль... что опять не удастся нам свидеться; мне никак при настоящих обстоятельствах нельзя отсюда выехать, потому что ожидаю Манифест и Положение о крестьянах, а за ними весьма скорого их обнародования... ко всему этому нужны

приготовления... Надеюсь, что здесь все произойдет тихо и безмятежно... К прошедшему 19 февраля собралось здесь народу множество в ожидании, что будут объявлять свободу. Я выходил к ним, ожидая от них вопросов, но их не было, все спокойно разошлись по домам и деревням... Полиции я не велел ни с кем связываться и входить в разговоры, и все прошло спокойно. Самое лучшее средство к удержанию народа есть оказать ему доверие.

Куда теперь воевать! Дома дела много, да и сверх того одна вольность потянет за собой и другую, Например: книгопечатание, гласное судопроизводство, свобода вероисповедания и прочее. Работы будет много – слава богу!»{21}

Александр Николаевич верил в благие намерения царя, верил, что ожидаемая вольность принесет облегчение народу, потому и дал согласие на губернаторство. Получая письма брата, Николай Николаевич скептически говорил:

– Сколько еще юношеского запала у брата Александра и сколь наивны его надежды!

В начале марта 1861 года царский Манифест и Положение о крестьянах были объявлены. Александра Муравьева постигло глубокое разочарование. Объявленная царем «свобода» оказалась весьма сомнительной. Крестьяне остались без земли, и власть помещиков над ними не прекратилась. Прочитав Положение, Александр Николаевич горько заметил:

– Бедные крестьяне!

Убедившись, что реакция опять восторжествовала и крестьяне жестоко обмануты, он немедленно вышел в отставку.[80] А Николай Николаевич, хотя и понимал суть дела, был все же доволен, что крестьяне освобождены от личного рабства.

Задонский помещик Куликовский, после того как Манифест был объявлен, писал ему: «Крестьяне находятся в состоянии какого-то удивления и сомнения, и вот их сокровенные слова, высказанные мне людьми, более ко мне расположенными: «Что это за воля, без земли, да еще и барщина будет».

Прочитав это письмо, Николай Николаевич сказал жене:

– Нам-то с тобой опасаться нечего, поскольку скорняковцы давно освобождены, а в других местах могут возникнуть серьезные волнения... Без земли мужику делать нечего!

... Летом Александр Николаевич Муравьев приехал в Скорняково. Ему давно хотелось повидаться с братом, побеседовать о многом. Политические единомышленники с юных лет, душевно близкие друг другу, они никогда не скучали, оставаясь наедине. Вечером отправились за Дон.

После прошедших недавно сильных грозных дождей погода прочно установилась безветренная и теплая, в придонских полях вот-вот должна была начаться уборка хлебов, воздух был пропитан запахом отцветающих трав и горьковатой полыни. А закат еще не отпылал, и зеркальная поверхность реки неправдоподобно розовела, а разлитая вокруг удивительная тишина нарушалась лишь далеким воркованием горлинки да стрекотанием кузнечиков.

– Чудесно у тебя, милый брат, – говорил Александр Николаевич, – я, право, нигде не чувствую так красоты природы, как здесь. Ты избрал прелестное место для жительства. Я все более прихожу к выводу, что в живом общении с природой мы делаемся радостней, лучше и чище...

– Возраст на такие мысли настраивает, Саша, – вздохнул Николай Николаевич. – А когда помоложе с тобой были, на ум-то другое шло... Я смотрю сейчас на тебя, и знаешь, что мне

вспоминается? Священная артель наша... горячие призывы твои заставить правительство освободить крестьян от крепостного рабства...

– Что ж, не совсем ведь бесплодны были эти призывы и действия Священной артели нашей и тайных обществ... В конце концов, со многими нашими предложениями самодержавие вынуждено считаться.

– Добавь, что оно, по явному бесплодию своему, вынуждено было и пользоваться трудами многих из нас для исполнения важных государственных дел... Разве мое назначение наместником не ясное сему подтверждение!

– Да, ты послужил отечеству славно! – подхватил Александр Николаевич. – Не перестаю восхищаться тобой! И не только военными действиями твоими, но и мужеством гражданским. Изгнать из армии царского фаворита, отпустить из Карса политических эмигрантов, отказаться против совести служить царю – на это не всякий способен.

– Ну, я уверен, что ты сам, будь на моем месте, поступил бы так же!

– Не знаю, не знаю, хватило ли бы твердости. Ручаться не могу...

– Не скромничай, Саша. Воевал же ты недавно один против всех нижегородских магнатов... Но давай поговорим о другом. Меня, признаюсь, смущают некоторые обстоятельства последнего времени...

– Ты что имеешь в виду?

– Наши чувства любви к отечеству рождались и закалялись в огне кровавой войны, наши поступки этими чувствами определялись... А что двигает поступками людей теперь? Самодержавие воспитывает чиновный и служивый люд в духовном рабстве. Я наблюдал в столицах многих, даже видных деятелей, они не постигают, что унижительная угодливость с пожертвованием убеждений своих несовместима с совестливым исполнением обязанностей...[81]

– Понимаю твое смущение и отчасти мнение твое разделяю, – промолвил Александр Николаевич. – Чувство любви к отечеству в наших общественных кругах притушено, жестокости самодержавного строя как бы погрузили нас в летаргию. Все это так. Но люди разные, брат Николай. Мы знаем лишь людей нашего общественного круга, а как живут и о чем мечтают миллионы простых людей?

– Замечание глубокое и, по-моему, верное, – согласился Николай Николаевич. – Народа своего мы не знаем, это наша беда!

– А кто может предсказать, – продолжил Александр Николаевич, – в каких слоях общества найдется добрая почва для развития брошенных нами семян вольности? Пусть недавняя реформа оказалась куцей и не оправдала надежд крестьянства, а все-таки это какое-то движение вперед... Среди освобожденных от рабства разве не могут появиться великие мужи для свершения великих дел?

Братья остановились на взгорье, откуда хорошо была видна окрестность и во всей красоте открывался Дон. Начинало смеркаться. В небе замигали первые звезды. От реки потянуло свежестью.

Александр Николаевич несколько секунд задумчиво глядел куда-то вдаль, потом повернулся к брату и восторженно сказал:

– Грядущее сокрыто от нас непроницаемой завесой, но я верю, страстно верю, милый брат мой, что отечеству нашему суждено прекрасное будущее... Не может быть иначе в обширной

и богатой стране, населенной мужественным народом, любовь которого к Родине испытана в стольких кровавых битвах с чужеземцами! Настанет время, когда существующие порядки заменятся другими, лучшими, и восторжествует справедливость, и люди добрым словом помянут нас за наши труды и страдания...

Николай Николаевич глядел на брата, чувствуя, как в самую душу проникают сокровенные слова его. И, взяв руку Александра, благодарно и ласково пожав ее, произнес:

– Хорошо, душевно ты сказал, любезный брат. Не вечны же, в самом деле, давящие на нас деспотические установления и вековые предрассудки, невежество, темнота и рабские привычки. Придет пора иная... Ты как-то верно заметил, что мы с тобой не доживем до того, а внуки наши, потомки увидят Россию в ореоле мировой славы, свободной, просвещенной и могущественной! Верю, как и ты, что так будет, Саша!..[82]

Авторские дополнения к тексту

Я родился и вырос близ Воронежа, в небольшом уездном городке Задонске, живописно разбросанном на левом берегу Дона. В двухстах шагах от родительского дома возвышалась каменная громада знаменитого монастыря, некогда привлекавшего толпы богомольцев со всей страны. И мне с детских лет знакомы были калитка в монастырской ограде, посыпанная желтым песочком тропинка в монастырском садике, пьянящий запах цветущих белых акаций и лип. А под ними, близ главного собора, монолитный надгробный памятник из серого финляндского гранита с краткой четкой надписью:

«Николай Николаевич Муравьев. Начал военное поприще Отечественной войной 1812 года, кончил Восточной 1856 года под Карсом».

Я знал, что здесь похоронен известный генерал, покоритель Карса, который последние годы жизни провел в своем имении Скорняково близ Задонска, я встречался еще с людьми, лично знавшими Муравьева, отзывавшимися о нем как о суровом по виду, но гуманном и справедливом человеке. Однако интерес к жизни этого генерала у меня не возникал. Мало ли было хороших генералов! Огромные исторические события волновали мир: началась империалистическая война, потом произошла Октябрьская революция, освобожденный от самодержавного строя и классового угнетения народ воздвигал величественное здание социалистической державы.

Я уехал из родного города. И прошло много-много лет, пока я не узнал некоторых любопытных подробностей из жизни Н.Н.Муравьева, заставивших меня иначе отнестись к слышанным в детстве рассказам о нем и вспомнить о давно забытой его могиле...

Из книг известного советского историка академика М.В.Нечкиной, исследовавшей вопрос о ранних декабристских организациях, я узнал, что Н.Н.Муравьев еще в 1811 году в Петербурге создал первое в России тайное юношеское общество, объединившее многих будущих декабристов, мечтавших создать республику на острове Сахалин. «Юношеское братство, – прочитал я, – ранняя преддекабристская организация, во главе которой стал юный, всего-навсего шестнадцатилетний прапорщик Николай Муравьев, отмечена страстным увлечением идеей всеобщего равенства и республиканскими настроениями в духе Руссо»{22}

А после Отечественной войны Николай Муравьев вместе с братом Александром и Иваном Бурцовым организует знаменитую Священную артель, явившуюся колыбелью тайного общества – Союза Спасения. Но в конце 1816 года Николай Муравьев в силу

неблагоприятных для него семейных происшествий уезжает с Ермоловым на Кавказ. «Исследователь имеет все основания предположить, – заметила М.В.Нечкина, – что, не будь этих происшествий и вынужденного отъезда на Кавказ, в Союзе Спасения одним членом было бы больше: так явственен в этот момент вольнодумный облик члена Священной артели Николая Муравьева»{23}.

Пробудившийся в связи с такими сведениями вполне понятный интерес к Н.Н.Муравьеву заставил меня навести справки о дальнейшей его жизни и деятельности в центральных архивах и библиотеках, и я выяснил следующее. Биографии Н.Н.Муравьева не существует. Помещенные в дореволюционных журналах высказывания и воспоминания о нем отличаются крайней разноречивостью и субъективностью оценок. В советское время никто из историков и исследователей, кроме М. В. Нечкиной, жизнью и деятельностью Н.Н.Муравьева не занимался.

И далее я узнал, что Н.Н.Муравьев более полувека с редким постоянством делал дневниковые записи, а в последние годы, живя в Скорнякове, занимался их обработкой, но напечатанными «Записки» свои при жизни не увидел. После смерти его в 1866 году дочь Александра Николаевна Соколова передала «Записки» отца издателю «Русского архива» П.И.Бартеневу, который получил дозволение на их публикацию лишь в 1885 году. При соответствующей обработке и редакторской правке «Записки» печатались в «Русском архиве» частями в продолжение 1885 – 1895 гг., а затем публикация была прервана. Неопубликованные части хранятся в Центральном Государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА), там же находятся служебная переписка Н.Н.Муравьева и письма к нему А.П.Ермолова (до конца жизни они были в самых близких отношениях). А черновые рукописи опубликованных «Записок» хранятся в отделе письменных источников Государственного Исторического музея в Москве (ОПИ ГИМ). Кроме того, документальные материалы о Муравьеве имеются в воронежском архиве и некоторых других архивохранилищах.

Мне не первый раз приходилось иметь дело с архивными материалами, и я видел, что новая работа потребует много сил, времени, но есть ли смысл тратить их?

Один из молодых историков, с которым я попробовал побеседовать о Муравьеве, отозвался весьма скептически:

– Чем вас этот Муравьев привлекает? Ну, положим, грешил он в молодости либерализмом и знал некоторых декабристов, а дальше что? Ведь он в конце жизни стал наместником Кавказа, стало быть, состоял в числе царских любимцев, иначе не попал бы на столь высокий пост. Разве не так?

Одно время и мне в голову такая мысль приходила, но существовали и некие доводы за то, чтобы отвергнуть ее. В воронежском архиве мне попала копия служебного формуляра Н.Н.Муравьева, из которого явствовало, что он дважды по каким-то причинам подвергся удалению с военной службы, пробыв в общей сложности под опалой свыше двадцати лет в Скорнякове, а главное, весьма странной мне показалась запись в формуляре о том, что Н.Н.Муравьев в один и тот же день, 29 ноября 1854 года, был неожиданно произведен в генерал-адъютанты, назначен главнокомандующим кавказских войск и наместником.{24} Что-то загадочное заключалось в столь необычном и поспешном производстве. Каким образом и почему оно произошло?

Я решил прежде всего найти ответ на этот вопрос. И принялся за чтение в ЦГВИА двух больших томов рукописных неизданных «Записок» Н.Н.Муравьева, отражавших пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века. И тут, во-первых, сразу стало понятно, почему эти части «Записок» царская цензура к печати не позволила. В них содержались такие резкие характеристики императоров Николая I и Александра II, такая критическая оценка самодержавия, ничтожных правителей и сановников, что о публикации их нечего было и

думать. И во-вторых, я узнал, чем вызывалось решение императора Николая, знавшего о тесных связях Н.Н.Муравьева с декабристами, назначить его наместником на Кавказе и каковы были действительные отношения между ними.

«Не милостью царской было мне вверено управление Кавказом, а к тому государь был побужден всеобщим разрушением, там водворившимся от правления предместника моего, – записал сам Муравьев 4 января 1855 года в Москве перед отправлением на Кавказ. – Находясь в столице близ государя и первенствующих лиц, видел ничтожность многих. Еще раз убедился в общем упадке духа в высшем кругу правления, в слабости, ничтожестве правящих. Я видел своими глазами то состояние разрушения, в которое приведены нравственные и материальные силы России тридцатилетним безрассудным царствованием человека необразованного, хотя, может быть, от природы и не без дарований, надменного, слабого, робкого, вместе с тем мстительного и преданного всего более удовлетворению своих страстей, наконец, достигшего как в своем царстве, так и за границу высшей степени неуважения, скажу, презрения, и опирающегося, еще без сознательности, на священную якобы преданность народа русского духовному обладателю своему, – сила, которой он не понимает и готов пользоваться для себя лично в уверенности, что безусловная преданность сия относится к лицу его, нисколько не заботясь о разрушаемом им государстве»{25}.

Неопубликованные части «Записок» не оставляли сомнения, что Н.Н.Муравьев и в последние годы жизни, как и в молодости, оставался противником самодержавия, ненавидел венценосных монархов и окружавших их лиц, «коих личные страсти брали верх над чуждым для них теплым чувством любви к славе своего отечества», ненавидел чиновную царскую бюрократию, «в образ мыслей которой сильно вкоренилось понятие о данничестве трудящегося класса людей, дышащих как бы для удовлетворения праздного сословия». Когда началась Крымская война, Муравьев сделал такую запись: «Средства, конечно, велики в России для противоборствования хотя бы и против всей Европы, возбудится и дух народный; но в чьих руках силы сии и какое поручительство за успех, когда правитель во всем видит только свою личность и когда не видно около него ни одного человека, который бы действовал самоотверженно... Виды всех столь ограничены, уважения ни к лицу, ни к месту, и везде губительное самонадеяние невежи... Бедная Россия, в чьих руках находятся ныне судьбы твои!»{26}

Да, после таких открытий образ Муравьева прочно занял мое воображение, и я не мог уже отказаться от дальнейших поисков и исследований...

Я прочитал в каком-то журнале, что Муравьев всю жизнь вел переписку с различными деятелями, где-то должны были найтись следы ее. И потом меня интересовали подробности деревенской его жизни. Летом я поехал в Задонск. Не без труда отыскал могилу Муравьева. На территории бывшего монастыря теперь размещались корпуса межрайонной больницы и механизированные цеха сушильного завода. Столь разнородные предприятия отделялись друг от друга деревянным забором. Муравьевская могила оказалась в пределах завода и была совершенно завалена кирпичами, дровами и старой тарой. Директор В.Н.Стрельцов, которому я рассказал о Муравьеве, приказал расчистить указанное мною место, и спустя несколько дней я увидел вновь массивный гранитный надгробный памятник. Здесь нашел последнее успокоение замечательный, незаслуженно забытый деятель прошлого века! Я долго стоял у его могилы и размышлял о превратностях человеческой жизни...

Из Задонска я отправился в Скорняково. Большое старинное это село раскинулось на левом берегу Дона, километрах в сорока выше Задонска, с которым соединяется грейдерной дорогой. Места здесь привольные. Река неширокая, но быстрая и чистая, воздух здоровый, никакой гарью и дымами не испорченный. Господский двухэтажный из тесаного камня дом, построенный Н.Н.Муравьевым, оказался целым до сих пор. Стоит он на взгорье, и из верхних окон открывается во всей своей красоте тихий и ласковый Дон. Не было, правда, в доме деревянных колонн и балконов, существовавших когда-то, исчезли примыкавшие к дому

цветники, оранжереи и сад, зато вместо убогих крестьянских крытых соломой хижин, описанных Муравьевым, красовались веселые коттеджики с антеннами на крышах, тянулись электрические и телефонные провода, и у входа в дом стояли грузовые и несколько легковых машин разных марок. Бывшее помещичье имение вскоре после Октябрьской революции было превращено в совхоз «Тихий Дон», существующий и сейчас. В доме помещалась главная контора совхоза. Служащие большей частью были молодыми людьми и о прошлом села Скорнякова не имели понятия, но мне назвали старых жителей села, и я, не теряя времени, отправился беседовать с ними.

Анисья Алексеевна Сачкова, восьмидесяти трех лет, рассказала следующее:

– Я помню только дочь генерала Софью Николаевну Черткову, которая после смерти отца тут хозяйствовала... Но мать моя и бабка говорили, что в селе при генерале была ткацкая фабрика, на которой они работали. И хотя при крепостном праве это было, они получали жалованье, не помню уж какое, и сказывали, будто Муравьев-генерал крепостных своих освободил еще до воли...

Михаил Николаевич Глумов, которому перевалило за девяносто лет, добавил:

– Мой отец кучером у Муравьевых был и тоже говаривал, что крепостных он освобождал до воли и землю всем давал... А барыня Софья Николаевна Черткова с мужем и семейством только в летнюю пору у нас бывала, а на зиму в Москву аль еще куда уезжала. Я помню, как барыня книги и бумаги всякие, которые после генерала остались, увозила отсюда...

– Какие книги и бумаги? – заинтересовался я.

– Того не могу знать, а только много их было и в шкафах и в сундуках, возов пять аль шесть нагрузили, а уж куда они потом девались, сказать не могу...

Вот все, что мне в Скорнякове удалось узнать. Мало? Нет, немало, я был поездкой удовлетворен. Ведь я полагал, что книжное и литературное наследство Муравьева досталось его дочери А.Н.Соколовой, которая передала его «Записки» в «Русский архив», а теперь мне открывалось, что какие-то книги и бумаги вывозились С.Н.Черткой, и это был уже более верный след, по которому можно было двигаться дальше.

Прошел месяц, другой, третий... В Москве я продолжал наводить соответствующие справки, и в конце концов мне удалось узнать, что чертковская библиотека и, возможно, какие-то документы были сданы в Государственный Исторический музей. В отделе письменных источников музея хранились известные мне черновики публиковавшихся «Записок» Н.Н.Муравьева, попавшие сюда, по всей вероятности, из редакции «Русского архива», но, чем черт не шутит, возможно, здесь что-то знают и об эпистолярном наследии Муравьева?

Мне здорово повезло! В музее пояснили, что действительно много лет назад вместе с книгами чертковской библиотеки к ним поступило около четырех тысяч писем различных лиц к генералу Н.Н.Муравьеву-Карскому. Но никто к этим письмам не прикасался, они даже в описи не значились, тем не менее вскоре будут приведены в порядок, и тогда, пожалуйста, приходите читать их, если вас это интересует...

Признаюсь, я едва дождался вожделенного того часа! И вот эти подобранные по годам письма в старых картонных папках лежат передо мною... Меня охватило понятное всем исследователям лихорадочное волнение. Я еще не знал, что в этих папках, но чувствовал: должно отыскаться в них что-то необычайное и значительное.

Раскрываю папку 1816 года. Из «Записок» Н.Н.Муравьева известно, что осенью этого года он покинул Петербург и уехал с Ермоловым на Кавказ. Члены Священной артели проводили его до Средней Рогатки и тут с ним расстались. А что же дальше? Ведь публикация о Священной

артели, сделанная М.В.Нечкиной, была основана на мемуарных свидетельствах. Указав на политический характер и конспиративные черты этой артели, М.В.Нечкина оговорила, что «не ставит перед собой цели исчерпывающего исследования вопроса, этого не позволяет сделать состояние первоисточников». Состав Священной артели, время ее существования, идейная и организационная жизнь – многое было исследователям еще не ясно.

А может быть, мне сейчас выпадет счастье отыскать и первому прочесть нечто такое, что доселе никому не было известно... Было от чего волноваться!

Я бережно перелистываю выцветшие бумажки и вдруг вижу знакомый мне по другим моим архивным изысканиям крупный, кудреватый и четкий почерк... Иван Бурцов! Один из самых ревностных членов Священной артели и первых декабристских организаций! А этот убористый, тонкий, плохо разбираемый почерк... Это же Александр Муравьев, брат Николая. Член Священной артели и основатель первого тайного общества – Союза Спасения! А вот письма коренных членов артели и активных деятелей первых тайных обществ Петра и Павла Калошиных! И большое письмо на французском языке Матвея Муравьева-Апостола с припиской по-русски Никиты Муравьева!

Я вчитываюсь в письма. Они дышат юношеской чистой верой в светлое будущее отечества, готовностью отдать за него жизнь и полны трогательными дружескими чувствами к Николаю Муравьеву, который, как видно из этих писем, был не рядовым членом Священной артели, а основателем и главой ее.

Продолжаю просматривать письма следующих годов. Муравьев служит на Кавказе. Совершает в 1819 году героическое путешествие в Хиву.

И.Бурцов пишет Муравьеву из Тульчина, где он вместе с Пестелем создавал управу Союза Благоденствия: «Имя твое, достойнейший Николай, превозносимо согражданами. Подвиг, тобой совершенный, достоин славного Рима. Как ни равнодушен век наш к подобным делам, но не умолчит о тебе история. Суди же, какую радостью исполнены сердца друзей твоих!.. Всегда друзья твои славляли и чтили твою чувствительность, душевную крепость, силу воли; теперь отечество обязано пред тобой – оно в долгу у гражданина, торжественное, превосходное состояние!»

Муравьев получает чин полковника. Но Александр II зная о его связях с неблагонадежными лицами, опять посылает его в «теплую Сибирь», как называл Кавказ.

Муравьев политической деятельности не оставляет. Он в самых близких отношениях со всеми вольнодумцами и членами тайных обществ, служащими в кавказских войсках. Число корреспондентов его с каждым годом все увеличивается. Читаю письма Александра Якубовича, полковника Авенариуса – друга Павла Пестеля, Петра Муханова, Владимира Вольховского, Евдокима Лачинова, Захара Чернышова, Ивана Шипова...

Чтобы разобраться в этом огромном эпистолярном наследии, требуется не только время, но и известная подготовка, консультация историков. Прекращаю на время разбор, посылаю подробное сообщение академику М.В.Нечкиной. Может быть, советским историкам-декабристоведом эти письма известны? И прав ли я, считая Муравьева одним из замечательных деятелей прошлого века?

М.В.Нечкина ответа мне не задержала: «Вы нашли материалы первостепенного значения и для такой темы, которая как раз страдала недостаточностью источников... Тема о самом Н.Н.Муравьеве кажется мне очень интересной. Я согласна с вами, что Н.Н.Муравьев замечательный и незаслуженно забытый деятель».

Приятна была и встреча с известным писателем-исследователем Ираклием Андрониковым, признавшим большую ценность моих находок.

Ободренный такими отзывами, продолжаю разбор. 1825 год. Восстание декабристов. Количество писем значительно уменьшилось. Видимо, многие были уничтожены. А все-таки и восстание на Сенатской площади, и следствие над заговорщиками, и расправа с ними самодержавия отражены в нелегально доставленном сообщении ермоловского адъютанта Н.Воейкова, в письмах тещи И.Якушкина и Н.Н.Шереметевой, в прорвавшихся из Сибири посланиях брата Александра.

Помимо декабристов в переписке с Муравьевым состояли многие известные общественные деятели. Нахожу письма Грибоедова, Дениса Давыдова, Нины Грибоедовой, множество писем на французском языке Прасковьи Николаевны Ахвердовой, и в частности, ее сообщение из Петербурга о дуэли и смерти Пушкина. Всего не перечислишь!

А вот письма возвратившегося из сибирской ссылки Александра Муравьева. Сделавшись после смерти отца владельцем села Осташево, Александр Муравьев, не раздумывая, приступает к освобождению своих крестьян, отводя им земельные угодья, наделяя инвентарем и скотом, помогая обстраиваться на новом месте. Сразу освободить всех крестьян ему не разрешили, он с ведома особо учрежденного комитета освобождал их частями, по спискам.

Н.Н.Муравьев в те годы жил в Скорнякове. Он был лишен генеральства и удален из армии за продолжавшуюся связь с «неблагонадежными» лицами и за поданную императору докладную записку, в которой открыто и мужественно «изложил все неудобства и бедствия, коим подвержены несчастные нижние чины». Н.Н.Муравьев тоже, несмотря на негодование соседей-помещиков, занимался освобождением на волю скорняковских крестьян, что видно из переписки его с братом Александром.

«Я забыл в последнем письме моем просить тебя, любезный брат и друг Николай, – пишет 20 мая 1841 года Александр Муравьев, – прислать мне приметы тех людей, которых ты хочешь отпустить на волю. Я было сунулся со списком, но от меня потребовали приметы, а потому я буду ожидать их, иначе сделать нельзя; равно и особые приметы, если таковые есть». И спустя месяц подтверждает: «Я получил, любезный брат и друг Николай, письмо твое с приложением примет, и ныне отправляю все это в Москву для написания крестьянам отпускных».

Мне невольно вспомнились рассказы скорняковских стариков. Теперь они подтверждались документально. И я не удивился. Добрые дела память хранит долго!

Так день за днем шла кропотливая и нелегкая, но бесконечно радостная работа исследователя. А на лето опять уезжал я в родной свой тихий городок, где писалась эта книга.

Поставив перед собой задачу воссоздать исторически правдивый образ замечательного и незаслуженно забытого деятеля и стремясь вместе с тем раскрыть перед читателями картины героического прошлого нашего народа, я использовал в работе следующие материалы:

- 1) Опубликованные, сверенные с черновиками, и неопубликованные «Записки» Н.Н.Муравьева (выдержки из них, которые привожу в тексте, взяты всюду в кавычки).
- 2) Письма декабристов и других общественных деятелей к Н.Н.Муравьеву, отысканные мною в ОПИ ГИМ; часть из них приводится в тексте книги, а некоторые помещены в дополнениях.
- 3) Исследования и статьи мои, касающиеся деятельности Н.Н.Муравьева, опубликованные в сборнике «Вопросы истории славян», изд. Воронежского университета, 1963; в журнале «Октябрь», № 7, 1963; и в книге «Тайны времен минувших», Воронеж, Центр. – Черно-земн. кн. изд-во, 1964.

4) Книжные и журнальные материалы, необходимые ссылки на которые делаются в дополнениях.

В книге нет ни одного вымышленного лица, все события документальны в полном смысле слова. Вот почему я и называю этот свой труд документальной исторической хроникой.

Примечания

Сноски

1

Выписки сделаны на французском языке, приводятся здесь в переводе

2

Цит. по кн.: Руссо. Об общественном договоре. М.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1938.

3

Все будущие деятельные члены тайных декабристских организаций.

4

Орел, ах орел (нем.)

5

Н.Муравьев лишь немного преувеличил наши потери. Советские историки-исследователи уточнили цифры: русские потеряли 38 506 солдат и офицеров и 22 генерала (Бескровный Л.Г.

Отечественная война 1812 года. Соцэкгиз, 1962).

6

Игра слов. Условный перевод: «Та рутина меня дерутинировала (то есть сбила с дороги). По-французски «Та рутина» звучит как «Тарутин».

7

О, мой дорогой Николай, я все же увидел вас, прежде чем умереть! (франц.)

8

Названия грузинских городов даются в старой транскрипции, как они писались во всех документах того времени.

9

Так Ермолов именовал всесильного фаворита императора, жестокого графа Аракчеева.

10

О, несправедливая судьба! (франц.)

11

Добро пожаловать! (Обычное приветствие хивинцев и туркмен.)

12

Воспоминания А. В. Фигнера об А. П. Ермолове были напечатаны в «Историческом вестнике»,

№ 1 за 1881 г.

13

Казнены были П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьев-Апостол, М.П.Бестужев-Рюмин, П.Г.Каховский.

14

Так проходит земная слава (лат.)

15

Господа, берегитесь человека в красном, который к вам приближается! (франц.)

16

– Как, кузен, вы тоже среди виновных? (франц.)

17

– Виновен – может быть, но кузен – никогда! (франц.)

18

'Министр иностранных дел в Турции.

19

Подчеркнуто в подлиннике (Н. З.).

20

Декабрист, служивший в кавказских войсках.

21

До последнего времени о создателе первого тайного декабристского общества Союза Спасения А.Н.Муравьеве знали мало. Биография его излагалась сжато и неправильно, образ этого видного декабриста искажался. Именно поэтому считаю уместным опубликовать здесь впервые отысканные мною в ОПИ ГИМ письма А.Н.Муравьева к брату из Нижнего Новгорода. (Прим. авт.)

22

Нечкина М. В. Движение декабристов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955, т. 1.

23

Нечкина М. В. Священная артель. Кружок А. Муравьева и И. Бурцова. – Сб.: Декабристы и их время. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951.

24

Воронежский архив. Фонд Воронежского дворянского депутатского собрания, дело № 134.

25

ЦГВИА, ф. 169, д. 4, с. 3.

26

Там же, д. 3, с. 412 – 413

1

Статья «Падение Карса» написана К. Марксом в конце марта 1856 года. Опубликована в четырех номерах чартистской «Народной газеты» 5, 12, 19 и 26 апреля 1856 года и в несколько сокращенном варианте в американской газете «New York Daily Tribune» 8 апреля того же года.

2

Из статьи Ф. Энгельса «Война в Азии», опубликованной впервые в газете «New York Daily Tribune» 25 января 1856 года. В следующей статье «Европейская война», опубликованной в той же газете 4 февраля, Ф. Энгельс писал: «Падение Карса является действительно самым позорным событием для союзников. Располагая огромными военными силами на море, имея с июня 1855 года армию, численно превосходящую действующую армию русских, они ни разу не совершили нападения на наиболее слабые пункты России – на ее кавказские владения. Больше того, они позволили русским организовать в этом районе самостоятельную операционную базу, нечто вроде наместничества, способного держаться некоторое время при нападении превосходящих сил, даже если коммуникации с самой Россией окажутся прерванными (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Госполитиздат, 1958, т. 11).

3

Английский советник Л.Олифант, издавший в том же году свои кавказские записки, свидетельствовал: «Местные жители совершенно убеждены, что турецкие войска Омер-паши хотят оккупировать их край, и открыто говорят, что предпочитают туркам русских (Oliphant L. The Trans-Caucasian campaign of the Turkish Armu under Omer-pashf. London, 1856).

4

Николая Семеновича Мордвинова, члена Государственного совета с 1810 года, за независимость мнения и оппозиционные настроения высоко ценили декабристы, намечавшие его в члены временного правительства вместе с А.П.Ермоловым и М.М.Сперанским. К.Рылеев, восторгаясь гражданским мужеством адмирала, писал в посвященной ему оде:

Но нам ли унывать душой,

Когда еще в стране родной
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней
Средь самых избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов!

В стихах воспевали адмирала А.Пушкин и Е.Баратынский. Однако нельзя преувеличивать свободомыслие Мордвинова. Возражая против произвола неограниченного самодержавия, он оставался аристократом и крепостником, считая, что время для освобождения крестьян еще не настало.

5

Академик М.В.Нечкина следующим образом оценивает созданное Николаем Муравьевым тайное общество: «Мечтать о полном перевоспитании людей на основании новой морали и об образовании республики, как бы ни были наивны эти юношеские мечты, может лишь тот, кто недоволен окружающей его жизнью и строем. Не воспроизвести старый крепостной строй самодержавной России на отдаленном острове, не отправиться конквистадором на захват новых владений с целью приобретения несметных сокровищ, личного обогащения, любопытных авантур – нет, иная мечта обуревала юношей: создать истинных граждан из диких жителей острова и образовать там республику в духе Руссо на основе равенства людей. Даже простая одежда будущих республиканцев с математическим знаком равенства из медных полос на груди символизировала основную задачу. Желание, чтобы каждый научился какому-нибудь ремеслу, также говорит за себя. Кружок русских шестнадцатилетних энтузиастов мечтал о том, чтобы создать истинных граждан из жителей далекого Сахалина. Обращают на себя внимание и принятые организационные формы, которым, судя по рассказу, уделялось большое внимание: наличие «законов», т. е., несомненно, писаной «программы и устава», принятие этих законов на собрании, выборы «президента» общества. Чтение членами товарищества на собраниях «записок», имевших целью «усовершенствование законов товарищества», причем «записки» эти (доклады) «по обсуждению утверждались всеми» (при этом Николай Муравьев подчеркивает, что «были учреждены настоящие собрания»), – все это характеризует стремление усвоить развитые формы общественной организации. Из всего видно, что общество было тайным» (Нечкина М.В. Движение декабристов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955, т. 1).

6

Все главы, повествующие об Отечественной войне 1812 года и о последующих заграничных походах, написаны на основе «Записок» Н.Н.Муравьева, сверенных с рукописными подлинниками. Используются также записки его брата, декабриста А.Н.Муравьева (опубликованы в книге «Декабристы». М., 1955). Особое внимание обращают на себя

сделанные Муравьевым дневниковые записи о Бородинском сражении и о деятельности главнокомандующего М.И.Кутузова, которые до сих пор историками не использовались. Не меньший интерес представляют правдивые записи о бедственном положении крепостных крестьян, о героизме русских войск и бездарности высокопоставленных особ. Все включенные в хронику подлинные выписки из дневников взяты в кавычки.

7

Характеристика Барклая де Толли, сделанная декабристом А.Н.Муравьевым в его вышеуказанных записках, свидетельствует о том, как высоко ценило заслуги мужественного полководца передовое русское офицерство. Невольно вспоминаются чудесные стихи А. С. Пушкина, посвященные суровому и угрюмому полководцу:

Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

8

А.Н.Муравьев, рассказав об этом эпизоде в своих записках, добавляет: «Я очень доволен тем, что успел описать это любопытное происшествие, о котором не упомянуто ни в какой военной истории».

9

Н.Н.Муравьев сделал любопытную запись о том, как совершенно по-разному простой народ и дворянство отнеслись к взятому в плен жестокому маршалу Вандаму: «Когда его повезли, то в Лауне жители приняли его камнями. Вандам известен был по своей жестокости, он грабил более других французских маршалов и делал жителям насилия всякого рада. Вандама привезли в Москву, где дворянство наше принимало его с почетом и позволяло ему говорить всякие наглости в обществе».

10

Подобных достоверных свидетельств об угнетении народа самодержавными монархами Н.Н.Муравьев сделал немало, они лишней раз подтверждают его республиканскую

настроенность.

11

В дневнике Н.Н.Муравьева отмечено: «В Вюрцбурге я виделся с моим родственником Сергеем Муравьевым-Апостолом, который тогда служил в егерском батальоне великой княгини Екатерины Павловны».

12

Московская школа колонновожатых как частное учебное заведение получила официальное признание осенью 1815 года. Тогда же Муравьев-старший был произведен в генерал-майоры, о чем его уведомил П.М.Волконский из Парижа 13 сентября 1815 года (ЦГВИА, ф. 911, оп. 1, д. 1). М.В.Нечкина, считая московскую школу колонновожатых одним из «очагов воспитания декабристского мировоззрения», следующим образом оценивает деятельность основателя этой школы Н.Н.Муравьева: «Училище колонновожатых своеобразно по происхождению, несмотря на то, что позже оно выросло в Академию Генерального штаба, в его возникновении лежала не правительственная, а общественная инициатива... Хотя ученый-математик и знаток сельского хозяйства Н.Н.Муравьев-отец и был, по-видимому, далек от каких бы то ни было политических преобразовательных планов, но его искренний интерес к передовым идеям, широкий кругозор и дружеское обращение с молодежью поощрили развитие вольного духа в среде воспитанников училища колонновожатых: из их среды только за семь лет муравьевского руководства (1816—1823) вышло 24 будущих декабриста» (Нечкина М. В. Движение декабристов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955, т. 1).

13

Наиболее интересные исследования о Священной артели принадлежат М.В.Нечкиной и опубликованы в книгах «Движение декабристов» и «Декабристы и их время». Много новых сведений о Священной артели имеется в найденных мною письмах декабристов, о которых выше говорилось. См. мою статью «Новое о Священной артели и ее основателе» в сборнике «Вопросы истории славян», изд. Воронежского университета, 1963.

14

Это высказывание Муравьева опубликовано в его «Записках».

15

А.Н.Муравьев в письме к брату 1 декабря 1818 года, оправдываясь в том, что долго молчал, пишет: «Неужели славный воин Николай Николаевич, почтенный член артели, великий артельщик, не помилуешь виновного брата, друга и сочлена?» (Публикуется впервые. ГИМ ОПИ).

16

Это письмо и все последующие письма декабристов Петра и Павла Калошиных, Ивана Бурцова, Никиты Муравьева, Александра Муравьева, Александра Якубовича, А.Авенариуса, И.Шипова и других, публикуемые в этой хронике, отысканы мною в отделе письменных источников Государственного Исторического музея. Большая часть писем печатается в хронике впервые.

17

Об этом см. комментарии к моей книге «Денис Давыдов», том 1, изд-во «Молодая гвардия», 1962.

18

Рекомендация, данная Воейкову, характеризуя его как политического единомышленника, интересна тем, что подтверждает существование в Священной артели думы, вечеревого колокола и особых правил, установленных для приема новых членов братства.

19

Петр Калошин из Москвы 31 марта 1818 года писал: «Артель весьма крепко в истинном образовании усовершенствовалась, а твое письмо к Александру показывает, что и в отдалении от артели ты с ней идешь равным, а может быть, и скорейшим ходом... Вся артель пребывает в том же, как и прежде, состоянии; главная мысль и программа действий – общая польза: лучшие свойства – взаимная дружба» (ОПИ ГИМ).

20

При описании путешествия в Хиву использованы «Записки» Н.Н.Муравьева и выпущенная им отдельным изданием книга «Путешествие в Туркмению и в Хиву гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева», Москва, 1822.

21

Это письмо Бурцова, создававшего в то время вместе с Пестелем Южное тайное общество, публикуется впервые (ОПИ ГИМ).

22

Это письмо, отысканное в ОПИ ГИМ, впервые помещено в моей статье «Новое в истории декабризма» (Октябрь, 1963, № 7).

23

Выдержки эти цитируются по вышеуказанной книге Н. Муравьева «Путешествие в Туркмению и в Хиву».

24

Весной 1821 года император Александр, находившийся в Лайбахе, получил донос Михаила Грибовского, библиотекаря Гвардейского генерального штаба, который, сообщив о существовании русского тайного общества, среди других его создателей назвал «всех Муравьевых, недовольных неудачами по службе и жадных возвыситься». Доносчик при этом пояснял, что им имеются в виду: «полковник Александр, вышедший в отставку после того, когда в Москве посажен был под арест брат его безногой, Никита, вышедший также в отставку, когда не был произведен в следующий чин, и четвертый, бывший в прежнем Семеновском полку».

До последнего времени исследователи полагали, что этим четвертым Муравьевым, или Муравьевым-четвертым, надо считать служившего в Семеновском полку Сергея Муравьева-Апостола, так как более никаких Муравьевых, принадлежавших к тайному обществу, среди семеновцев не было. Теперь выясняется иное. Муравьевым-четвертым числился в Семеновском полку Николай Муравьев, как это видно из его записок, и Грибовский знал его образ мыслей со времен Священной артели, когда Муравьев служил в том же самом Гвардейском штабе, где был тогда и Грибовский. Но если б даже в доносе Николай Муравьев не упоминался, то все равно родственная его близость с остальными тремя Муравьевыми не могла не внушить подозрения царскому правительству. Ермолову, вызванному в Лайбах, император Александр сообщил о тайном обществе и его создателях. В сентябре 1821 года Ермолов, возвращаясь на Кавказ через Москву, вызвал находившегося там деятельного члена тайного общества Михаила Фонвизина, бывшего своего адъютанта, и предупредил его, что царю известно о существовании общества.

– Я ничего не хочу знать, что у вас делается, – добавил Ермолов, – но скажу тебе, что он вас

так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся.

Можно ли сомневаться, что предупрежден был и Николай Муравьев, с которым Ермолов находился куда в более близких отношениях, чем с Фонвизиным? И, конечно, создавать тайное общество на Кавказе после всего этого стало еще более затруднительным.

25

Александр Муравьев 4 августа 1819 года из Москвы писал брату: «Последнее письмо мое написано с уехавшим отсюда майором Нижегородского драгунского полка Ван-Галленом, которого тебе рекомендовали как прекрасного человека и просили дружески принять; теперь прилагаю здесь письмо к нему из Петербурга, которое прошу тебя к нему доставить» (публикуется впервые. ОШ1 ГИМ). А когда в 1821 году после восстания Семеновского полка на Кавказ привезли разжалованного участника этого восстания Н. И. Кошкарова, он нашел самый дружеский прием у Н. Муравьева, который не только ободрил товарища, но и предоставил ему возможность поскорее вновь получить офицерский чин. «Я тогда вывел его и дал случай показаться», – скромно отметил Муравьев в своих «Записках».

26

Письмо декабриста А. Якубовича и дальнейшая записка его к Н.Н.Муравьеву публикуются впервые (ОПИ ГИМ).

27

Письма А.С.Грибоедова печатаются с подлинников, хранящихся в бумагах Н.Н.Муравьева (ОПИ ГИМ).

28

Вот некоторые выдержки из «Записок» Н.Н.Муравьева, характеризующие его отношение к угнетенному российским самодержавием народу: «Лезгины просты и честны, придерживаются более обычаев своих, чем веры; гостеприимство считается у них первой добродетелью, и нарушивший оное теряет все уважение между ними... Лезгины рослы, сильны, здоровы; лица их значительны, и чем далее они простираются в горы, тем черты лица становятся выразительнее, изображая некоторое зверство. Женщины их вообще прекрасны и умны. Жены их не находятся в таком рабстве, как в прочих частях Азии, и хотя они несут все трудные работы домашние, но зато открыты и не заперты в гаремах... Российское правительство, водворившееся ныне в сих землях, истребит, без сомнения, многие вредные обычаи в сей стране, но вместе с сим поселит и разврат в нравах лезгин, не говоря о всеобщей ненависти, которую оно уже успело приобрести здесь. Сему причинею

бывают распутство и корыстолюбие чиновников и неуважение к тем, в которых народ привык видеть судей и посредников своих. Необразованный чиновник наш полагает, что все несхожее с нашими обычаями есть отпечаток невежества, полагает порядочными людьми только тех, которые имеют классные чины, почтенного же старика, пользующегося доверенностью в народе, считает он уже за совершенно ничтожного человека, потому что он бороды не бреет или одевается не в тонкое сукно. Несправедливое презрение сие и вышеозначенные пороки суть, конечно, причины всеобщей ненависти, которую правительство наше успеваеет приобрести в самое короткое время». «Неповиновение» жителей начальникам невероятно; причиною же сему беспечность и корыстолюбие наших, угнетающих бедных и не обращающих внимания на проступки богатых».

29

Письмо И. Майвалдова, как доказательство задержки присяги Ермоловым, впервые опубликовано в моей статье «Новое в истории декабризма» (Октябрь, 1963, № 7).

30

Черновые записи Н.Н.Муравьева за 1824—1826 годы хранятся среди других его бумаг в ОПИ ГИМ.

31

Н.Муравьев в письмах к Е.Лачинову неустанно повторял, что «истинно честные граждане, любящие отечество свое, на первое место ставят общественную пользу, а не личную выгоду». Е.Лачинов в одном из последних писем к Муравьеву из Тульчина признавался: «Получая ваши письма и отвечая на них, я чувствую не одно удовольствие, но и пользу, потому что принужден бываю лишний раз оглядеть себя со всех сторон и отдавать отчет даже в мыслях... Обращение с истинно честными людьми (которых между нашими здесь благодаря судьбе можно найти) облегчило мое старание. Я уже не думаю более, что одна личная выгода связывает людей» (Письмо датировано 8 июня 1825 года. Публикуется впервые. ОПИ ГИМ).

32

Н.Муравьев с большой похвалой отзываясь о помощи армянского населения. Для постройки крепостных укреплений в Джелал-Оглу не хватало народа. Узнав об этом, армяне из соседних деревень пришли на помощь. Н.Муравьев отмечает в «Записках»: «Люди сии в увереннии, что мы более отступать не будем, потому что строим крепость, приложили все свои старания к скорейшему окончанию работ. Старые и малые трудились неустанно. Десять мальчиков двенадцати- и пятнадцатилетних более срабатывали в сутки, чем сто солдат

тифлисского полка». Высокую оценку дает Муравьев добровольной армянской дружине, которая вместе с русскими войсками «дралась против персиян как только можно было желать».

33

В «Записках» Н.Н.Муравьева отмечено: «Накануне выезда своего Алексей Петрович, прощаясь со мной, предупредил меня, чтобы невзирая на доверенность, которую ко мне оказывали, я никому из вновь прибывших не верил и, обращаясь со всеми по долгу службы, лично вел бы себя осторожно, ибо они оказывали мне доверие свое только по необходимости, которую во мне имели».

34

«За отличие, оказанное Пустиным под Карсом, – записал Н.Н.Муравьев, – я представил его к Георгиевскому кресту... Но старания сии имели мало успеха, ибо Пустин, допрежь сего служивший в гвардии капитаном, был разжалован в рядовые и прислан на службу в Грузию».

35

«Воспоминания» В. Андреева опубликованы в «Кавказском сборнике», том 1. Тифлис, 1876.

36

Интересно отметить сделанную Н.Муравьевым в «Записках» отметку о том, как Бурцов усмирал бунт крестьян в Карталинии весной 1829 года. «В одной деревне мужики схватили своего помещика, кажется, князя Цицианова, избили его и вышли даже из повиновения окружного начальства. Толпа сих мужиков собралась и отправилась к Тифлису. Паскевич, узнавши о сем, послал батальон Эриванского карабинерного полка под командой Бурцова навстречу бунтовщикам. Бурцов пошел с батальоном по дороге к Мцхету и, встретив бунтующую толпу мужиков, остановил их, поговорил с ними, успокоил их и разослал по домам, что они и исполнили беспрекословно».

37

Письма А. Муравьева из Сибири к брату, касающиеся покровительства разжалованным декабристам, отысканы в ОПИ ГИМ, впервые публиковались в журнале «В мире книг», 1963, № 8.

Декабрист М. Пущин в своих записках не раз отмечал бездарность и завистливость Паскевича. Записки публиковались в «Русском архиве», 1908, № 11.

Выдержки из «Путешествия в Арзрум» делаются по собранию сочинений А. С. Пушкина. Изд-во АН СССР, 1957.

Знакомство А.С.Пушкина с Муравьевым, имя которого упоминается в «Путешествии в Арзрум» пять раз, засвидетельствовано самим поэтом. А о чтении «Бориса Годунова» рассказал М.В.Юзефович в своих «Воспоминаниях». Реплику Муравьева при чтении и ответ Пушкина я целиком взял из этих «Воспоминаний» («Русский архив», 1880, № 3), Удостоверенное очевидцем присутствие Муравьева на читке запрещенного произведения бесспорно свидетельствует о близких отношениях его с Пушкиным. Да оно и не могло быть иначе! И в Петербурге, и на юге Пушкин постоянно сталкивался с друзьями и единомышленниками Муравьева и, конечно, слышал о таких его действиях, которые невольно к нему располагали. Пушкин знал, сколько близких, родных и товарищей Муравьева пострадало от происшествий 14 декабря, и это обстоятельство тоже не могло не внушать к нему известного сочувствия. А покровительство Муравьева разжалованным декабристам, в частности Захару Чернышову, о чем теперь стало известно из отысканных недавно писем самих декабристов? Юзефович в своих воспоминаниях подтверждает, что Захар Чернышов, приходившийся родственником Пушкину, постоянно общался с ним на Кавказе; можно ли допустить, что Чернышов, как, впрочем, и В.Вольховский и М.Пущин, не отозвался о Муравьеве самым похвальным образом?

Поездка А.С.Пушкина на Кавказ вызвала сильнейшее подозрение императора Николая. В письме к шефу жандармов Бенкендорфу, оправдывая поездку желанием повидаться с братом Львом, Пушкин писал: «Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения» Высказанные Пушкиным причины поездки в Кавказскую действующую армию и отъезда оттуда сделаны, несомненно, с целью скрыть «иные побуждения». Путешествие же это явно нуждается в более тщательном исследовании.

Любопытно отметить, что в «Записках» Н.Н.Муравьева, публиковавшихся в «Русском архиве», события доведены лишь до приезда Пушкина в Кавказскую армию. Муравьев, очевидно, не решился оставить воспоминания о пребывании Пушкина в Кавказской армии по каким-то, вернее всего политическим, соображениям. Пушкин, живя в походной палатке Раевского, находился в самом тесном окружении неблагонамеренных, с правительственной точки зрения, лиц. Раевский, Бурцов, Муравьев, Пущин, Вольховский, Семичев, Чернышов –

бывшие члены тайных обществ. Вероятно, беседовать с Пушкиным приходили также упомянутые Муравьевым старые знакомые – члены тайных обществ Коновницын и Мусин-Пушкин, а также исключенный из гвардии за прикосновенность к декабристам поручик Сухоруков. Встречались с ним, несомненно, и находившиеся постоянно близ Раевского разжалованные декабристы Оржицкий и Голицын. Нет, недаром изъяты Н.Н.Муравьевым из «Записок» страницы о пребывании Пушкина в кавказских войсках, недаром Бурцов, передавая через Муравьева поклон всем, кого он часто навещал, не упомянул ни о ком, кроме Раевского!

И как хочется верить, что не уничтожены, не потеряны, а где-то хранятся сшитые в отдельную тетрадь драгоценные для потомков записи Н.Н.Муравьева о Пушкине!

Подробно обо всем этом я писал в историческом этюде «Встречи с Пушкиным» в книге «Тайны времен минувших» (Воронеж: Центр. – Чернозем. кн. изд-во, 1964).

41

О доносе Паскевича на декабристов см. статью Е. Вейденбаума «Декабристы на Кавказе» (Русская старина, т. 6, 1903).

42

Лунин М. С. Общественное движение в России. М. – Л.: ГИЗ, 1926.

43

В служебном формуляре Н.Н.Муравьева значится, что он произведен в генерал-лейтенанты в 1831 году, но сам он (в книге «Русские на Босфоре», с. 441—447) утверждает, что это производство состоялось в 1833 году летом, когда он находился в Константинополе. Возможно, в 1831 году он был лишь представлен в генерал-лейтенанты, но утвержден в этом чине спустя два года.

44

При описании путешествия Н.Н.Муравьева в Турцию и Египет использованы его черновые записи, а также «Записки», опубликованные в «Русском архиве», и книга его «Русские на Босфоре», изд. Чертковской библиотеки. М., 1869.

45

Письма Дениса Давыдова к Николаю Муравьеву, доселе неизвестные, отысканы мною в ОПИ ГИМ и представляют значительный интерес не только благодаря оригинальности стиля знаменитого поэта-партизана, чем восторгался А.С.Пушкин. Денис Давыдов, служивший с Муравьевым на Кавказе, хорошо знал его. В публикуемом письме, датированном 7 ноября 1833 года, поэт-партизан выражает уверенность, что его записки понравятся Муравьеву, ибо «они пишутся откровенно и не для печати». Фраза свидетельствует о близких их отношениях и подтверждает известные их оппозиционные настроения.

В следующем письме, датированном 5 марта 1834 года, Денис Давыдов сообщает Муравьеву: «Письмо Ваше, мой любезнейший Николай Николаевич, я получил. Благодарю от всей души за незабвение старинного вашего товарища и сослуживца, да и грех вам было бы забыть того, коего чувства дружества и уважения, которыми он к вам истинно преисполнен, неизменны, как ваши отличные достоинства, и, ласкаю себя надеждою, может быть, и как ваша дружба к нему, – дружба не на балах, не из чернил возникшая, а рожденная на полях чести и политая кровью человеческой. Вы пишете, что занимаетесь описанием войны египтян с турками. Это обстоятельство весьма любопытное, я дорого бы дал прочитать описания оною. Вы, я надеюсь, не будете подражать мне в безумии так писать, чтобы нельзя было печатать, и ваше сочинение будет напечатано... К сожалению, все, что я пишу в «Записках» моих, должно остаться в рукописи. Я всегда начинаю с благим намерением выдать в свет труды мои, но досада на глупые предприятия главного и некоторых частных начальников до того доходит, что я качаю с плеча все нелепое и постыдное. Так я пишу «Записки» мои. После сего судите, могут ли они пройти чрез шлагбаум цензуры?

Когда мы увидимся? Если будете в Москве, отыщите меня ради бога... Я бы вас угостил в мясоед чем хотите, а в постные дни постным кушаньем, а так как шампанское постное и скромное питье, то мы выпили бы с вами дружески, без гримас и робости, как пивали с вами кахетинское вино у пылающих костров под небом полуденным...

Прощайте, мой милый, любезный и почтенный Николай Николаевич, верьте, что пока жив, я всей душою ваш.

Денис Давыдов ».

Письма Д. Давыдова в тексте и в дополнениях публикуются впервые.

46

Академик Н. М. Дружинин в своем очерке «Семейство Чернышовых и декабристское движение» пишет: «Молодые графини. Чернышovy, увлеченные культом героических личностей, видели в Никите Муравьеве и в своем брате Захаре смелых борцов, страдающих от самодержавного деспотизма» (Сб. «Ярополец». М., 1930).

Любопытно отметить, что хорошо знавший сестер Чернышовых известный реакционер граф Бутурлин с явным сожалением записал, что «молодые графини, нечего греха таить, были тогда в экзальтированном настроении духа, они смотрели на опозоренных брата и зятя как на жертвы самодержавного произвола и сочувствовали без трезвого анализа идеям, целью которых было, как они воображали, благо отечества» (Записки графа М. Д. Бутурлина. – Русский архив, 1897, № 5).

Розен А. Записки декабриста. Спб., 1907.

В обществе необычайное происшествие с Муравьевым вызвало нескончаемые пересуды. Говорили, что император получил несколько доносов о распущенном состоянии корпуса, говорили, что против талантливого генерала императора настроили Паскевич и Воронцов, и чего только не говорили! Муравьев в своих «Записках», вполне понятно, резкое столкновение с царем всячески постарался затушевать, но счел все же возможным сделать следующее характерное замечание: «Начало дела кроется в других причинах, которые останутся раскрыты только для тех, кои внимательно рассудят все обстоятельства дела. Все случившееся со мной было лицемерно».

Интересно отметить, что в «Записках» (Русский архив, кн. 1, 1895) Муравьев с достаточной откровенностью пояснил, что, презирая и ненавидя правящих лиц, не питая никакого душевного уважения к ним, он «ни в каком случае не хотел искать службы», а верноподданнические его высказывания по настоянию отца сделаны лишь как защитительные меры против возможных репрессий со стороны царя и для того, чтобы скрыть подлинный образ мыслей.

А в черновых записях Муравьев еще более откровенно отметил, что в последнее время «обстоятельства не позволили записывать все, что хотелось, и посему в «Записках» моих заключались только одни обстоятельства службы и дела, с нею сопряженные».

Писатель Н. С. Лесков в рапсодии «Юдоль» вспоминает: «Во время страшного по своим ужасам голодного 1840 года я был ребенком, но, однако, кое-что помню... Крепостные люди не только страдали без всякой помощи, но еще были со связанными руками и с тряпичной во рту. Они даже не имели права отлучаться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки – «все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков», то есть чтобы не слышать их просьб о хлебе. Без господ крестьянам, по крайней мере, открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами» (Лесков Н. С. Собр. соч. Гослитиздат, 1958, т. 9).

Стоит сравнить это описание голодного 1840 года, сделанное замечательным нашим писателем, с тем, что в то же самое время происходило в Скорнякове. Тогда станет ясней,

как высок был гуманизм и благородство Н.Н.Муравьева и его жены, которые, не щадя своих сил и средств, помогали крестьянам преодолеть страшный голод и его последствия.

51

Более подробно об освобождении крепостных крестьян Александром и Николаем Муравьевыми см. в моей книге «Тайны времен минувших».

52

Отрывок из «Записок» С. М. Соловьева (изд-во «Прометей», Спб.).

53

Это и последующие письма А. П. Ермолова к Н.Н.Муравьеву публикуются впервые. Они хранятся в ЦГВИА, фонд 169.

54

Характеристика Н.Н.Муравьева, сделанная Ермоловым, взята из его собственноручного письма.

55

Е.Ф.Муравьева 5 марта 1848 года, за несколько дней до смерти, писала Муравьеву: «Почтенный и добрый Николай Николаевич! Уверена, что вы не захотите меня огорчить, я так больна и слаба, никаким делом заняться не могу. Мне пришло в голову послать любезным детям вашим, Наталье Григорьевне и вам безделицы на память, которые и отправила с вашим человеком. Надеюсь, что не откажете принять оных. Вам послала подсвечник с синим зонтиком, зная, что глаза ваши слабы. Приготовлено у меня для вас бюро, писать стоя, любимое бюро покойного Михаила Никитича и милого Никиты. Мне приятно будет знать, что и вам оно может быть полезно» (ОПИ ГИМ; публикуется впервые). Итак, в Скорнякове у Н.Н.Муравьева находилась замечательная библиотека отца, которой пользовались декабристы. – воспитанники школы колонновожатых, сохранилось фортепьяно А.С.Грибоедова и бюро Никиты Муравьева, за которым писалась первая конституция декабристов. Мне удалось лишь узнать, что библиотека была вывезена из Скорнякова С.Н.Чертковой и затем в большей части оказалась в Государственном Историческом музее. А где находятся вышеуказанные вещи? Судя по всему, они тоже были вывезены из Скорнякова

С.Н.Чертковой или другой дочерью Муравьева А.Н.Соколовой (в первом браке Демидовой). И эти реликвии стоят того, чтобы кто-то занялся их поисками.

56

Орлов ошибался. Среди писем к Н.Н.Муравьеву, отысканных в ОПИ ГИМ, хранится множество писем от его сестры Бакуниной из Прямухина, и среди них есть такая наспех писанная записка от 20 октября 1835 года: «Вот, любезный, брат, какие (два слова неразборчивы) угрожают Мише. Прочти прилагаемую бумагу и употреби все возможные тебе средства, чтоб выручить его и нас успокоить. Не знаю, успеешь ли, но уверена, что все человечески возможное сделаешь для нас».

«Прилагаемой бумаги», о которой сообщает Варвара Бакунина, не оказалось, и дальнейшие письма от нее, в которых, очевидно, говорилось о Михаиле, были кем-то изъяты из бумаг. Это вполне объяснимо. Михаил Бакунин, как известно, был объявлен тягчайшим государственным преступником, понятно, что компрометирующие письма были уничтожены. Но связь, и самая тесная, с Бакуниным у Муравьева не прекращалась всю жизнь. Брат Михаила Бакунина впоследствии стал мужем своей кузины Антонины Муравьевой – дочери Николая Николаевича.

57

Эти и все последующие записи, сделанные Н.Н.Муравьевым с 1 января 1849 года по 5 июля 1865 года, цензурой к печати не были дозволены. В двух больших томах рукописи хранятся в ЦГВИА, фонд 169. Все выдержки из этих «Записок» Н.Н.Муравьева публикуются в тексте хроники и в дополнениях впервые.

58

Когда пришло известие об окончании военных действий против Венгрии, Муравьев находился в войсках своего корпуса и сделал такую запись: «Я им объяснил, что каждый, конечно, исполнил бы свою обязанность против неприятеля, но что, без сомнения, войны желать не надобно, что без войны братья и дети их останутся дома при своих занятиях на родине. В одном только полку 3-й дивизии, и то по научению начальников, отвечали мне: «Жаль, что нам не удалось там быть». Вообще миру рады и порыва к кровопролитию не заметно».

59

Доклад полковника Генштаба А. Е. Попова опубликован в «Русской старине», 1881, кн. 6.

Зиссерман А. Л. Фельдмаршал князь А. И. Барятинский: Очерк. Русский архив, 1888.

Зная, что Н.Н.Муравьев не пользуется благоволением императора Александра, придворные борзописцы, приверженцы Воронцова и Барятинского, главным образом из чиновников канцелярии наместника (А.Зиссерман, В.Инсарский, В.Толстой, М.Щербинин, А. Берже и др.), старались всеми силами представить Н.Н.Муравьева как посредственного военачальника, педанта и самодура. Клеветнические выпады эти возмущали читателей и тогда же в журналах «Русский архив», «Русская старина» и других были весьма убедительно опровергнуты лицами, близко знавшими Н.Н.Муравьева. Тем не менее впоследствии многие историки, не зная открытых ныне документальных материалов, пользовались в оценке Н.Н.Муравьева предвзятой неверной информацией. Выдающаяся общественно-политическая и военная деятельность его была затемнена и оставлена в забвении.

Советскими историками деятельность Н.Н.Муравьева не исследовалась. Неопубликованные его рукописи и огромное эпистолярное наследство не изучались. А высокий пост наместника Кавказа создавал известное предубеждение, чего не избежал и автор настоящей хроники, напечатав без всяких на то оснований в комментариях к исторической хронике «Денис Давыдов», будто в последние годы жизни Муравьев перешел на реакционные позиции. Глубокая ошибочность подобной оценки подтверждена собранными мною в последнее время документальными материалами.

Письмо Н.Н.Муравьева к Ермолову, а также ответ на это письмо, подписанный подполковником Дмитрием Святополк-Мирским, опубликованы в «Русской старине», № 11, 1872.

Очерк И.И.Европеуса «Н.Н.Муравьев» опубликован в журнале «Русская старина», № 11, 1874. В том же томе журнала с воспоминаниями о Муравьеве выступает генерал Д.Е.Сакен, бывший начальник штаба Кавказской армии. Он пишет: «Всегда любовался я блистательною неустрашимостью Николая Николаевича Муравьева, невозмутимым спокойствием и стройностью действий состоявших под начальством его войск, которые имели к нему полную доверенность. В минуту самой жестокой бойни – под картечным огнем, в штыковой работе, был он весел и любезен более, нежели в другое время... Приехав в 1855 году на Кавказ, он собрал там 16 тысяч войск, не потребовав от казны ни денег, ни оружия, ни пороха, довольствуясь тем, что застал. Нравственным влиянием удержал Шамиля, пребывшего в бездействии в горах во все время войны, когда малейшее предприятие его было бы для нас

пагубно... Имя Николая Муравьева светлыми чертами отмечено в летописях России. Служить на пользу отечества личным трудом многие десятки лет с такой любовью и самоотвержением едва ли всякий может!»

64

Подробно о Джемал-Эддине я писал в очерке «Сын Шамиля», напечатанном в моей книге «Тайны времен минувших».

Осенью 1855 года, когда армия Омер-паши вторглась в Мингрелию и султан особенно настойчиво старался привлечь на свою сторону Шамиля и его горцев, Джемал-Эддин писал Муравьеву через генерала Николаи: «На условия ваши насчет торговли отец согласен, только не знаю, долго ли будут существовать они. В пятницу 30 октября я запечатал письмо к турецкому султану. Очень хотелось приписать ему несколько слов, что при следующем случае непременно сделаю, чтобы он перестал морочить горцев» (Муравьев Н. Н. Война за Кавказом, 1877, т. 2).

65

Сообщение свидетельствует о дальновидности Н.Н.Муравьева. Шамиль и горцы возваниями неприятеля не прельстились. Позднее причины этого Муравьев объяснил так: «Союзники не достигли сближения, коего домогались в сношениях с народом Кавказа. Турки употребили всевозможные усилия, чтобы склонить закубанских горцев к совокупным наступательным действиям против России, определяя каждому горцу по десяти рублей жалованья в месяц; но закубанцы решительно отказались следовать за ними и показали явное отвращение к туркам и англо-французам... При большей опытности и лучшем знании народов, с коими союзники вступали в сношения, они должны были бы рассудить, что горцам, воюющим с нами за независимость, равно противно было всякое иго и что введение порядков, которых они могли ожидать от наших врагов, столько же было для них тягостно, как и наше владычество. Если при этом принять во внимание силу привычки, составляющую вторую природу нашу, то будет понятно, почему горцы не решались избрать для себя новых врагов, каковыми были бы турки и англо-французы, людей с неизвестными обычаями, новыми распорядками и с незнакомыми языком и нравами... Надобно полагать, что бездействию Шамиля способствовало отчасти и присутствие возвращенного ему сына Джемал-Эддина, покорного отцу, но не забывшего прежнего быта своего среди нас» («Война за Кавказом», т. 2).

66

См. мой очерк «Нина Грибоедова» в книге «Тайны времен минувших».

67

Маркс К. и Энгельс Ф. М., Партиздат, 1933, т. 10. Статья К. Маркса «Падение Карса», с. 553.

68

См. в той же статье К.Маркса, с. 573 и 574.

69

Муравьев Н.Н. Война за Кавказом, т. 2.

70

Это подтверждается Ф.Тимирязевым в статье о Н.Н. Муравьеве, напечатанной в «Русском архиве», кн. 2, 1873 г., и другими очевидцами.

71

Грузинский историк Е.Е.Бурчуладзе опубликовал в журнале «Вопросы истории», 1952, № 4 интересный очерк «Крушение англо-турецких захватнических планов в Грузии в 1855—1856 годах», который мною используется при дальнейшем описании народного сопротивления интервентам на Кавказе.

72

Воспоминания А. М. Дондукова-Корсакова об этой кампании помещены в «Кавказском сборнике», т. 1. Тифлис, 1876.

73

В акт о сдаче Карса освобождение политических эмигрантов, конечно, не вносилось, а вместо этого 6-й параграф акта был отредактирован так: «Генералу Вильямсу предоставляется право представить генералу Муравьеву на утверждение список назначенных по избранию его лиц, коим будет позволено возвратиться в свои дома». Все венгерские и польские политические эмигранты были снабжены продовольствием и теплой одеждой, их проводили за Соганлуг, откуда они легко добрались до Эрзерума. Не воспользовались пропуском лишь

генералы венгры Кметь и Кольман, опасаясь попасть в руки австрийского правительства, где ожидала их неизбежная гибель. За три дня до сдачи Карса, ночью, они бежали из крепости, благополучно проехав мимо казачьих пикетов, чему Муравьев был весьма рад. «Как бы то ни случилось, предприятие было отважное и исполнено молодецки» («Война за Кавказом»).

74

В Карсе среди голодающего гарнизона находились женщины и дети, которые зачастую выходили из крепости в поисках пищи. Муравьев распорядился кормить их солдатским обедом и снабжать однодневным хлебным пайком. Не менее гуманным было отношение Муравьева к больным и раненым туркам. После сдачи Карса, как свидетельствуют очевидцы, Муравьев прежде всего отправился в турецкие госпитали, находившиеся на попечении меджлиса (городской думы). В госпиталях представилась страшная картина: оставленные без медицинской помощи и питания больные и раненые турки лежали вместе с мертвецами на гнилой соломе в нестерпимом смраде. Муравьев приказал собрать меджлис, где выступил с гневной речью, напомнив старшинам, что их богатства приобретены трудом простых людей и солдат, которым теперь они отказывают в насущном питании и уходе. После этого Муравьев привел председателя меджлиса в один из госпиталей, приказал снять с него шитую золотом одежду и богатую чалму, одеть в грязный лазаретный халат и положить на койку среди других больных, чтобы он испытал все лишения, претерпеваемые больными от равнодушия его к их положению. На следующий день старшины привели госпиталь в порядок.

75

См. пролог к настоящей хронике и примечания к нему.

76

Письма эти, отысканные в ОПИ ГИМ, публикуются впервые. Хочется напомнить, что декабрист А. Розен в своих записках отметил: «Деятельность и способности Н.Н.Муравьева обращены были войною на Азиатскую Турцию, а не на Кавказ; народ прозвал его Карским за взятие Карса, за единственную победу в эту несчастную войну. Н.Н.Муравьев был долго в опале, лишен звания генерал-адъютанта... Он составляет редкое исключение, зато имел множество отличных достоинств, жаль, что не умели употреблять его вовремя и в тех местах, где он был бы полезнее». Воронежский поэт И.С.Никитин отозвался стихами «На взятие Карса», а великий русский композитор М.П.Мусоргский сочинил марш «Взятие Карса».

77

«Записки» В. А. Инсарского помещены в «Русской старине», т. 7, 1895.

Кравцов И.С. Кавказ и его военачальники, – Русская старина, кн. 6, 1886.

В этой записи, сделанной Н.Н.Муравьевым, обращает внимание его отношение к политическим проступкам, которые, по его мнению, вполне извинительны и не заслуживают строгого наказания.

Писатель В. Г. Короленко, живший долгое время в Нижнем Новгороде, напечатал в журнале «Русское богатство», 1911, № 2 очерк «Легенда о царе и декабристе», дав следующую оценку деятельности А.Н.Муравьева: «Революционер и мечтатель в юности, прошедший долгую школу дореформенного режима, – сам он стоял на грани двух периодов русской жизни. Свободолюбец мечтой, всеми привычками и приемами он принадлежал к старому типу самовластного дореформенного чиновничества. Необыкновенно даровитая натура, он в совершенстве овладел этими приемами и направил их как новый Валленрод на разрушение основ этого строя. Но когда стена векового рабства наконец рухнула, увлекая за собою и многое другое, – старый декабрист очутился лицом к лицу с новыми требованиями жизни, к которым применить ему было уже трудно... А стремился он к новому до конца. И через все человеческие недостатки, может быть, крупные в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни».

Деятельность А.Н.Муравьева освещена мною подробно в очерке «Губернатор-каторжник». См. кн. «Тайны времен минувших».

Последние фразы, сказанные Н.Н.Муравьевым, взяты дословно из его неопубликованных «Записок», Он сам перед сильными мира сего не угодничал и совестью не кривил. Вышеупомянутый граф М.Д.Бутурлин в своих «Записках» с возмущением поведал такой случай: «В бытности Н.Н.Муравьева главнокомандующим на Кавказе он получил письмо императрицы Александры Федоровны, но по какому делу, не знаю. Прошло довольно времени, когда Наталья Григорьевна, случайно спросив его, отвечал ли он на это письмо, узнала, что еще не отвечал, «потому-де, что очередь не дошла до этого письма». Вот каков был царедворец!»

Петр Бренчанинов, адъютант Муравьева, записал: «Будучи не раз очевидцем его гражданской доблести как государственного деятеля, я вынес убеждение, что совесть

его имела свой масштаб, часто и многим казавшийся неприменимым к служебной деятельности» (Русский архив, 1885, кн. 3).

82

Последние годы жизни Н.Н.Муравьев провел в Скорнякове, где и скончался от воспаления легких 23 октября 1866 года, завещав похоронить его как можно скромнее в тихом Задонске.

В Скорнякове Николай Николаевич усиленно занимался литературным трудом. Здесь написаны им две большие книги «Русские на Босфоре» и «Война за Кавказом», здесь приводил он в порядок свои «Записки», хотя понимал, что при существующих цензурных условиях опубликовать их ему не удастся.

7 июля 1865 года он сделал последнюю запись в дневник: «Но полно писать. Через неделю должен миновать 71 год. Часто память изменяет, слабеют силы телесные и нравственные, тускнеют глаза. Совершается век мой, я пережил всех друзей, постепенно разрушается мой семейный быт, впереди – одиночество.

Прекращая сей дневник, посвящу остальные дни, насколько оставшееся время и силы позволят, приведению в порядок собранных и составленных мною в течение целой жизни «Записок».

Великое бы для меня было утешение, если б встретил личность, которая при разумении дела охотно приняла бы от меня на сохранение обильный труд всего моего века, с тем чтобы при удобном времени и обстоятельствах приложить старание к добросовестному обнаружению событий, не лишенных занимательности».

Смысл последней фразы ясен. Он жил в жестокое время, в сибирской каторге погибли лучшие его друзья и единомышленники, сам он долго находился под строгим надзором, обстоятельства вынуждали его к осторожности, он не мог в своих «Записках» сказать всего, что хотелось, приходилось многое замалчивать, о многом говорить иносказательно, выказывая иной раз наружное уважение лицам, которые «уважения не заслуживали».

Он хотел, чтобы потомки поняли, при каких обстоятельствах делались им записи, и чтоб события, вынужденно им затушеванные, были добросовестно обнаружены в их подлинном виде. Впрочем, он не раз и в других дневниковых записях как бы снабжал «ключами» вдумчивых читателей, намекая, что причины некоторых важных дел указаны им не совсем точно и что они «останутся раскрыты только для тех, кои внимательно рассудят все обстоятельства дела».

Мне приятно сознавать, что, пользуясь его «ключами», опубликованными и неопубликованными записями и огромным эпистолярным наследством, я в какой-то степени прочитал любопытнейшие страницы большой и содержательной жизни, отданной на служение своему отечеству, которое в те времена было угнетено самодержавным деспотизмом, но виделось Н.Н.Муравьеву и его товарищам сквозь завесу дней свободным, просвещенным и могущественным.